

Жерар
де Нерваль

ДОЧЕРИ
ОГНЯ





Gérard de Merval

Жерар де Нерваль
ДОЧЕРИ ОГНЯ

Нобелы
Стихотворения

Перевод с французского



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское отделение

1985

ББК 84. 4Фр
Н 54

Составление и вступительная статья
Н. ЖИРМУНСКОЙ

Примечания
Н. ЖИРМУНСКОЙ и Ю. ГОЛУБЦА

Оформление художника
А. ДУРАНДИНА

Н $\frac{4703000000-075}{028(01)-85}$ 132-85

© Состав, вступительная статья, примечания, переводы, кроме отмеченных знаком *. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ. СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО

Имя Жерара де Нерваля до недавнего времени было известно у нас лишь узкому кругу знатоков французской литературы. Его мало переводили: отдельные стихи и повести — в начале нынешнего века, кое-что из «Путешествия по Востоку» — в середине прошлого, и лишь в последние годы пробудился интерес к этому удивительному; своеобразному и многогранному художнику. Между тем Жерар де Нерваль — заметная фигура в созвездии младших французских романтиков, и его значение отнюдь не сводимо к исторически завершенному этапу литературы прошлого века. Дитя своего времени — эпохи романтизма, сполна разделивший ее увлечения и разочарования, он оставил далеко позади собственно романтическую струю французской литературы, приобщился к художественным исканиям следующих поколений и во многом предвосхитил поэтические открытия XX столетия. Сложная, многоплановая образность и смысловая насыщенность его поздних стихов, при лаконичной сжатости формы, перекликается с лирикой символистов и некоторых направлений в поэзии XX века. Его проза оказывается неожиданно близкой повествовательным формам нашего времени.

Трагическое восприятие и осмысление собственной личности и судьбы, уводившее его порой в иллюзорный мир, созданный поэтической фантазией, удивительным образом совмещались у него с зоркостью наблюдения над окружающей жизнью, с умением философски обобщить современную социальную действительность под знаком исторического опыта — прежде всего национального, но и шире — европейского. Энциклопедическая образованность, знание истории и философии, западной культуры и восточных культов уживались в его духовном мире с любовью к фольклору, к песням и преданиям родного края, которые он бережно собирал и делал достоянием читающей публики. Двадцать пять лет творческой жизни, отпущенные ему судьбой, были годами напряженной изнуряющей работы. Он был неутомимым журналистом, драматургом, критиком, переводчиком —

но прежде всего поэтом, и именно поэтическое начало определило неповторимый облик его повестей и рассказов. Проза поэта как особый строй художественного мышления, проявившийся в полной мере лишь в литературе XX века, пронизана у Нервала глубоко личным, лирическим началом: мотивы и образы его стихотворений мы встречаем в повестях, они образуют внешнее и внутреннее единство его творчества и поэтической биографии.

Его реальная биография глубоко драматична: она началась с раннего сиротства и безвременно и трагически оборвалась.

I

Жерар Лабрюни (такова настоящая фамилия писателя, которой он никогда не подписывал свои произведения) родился 2 мая 1808 г. в Париже. Отец его, сначала солдат, потом полковой врач наполеоновской армии, вскоре после рождения сына отправился в поход. За ним последовала молодая жена, оставив ребенка на попечение старших родственников, живших в провинции Валуа, в самом сердце «старой Франции». В двухлетнем возрасте Жерар лишился матери, которую так и не успел узнать, — она умерла в Силезии в 1810 г. Детские годы, проведенные в доме «дядюшки» — двоюродного деда Антуана Буше, дали первые импульсы тем духовным интересам, которые поэт пронес через всю жизнь. Это разные пласты национальной истории, следы которых запечатлелись в старинных зданиях, замках, запущенных парках. Это Эрменонвиль — последнее прибежище мятежного Руссо, сохранившего силу своего обаяния для сыновей романтической эпохи. Это песни и пляски девушек на деревенских праздниках. Это, наконец, «библиотека дядюшки», впервые приобщившая юного Жерара к философским и социальным исканиям ушедшего столетия, завершившегося Великой революцией и не сдержавшего своих обещаний. Не следует сбрасывать со счета эти ранние впечатления — мальчик, покинувший в 1814 г. сельский дом в Мортфонтене и увезенный отцом в Париж, не раз возвращался в эти места. Он прочно сохранил их в своей памяти и запечатлел в повестях «Сильвия», «Анжелика» и в книге «Иллюминаты».

Отец, пробившийся к учению лишь в зрелые годы, после военных походов и тяжелых ранений, мечтал дать сыну хорошее и систематическое образование. Он поместил его в превосходный коллеж Карла Великого, из которого мальчик вынес не только обширные знания (в том числе восточных языков — персидского и арабского), но и дружеские связи на всю будущую жизнь: его одноклассником был Теофиль Готье, поэт и критик, участник и летописец романтических баталий на

премьере «Эрнани» Гюго, автор «Истории романтизма» и будущий основатель «парнасской школы» во французской поэзии. Запискам и воспоминаниям Готье мы во многом обязаны фактическим сведениям о жизни Жерара де Нерваля, а главное — о его человеческой облике, обрисованном рукой друга и тонкого мастера слова.

По выходе из коллежа Жерар сначала подчинился желанию отца избрать его профессию. Но вскоре ему стало ясно, что медицина не сможет стать его истинным призванием. Юноша, уже на школьной скамье пробовавший свои силы в поэтическом творчестве, впервые громко заявил о себе в литературе в 1828 г. как переводчик «Фауста» Гете. Это был уже третий перевод первой части трагедии, но двадцатилетний дебютант сумел намного превзойти своих предшественников. Он частично отступил от французской традиции переводить стихи прозой и значительную часть «Фауста» перевел стихами. Перевод этот сразу обратил на себя внимание, и молодой Гектор Берлиоз положил его в основу своих «Сцен из Фауста» (1829), а впоследствии — и драматической легенды «Осуждение Фауста» (1846). Перевод Жерара (именно так он подписывал свои первые публикации) удостоился высокой похвалы и самого автора «Фауста». 3 января 1830 г., прочитав его, Гете сказал своему секретарю Эккерману: «По-немецки я уже «Фауста» читать не в состоянии, но во французском переложении все это звучит для меня поновому, свежо и остроумно».

Окрыленный успехом Жерар начинает писать для театра. Его первый опыт — мелодрама «Ган Исландец» (1829) по роману В. Гюго — остался «драмой для чтения» и не был опубликован, но «Песня о Гане Исландце» много раз перепечатывалась в поэтических сборниках Нерваля. Она служит характерным образцом того увлечения «ужасами», начало которому положил этот ранний роман Гюго и которое было подхвачено молодыми романтиками на пороге 1820—1830-х гг. Тогда же состоялось и знакомство Жерара с вождем романтической школы Виктором Гюго, которому он посвятил несколько стихотворений (с. 379 и 398 наст. изд.). Завязываются дружеские отношения и с другими романтиками — художниками Селестеном Нантейлем, Эженом Девериа, Жеаном Дюсеньером, молодыми литераторами Петрюсом Борелем, Арсеном Уссэ и другими, на короткое время составившими кружок «Малый Сенакль» — в подражание «большому» Сенаклю Виктора Гюго. Жерар принимает окончательное решение отказаться от занятий медициной (тем не менее во время холерной эпидемии 1832 г. он вместо с отцом оказывал помощь больным). Ему вообще были чужды принятые в его семейном окружении понятия об обеспеченном и стабильном общественном положении.

И до конца дней он остался далек от буржуазного практицизма и деловой хватки, которые у иных его повзрослевших друзей и собратьев по перу превосходно уживались с творческими порывами и взлетами фантазии.

Образ жизни Жерара с начала 1830-х гг. внешне вписывался в привычные нравы парижской артистической богемы — бешабашное веселье ночных дружеских сборищ чередовалось с напряженной, поглощающей все силы работой для журналов, газет, театров; приобретение дорогих антикварных раритетов — картин и мебели — сочеталось с полной неустроенностью быта, пренебрежением к нему и нехваткой средств для самых насущных надобностей. Двадцать лет спустя, в последние годы жизни, которые были ничуть не более устроенными и благополучными, Жерар воссоздаст эту атмосферу своей юности в книге «Маленькие замки богемы» (1853) и в серии зарисовок («Прогулки и воспоминания», «Октябрьские ночи»). Для многих товарищей Нервала подобный образ жизни был недолговечной данью моде, молодечеством и желанием «эпатировать буржуа» — ошеломить и подразнить ограниченных и бездуховных обывателей. Для Жерара — деликатного и неизменно корректного, кроткого и доброжелательного — отрешенность от привычных форм устоявшегося буржуазного быта была естественной и органичной. Он был вечным скитальцем, «странствующим энтузиастом» в духе своего любимого писателя Гофмана, независимо от того, какими масштабами измерялись его скитания: закоулками ночного Парижа, тихими провинциальными городками родного края — Валуа, европейскими странами — Германией, Бельгией, Швейцарией, Италией, которые он изъездил, или далеким путешествием на Восток — в Египет и Сирию.

В 1834 г. Жерар получил в наследство после смерти деда порядочную сумму, которая могла бы обеспечить ему материальную независимость. Однако он предпочел осуществить свою давнюю мечту — совершил путешествие в Италию, эту страну обетованную европейского романтизма. Его влекли туда не столько сокровища ренессансной культуры, сколько следы поздней, эллинистической античности, их соприкосновение с давно уже интересовавшими его восточными культурами. Впечатления эти позднее отложились в повести «Октавия» и в цикле сонетов «Химеры».

В этот же период произошло событие, сыгравшее большую роль в его жизни и творчестве — встреча с артисткой «Опера комик» Женни Колон, которая стала для него земным воплощением романтического идеала Женщины. На фоне театральной жизни тех лет, освященной именами таких выдающихся актрис, как романтическая Мари Дорваль и возродившая классическую

традицию Рашель, Женни Колон занимала относительно скромное место. Тем не менее Жерар, явно переоценивавший ее дарование, готов был употребить весь свой талант и авторитет журналиста и театрального критика, чтобы окружить ее имя славой и всеобщим признанием. Он начал издавать журнал «Монд драматик», в который вложил все свои деньги. Журнал потерпел финансовый крах, Жерар полностью разорился и оказался кругом в долгах.

О его подлинных отношениях с Женни Колон мы можем судить по достаточно откровенным признаниям в повестях «Октавия» и «Сильвия»: отступая от жизненной реальности в частности, переставляя или группируя события в соответствии с общим замыслом произведения, Жерар оставался верен истине в главном. Его попытки приобщить любимую женщину к миру своих романтических фантазий, к своему пониманию любви как высокого таинства и непостижимой, от века предназначенной близости двух существ, натолкнулись, по-видимому, на вполне трезвый и ординарный строй мыслей и чувств. Она предпочла стать женой заурядного оркестранта своей труппы, вместо того чтобы быть Музой неприкаянного и мятущегося поэта. История этих отношений, достаточно обычная в своих внешних очертаниях, получает в творчестве Нерваля глубокое, порою мистическое осмысление.

Среди многочисленных философских учений, занимавших внимание Жерара с юных лет, особенно настойчиво влекло его учение о метампсихозе — переселении душ (не случайно один из его ранних рассказов в духе Гофмана носит название «Метампсихоза»). Это учение в сочетании с общеромантической идеей любви как бесконечного стремления к идеалу заставляет его отождествлять между собой разных реальных или просто пригрезившихся ему женщин, художественные или легендарные воплощения идеального женского образа — царицу Савскую и оперную певицу, для которой предназначалась эта роль, хрупкую Адриенну из старинного замка, принявшую по воле семьи монашеский обет («Сильвия»), и итальянку Лукрецию Полия, также ставшую монахиней и воспетую ее возлюбленным, поэтом эпохи Возрождения, Изиду и молодую англичанку, встреченную на пароходе во время вполне реального переезда из Марселя в Неаполь («Октавия»). Все эти преломления его романтической мечты, эти «узнавания» и «воспоминания» встречают ироническую и трезвую реакцию со стороны собеседников и партнеров, прежде всего со стороны той, к кому они чаще всего обращены, — реально любимой Женни Колон. Но ни разрыв с актрисой в 1837 г., ни ее смерть в 1842-м не стерли этого образа, который проходит сквозь его повести и поздние стихи.

После смерти Женни этот образ обрастает сложными мифологическими ассоциациями, и главной из них становится мотив Орфея и Эвридики — нисхождение поэта в царство мертвых вслед за любимой женщиной. Тайнство любви сливается с тайнством смерти.

В 1841 г. Жерар перенес приступ тяжелой душевной болезни. После длительного лечения в клинике писатель, казалось бы, обрел здоровье и вернулся к напряженной литературной работе. В начале 1843 г. он предпринял давно задуманное и длившееся до конца года путешествие на Восток — по Средиземному морю в Египет и Сирию. Отдельные путевые очерки и зарисовки, иногда включавшие новеллистические или сказочные сюжеты, появляются в журналах и газетах на протяжении ближайших лет. Потом они были собраны в двухтомной книге «Путешествие по Востоку» (1851).

Одновременно продолжалась работа для театра. Еще с середины 1830-х гг. Нерваль начал один и в соавторстве с А. Дюма писать пьесы и оперные либретто («Пикильо», 1837; «Алхимик», 1839; «Лео Буркхарт», 1839). Условлено было, что подписывать их они будут по очереди. Вряд ли следует удивляться, что пьесы, подписанные именем Дюма, оказывались более удачливыми и репертуарными: положение Дюма в литературном и театральном мире, его практическое чутье представляли достаточно резкий контраст с наивной увлеченностью его младшего товарища, видевшего в любой предпринятой работе не просто денежный заказ, но воплощение своих творческих исканий и заветных замыслов.

С середины 1830-х гг., после колебаний между различными литературными псевдонимами, Жерар окончательно останавливается на вымышленной фамилии Нерваль — по названию небольшого клочка земли, принадлежащего его родне с материнской стороны. Склонный к конструированию фантастических генеалогий, писатель возводил это название к имени римского императора Нервы. Во всяком случае, в этом выборе еще раз проявилась приверженность к местам, где прошло его детство.

Большое место в литературной работе Нерваля занимают переводы с немецкого. Еще в 1830 г., вслед за «Фаустом», он выпустил сборник переводов немецких поэтов — Шиллера, Гете, Клопштока, Бюргера, Уланда. В 1840 г. он переиздал их вместе с переводом обеих частей «Фауста», снабдив вступительным очерком. Жерар прекрасно знал немецкий язык и литературу. Если первоначально он, как и другие французские писатели, судил о ней по книге госпожи де Сталь «О Германии» (1813), то в дальнейшем он обретает свое понимание немецких авторов, основанное на творческом проникновении поэта-переводчика в

самую суть оригинала. Интерес к немецкой культуре побудил его совершить несколько путешествий по Германии — в 1838, 1850, 1854 гг. Впечатления от них получили отражение в книге «Лорелея» и серии корреспонденций о событиях немецкой культурной жизни (в том числе об исполнении симфонической поэмы Ф. Листа «Прометей» и о премьеры «Лоэнгрин» Вагнера в Веймаре в 1850 г.). С конца 1830-х гг. Нерваль был знаком с Гейне, жившим в эмиграции в Париже. Совместно со своим другом Теофилом Готье он написал статью, в которой попытался раскрыть французской публике неповторимую прелесть поэзии Гейне. В 1848 г. он особенно тесно сближается с тяжело больным поэтом, в то время уже пленником «матрачной могилы», и переводит его циклы «Лирическое интермеццо» и «Северное море». В творчестве Гейне — этого «Мефистофеля — славного малого», по шутливому выражению Нерваля, — его привлекало своеобразное сочетание разнородных, порой полярных элементов: традиций народной песни и острой сатирической струи, глубокого проникновения в дух средневековой культуры и одновременно критически дистанцированной ее оценки, язвительной иронии и мифологизированного восприятия природы (особенно в цикле «Северное море»), наконец, очевидная и органическая связь с французской литературой. В этом смысле Гейне был как бы зеркальным отражением его собственной творческой личности: он был «самым французским» из немецких поэтов, так же как Нерваль был «самым немецким» из французских. Существенно и то, что поэты, с которых Нерваль начал знакомство с немецкой литературой, в значительной степени принадлежали прошлому, во всяком случае были восприняты «книжным путем». Гейне же — политический эмигрант, гонимый и официально отвергнутый у себя на родине, беспощадный обличитель отсталой и реакционной Германии и иронический критик французской действительности эпохи Июльской монархии — был не просто современником, но собеседником и старшим другом. И если в лирическом творчестве Жерар шел своим собственным путем, то его публицистические очерки по духу и стилю обнаруживают глубокую близость публицистической манере Гейне.

Ужесточение цензуры после прихода к власти Луи Бонапарта резко сократило возможности журнальной деятельности Нерваля — он не раз с горькой иронией писал об этом в своих набросках («История тюления»). Переиздавая в 1851 г. в книге «Путешествие по Востоку» свои очерки о Вене, он вынужден был изъять из них ряд мест, затрагивающих политические и общественные вопросы. Цензурные запреты касались не только собственно политических тем, но и романов-фельетонов, печатавшихся в газетах. Это было одним из мотивов, побудивших

писателя к изданию книг, содержавших отчасти новые произведения, отчасти опубликованные ранее в периодической печати: в 1852 г. выходят «Иллюминаты», объединяющие серию биографических очерков по-разному знаменитых людей (Калиостро, Казот, Ретиф до ла Бретон) с вольными порождениями творческой фантазии, основанными лишь на мимолетно схваченном и каком-нибудь полузабытом сочинении имени («Король Бисетра», «История аббата де Бюкуа»); в 1853 г. — «Маленькие замки богемы» и сборник «Сказки и шуточные истории»; в 1854 г. — «Дочери огня» (вместе с циклом сонетов «Химеры»). Однако на пути к этой последней прижизненной книге лежало еще одно мучительное испытание: в 1853 г. Жерар пережил новый тяжелый приступ душевной болезни, гораздо более серьезный, чем несколько эпизодических кризисов, имевших место в течение предшествующих лет. Выздоровление было ненадежным и оказалось мнимым. 26 января 1855 г. Нерваль покончил с собой. Последние его дни, отраженные в воспоминаниях потрясенных друзей, свидетельствовали о крайнем нарушении душевного равновесия и о крайней нужде. Он скитался по случайным ночлегам, не имел постоянного жилья, так как, видимо, не мог заплатить за него. У кого-то из друзей попросил займа семь су. Одежда, которая была на нем в этот роковой день, составляла весь его гардероб.

II

Духовный мир Жерара де Нерваля, определивший содержание и художественные формы его поэзии и прозы, поражает своим богатством и сложностью. В нем прослеживается множество линий, уходящих в разные пласты мировой культуры.

Первые стихотворения Нерваля — «Национальные элегии», написанные еще в коллеже, — несут на себе печать общественных настроений той поры. Это стихи с ярко выраженной гражданской тематикой, симптоматичные для политической атмосферы последних лет Реставрации («Наполеон и воинственная Франция», «К Беранже»). Ощущение нарастающего недовольства реакционным политическим режимом, идеализированные воспоминания о наполеоновской эпопее (возможно, на основе семейных преданий и рассказов отца) выливаются в этих ранних стихах в привычные, традиционные формы высокой классической риторики. Гражданские мотивы сохраняются и в стихах, написанных под непосредственным впечатлением Июльской революции 1830 г., и принимают порой острокритическую направленность («Народ», «Доктринеры», «Господа и лакеи»). В них, однако, уже проступают черты нового стиля, новой

манеры: приемы и штампы позднеклассицистической поэтики, рухнувшей под натиском романтической школы, не могли более удовлетворять Нервала.

Перелом наступает в процессе работы над переводом «Фауста». Именно тогда Жерар обретает свой стиль, свою манеру. Гениальное творение Гете помогло ему сбросить оковы поэтической рутины и одновременно открыло новые горизонты, во многом определившие его дальнейшее творчество. Лирические песни I части трагедии — «Баллада о Фульском короле», песнь Маргариты за прялкой — открыли ему путь к другим немецким поэтам, подражавшим народной песне, — прежде всего к Бюргеру и его «Леноре», которую он переводил трижды (примечательное совпадение с Жуковским, который создал в разное время два перевода и одно вольное подражание этой балладе!). Фольклоризм немецких поэтов «бури и натиска» (в особенности Гердера) и романтиков открыл Жерару, как это было в свое время с молодым Гете, художественный мир народной поэзии, его значение для поэзии литературной и для осознания корней национальной культуры. А это заставило его другими глазами взглянуть на те песни и сказки, которые он помнил с детства. Пройдет десять лет, и этот новообретенный фольклоризм получит свое воплощение в «Песнях и легендах Валуа» и в теоретических высказываниях, так близко напоминающих призывы Гердера к собиранию народных песен: «В наше время, — пишет Жерар, — публикуют песни на диалектах Бретани и Аквитании (имеется в виду сборник Вильмарке «Барзас Брейз», 1839, послуживший А. Блоку одним из источников драмы «Роза и Крест». — *Н. Ж.*), но ни одна из песен старых провинций, где всегда звучал истинный французский язык, не будет для нас сохранена. Происходит это потому, что нигде не хотят видеть напечатанными в книге стихи, сложенные без должного внимания к рифме, просодии и синтаксису... Разве не хватает нашему народу истинной поэзии, разве не хватает ему меланхолической жажды идеала, чтобы понять и создать песни, вполне достойные сравнения с песнями Англии и Германии? Конечно, все это у нас есть!» Фольклоризм Нервала резко выделяет поэта из его литературного окружения — интеллектуалы и эстеты, закоренелые горожане, люди светской отточенной культуры, они охотно устремлялись к экзотическим мотивам и пейзажам, но оставляли незамеченными глубинные пласты народной поэзии. В творчестве самого Нервала эта фольклорная стихия получила отражение в сказке «Королева рыб» и в песенных формах его лирики.

Другая линия воздействия, идущая от «Фауста», — это обращение к средневековью, к его натурфилософским учениям, космогонии и демонологии, алхимии и астрологии. Мир совре-

менников или прямых предшественников исторического Фауста был воспринят Нервалем в двойном ракурсе: исконном, первоначальном и опосредованно — сквозь призму философской трагедии Гете. Связующим звеном между этими исторически удаленными эпохами послужили современные естественно-научные веяния. Попытки проникнуть в тайны соотношения между живой и неживой природой, опыты Месмера, учение о «животном магнетизме» получили широкую популярность в первой трети XIX в. В сознании романтиков — немецких и французских — они связывались с философскими идеями Шеллинга. Для Жерара они, помимо того, ассоциировались с учением философов-пифагорейцев, которым он увлекался с юных лет. Знаменательно, что эпиграфом к сонету «Золотые стихи», замыкающему цикл «Химеры», поставлен стих, приписанный Пифагору: «Все на свете способно чувствовать», а само содержание сонета раскрывает эту мысль в поэтической форме.

Концепция единства природы во всех ее проявлениях привлекала Нерваля в идеях средневековых алхимиков и астрологов, к которым он непрестанно обращается в своих осуществленных или только задуманных произведениях. Так, еще в 1831 г. он начал писать драму о средневековом алхимике Никола Фламель, имя которого было окружено тем же демоническим ореолом, что и имя доктора Фауста. Кроме драмы «Алхимик», созданной в соавторстве с Дюма, он написал вместе с драматургом Мери драму-легенду «Рисовальщик из Гарлема, или Изобретение книгопечатания» (1851), в которой разработал один из мотивов легенды о Фаусте как первопечатнике. Нервалю была, несомненно, известна и немецкая народная книга XVI в. о докторе Фаусте, и исторические свидетельства о нем, собранные и изданные немецким литературоведом Шайбле в 1846—1849 гг. Знал он и роман Ф. М. Клингера, друга юности Гете, «Жизнь, деяния и гибель Фауста» (1791), вышедший во французском переводе в 1802 г. Имена знаменитых в свое время ученых, натурфилософов, алхимиков XVI в. аббата Тритемия и Корнелия Агриппы Неттесгеймского, пользовавшихся, как и доктор Фауст, репутацией «чернокнижников», упоминаются уже в ранней повести Нерваля «Заколдованная рука». Его привлекали в этих людях непокорный дух, поиски истины на неканонических путях, идущих вразрез с официальными церковными верованиями. Сам он стремился обрести ее в некоей философской синкретической религии, сочетающей в себе элементы античных и восточных культов и разных философских учений. Именно эти искания заставили его обратиться к поздней античности, к эллинистической эпохе, к Апулею и культу Изиды, а потом отправиться по их следам на Восток.

В свете этих философских исканий Нерваля особого внимания заслуживают его восприятие и оценка эпохи Просвещения — казалось бы, не столь уж отдаленной хронологически, но лежащей по ту сторону великого исторического водораздела — французской революции 1789—1794 гг. Поколение Нерваля — как старшие, так и младшие романтики — совершенно недвусмысленно высказывало свое скептическое разочарование в просветительских идеалах с их культом разума и несостоявшейся свободой. Наследники Великой французской революции, свидетели Июльской 1830 г., они предъявляли ушедшему веку серьезный счет несбывшихся надежд, но мало что могли ему противопоставить.

Иной была позиция Нерваля: он органически усвоил просветительский дух иронического скептицизма в религиозно-философских вопросах, который так сурово заклеил в своих стихах его младший сверстник Альфред де Мюссе. Небольшой этюд «Красный дьявол» написан целиком в этой просветительской манере, напоминающей философские повести Вольтера. Но в нем отчетливо звучат и интонации гетевского Мефистофеля. И неслучайно так часто в повестях и биографических очерках Нерваля появляются «непочтительные» герои, беззаботные озорники, расплачивающиеся Бастилией за неосторожно брошенное вольное слово, люди, не укладывающиеся в привычные рамки общепринятой морали, официальной религии и политической благонадежности. Никому не известный аббат Бюкуа, чьи следы автор усиленно разыскивает в одной повести («Анжелика») и чью историю подробно рассказывает в другой («История аббата де Бюкуа»), этот беспечный авантюрист, любознательный, дерзкий и наивный в своих поисках запретных истин, соседствует в книге «Иллюминаты» с выдающимся, своеобразным писателем, последователем Руссо Ретифом де ла Бретонном («Исповедь Никола»), «кудесник» Калиостро — с писателем Жаком Казотом. А возглавляет эту вереницу исторических и псевдоисторических героев безумный Рауль Спифам, «лучший король Франции», свихнувшийся на своем сходстве с королем Генрихом II. Называя свою книгу «Иллюминаты», Нерваль, с присущим ему многоплановым толкованием слов, имел в виду не только широко распространенную в XVIII в. тайную секту, стремившуюся «преобразовать общество». Значение этого слова можно понять и как «озаренные», «просветленные», обладающие особым даром видения и проникновения в суть вещей, в тайны природы и человеческой личности. И вот здесь-то и сказывается неудовлетворенность Нерваля философскими и социальными прозрениями просветителей: разделяя их скептицизм по отношению к религиозной догматике и философской рутине, он отвергает рассудоч-

ность и механицизм, свойственные французскому Просвещению. Человек, глубины его сознания и подсознания, его социальные связи и его место в мире окружающей природы представляются Нервалю — сыну XIX в. — несравненно более сложным феноменом, и эту сложность он ищет у писателей и мыслителей, стоящих в стороне от магистральной дороги Просвещения и нередко вступающих с ним в спор.

Социальная и идеологическая роль тех, кого Нерваль окрестил «иллюминатами» (вне какой-либо реальной связи с этой сектой), сформулирована им в подзаголовке книги («Предшественники социализма») и во введении («Библиотека моего дядюшки»), где Нерваль прямо говорит о связи своих героев с последователями Сен-Симона и Фурье, «которые нынче страдают оттого, что слишком рано или слишком безрассудно попытались осуществить мечты этих сумасбродов».

Слова эти, написанные уже после поражения революции 1848 г., показательны и важны в двойном смысле. С одной стороны, они свидетельствуют о стремлении писателя выразить в художественной форме органическую связь и преемственность идейного развития минувшего века и современности: «Эпоха эта повлияла на нас больше, чем это можно было ожидать. Хорошо ли это, плохо ли? Кто знает!» Прямые ссылки на социалистов-утопистов изредка мелькают на страницах его произведений — это, например, Фурье, в журнале которого «Фаланга» он короткое время сотрудничал. С другой стороны, в пору идейных блужданий и разнородных преломлений социалистических и мнимо социалистических учений Жерар пытается выстроить свой ряд «чужаков от философии», ничего общего не имеющих с идеями так называемого «христианского социализма» Ламенне, столь распространенными во Франции тех лет. Что касается другого представителя этого течения — Пьера Леру, то он интересовал Жерара главным образом как последователь учения пифагорейцев, близкого идеям самого Нерваля.

III

Сближение Жерара с «новой», то есть романтической школой, произошло в преддверии 1830 г. — года Июльской революции и премьеры «Эрнани», ознаменовавшей победу романтизма над эпигонами классицизма. На первых порах он разделил энтузиазм молодых последователей Гюго, отдал дань их литературным вкусам и увлечениям. Однако подражания очень скоро переросли в свое, самостоятельное претворение темы, сюжета, материала.

Одним из наиболее значительных художественных воздействий на французскую литературу на пороге 1820—1830-х гг. было

влияние Э. Т. А. Гофмана, в творчестве которого гротескно заостренное изображение реальности переплеталось с фантастикой. На эти годы падает апогей увлечения Гофманом. Его много переводят, ему подражают. Обаянию немецкого писателя поддались не только начинающие молодые литераторы — оно подчинило себе и Бальзака, и Шарля Нодье. Для Жерара, лучше других французских писателей знавшего немецкий язык и литературу, влияние Гофмана прошло несколько ступеней. Вначале им были написаны небольшие новеллы в манере Гофмана, порой легко возводимые к конкретному образцу («Соната дьявола», «Геттингенский цирюльник», «Метампсихоза» — с характерной подписью: «Современный пифагореец»). Тогда же он перевел часть повести Гофмана «Приключения новогодней ночи». В дальнейшем творчестве Нерваля проступают более глубоко переосмысленные мотивы и проблемы, идущие от Гофмана, — тема двойника и раздвоения личности, мудрого безумца («Король Бисетра»), романтической любви художника к идеалу, созданному его воображением, поиски и «узнавание» этого идеала в его живых и художественных воплощениях, наконец — беспощадно точный анализ своего психического состояния в период болезни («Аврелия, или Сон и Явь»). Да и само имя Аврелии, которым он, начиная с «Сильвии», наделил Женни Колон, было навеяно произведениями Гофмана, в особенности романом «Эликсиры сатаны», содержащим настолько точное описание психопатологического состояния, что оно не раз служило предметом изучения врачей-психиатров.

Вместе с тем, гофмановская фантастика пронизана у Нерваля истинно национальным, галльским духом. Да ведь и сам Гофман — разве не озаглавил он свою первую книгу «Фантастические рассказы в манере Калло»? Гротескная манера этого французского гравера XVII в., столь непохожая на его современников, особенно чувствуется в таких повестях Нерваля, как ранняя «Заколдованная рука» и более позднее «Зеленое чудовище». Фантастический сюжет преподносится в отчетливо остранированной иронической форме. Он отодвинут в эпоху «суеверий», до наступления «просвещенного» и парадного века Людовика XIV, к которому Жерар относится с недоверием и неприязнью (это явственно выступает в «Истории аббата де Бюкуа»). Фантастическое событие дается опосредованно, оно снабжено многочисленными избыточными, почти пародийными учеными ссылками на источники и тем самым выполняет двойную художественную функцию: развлекает читателя занимательной и невероятной историей и одновременно вводит его в далекий мир ушедшей культурной эпохи с ее наивной верой в чудеса и колдовство и с не менее наивными попытками «научно» обосновать их.

«Заколдованная рука» — это не только дань увлечению фантастикой. Она появилась в атмосфере всеобщего интереса, с одной стороны, к жизни деклассированных слоев, отщепенцев общества — бродяг и воров, фокусников и шарлатанов, шутов и неприкаянных поэтов, так красочно описанных Виктором Гюго в «Соборе Парижской богоматери», с другой — к французской поэзии доклассического периода. В 1828 г. вышел «Обзор французской поэзии XVI в.» Сент-Бёва, романтического критика и поэта, возродившего для читателей поэзию Ронсара и его современников. Нерваль, со своей стороны, обратился к этой теме, издав в 1830 г. «Избранные стихотворения» Ронсара, Дю Белле и других поэтов «Плеяды» со своим вступительным очерком.

В обоих случаях импульсом послужил пересмотр теоретических позиций классицизма: в «Поэтическом искусстве» Буало решительно отвергались заслуги Ронсара и его школы. Но в своей реабилитации поэтов доклассической эпохи Нерваль пошел дальше Сент-Бёва, вглубь, к преддверию Ренессанса, к творчеству Франсуа Вийона, бесшабашного и озорного бродяги, автора «Баллады о семи повешенных». Известно, что в эти же годы Жераром была задумана пьеса «Вийон-школяр» и написана мистерия «Король шутов». Последняя была принята театром «Одеон», но поставлена не была. Сохранился ее пересказ в «Истории романтизма» Теофиля Готье. В одной из сцен ангел и черт разыгрывали в кости души грешников, ангел жульничал «от избытка рвения», а черт грозился выщипать ему перья из крыльев.

«Заколдованная рука» пестрит упоминаниями писателей и анонимных произведений средневековой и ренессансной литературы, но весь этот фейерверк имен — не просто повод продемонстрировать свою осведомленность (что само по себе было бы простительно двадцатичетырехлетнему автору). Этим способом создается определенный колорит, фон той низовой «смеховой» культуры, дерзкой и шутовской, непочтительной и бунтарской и прежде всего глубоко национальной, которая так долго замалчивалась и заслонялась пышным фасадом «золотого» XVII века.

Обращение к средневековью и вообще к истории было характерной чертой романтической эпохи. Именно она породила исторический роман, повесть и драму. Однако историзм Жерара де Нерваля во многом отличается от способа трактовки истории у его современников. Большинство французских романтиков, писавших в историческом жанре, следовали модели вальтер-скоттовского романа, правда, по-своему преломленного («Сен-Мар» А. де Виньи, «Собор Парижской богоматери» В. Гюго, «Хроника царствования Карла IX» П. Мериме). Именно исторические романы принесли мировую славу другу и соавтору Нерваля — Александру Дюма. Отдавая должное его литературному мастерству и,

быть может, преуменьшая свое собственное, Жерар писал в посвящении к «Дочерям огня», адресованном Дюма: «То, что у вас, дорогой мэтр, получалось словно бы само собой, стало для меня настоящим наваждением, головокружительной мечтой. Вы умели так славно обыграть наши хроники и мемуары, что потомки уже не смогут отличить реальное от сочиненного вами и наделят вашим вымыслом всех этих исторических персонажей, которых вам угодно было пригласить в свои романы».

Сам Нерваль подходил к историческому повествованию совсем с иной стороны. Его привлекала не широкая панорама значительного исторического события или переходной эпохи, преломленная сквозь судьбу среднего человека, как это было в романах Вальтера Скотта (то, что Пушкин называл историей, увиденной «домашним образом»), и не увлекательный сюжет, опирающийся на известные исторические факты и отношения (как это было в романах Дюма). Декоративный исторический «реквизит», широко присутствующий в «Соборе Парижской богородицы» и, отчасти по следам этого романа, введенный Нервалем в повесть «Заколдованная рука», в более поздних вещах сведен к минимуму. В «Истории аббата де Бюкуа» имена и исторические факты, сосредоточенные особенно в начале повествования, создают лаконичную и беспощадную картину уходящего века Людовика XIV, осмысленного под знаком грядущих событий Великой французской революции. В исторических сюжетах Нерваля интересовала главным образом незаурядная и неповторимая индивидуальность, человеческая личность, не пожелавшая подчиниться законам, нормам и представлениям своего времени и своей среды, при этом — личность, почерпнутая не из репертуара известных исторических героев, а затерянная в архивных документах, лишь бегло упоминаемая в источниках, а порою и вовсе вымышленная автором. Таковы его Анжелика и ее внучатый племянник аббат Бюкуа, таков целиком придуманный Нервалем герой незаконченного повествования, печатавшегося в «Артисте» в марте 1844 г. под названием «Трагический роман». Создавая подобных героев, Нерваль стремился воплотить в них свои собственные черты и, наоборот, узнать и осмыслить самого себя через своих героев. Он сам писал об этом в цитированном выше посвящении Дюма: «Вы знаете, есть рассказчики, которые не могут сочинять, не отождествляя себя с персонажами, созданными их воображением... в конце концов вы, так сказать, перевоплощаетесь в своего героя, так что его жизнь становится вашей, вы загораетесь вымышленной страстью, его честолюбивыми устремлениями, его любовью! Сочинять — это, в конце концов, значит припоминать... И не найдя доказательств материального бытия своего героя, я внезапно поверил в пере-

селение душ ничуть не менее твердо, чем Пифагор или Пьер Леру».

И какими бы единичными по судьбе и характеру ни представлялись эти герои, созданные Нервалем по законам поэтического вымысла, их обобщенное значение выступает в контексте двух книг — «Иллюминаты» и «Дочери огня». Если герои «классического», вальтер-скоттовского исторического романа вбирали в себя исторический смысл своей эпохи, определявший их судьбу и их индивидуальность, то исторические герои Нервала являют в обобщенной форме духовный мир, искания и чувства автора. Сквозь оболочку хроникера-повествователя проступает лирическое «я» поэта.

IV

На первый взгляд, единство книги «Дочери огня» и связь заглавия с отдельными составившими книгу повестями не столь очевидны, как в «Иллюминатах». Чисто внешнее единство — ряд женских имен («Анжелика», «Сильвия», «Октавия», «Эмилия», «Корилла», «Изида», «Пандора») — не снимает разнородности материала: героинь, сюжетов, тем. Само название «Дочери огня» связано с учением о четырех стихиях — земле, воде, воздухе и огне, занимавшем важное место в натурфилософских представлениях как поздней античности, так и средневековья. Ему отдали дань и писатели XVIII в. из того круга, которым особенно интересовался Нерваль (например, Жак Казот). Гравюра с изображением четырех стихий привлекает внимание рассказчика-героя «Октавии» в комнате случайно встреченной цыганки. Духами стихий — воздуха и воды — становятся мальчик и девочка в сказке «Королева рыб». Натурфилософское представление облекается здесь в бесхитростные фольклорные формы.

Выражение «духи стихий» не раз мелькало на страницах романтической литературы тех лет. Так названы новелла Гофмана и эссе Гейне. Не следует забывать и о Духе Земли, появляющемся в первой сцене «Фауста» Гете. В числе вещей, переведенных Нервалем с немецкого, имеется пьеса второстепенного (ныне прочно забытого), но весьма плодovitого драматурга Эрнста Раупаха «Дочь воздуха». Считают, что именно она дала толчок для аналогичного заглавия — «Дочери огня». В зрелый период творчества, после путешествия на Восток и в Италию, когда Нерваль все более склонялся к синкретической натурфилософской концепции мира, связанной с восточными культами, огонь представлялся ему высшей, очищающей стихией, воплощением высокой, всепоглощающей любви.

Из повестей, вошедших в книгу «Дочери огня», наиболее очевидно связана с этим символическим заглавием «Октавия». Уже

сама топография повести — окрестности Везувия, руины Геркуланума и Помпеи, погибших при его извержении, некоторые детали пейзажа — поддерживают символику огня и служат фоном для психологически-любовной линии сюжета. В других повестях связь с заглавием выступает лишь опосредованно — как знак сильной природы, сильной страсти («Анжелика») или таинственно-непостижимой любви к изменчивому и ускользающему, узнаваемому и недоступному существу («Сильвия»). Наиболее далека от смысла заглавия и от содержания других повестей «Эмилия», выдержанная в простой и строгой манере реалистического повествования. Ее напряженный драматический сюжет, построенный на основе точных исторических фактов, отчасти напоминает повесть Альфреда де Виньи «Лоретта, или Красная печать» из книги «Неволя и величие солдата» (1833—1835). Он симптоматичен для общественных настроений конца 1830-х гг., когда нарастающее недовольство Июльской монархией вызвало возрождение наполеоновского культа (напомним, что оно привело к перенесению его праха в 1840 г. с острова Св. Елены в Париж, в Дом инвалидов). Воспоминание о героической эпохе отцов (для Жерара это нужно понимать и буквально — биографически), о сильных, героических характерах и поступках должно было служить контрастом, отталкиванием от буржуазного прагматизма, деловитого приспособленчества, духовной инертности, все более утверждавшихся во французской общественной действительности периода Июльской монархии. Одни — подобно Альфреду до Мюссе в «Исповеди сына века» (1836) — испытывали по отношению к наполеоновской эпопее чувство горечи и обиды обманутых и разоренных наследников, другие — и к их числу принадлежал Нерваль — пытались осмыслить трагические коллизии ушедшей эпохи и соотнести их с нравственными нормами своего времени. Эти нормы присутствуют в повести в виде двух проблем, глубоко лично (хотя и по-разному) воспринимаемых Нервалем. Одна из них — это проблема отношений между двумя соседствующими народами, чьи судьбы тесно переплетены, но которые история сталкивает в непримиримом и кровавом конфликте. Для Жерара, с юных лет ощущавшего себя посредником между французской и немецкой духовной культурой, трагедия Эмилии и Дероша — нечто гораздо более значительное, чем единичный эпизод в истории революционных и наполеоновских войн. Это конфликт гуманного, общечеловеческого чувства и национально ограниченного, непримиримого, агрессивного начала. Другая проблема — проблема самоубийства, с обсуждения которой начинается повесть. Мотив этот, мелькнувший затем в «Октавии», — один из знаменательных симптомов романтической эпохи, развившийся отчасти под влиянием «Вертера» Гете и появляющийся у многих романтических

авторов. Но одновременно это и первый предвестник трагического финала самого Нервала.

Для повествовательной манеры «Дочерей огня» характерно совмещение разных временных планов. Это не просто композиционный прием, организующий развитие сюжета. Это одновременно художественное выражение того принципа «узнавания», двойного присутствия автора — как рассказчика и как перевоплощенного героя, — о котором писал Нерваль в посвящении Дюма.

В «Эмили» настоящее — временной план рассказчика-аббата и его слушателей — образует рамку, в которую вставлено собственно действие повести, отнесенное к прошлому. В «Сильвии» воспоминания детства перемежаются с более поздними поездками и встречами в Валуа и наконец вплотную подводят к самому моменту повествования, когда молодость и ее иллюзии уже далеко позади, а смысл пережитого так и остался неразгаданным. В «Октавии», гораздо более лаконичной, два временных плана соответствуют двум внутренним линиям сюжета — неразделенной любви к актрисе и случайной встрече с англичанкой.

Наиболее сложным оказывается композиционное построение «Анжелики», в котором отчетливо прослеживаются два сюжета — поиски книги, заинтересовавшей автора и безнадежно затерянной в столичных и провинциальных библиотеках, и история мужественной и незаурядной женщины, отнесенная к XVII в.

В этой повести, как нигде больше, обнаружилось влияние литературной традиции, идущей от английского романиста XVIII в. Лоренса Стерна. Воздействие Стерна на европейскую литературу было продолжительным и охватывало необыкновенно широкий диапазон авторов. Во Франции его испытали такие разные писатели, как Дидро («Жак-фаталист») и Альфред де Виньи («Стелло»), в Германии — Гофман, Жан-Поль (Рихтер) и Гейне, в России — Радищев и Гоголь. Жерар до Нерваль не раз упоминает имя Стерна (в «Венских похождениях» и в «Анжелике»), сознательно наводя читателя на след той особой, неповторимой манеры повествования, которую создал Стерн и которая так пришлась по вкусу рассказчикам не только XVIII—XIX, но и XX века. Непринужденная беседа с читателем или условным корреспондентом («Анжелика» построена как серия писем) перебивается осколками сюжета — «авторского», который разворачивается в современности в маленьких провинциальных городках и в Париже, — жанровыми сценками, порою с острозлободневными политическими мотивами (эпизод с арестом в Санлисе), пестрит именами реальных современников. И в эту же двуслойную ткань вплетается третья нить — наиболее связанная и хронологически удаленная на два столетия: история Анжелики де Лонгваль, построенная по канонам исторического романа, — с тайной

перепиской влюбленных и побегом из родового замка, похищениями и дуэлями, сражениями и кораблекрушениями, социально непримиримыми конфликтами и всепоглощающей страстью. Очевидная пестрота и разнородность содержания повести, прихотливо скрепленного авторским «я» и поддержанного излюбленным стернианским принципом произвольной ассоциации, иронически высмеивается самим Нервалем в заключительных «Размышлениях», где в форме диалога с читателем выстраивается многозвенная литературная «генеалогия» повести — от Дидро и Стерна до Гомера. Автор заранее готов уступить приоритет всем этим великим писателям, признать их своими предшественниками и образцами, ибо не новизна построения сюжета, не композиция повествования составляют неповторимую индивидуальность его «Анжелики», а присущее ему одному включение своего, личного в эту повесть.

Первоначальный замысел (в журнальной публикации) объединял в одной обширной повести «Подпольные торговцы солью» две истории, хронологически и сюжетно связанные, но потом разделенные автором и включенные в состав двух совершенно разных книг: «История аббата де Бюкуа», с ее линейно развивающимся сюжетом, сказалась в одном ряду с другими биографическими очерками «Иллюминатов», история Анжелики заняла как бы подчиненное место в повествовании, гораздо более сложном по своей художественной структуре («Дочери огня»). Непосредственно выраженное присутствие автора с его собственными заботами, интересами, неудачами и тревогами чрезвычайно симптоматично для той книги, которую открывает собой «Анжелика» — последней прижизненной книги Нерваля, окрашенной глубоко лирическим переживанием. Не случайно завершал эту книгу цикл сонетов «Химеры».

V

Расшатывание строгой сюжетной формы, яснее всего сказавшееся в «Анжелике», отчасти связано с журналистской деятельностью Нерваля. На протяжении двух с лишним десятилетий он регулярно сотрудничал в газетах и журналах, помещая там свои рецензии, статьи, очерки, рассказы. Большие произведения печатались в виде распространенных в ту пору «романов-фельетонов» (то есть попросту романов с продолжением, следовавшим из номера в номер). Нерваль блестяще владел жанром эссе, гибким и свободным, отточенным и непринужденным. Вместе с тем отдельные зарисовки и наброски легко складывались в циклы, объединенные общей темой — описательной или биографической — и, как всегда, неповторимой личностью и манерой рассказчика. Так возникли сборники «Прогулки и воспоминания», «Октябрьские ночи», «Маленькие замки богемы». Некоторые миниатюрные

сюжеты или жанровые зарисовки переключивались из одного цикла в другой — вольная композиционная форма допускала такую перестановку. В этих циклах Жерар предстает как иронический и меткий наблюдатель, мастер остроумной беседы, но иногда в тон непринужденной светской болтовни врываются лирические нотки, заставляющие нас вспомнить автора «Иллюминатов» и «Дочерей огня».

Особое место в этих бессюжетных циклах занимают «Венские похождения», составившие значительную часть вступления к «Путешествию по Востоку». Они возникли как отдельные очерки, заметки, корреспонденции, появлявшиеся первоначально в периодической печати. Сюжетно-биографическая линия, с которой, собственно, начинаются «Венские похождения», выдержана в том же непринужденно-игривом и слегка ироническом ключе, который свойствен Нервалю-журналисту. Он нисколько не принимает всерьез случайных красавиц, с которыми пытается завязать знакомство на улицах Вены, в отелях или у входа в театр. Они естественно вписываются в пеструю венскую толпу, в непривычную панораму незнакомого города, шумного, певучего и разноязыкого, нарядного и наивного, но таящего под покровом безудержных развлечений свои трагедии, свой надрыв. Картины народных гуляний и балов, великосветских приемов и концертов сменяются далеко не радужными зарисовками социальной и политической жизни австрийской столицы, этого «европейского Китая», непостижимого и закрытого даже для проницательного ока французских дипломатов и репортеров. Вена меттерниховской полиции и жесткой цензуры, любезная и радушная по отношению к французской художественной элите, но высокомерно-пренебрежительная в обращении со своими артистами и писателями, — такой увидел ее Нерваль за восемь лет до революции 1848 г.

Преподнося французскому читателю свои венские впечатления в доходчивой и живописной форме, Нерваль там и тут вставляет свои суждения, замечания, прогнозы относительно политической ситуации в Австрии. Не все эти прогнозы подтвердились. Но общее ощущение напряженности и неблагополучия, подспудного брожения не обмануло писателя. Многие из его венских впечатлений, воспринятых, казалось бы, в бытовом аспекте, складываются в целостную картину, образующую социально-психологический фон предреволюционного десятилетия. Они предстают как своеобразная иллюстрация к той обобщающей социально-политической характеристике положения Австрии накануне 1848 г., которая десять лет спустя будет дана Ф. Энгельсом в «Революции и контрреволюции в Германии».

Журналистская манера Нерваля ближе всего напоминает стиль и композиционные приемы публицистики Гейне: непринуж-

денное и, казалось бы, беспорядочное чередование внешних зарисовок и собственных суждений и оценок, миниатюрные сюжетные вкрапления, иногда анекдотического свойства, диалогические сценки, заостренные портреты — социально типизированные или индивидуальные — известных политических деятелей, артистов, литераторов — и неизменно присутствующее авторское «я», создающее композиционный стержень и внутреннюю стройность этого разнородного материала.

VI

Кульминацией поэтического творчества Нерваля является цикл «Химеры». Именно он определил его облик как лирического поэта в сознании последующих поколений, его место в истории французской поэзии.

Стихи начала 1830-х гг., когда Нерваль, порвав с позднеклассицистической эпигонской традицией, впервые обрел свой голос, резко выделялись на фоне декоративной, ярко расцвеченной поэзии ранних сборников Гюго с их пышной экзотикой и виртуозным обыгрыванием метрических форм. Простота и прозрачность восприятия природы («Апрель», «Пробуждение в почтовой карете», «В чащобе лесной», «Почтовая станция»), задушевная искренность в трактовке интимных, «домашних» тем («Бабушка»), иногда окрашенных легкой иронией, жанровые и бытовые зарисовки — эти черты отчасти уже проявились до Нерваля в сборнике Сент-Бёва «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» (1829), но в гораздо более многословной и поэтически менее выразительной форме. Однако тенденция сближения поэзии с «малой прозой», характерная для сборника Сент-Бёва, не получила развития в лирике Нерваля. Этому отчасти противостояло музыкальное, песенное начало, идущее от фольклора и от поэзии немецких романтиков. Оно проявилось в многочисленных песнях для опер или драм («Подземный хор», «Готическая песня», «Черногорская песня» и др.), в вольных подражаниях Уланду и другим немецким поэтам. Но главная причина была в той многоплановости и усложненной ассоциативности, которая ощущается уже в ранней «Фантазии», в «Черной точке» и получит свое полное воплощение в поздних стихах. Молодой Жерар отдал дань и социальной проблематике, характерной для первых после-революционных лет («Господа и лакеи», 1832).

Биографический и идейно-философский фон «Химер» определяется теми же романтическими концепциями высокой и таинственной любви, слиянием реально пережитого и обобщенно-мифологизированного, которые проявились в его повестях. Перенесенные Нервалем тяжелые потрясения, приступы психического

помрачения символически осмысляются им как нисхождение в царство мертвых — отсюда мотивы смерти и торжества над ней («El Desdichado»), подземного царства и его мифологических атрибутов.

Избранная Нервалем форма сонета как нельзя лучше соответствовала напряженному трагизму и философской насыщенности цикла. Она была освящена образцами Данте и Петрарки и всей идущей от них ренессансной традицией. Строго заданные рамки двух четверостиший и двух трехстиший требовали сжатости выражения и многоплановой емкости образов. За каждой строкой такого сонета выстраивается уходящий в глубь истории и мифологии ряд ассоциаций, имеющих для Жерара глубокий мировоззренческий смысл. Имя древнеегипетского божества или средневекового рыцаря означает легендарного предка — физического или духовного, — одного из многоликих перевоплощений поэта. Оно вмещает сложную символику, иносказательно обозначающую вехи внутренней и внешней биографии поэта, его место в мире реальном и в том, который создан его воображением. Нередко в поэтическую ткань сонета вплетается чужой голос — цитата или реминисценция, которая привносит в новый поэтический контекст свой мир художественных образов и ассоциаций, — так, в сонете «Дельфика», построенном, казалось бы, целиком на античных мотивах, явственно звучат строки из гетевской «Песни Миньоны»: «Ты знаешь край...», а «цитатное» заглавие сонета: «El Desdichado» — возвращает нас к эпохе крестовых походов, описанной в «Айвенго» Вальтера Скотта. Меланхолия в том же сонете — не просто состояние духа, но и образ глубоко символической гравюры Альбрехта Дюрера, сохранившей свое зловещее обаяние и для сынов более позднего времени — вспомним героя последнего романа Томаса Манна композитора Адриана Леверкюна, этого «доктора Фаустуса» XX века, повесившего ее на стене своей комнаты. Померкшая звезда (*étoile*) (мы выделяем те образы, которые сам Жерар выделил курсивом) — не только общепозитивская метафора любимой женщины, это еще и имя актрисы в «Комическом романе» Скаррона, который Жерар попытался продолжить в своем незаконченном «Трагическом романе». Тем самым этот образ вдвойне соотносится с Женни Колон.

Композиционное расположение этих сложных символов, в особенности в сонете «El Desdichado», напоминает композицию герба, в котором разнородные элементы, имеющие эмблематическое значение, образуют единое смысловое и образное целое. Для Нерваля, увлекавшегося конструированием генеалогий и геральдикой, этот принцип был близким и органическим.

Особое место в этом ряду занимает цикл из пяти сонетов «Христос на Масличной горе». Евангельский мотив «моления о

чаще», многократно использованный в мировой литературе, трактуется здесь в типичном для Нерваля неканоническом духе. Толчком послужил фрагмент из романа немецкого писателя Жан-Поля «Зибенкэз», представляющий совершенно самостоятельную, не связанную с остальным содержанием романа вставку — «Речь мертвого Христа с вершины мироздания о том, что бога нет». Заглавие это получило у Нерваля отражение в эпиграфе к окончательному тексту, напечатанному в «Химерах» (см. примеч. к этому сонету). Первоначально Нерваль познакомился с фрагментом из Жан-Поля по переводу в книге госпожи де Сталь «О Германии». В дальнейшем он сам не раз обращался к Жан-Полю и переводил другие отрывки из его сочинений. Философская парадоксальность «Речи мертвого Христа» привлекла внимание и других французских романтиков. В том же 1844 г., что и Нерваль, Альфред де Виньи опубликовал свою поэму «Масличный холм», написанную также под влиянием немецкого автора. Однако в своей трактовке сюжета он оказался как бы на полпути между каноническим евангельским текстом и «еретическим» Жан-Поля. Нерваль пошел дальше Виньи в своем отрицании христианской идеи. Кризис традиционного вероучения, крушение идеалов, узаконенных и завещанных от века, облечены здесь все в ту же строгую, не допускающую многословия сонетную форму, только на этот раз свободную от усложненной и зашифрованной символики, присущей другим стихам «Химер».

VII

Обширное литературное наследие Жерара де Нерваля далеко не сразу стало достоянием читающей публики, критики и истории литературы. В поле зрения оставались длительное время лишь изданные при жизни и сразу после смерти большие книги. Затем последовал ряд текстологических открытий, растянувшихся на десятилетия, — публиковались неизвестные, оставшиеся в рукописи стихотворения и варианты, извлекались из затерянных старых журналов забытые очерки и рассказы. Были периоды, когда личность и трагическая судьба Нерваля явно заслоняли в сознании последующих поколений его поэтическую индивидуальность. «Романизированные» биографические очерки о нем конструировались по следам произведений, как это некогда было с биографиями средневековых провансальских трубадуров.

Прочный фундамент в изучении жизни и творчества Нерваля заложила обширная монография французского литературоведа Аристида Мари, вышедшая в 1914 г., и предпринятое им в конце 1920-х гг. вместе с другими учеными научно-критическое издание сочинений писателя. Публикации 1950-х гг. — издания текстов

(в серии «Библиотека „Плеяды"», изд. Галлимар, 1956, и Гарнье, 1958), критическая исследования существенно пополнили современное представление о творчестве Нервала.

В России знакомство с Нервалем долгое время ограничивалось случайными переводами — чаще всего по свежим следам французских публикаций. Так, например, была переведена «Достоверная история утки» в составе альманаха «Бес в Париже», выпущенного в 1846 г. в Петербурге сразу же после выхода французского оригинала. Тогда же в журналах «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки» были напечатаны отрывки из «Путешествия по Востоку». Исторический роман «Король шутов» (из эпохи Карла VI), изданный во Франции посмертно в 1889 г., был в том же году переведен Е. Гаршиным сначала в качестве приложения к «Историческому вестнику», а в 1890 г. вышел отдельным изданием. Из поэтического наследия Нервала внимание русских символистов привлекли «Фантазия» и «Эпитафия» (перевод В. Брюсова). Новеллы «Сильвия», «Октавия», «Изида», «Аврелия» вышли в 1912 г. в переводе П. Муратова.

Однако, при всей скудости этого переводческого освоения, лирика Нервала не прошла бесследно для русской поэзии XX в. Ее отзвуки явственно ощущаются в стихах О. Мандельштама, а в позднем стихотворении Анны Ахматовой «Предвешенная элегия» эпиграфом служит строка из «El Desdichado». В ее биографических заметках упоминается «Жерар де Нерваль на стене» в доме на Фонтанке, где Ахматова жила в начале 1920-х гг. Сложная, многоплановая образность Нервала, пронизанная множеством историко-культурных ассоциаций, оказалась чрезвычайно близкой творческому сознанию этих поэтов.

В 1974 г. в журнале «Иностранная литература» появилась первая подборка стихотворений Нервала (пер. М. Кудинова), затем последовали немногочисленные другие переводы в различных антологиях и сборниках. В 1984 г. вышел сборник его театральных рецензий и статей, включающий также и значительное число стихотворений (Жерар де Нерваль. Избранное. М.: Искусство, 1984, пер. М. Кудинова). Однако проза Нервала до сих пор остается неизвестной нашему читателю. Настоящая книга — первая попытка представить на русском языке многообразное, многожанровое творчество замечательного французского поэта, новеллиста, эссеиста.

Н. Жирмунская

Нобелы



Из книги „Иллюминаты“

БИБЛИОТЕКА МОЕГО ДЯДЮШКИ

Вступление к книге «Иллюминаты»

Не всякому по плечу написать «Похвалу глупости», но можно, не будучи при этом ни Эразмом, ни Сент-Эвремоном, извлечь, просто удовольствия ради, из гуши веков ту или иную необычную фигуру и попробовать искусно ее подновить — реставрировать старинное полотно, причудливая композиция и выцветшие краски которого способны вызвать у заурядного любителя лишь снисходительную усмешку.

Мне захотелось в наши дни, когда жанр литературных портретов пользуется особым успехом, воссоздать человеческий облик некоторых чудаков от философии. Ни в коей мере не собираюсь я ополчаться на иных последователей их, ныне страдающих оттого, что слишком рано или слишком безрассудно попытались осуществить мечты этих сумасбродов. Предлагаемые аналитические жизнеописания написаны были мною в различные периоды моей жизни, но все они должны были бы составить одну серию.

Я воспитывался в провинции у старого дядюшки, у которого была библиотека, частично образовавшаяся еще во времена первой нашей революции. Впоследствии он велел стащить на чердак великое множество книг, изданных чаще всего без указания автора еще при монархии, или те, которые в революционные годы не попадали в публичные библиотеки. Вероятно, при подборе этого рода сочинений дядюшка мой руководствовался некоторой своей склонностью к мистицизму в ту пору, когда официальной религии уже не существовало — в более поздние годы он, видимо, переменялся в своих взглядах и в вопросах веры довольствовался умеренным деизмом.

Шаря по всему дому в поисках книг, я в конце концов набрел на эти сваленные и позабытые на чердаке груды томов, частично изгрызенных крысами, полуист-

левших или намокших от дождевой воды, просачивающейся сюда с крыши; мальчиком я немало наглотался этой неудобоваримой или вредоносной духовной пищи, да и позднее разум мой не однажды вынужден был преодолевать эти изначальные свои впечатления.

Быть может, проще всего было бы и не вспоминать о них, но, я полагаю, нет ничего лучше, как поскорее освободиться от того, что смущает и отягощает наш разум. К тому же не стоит разве поискать некое разумное начало даже в сумасбродстве, даже в глупости? Для того хотя бы, чтобы не принимать за новое то, что уже очень старо.

Исходя из этих соображений, я и старался касаться главным образом тех сторон жизни и характеров моих чудаков, которые представлялись мне наиболее интересными, а может быть, и поучительными. Исследовать неразбериху человеческой души значит заниматься физиологией нравственности — труд не менее важный, чем труд естествоиспытателя, палеографа или археолога. И раз уж я за него взялся, сожалеть об этом я стал бы лишь в том случае, если бы он остался незавершенным.

История XVIII века могла бы, разумеется, обойтись и без этих очерков; но в них можно почерпнуть ту или иную неожиданную подробность, которой добросовестный историк не вправе пренебрегать. Эпоха эта повлияла на нас больше, чем это можно было ожидать. Хорошо ли это, плохо ли? Кто знает!

Бедный мой дядюшка частенько говаривал: «Семь раз надобно повернуть во рту языком, прежде чем начать говорить».

А что надобно делать, прежде чем браться за перо?

КОРОЛЬ БИСЕТРА

Век XVI

РАУЛЬ СПИФАМ

Глава первая

ПОРТРЕТ

Мы расскажем здесь о безумии одного очень странного человека, жившего в середине XVI столетия. Рауль Спифам сеньор де Гранж был сюзереном без сеньории, каких немало уже расплодилось в ту пору войн и дворянского разорения, коснувшегося самых благородных родов Франции. Отец не оставил ему, так же как и его братьям Полю и Жану, отличившимся впоследствии на различных поприщах, почти никакого состояния, и Рауль, еще совсем юношей, послан был в Париж, где изучил право и сделался адвокатом. Когда Генрих II после кончины своего прославленного отца Франциска стал королем, он сразу же по окончании парламентских вакаций, последовавших за восшествием его на престол, прибыл в парламент, дабы лично присутствовать на открытии заседания судебных палат. Рауль Спифам скромно сидел в последнем ряду собрания среди младших клерков, отличаясь от них лишь своим белым нагрудником доктора права. Генрих II восседал на самом высоком месте, выше первого президента; он был в своей расшитой золотом по голубому полю мантии французских королей, и не было в зале человека, который не залюбовался бы приятностью и благородством его черт, несмотря на болезненную бледность, отличавшую всех государей этого королевского рода. Латинская речь достопочтенного хранителя печати в тот день была очень длинной. Рассеянный взгляд короля, которому наскучило пересчитывать то склоненные перед ним головы магистратов, то резные украшения на потолке, наконец задержался на сидевшем в самом конце зала человеке, чье необычное лицо было как раз ярко освещено солнечным лучом; и мало-помалу глаза всех присутствующих тоже устремились к тому, кто столь явно привлек к себе внимание государя. Человеком этим был Рауль Спифам.

Генриху II показалось, будто прямо против него нахо-

дится портрет, в точности изображающий его особу, с той только разницей, что изображен он не в голубом, а в черном одеянии. Все присутствующие тоже обратили внимание на то, как разительно молодой адвокат похож на короля, и так как существует поверье, будто человеку незадолго до смерти иногда является собственный его образ в траурной одежде, государь до самого конца заседания выглядел несколько встревоженным. Выходя из парламента, он велел разузнать, что это за человек, и окончательно успокоился лишь после того, как узнал имя, занятие и происхождение своего двойника. Однако он не выразил желаний познакомиться с ним, а возобновившаяся вскоре после того война с Италией вытеснила из его памяти это странное впечатление.

Что до Рауля, то с этого дня товарищи по ремеслу стали обращаться к нему не иначе как «сир» и «ваше величество». Эти шутки так часто повторялись по всякому удобному поводу — как это водится среди молодых чиновников, которые всегда рады случаю поразвлечься и посмеяться, — что впоследствии в этом постоянном подшучивании стали видеть одну из главных причин умопомешательства Рауля, толкавшего его на разного рода несуразные поступки. Так, однажды он позволил себе выразить свое недовольство первому президенту по поводу несправедливого, с его точки зрения, приговора по делу о наследстве, за что был на время отстранен от своих обязанностей и присужден к уплате штрафа. Несколько раз он осмелился также в своих защитительных речах оспаривать законы королевства или мнения влиятельных особ, а иной раз и вовсе уклонялся от существа разбираемого дела, высказывая весьма дерзкие мысли о правлении государством и не всегда почтительно отзываясь о королевской власти. Кончилось все это тем, что верховные судьи, не найдя для него никакой иной меры пресечения, запретили ему впредь заниматься своим ремеслом. Но Рауль Спифам взял с тех пор привычку ежедневно являться в приемную комнату суда и, останавливая там встречного и поперечного, излагать свои планы преобразований и жаловаться на судей. Дело дошло до того, что братья Спифама и его дочь вынуждены были ходатайствовать перед судом о лишении его гражданских прав; только благодаря этому обстоятельству он вновь получил доступ в залу суда.

Событие это произвело в нем огромный переворот; до тех пор безумие его было только своего рода проявлением здравого смысла и логического мышления, душевное

расстройство сказывалось лишь в его неразумном поведении. Но если вызванный в суд Рауль Спифам был полупомешанным, то Рауль Спифам, вышедший из зала суда после приговора, был уже самым настоящим безумцем, одним из тех безнадежных больных, которыми заполнены дома умалишенных. Перед заседанием Рауль в качестве бывшего адвоката позволил себе предварительно обратиться к некоторым судьям со страстным увещанием, приводя в пример Софокла и других древних, тоже в свое время обвиненных собственными детьми, а также всякие другие, в высшей степени убедительные аргументы. Но судьба рассудила иначе. Уже у самых дверей зала заседаний Рауль внезапно услышал шепот множества голосов: «Король! Король! Дорогу королю!» Это насмешливое прозвище, весь издевательский смысл которого в эту минуту должен был быть ему особенно ясен, произвело на его смятенный мозг действие, подобное действию внезапно отпущенной пружины, — рассудок его помутился окончательно, и в зал суда с адвокатской шапочкой на голове величавой походкой вступил человек в полном смысле слова «поврежденный умом», как говорилось о Трибуле, и с истинно королевской важностью уселся на скамью.

Обратившись к советникам, он назвал их «любезными своими подданными» и удостоил прокурора Ноэля Брюло весьма милостивого приветствия. Что касается его самого, Рауля Спифама, то он стал искать себя в зале, выразил сожаление по поводу своего отсутствия, осведомился о собственном здоровье, все время говоря о себе в третьем лице и именуя «нашим другом Раулем Спифамом, о коем никому не дозволено отзываться непочтительно». В зале поднялся шум, послышались крики негодования, прерываемые шутливыми возгласами одобрения, которыми сидевшие позади забавники старались еще более утвердить Рауля в его безумных идеях, и судьям с трудом удалось восстановить порядок, приличествующий судебному заседанию. Приговор напрашивался сам собой, и в заключительной его части судьи препоручили беднягу заботам и искусству врачей. Вслед за тем его под надежной охраной повели в дом умалишенных. По пути туда он раскланивался направо и налево, приветствуя своих добрых парижан.

Это судебное дело вызвало интерес при дворе. Король, который не забыл о своем двойнике, велел пересказать себе речи Рауля и, услышав, что импровизированный государь вел себя с приличествующей монарху величавостью, молвил: «Тем лучше, что тот, кто имеет честь быть

нашим подобием, ничем не бесчестит этого сходства». И он повелел, чтобы с бедным безумцем хорошо обращались, не выразив, однако, желания вновь увидеть его.

Глава вторая ОТРАЖЕНИЕ

Больше месяца сопротивлялся рассудок Рауля завладевшему им безумию, время от времени безжалостно разрушая его золотые сны. Если днем, сидя на своем тюфячке, он все же иногда отдавал себе отчет в печальном своем тождестве с самим собой, если ему удавалось тогда понять, кто он, признать себя, осмыслить свое положение, — ночью это реальное существование вытеснялось удивительными сновидениями, и он начинал жить какой-то иной, фантастической, ни с чем не сообразной жизнью, подобно тому бургундскому крестьянину, который, будучи перенесенным во сне в замок своего герцога, проснулся утром окруженный почестями, как если бы он стал самим государем. Каждую ночь Спифам становился настоящим Генрихом: он жил в Лувре, производил смотр войскам, возглавлял Большой совет или сидел во главе роскошного пиршественного стола. Тогда он порой вспоминал о некоем адвокате из Дворца правосудия сеньоре де Гранж, к которому испытывал живейшую симпатию. Ночи не проходило без того, чтобы к утру адвокат этот не получил какого-либо явного доказательства королевского благоволения: то удостоивали его должности президента, то жаловали хранителем печати, то награждали орденом. Спифам ни минуты не сомневался в том, что его сновидения и есть настоящая жизнь, а неволя, в которой он живет, — не более как сновидение, ибо рассказывают, что по вечерам он часто повторял: «Мы плохо почивали нынешней ночью. О, какие печальные сны!»

Все, кто знакомился впоследствии с удивительными подробностями этого странного существования, склонны считать, что несчастный стал жертвой тех магнетических чар, в природе которых наука стала ныне лучше разбираться. Являя собой внешне точное подобие короля, полное отражение своего двойника, Спифам был потрясен этим изумившим всех сходством и, встретившись глазами с государем, внезапно ощутил в себе некое второе «я»; уподобив себя ему взглядом, он вслед затем отождествил себя с ним и мыслью и с этой минуты вообразил, что он тот самый человек, который 16 июня 1549 года вступил

через украшенные коврами городские ворота Сен-Дени в Париж, сопровождаемый такой артиллерийской пальбой, что дрожали стены домов. Он также был весьма удовлетворен увольнением в отставку президентов парижского парламента — достопочтенных Лиже, Франсуа де Сент-Андре и Антуана Менара. Это была небольшая дружеская услуга, которую Генрих оказал Спифаму.

Мы с интересом отмечаем все этапы этого странного безумия; они не могут не привлечь внимания той науки, что занимается явлениями душевной жизни, столь охотно исследуемой философами, — покуда, увы, она только и умеет, что фиксировать последствия и результаты, предаваясь бесплодным рассуждениям о причинах, которые господь таит от нас. Вот удивительный эпизод, рассказанный одним из больничных надзирателей главному лекарю дома умалишенных. Этот надзиратель, которого наш узник с истинно королевской широтой щедро вознаграждал за услуги из жалких грошей, выплачивавшихся ему после секвестрации его имущества, старался, как мог, украшать каморку Спифама и однажды принес туда старинное зеркало из полированной стали — всякие другие зеркала были запрещены из опасения, как бы умалишенные не порезались, если вдруг вздумают их разбивать. Сначала Спифам не обратил на него особого внимания. Но когда наступили сумерки и он принялся, как обычно, грустно ходить взад и вперед по своей каморке, собственное отражение в зеркале внезапно заставило его остановиться. Вынужденный в эту минуту бодрствования верить в свое реальное существование, столь неоспоримо подтверждаемое толстыми стенами его тюрьмы, он вдруг увидел, как откуда-то издалека, из какого-то дальнего коридора, приближается к нему король и, остановившись, говорит что-то через тюремное окошечко, словно соболезнуя его судьбе. Спифам поспешил поглубже склониться перед ним; когда же он выпрямился и взглянул на мнимого государя, то явственно увидел, что и тот тоже выпрямляется, а это означало, что король ему поклонился, от чего сердце Спифама исполнилось несказанной радости и безграничной гордости. И тогда он начал пространно и подробно излагать свою жалобу на предателей, что довели его до теперешнего положения, не иначе как предварительно оклеветав перед Его Величеством. Он даже заплакал, несчастный дворянин, доказывая свою невиновность и моля сокрушить своих недругов, и это, как видно, глубоко тронуло короля, ибо блестящая слеза вдруг покатилась вдоль

его королевского носа. Лицо Спифама запылало от счастья, а король приветливо улыбнулся ему и протянул руку; Спифам простер к нему свою, и тут зеркало, не выдержав толчка, сорвалось со стены и упало наземь со страшным грохотом, на который сбежались надзиратели. Этой же ночью, во сне, бедный безумец отдал приказ незамедлительно освободить Спифама, несправедливо заточенного в тюрьму по ложному обвинению в том, будто он, Спифам, пользуясь благоволением к нему государя, вознамерился посягнуть на права и привилегии своего друга и повелителя; и еще он повелел учредить высшую должность «старшего надзирателя над королевской печатью» для вышеупомянутого Спифама, которому отныне поручалось навести порядок в делах королевства. Все происшедшее произвело сильнейшее потрясение в больном мозгу Рауля, и несколько дней он пролежал в жестокой горячке. Умопомрачение его было столь глубоким, что лекарь встревожился и распорядился перевести безумца в другое помещение, более обширное, где, как полагали, общество других больных сможет хотя бы иногда отвлекать беднягу от его обычных бредней.

Глава третья ПРИДВОРНЫЙ ПОЭТ

Ничто лучше истории Спифама не доказывает, насколько правдиво нарисован образ столь знаменитого в Испании безумца, который был безумен лишь частью своего рассудка, ибо весьма здравомыслящ и последователен во всем остальном; совершенно ясно, что он отчетливо сознавал себя собой, в отличие от заурядных сумасшедших, которые перестают помнить, кто они такие, и твердо верят, что они именно те, кем себя воображают. Спифам перед зеркалом воспринимал себя иначе, чем в сновидениях, меняя свое «я» в зависимости от той ипостаси, в которой в эту минуту находился, — двуединое и вместе с тем раздвоенное существо, каким иногда мы ощущаем себя во сне. Впрочем, как мы уже говорили, история с зеркалом имела своим следствием весьма бурную горячку, после которой больной оставался в меланхолическом и угнетенном расположении духа, что и навело на мысль о необходимости дать ему собеседника.

К нему в комнату впустили плешивого человечка с беспокойным взглядом, который, со своей стороны,

воображал себя королем среди поэтов и чье безумие проявлялось главным образом в том, что всякий попадавший ему на глаза клочок бумаги или кусок пергамента, на котором написано было что-либо не его рукой, он тут же разрывал на мелкие кусочки, подозревая, что это стихи его соперников-поэтов, злодеев, якобы лишивших его милости короля Генриха и всего двора. Решено было ради забавы свести вместе этих двух необычных сумасшедших и посмотреть, что из этого получится. Вошедшего звали Клодом Винье, и он величал себя «королевским поэтом». Впрочем, это был весьма безобидный малый, довольно ловко сочинявший стихи, которые, быть может, вполне заслуживали того места, на которое сам он мысленно их возносил.

Войдя в комнату Спифама, Клод Винье остолбенел — волосы у него встали дыбом, глаза остановились; он сделал шаг вперед и упал на колени.

— Ваше Величество! — вскричал он.

— Встаньте, друг мой, — сказал Спифам, с достоинством запахивая свой камзол, который успел надеть еще только на одну руку, — кто вы?

— Неужто не узнаете вы смиреннейшего из ваших подданных и величайшего из ваших пиитов, о великий король? Я — Клод Винье, один из поэтов «Плеяды», автор знаменитого сонета, обращенного к «вьющимся кудрям воли...» О сир, отместите за меня злодею Меллену де Сен-Желе, этому предателю, погубителю моей чести!

— Что я слышу! Любимому моему поэту, хранителю моей библиотеки?

— Он вор, государь! Он похитил у меня сонет! Вкравшись в ваше доверие...

— Так, значит, он плагиатор? В таком случае я намерен назначить на эту должность моего доброго Спифама, который в настоящее время путешествует по делам королевства.

— Отдайте ее лучше мне, государь! И славу о вас я разнесу по всей земле, от востока до запада...

О сир, хвалу тебе мой стих увековечит...

— Назначаю вам тысячу экю ежегодно и мой старый камзол, ибо ваш совсем прохудился.

— Государь, я вижу, что от вас доселе скрывали мои сонеты и послания, кои все до единого были посвящены вам. Так уж исстари ведется при королевских дворах, этом

Сплетении интриг и темных сил кишенье...

— Сеньор Клаудиус Виньетус, отныне вы всегда должны находиться при мне; назначаю вас своим министром, вы будете перелагать на стихи мои приказы и ордонансы, что позволит увековечить их. Но вот наступает час, когда нас посещает любезная наша Диана, и, как вы понимаете, вам надлежит оставить нас наедине.

И Спифам, спровадив поэта, сладко заснул на своем тюфяке, ибо имел обыкновение поспать часок после еды.

Прошло несколько дней, и оба безумца стали неразлучны — каждый из них понимал другого и поддерживал в нем его представление о себе самом, ни на минуту не сомневаясь в присвоенных им себе качествах. Для одного этот поэт был воплощением славословия, которым всяческими способами ублажают королей царедворцы, поддерживая в монархе сознание собственного величия. Для другого необычайное сходство являлось неоспоримым доказательством, что он пребывает перед лицом самого короля. Вокруг него была уже не тюрьма, а дворец, жалкие отрепья превращались в сверкающие золотом одежды, больничная пища — в роскошные пиршества, на которых вперемежку со звуками виолы и рога раздавались сладкозвучные стихи, воспевающие государя.

Спифам после своих сновидений бывал общителен, Винье одушевлялся главным образом после трапезы. Как-то король поведал поэту о том, сколько ему пришлось вытерпеть от студентов, этих скандалистов и зубоскалов, в другой раз изложил ему свои планы в отношении войны с Испанией, но более всего был он озабочен, как мы увидим ниже, вопросами упорядочения и украшения столицы, крыши домов которой виднелись вдалеке из больничных окон.

На Винье порой находили минуты просветления, и тогда он весьма отчетливо различал скрежет железных решеток, лязг открываемых и запираемых замков и задвигаемых запоров, и это навело его на мысль, что Его Величество иногда держат взаперти; сим разумным наблюдением он поделился со Спифамом, который с таинственным видом ответил, что его министры затеяли опасную игру, но он догадывается об их заговоре, и, как только вернется из поездки его хранитель печати, все пойдет по-иному; что с помощью Рауля Спифама и Клода Винье, единственных своих друзей, он выйдет из заточения и возродит золотой век, воспетый поэтами.

В ответ на это Винье тут же сочинил четверостишие, которое преподнес королю в качестве залога грядущей его славы и всеобщего благоденствия:

Своим теплом поля и всходы оживляя,
Ты птицам жизнь несешь и овнам тучных стад.
В твоих лучах холмы, где вьется виноград,
Взбухают сладостью и соком урожая!

Поскольку, однако, освобождение все не наступало, Спифам счел наконец необходимым довести до сведения своего народа о том, что несколько вероломных советников держат в неволе их короля; он сочинил воззвание, в коем призвал всех честных подданных подняться на его защиту; одновременно он выпустил несколько весьма суровых ордонансов и эдиктов; слово «выпустил» здесь весьма уместно, ибо свои «хартии» он именно выпускал, словно голубей, в окно, заворачивая их в камушки и просовывая между железными перекладами. К сожалению, одни из них падали прямо на крышу свинарника, расположенного под самым их окном, другие терялись среди густой травы внутреннего двора больницы и лишь некоторые, не раз перекувырнувшись в воздухе, опускались, словно птицы, на липу, растущую по ту сторону больничной стены, и застревали в ее листве. Впрочем, их никто не заметил.

Видя, что столь многочисленные обращения к народу приносят столь малые плоды, Клод Винье решил, что воззвания не вызывают доверия, и только потому, что они написаны от руки, и тут же занялся учреждением королевской типографии, дабы можно было печатать и королевские эдикты, и собственные стихи. Ввиду того, что он не располагал для этого необходимыми средствами, ему пришлось наново изобретать и осваивать искусство книгопечатания. Ценой бесконечного терпения ему удалось вырезать из дерева двадцать пять букв, которыми он пользовался, чтобы, оттискивая букву за буквой, печатать ордонансы, волей-неволей весьма короткие: типографской краской служила ему смесь масла с ламповой копотью.

С тех пор официальные сообщения стали появляться чаще и в гораздо более приличной форме. Некоторые из этих документов, которые были сохранены и впоследствии несколько раз перепечатаны, весьма любопытны, в частности, тот, где сообщается, что король Генрих II в своем Совете, принимая во внимание жадобы почтенных граждан королевства на вероломные и несправедливые поступки Поля и Жана Спифамов, родных братьев вер-

ного его слуги, носящего то же имя, приговаривает их обоих к пытке раскаленными щипцами, сдиранию кожи и сожжению. Что касается неблагодарной дочери Рауля Спифама, то ее предписывалось всенародно высечь у позорного столба и навсегда заключить в приют для падших женщин.

Одним из самых незабываемых документов того времени является ордонанс, где Спифам, не забывший судьям их первого постановления, согласно которому ему возбранялся вход в приемную суда ввиду того, что он позволяет себе там разглагольствовать неблагоприятным и непозволительным образом, повелевает от имени короля всем судебным приставам, стражам и членам судейской корпорации беспрепятственно пропускать в вышеуказанную приемную друга и верноподданного короля Рауля Спифама, воспретив при этом стряпчим, адвокатам и всяким наглецам прерывать течение его непревзойденного красноречия или препятствовать его беседам как по вопросам политики, так и по любым другим, по коим ему угодно будет высказывать свое мнение.

Другие его эдикты, приказы и ордонансы, дошедшие до нас как якобы опубликованные Генрихом II, трактуют о правосудии, о финансах, о войне, а особенно — о наведении порядка в городе Париже.

Со своей стороны, Винье напечатал, сверх того, несколько эпиграмм против своих соперников в поэзии, успев за это время получить от короля все их должности, бенефиции и пенсии. Нужно сказать, что никого на свете, кроме друг друга, не видя, оба приятеля без усталости занимались тем, что один выпрашивал себе милостей, а другой щедро их ему оказывал.

Глава четвертая

БЕГСТВО

Выпустив множество эдиктов и воззваний к добрым парижанам, пленники в конце концов начали удивляться, просыпаясь каждое утро все в том же месте и не замечая ни малейших признаков народного волнения. Спифам склонен был объяснить такое отсутствие успеха бдительностью своих министров, а Винье — непрекращающимися кознями ненавистных Меллена и Дю Белле. Типография несколько дней не работала. Надо было принимать решительные меры: речь шла уже о государственном

перевороте. Эти два человека, которым и в голову бы не пришло бежать ради того, чтобы быть свободными, замыслили наконец план побега с целью раскрыть глаза парижанам, а также внушить им презрение к «Софонизбе» Сен-Желе и «Франсиаде» Ронсара.

Они принялись отдирать снизу решетку у окна — потихоньку, стараясь, чтобы никто их не заметил; это было тем легче, что они слыли спокойными, терпеливыми и довольными своей участью. Когда приготовления были закончены, типография заработала снова: пасквили в четыре строки, зажигательные воззвания и стихотворения для избранных должны были стать частью их снаряжения. И вот однажды около полуночи Спифам обратился к своему наперснику с краткой, но энергичной речью, после которой тот, привязав королевскую простыню к оставшейся нетронутой части решетки, первым соскользнул по ней вниз, а затем помог подняться на ноги Спифаму, который, спускаясь вслед за ним, на половине пути сорвался и упал в траву, не избежав при этом кое-каких ушибов. Винье удалось тут же, в темноте, нащупать старую стену, выходящую на поля; более ловкий, чем Спифам, он быстро оказался на самом ее гребне и оттуда протянул ногу своему властителю, чтобы тот, держась за нее, тоже взобрался наверх по выбоинам стены. Минуту спустя Рубикон был перейден.

Было около трех часов ночи, когда наши два вырвавшиеся на свободу героя добрались до густого леса, где можно было какое-то время скрываться от погони; но они вовсе не думали о каких-либо мерах предосторожности, полагая, что достаточно им оказаться вне стен их тюрьмы, и они тотчас же будут узнаны: один — своими подданными, другой — своими поклонниками.

Пришлось, однако, ждать, пока откроют ворота Парижа, а открывались они только в пять часов утра; уже вся дорога была загромождена повозками крестьян, везущих свои товары на рынок. Рауль из осторожности решил не открывать лица, прежде чем они не достигнут самого сердца своего верного города. Прикрыв усы полою плаща, он велел Клоду Винье поглубже надвинуть свою серую войлочную шляпу, дабы скрыть до поры до времени сияние поэтического чела.

Миновав ворота Сен-Виктор, они пошли вдоль речушки Бьевры и долго еще шагали между зеленеющими справа и слева возделанными полями; они уже подходили к острову Сите, когда Спифам признался своему фавориту,

что, разумеется, никогда не пустился бы в столь трудное предприятие и не пошел бы на это унижительное инкогнито, когда бы дело не шло о вещи, несравненно более важной, нежели собственные его свобода и могущество. Несчастный, оказывается, был во власти ревности. Кого же он ревновал? Герцогиню де Валентинуа, Диану де Пуатье, прекрасную свою любовницу, которую вот уже несколько дней не видел и которая, быть может, в этот час изменяет своему царственному поклоннику.

— Минутку, — сказал Клод Винье, — я уже мысленно складываю язвительнейшую эпиграмму, дабы покарать столь легкомысленное ее поведение. Но не зря говаривал ваш отец, король Франциск: «Женское сердце склонно к измене...»

Беседуя таким образом, они уже двигались по многолюдным улицам правого берега и вскоре вышли на довольно обширную площадь, расположенную вблизи церкви невинно убиенных и уже заполненную народом, ибо был как раз торговый день.

Увидев эту многолюдную, снующую взад и вперед толпу, Спифам не мог скрыть своей радости.

— Друг мой, — сказал он поэту, очень озабоченному в эту минуту состоянием своих башмаков, которые в пути совсем развалились, — взгляни, как волнуются уже эти рыцари и буржуа, как пылают негодованием их лица, как зреют семена недовольства и мятежа! Видишь вон того, с копьем? О несчастные, им предстоит начать гражданскую войну! И однако — в силах ли я буду приказать своим стрелкам щадить всех этих людей, нынче невинных, ибо они содействуют мне в моих намерениях, а завтра преступных, ибо, может ведь случиться, что они не признают меня?

— *Mobile vulgus*¹, — сказал Винье.

Глава пятая ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Спифам окинул взглядом площадь, и на лице его изобразились удивление и гнев. Винье спросил, на что он так гневается.

— Разве вы не видите, — возмущенно сказал король, — тот позорный столб с фонарем, который все еще стоит

¹ Чернь переменчива (*лат.*).

здесь вопреки моему ордонансу? Ведь я же отменил позорные столбы, сударь. Уже одно это — достаточное основание, чтобы дать отставку и прево, и всем эшевенам; но мы же сами ограничили свои королевские полномочия по отношению к сим должностным лицам. Что ж, пусть теперь парижский народ сам вершит над ними суд и расправу.

— Ваше величество, — заметил поэт, — не придет ли народ в еще большее негодование, когда узнает, что высеченные на этом фонтане стихи, кои сочинены поэтом Дю Белле, в одном только двустишии содержат две грубейшие ошибки в размере! *Humida sceptrā*¹ в гекзаметре, что запрещено правилами просодии, ибо противоречит Горацию, и неправильную цезуру в пентаметре.

— Эй, — завопил Спифам, не придав большого значения последним словам Винье, — сюда, добрые мои парижане, подойдите поближе и выслушайте нас!

— Сюда! Это — король, сейчас он будет говорить с вами! — вторил Винье во всю силу своих легких.

Они уже успели взобраться на высокий камень, на котором водружен был железный крест; Спифам стоял во весь рост, Клод Винье расположился у его ног. Вокруг камня начала собираться толпа; и те, кто стояли поближе приняли их вначале не то за продавцов целебной мази, не то за уличных певцов. Но тут Рауль Спифам сорвал с головы войлочную шляпу, распахнул свой плащ, и все увидели на его груди целое ожерелье орденов из стекляшек и мишуры, которые ему позволяли носить в больнице, потворствуя его неизлечимой причуде. И под ярким лучом солнца, озарявшим его лицо, невозможно было не признать в этом стоявшем на возвышении чловеке самого короля Генриха II, которого парижане время от времени видели пронсящимся верхом по улицам города.

— Да! — закричал Клод Винье изумленной толпе. — Да! Сам король Генрих стоит среди вас, а также слуга его и любимец, прославленный поэт Клаудиус Виньетус, чьи поэтические творения все вы знаете наизусть.

— Слушайте, добрые мои парижане! — прервал его Спифам. — Я поведаю вам о черной измене! Наши министры — предатели, наши судьи — изменники! Вашего возлюбленного короля держали в неволе, подобно первым ко-

¹ Здесь: заминка (лат.).

ролям нашего рода, подобно достославному нашему предку Карлу Шестому...

При этих словах по толпе прошел стон изумления. «Король! Король!» — раздавалось то здесь, то там. Все принялись наперебой обсуждать то, что они услышали; однако многие еще сомневались, и тогда Клод Винье вытащил из кармана целый ворох указов, приказов и ордонансов вперемешку с собственными стихами и принялся раздавать их толпе.

— Вот, смотрите, — восклицал король, — вот они, наши указы, мы писали их для блага народа, а они не были оглашены, не были исполнены...

— Вот, смотрите, — восклицал Винье, — вот они, те дивные стихи, что были похищены, утаены и изуродованы Пьером Ронсаром и Мелленом де Сен-Желе!

— Нашим именем притесняют буржуа и простой народ...

— Печатают «Софонизбу» и «Франсиаду», ссылаясь на привилегию, будто бы данную королём, а он вовсе ее и не подписывал...

— Послушайте этот ордонанс, здесь отменяется пошлина на соль, а вот другой, он упраздняет талью...

— Послушайте этот сонет, написанный в подражание римским поэтам...

Но никто их уже не слушал. Бумаги, передаваемые в толпе из рук в руки, читались в разных ее концах и все более привлекали сердца к Спифаму и Винье, все громче раздавались радостные клики, и кончилось все это тем, что государя и его пиита водрузили на некое наскоро сколоченное подобие трона и собрались нести обоих в здание ратуши в ожидании того часа, когда собрано будет достаточно сил, чтобы идти на Лувр, находящийся в руках изменников.

Сие народное волнение могло бы зайти весьма далеко, если бы все это не происходило в тот самый день, когда новая супруга дофина Франциска, Мария Шотландская, торжественно въезжала в Париж через ворота Сен-Дени. Вот почему как раз в то время, как Рауля Спифама несли по торговой площади, настоящий король Генрих II проехал верхом вдоль рвов Бургундского дворца. Привлеченные громким шумом толпы, несколько офицеров, отделившись от эскорта, поскакали посмотреть, что происходит, и, тотчас же вернувшись, доложили, что на торговой площади кого-то провозглашают королем. «Поедем туда — молвил король Генрих I I , — и, даю слово дворя-

нина (он клялся словом дворянина так же, как и его отец), ежели он нам ровня, мы скрестим с ним шпаги).

Однако при виде королевских пехотинцев с алебардами, внезапно появившихся из всех выходящих на площадь улочек, толпа остановилась и стала разбегаться окольными переулками. Зрелище действительно было внушительным. Свита короля выстроилась на площади в строгом порядке; близлежащие улицы были заполнены ландскнехтами, швейцарцами и стрелками. Господин де Бассомпьер стоял рядом с королем, а на груди Генриха II, сверкая алмазами, красовались высшие ордена всех дворов Европы. Толпа не могла бежать лишь потому, что сама же заполнила собою все выходы; несколько человек закричали о чуде, да и в самом деле: на площади находилось одновременно два короля Франции — оба бледные, оба горделивые и почти одинаково одетые, только «всамделишный» не так ярко блестел.

Едва всадники двинулись к толпе, началось всеобщее бегство, и только Спифам и Винье сохраняли полное спокойствие, продолжая стоять на странном возвышении, куда их водрузили; солдатам и приставам ничего не стоило их схватить.

Впечатление, которое произвело на бедного безумца лицеизрение самого Генриха, когда его к нему подвели, так его потрясло, что он тотчас же впал в иступленный бред, в котором смешивались два его существования — как Генриха и как Спифама, и он, сколько ни старался, не мог в них разобраться. Король, которому стала известна вся эта история, проникся жалостью к несчастному сеньору и велел отвезти его в Лувр, где о нем позаботились и где он долгое время возбуждал любопытство обоих дворов и, надо сознаться, порой служил им забавой.

Впрочем, король, вскоре уразумев, сколь безобидно и безопасно для него безумие Спифама, не пожелал, чтобы его отсылали обратно в дом умалишенных, где этот точно воспроизведенный образ короля мог оказаться предметом недостаточно уважительного отношения или же насмешек слуг и посетителей. Он повелел, чтобы Спифама отвезли в один из загородных замков и поселили там под охраной особо для того назначенных служителей, которым предписано было обращаться с ним, как с настоящим королем, и называть его «сир» и «ваше величество». Клода Винье поселили с ним вместе, как и прежде, а стихи «королевского поэта», так же как и новые ордонансы, кои

Спифам продолжал сочинять в своем уединении, были по приказу короля напечатаны и сохранены.

Сборник приказов и ордонансов знаменитого безумца полностью был издан при следующем царствовании под номером VII, 6, 412. Его можно также найти в «Записках общества надписей и изящной словесности», том XXIII. Любопытно отметить, что преобразования, задуманные Раулем Спифамом, в большинстве своем были позднее проведены в жизнь.

ИСТОРИЯ АББАТА ДЕ БЮКУА

Век XVII

Глава первая

ХАРЧЕВНЯ В БУРГУНДИИ

Великий век кончился — он ушел в небытие, как уходят в небытие погасшие светила, закатился подобно солнцу, ушедшему за горизонт. Людовик XIV бесславием завершал блестящую эру побед. У него постепенно отбирали все, что завоевал он во Фландрии, во Франш-Конте, на берегах Рейна, в Италии. Принц Евгений одержал победу в Германии, Мальбрук на севере... Французскому народу не оставалось ничего другого, как мстить веселой песенкой.

Служа семейному честолюбию престарелого короля, Франция вконец обессилела под неумолимым бременем налогов. Наша нация издавна благоволила к государям-воинам, а из Бурбонов и Генрих IV, и Людовик XIV как нельзя лучше подходили под эту мерку, хотя последний и имел все основания сетовать на «собственное величие, удерживающее его на здешних берегах». На худой конец, эти государи спасали свою репутацию с помощью распутства. Их любовные делишки служили предметом толков во дворцах и хижинах и на расстоянии представлялись воплощением того возвышенного идеала галантности и рыцарственности, которым испокон века тешили себя французы.

И однако существовали провинции, не столь склонные к подобным восторгам, которые неустанно в той или иной форме — под покровом ли религиозных идей или открыто,

в форме фронд, лиг и жакерий — выражали свое неодобрение.

Отмена Нантского эдикта нанесла удар по последним силам сопротивления. Виллар только что подавил восстание в Севеннах, и те из камизаров, которым посчастливилось спастись от избиения, толпами ринулись в Германию, умножая собою миллион изгнанников, вынужденных увозить за границу остатки своих состояний и разного рода промыслы и ремесла, в которых особо отличались многие протестанты.

Последнее их убежище, Пфальц, был сожжен дотла — кошке игрушки, мышке слезки. Солнце великого столетия могло еще спокойно любоваться своим отражением в водоемах Версальского парка, но оно заметно теряло свой блеск. Госпожа де Ментенон и та перестала уже бороться со временем; она только прилагала все усилия, чтобы вдохнуть веру в душу не слишком-то благочестивого короля, который на ее увещевания отвечал цифрами, ежедневно получаемыми от Шамийяра: «Три миллиона долгу! Что, спрашивается, может поделать здесь Провидение?»

Людовик XIV был человек недюжинный; можно даже поверить, что Францию он любил и желал ее величия. Но его человеческие свойства в сочетании с фамильными чертами всего рода Бурбонов погубили его, когда, состарившись, он уже не в силах был противиться тем, кто сумел подчинить себе королевскую волю.

Вскоре после поражения при Гохштедте, отнявшего у нас сто миль земли во Фландрии, через бургундскую деревушку Моршанджи, что расположена в двух милях от Санса, проезжал Аршамбо де Бюкуа.

Откуда он ехал? Этого никто не знает...

Куда держал свой путь? Это мы узнаем ниже...

У его экипажа сломалось колесо, и деревенский каретник заявил, что понадобится час времени, чтобы поставить новое. Граф сказал своему слуге; «Я вижу, все здесь закрыто, кроме этой харчевни. Придешь за мной сюда, когда каретник кончит».

— Лучше бы господину графу подождать в карете, под нее поставлена подпора...

— Да полно тебе!.. Зайду в харчевню, я уверен, что встречу там славных людей.

Аршамбо де Бюкуа прошел прямо на кухню и велел подать себе супу. Но прежде он захотел отведать бульона, на котором тот готовился.

Хозяйка удовлетворила его желание. Однако Аршамбо нашел, что бульон пересолен.

— Видать, соль в ваших краях недорого стоит, — сказал он.

— Не так уж и дешево, — отвечала хозяйка.

— Я полагаю, благодаря *подпольным торговцам* ее здесь хватает.

— А я их и знать не знаю... Во всяком случае, сюда они прийти не посмели бы... Отряды его высочества только что их разгромили, все их банды рассеяны, от них осталось всего человек тридцать возчиков, да и тех недавно в оковах повели в тюрьмы.

— О, — сказал Аршамбо де Бюкуа, — вот уж попались, бедняги... Будь их предводителем такой человек, как я, им бы теперь не так худо приходилось.

Из кухни он прошел в помещение харчевни, где посетители опорожняли одну за другой бутылки местного винца, которое нельзя было ни долго хранить, ни вывозить на продажу.

Аршамбо де Бюкуа сел за один из столов, ему тотчас же принесли заказанный им суп, и он принялся есть его, продолжая твердить, что суп слишком соленый. Известно, что бургундцы издавна питают к этому слову пылкую ненависть, особенно усилившуюся после XV столетия, когда не было для жителя Бургундии большего оскорбления, чем назвать его *«соленый бургундец»*.

Приезжий вынужден был объясниться.

— Я ведь то хотел сказать, — заявил он, — что, судя по блюдам, которые подаются в этой харчевне, здесь не очень-то экономят соль. А это доказывает, что она не такая уж редкость в ваших краях.

— Ваша правда, — сказал какой-то сидевший за столом человек могучего телосложения и, поднявшись со своего места, хлопнул гостя по плечу, — но нужны смелые люди, чтобы соль была здесь дешевой.

— Как вас зовут?

Человек ничего не ответил, по его сосед вполголоса сказал Аршамбо де Бюкуа:

— Это капитан.

— Черт возьми! — отозвался Аршамбо. — Вижу, что нахожусь здесь в компании честных людей... Значит, можно говорить без обиняков! Все вы здесь, конечно, занимаетесь подпольной торговлей солью — и хорошо поступаете.

— И нам плохо приходится, — сказал капитан.

— Не печальтесь, дети мои! Господь всегда вознаграждает тех, кто действует ради общего блага.

— Он гугенот, — зашептались между собой некоторые из присутствовавших...

— Дело идет к концу! — продолжал Аршамбо. — Не сегодня-завтра старый король прикажет долго жить, его старуха любовница уже дышит на ладан... Он истощил Францию, ее дух, ее силу: до того ведь дошло, что наиболее жаркие сражения за последнее время разыгрывались между Фенелоном и Боссюэ. Первый утверждал, что «любовь к богу и ближнему своему может быть чистой и бескорыстной», а другой, что «в основе милосердия должно неизменно лежать упование на вечное блаженство». Сугубо важный вопрос, господа!

В ответ на эти слова со всех концов харчевни раздался хохот. Аршамбо склонил голову над своей тарелкой и доел суп, не произнеся больше ни слова.

Капитан хлопнул его по плечу:

— А что вы думаете об экстазах госпожи Гюйон?

— Фенелон ее считает святой, а Боссюэ, который сперва нападал на нее, ныне уже готов признать ее вдохновенной свыше.

— Сдается мне, мой ше-валье, — сказал капитан, — что вы имеете некоторое отношение к богословию.

— Я отказался от всего этого... Я стал квиетистом, особенно с тех пор, как прочитал в одной книге под названием «Презрение к миру», что «человеку выгоднее совершенствовать себя во имя бога, нежели обрабатывать землю, до которой ему нет дела».

— Но, — сказал капитан, — в наши дни все только и делают, что следуют этому правилу. Кто у нас нынче обрабатывает землю? Люди сражаются, охотятся, занимаются контрабандой соли... ввозят товары из Германии, из Англии, продают запрещенные книги. Те, у кого водятся деньжонки, становятся откупщиками; но обрабатывать землю?.. Этим занимаются одни бездельники.

Аршамбо понимал, что все это говорится в насмешку.

— Господа, — сказал он, — сюда я попал случайно, но, сам не знаю почему, я чувствую себя своим среди вас... Я потомок одного из тех благородных военных родов, что боролись против королей и которых всегда подозревают в мятеже. Я не протестант, но сочувствую тем, кто протестует против абсолютной монархии и злоупотреблений, кои суть ее следствие... Моя семья отдала меня в священ-

ники. Я отрекся от духовного сана и обрел свободу. Сколько вас всего?

— Шесть тысяч, — отвечал капитан.

— Я уже успел послужить в армии с тех пор, как оставил церковное поприще... Я даже пытался сколотить полк... Но покойный мой дядюшка так подорвал наше состояние, что я просто не мог попросить у своих родных тех денег, на которые первоначально рассчитывал. Господни де Лувуа доставил нам много огорчений!

— Дорогой сеньор, — сказал капитан, — вы, сдается мне, — человек храбрый... Все ведь еще можно исправить. Где вы жительствоете в Париже?

— Я рассчитываю остановиться у своей тетушки, вдовствующей графини де Бюкуа.

Тут один из посетителей харчевни встал и сказал людям, сидевшим с ним за одним столом: «Это тот самый, кого мы ищем». Все знали, что человек этот — тайный агент; он вышел и пошел искать офицера из полицейской стражи.

И в ту самую минуту, когда Аршамбо де Бюкуа, за которым явился его слуга, садился в свою карету, к нему подошел полицейский офицер в сопровождении солдат и заявил, что он арестован. Все посетители харчевни высыпали на крыльцо, желая этому помешать. Аршамбо хотел было пустить в ход пистолеты, однако в это время к полицейским подоспело подкрепление.

Путешественника заставили сесть в его карету, двое полицейских сели по бокам, стражники поехали следом. Вскоре достигли они Санса. Тамошний прево сперва всех беспристрастно опросил, после чего обратился к путешественнику:

— Вы аббат де Бурли? — спросил он.

— Нет, сударь.

— Вы едете из Севенн?

— Нет, сударь.

— Вы принадлежите к смутьянам?

— Нет, сударь.

— Да, мне известно, что в харчевне вы назвались де Бюкуа. Но ежели на самом деле вы аббат де Бурли, именующий себя маркизом де Гизаром, не бойтесь в этом признаться, все равно это ничего не изменит: он причастен к делу в Севеннах, вы скомпрометировали себя с мнимыми торговцами солью. И в том, и в другом случае я вынужден препроводить вас в санскую тюрьму!

В тюрьме Аршамбо де Бюкуа оказался в числе трех десятков мнимых подпольных торговцев солью, которые должны были предстать перед санским областным судом; присланный на этот судебный процесс прево из Мелена нашел, что арестован он по этому делу напрасно, безо всяких к тому оснований. Однако некоторые обстоятельства его жизни могли быть поставлены ему в вину.

Сначала в течение пяти лет он был военным, потом стал одним из тех, кого тогда называли *петиметрами*, а затем, «пренебрегая христианской верой», объявил себя сторонником религии, которая, «по утверждению некоторых, являла собой религию честных людей» и которую в ту пору называли *деизмом*.

Вследствие какой-то истории, подробности которой остались неизвестными, но связанной, судя по всему, с некими любовными огорчениями, граф де Бюкуа внезапно впал в благочестие, да столь непомерное, что долго это продлиться не могло. Он отправился к траппистам и попытался соблюдать там пресловутый обет молчания, который так трудно соблюсти... В один прекрасный день монашеский устав наскучил ему, он вновь облачился в офицерский мундир и ушел из монастыря, даже не попрощавшись.

По пути у него произошла какая-то стычка с напавшим на него человеком, и граф ранил его. Эта несчастная случайность заставила его вновь принять монашество. Увлечшись учением Сен-Поля, он отдал свою одежду какому-то бедняку, вслед за тем основал в Руане братство или семинарию и стал во главе этого братства под именем *Мертвец*. Имя это он рассматривал как символ забвения житейских горестей и жажды вечного покоя.

Между тем в беседах своих с учениками он выказывал такое красноречие — возможно, сие явилось следствием долгого воздержания от речей во время пребывания у траппистов, — что на него вскоре обратили внимание иезуиты и пожелали заполучить его к себе; однако он побоялся, как бы его не заставили «слишком близко соприкасаться с мирской суетой».

Глава вторая ФОР-ЛЕВЕК

Таковы предшествующие обстоятельства, которых было бы уже вполне достаточно, чтобы поставить их в вину аббату графу де Бюкуа, если бы, благодаря случай-

ности, его не спутали с аббатом де Бурли, весьма сильно скомпрометировавшим себя во время восстания в Севеннах.

Положение аббата де Бюкуа более всего осложнялось тем, что в карете его «обнаружены были книги, в которых речь шла о переворотах, а кроме того, маска и множество *маленьких сверл*» и еще какие-то дощечки, покрытые тайными знаками.

Его стали допрашивать; он сумел оправдаться, и дело его совсем было уже начало *принимать благоприятный оборот*, но тут, соскучившись в тюрьме, он задумал бежать из нее и вовлек *в это предприятие* всех подпольных торговцев солью, что сидели вместе с ним в санской тюрьме, а вместе с ними еще и других лиц, которых арестовали по различным довольно безобидным поводам и хотели понудить завербоваться в полк графа де Тонер. В те времена такая своеобразная *вербовка* производилась на больших дорогах, поставляя Людовику XIV солдат для его войн.

Однако из этих планов ровно ничего не получилось. Последнюю надежду аббат де Бюкуа возлагал еще на дочку тюремщика, которую вздумал уговорить содействовать их побегу. Но в два часа пополночи к нему в камеру вошли, *весьма учтиво* надели ему на руки и на ноги кандалы, после чего *засунули* его в *носилки*, за которыми следовал эскорт в двенадцать стражников.

Когда добрались до Монтеро, аббат предложил стражникам вместе с ним пообедать, и хотя они смотрели за ним в оба, ему все же удалось выбросить некоторые компрометирующие бумаги. Стражники на это не обратили внимания, однако вечером, за ужином, *балагурия*, заявили, что ему-де от них не уйти.

Аббата уложили в кровать, цепью прикрепив его за ногу к одному из столбиков, на которых держится балдахин. Стражники легли спать в прихожей. Дождавшись, пока они заснут, аббат де Бюкуа, с трудом приподняв балдахин, снял цепь со столбика, вокруг которого она была намотана. Сделав это, он стал потихоньку пробираться к окошку, но ненароком задел за башмак одного из спящих стражников, который проснулся, вскочил и поднял тревогу.

Покрепче связав его, стражники сунули аббата в почтовую карету, идущую из Санса, и доставили его в Париж, в гостиницу «Серебряный ключ», что на улице Мор-

теллери. Нисколько не держа на них зла, аббат и здесь угостил их обедом.

Уж теперь с него действительно не спускали глаз, и он под охраной двух полицейских был доставлен в Фор-Левек, который находился на набережной Лувра.

В Фор-Левеке аббат де Бюкуа оставался целую неделю, не подвергаясь никакому допросу. Ему предоставлена была возможность беспрепятственно гулять по тюремному двору; во время прогулки он не переставал ломать себе голову, каким способом ему отсюда выбраться.

Он успел заметить, пока его вводили в здание тюрьмы, что фасад этого здания весь состоит из ряда окон, расположенных ярусами до самой крыши, и что решетки, которыми они забраны, образуют как бы сплошную лестницу, прерываемую лишь интервалами между этажами.

После допроса, в ходе которого ему удалось доказать, что он вовсе не аббат де Бурли, а аббат де Бюкуа и что хоть он в речах своих и в самом деле позволял себе некоторые вольные выражения, «личность его тем не менее может быть удостоверена весьма уважаемыми особами», за ним стали следить не столь бдительно и позволили ему гулять по тюремным коридорам.

Поскольку у него оставалось еще несколько луидоров, тюремный смотритель позволял ему по вечерам подниматься в самый верхний коридор, якобы подышать воздухом, что, по утверждению аббата, было ему совершенно необходимо для здоровья. Днем он тайком развлекался тем, что плел веревки, используя для этого свои простыни и полотенца. Наконец однажды ему повезло: он так долго стоял в тот вечер в верхнем коридоре, будто бы погруженный в глубокое раздумье, что тюремщик позабыл отвести его обратно в камеру, и он там остался один.

Преодолеть дверь на чердаке и проникнуть на крышу было для него делом не столь уж трудным. Он заглянул вниз, на набережную, и ему стало жутко: при бледном свете луны множество переплетающихся железных прутьев с топорщившимися *рогатками* и обнаженными остриями «являло собой, по его словам, поистине устрашающее зрелище...» Это был словно лес ошетилившегося железа.

И однако к середине ночи, когда уже не слышно стало ни городского шума, ни шагов дозорных, аббату де Бюкуа, несмотря на устрашающие острия, все же удалось с помощью скрученных веревок спуститься на набережную, рядом с которой простиралась обширная местность, носившая в те времена название Долина Нищеты.

Глава третья ДРУГИЕ ПОБЕГИ

Описывая выше побег аббата де Бюкуа из Фор-Левека, мы, дабы не прерывать хода повествования, опустили некоторые подробности. Намереваясь удрать через чердачное окно, он сразу же наткнулся на непредвиденное препятствие: дверь в чулан, куда ему необходимо было попасть, чтобы осуществить свое намерение, оказалась запертой на висячий замок. Никаких инструментов у него не было; и тогда он решил эту дверь поджечь. С первого дня его пребывания в тюрьме надзиратель позволил ему готовить пищу у себя в камере, для чего продал ему сколько-то яиц, угля и огниво.

Вот с их-то помощью и разжег он небольшой костер у двери в этот чулан; он собирался лишь прожечь в ней дыру, через которую можно было бы пролезть. Однако когда он был уже в чулане, пламя поднялось так высоко, что он испугался, как бы огонь не перекинулся на крышу; на его счастье, в чулане оказался горшок с водой, и ему удалось предотвратить пожар, но при этом он чуть было не задохнулся от дыма и в нескольких местах прожег свое платье.

Об этом надобно предупредить, чтобы читателю понятнее стало все то, что случилось с аббатом после того, как он благополучно спустился на набережную Лувра. Пролезая между ошетинившимися железными прутьями решеток в своем обгоревшем платье, он еще в нескольких местах изрядно его порвал. Таким образом, лавочки, открывавшие в сей ранний час свои заведения, конечно, не могли не заметить горестного состояния его одежды. Но никто ему по этому поводу не сказал ни единого слова, и только несколько мальчишек с *улюлюканьем* побежали за ним следом. Однако начавшийся дождь вскоре их рассеял.

Благодаря этому удачному обстоятельству, ибо по случаю дождя часовые не вылезали из своих будок, аббат безо всяких помех прошел всю улицу де Бурдонне, свернул к кварталу Сент-Эташ и наконец добрался до Рыночной площади, где зашел в харчевню.

Плачевное состояние его платья (чему сгоряча он не придал особого значения) привлекло к нему внимание посетителей и вызвало насмешливые замечания; ничего не отвечая на них, он расплатился с хозяином и отправился искать себе какое-нибудь надежное убежище.

Являться в таком виде к своей тетушке, вдовствующей графине де Бюкуа, было невозможно; но он вспомнил, что у одного из его слуг есть родственница, живущая при приюте Иисусовых детей, неподалеку от Маделонет.

Аббат ранним утром явился к этой женщине, сказал ей, что едет из провинции и что в лесу Бонди на него напали разбойники, которые его ограбили. Она дала ему поесть, и он пробыл у нее весь день. Однако к вечеру ему стало казаться, что она поглядывает на него с некоторым недоверием, и он решил искать более надежное убежище... В свое время ему случалось встречаться в квартале Маре с блестящими умами, посетителями особняка Нинон де Ланкло, которой в ту пору было уже около восьмидесяти и которая все еще имела страстных поклонников, что бы там ни утверждала в своих письмах госпожа де Севинье. Салоны квартала Маре были последним убежищем буржуазной и парламентской оппозиции. Несколько аристократов, последних обломков Фронды, иной раз появлялись в этих старинных домах, опустевших особняках, где живы еще были воспоминания о тех днях, когда члены Большого совета и Королевского парламента, подобно римским сенаторам, сторонникам народовластия, проходили через толпу в своих красных мантиях, сопровождаемые приветствиями и рукоплесканиями.

Существовало на острове Святого Людовика небольшое здание, которое называли кофейней Лорана. Здесь собирались *эпикурейцы* новых времен, под покровом насмешливого скептицизма прятавшие обломки глухой и упорной оппозиции, подобно тому как таили под розами свои мечи Гармодиус и Аристогитон.

И это было не так уж мало в те времена — все эти философские словопрения, разжигаемые учениками Декарта и Гассенди. За всеми ними пристально следили; однако благодаря покровительству нескольких крупных вельмож — таких, как герцог Орлеанский, принц де Конти, герцог Вандомский, — а также благодаря их остроловию и изысканно учтивой манере поведения, способной оболгать даже полицию или легко сбить ее с толку, новых фрондеров обычно не трогали и только в придворных кругах, полагая, что это их оскорбляет, называли *интриганам*.

В кофейне Лорана в былые времена можно было встретить Фонтенеля, Жан-Батиста Руссо, Лафара, Шолье. Когда-то здесь видели Мольера; Буало был уже слишком стар. Давнишние завсегдагаи говорили тут о

Мольере, о Шапеле и вспоминали о знаменитых ужинах в Отейле, бывшем некогда излюбленным местом их первых сборищ.

Многие из завсегдатаев кофейни еще и теперь бывали на ужинах у прекрасной Нинон, жившей теперь уже на улице Детурнель и скончавшейся несколькими годами спустя восьмидесяти шести лет от роду, завещав пенсию в две тысячи ливров юному Аруэ, который был ей представлен последним ее возлюбленным, аббатом де Шато-нефом.

У аббата де Бюкуа с давних пор были друзья среди людей, принадлежавших к «интриганам». Подойдя к дверям кофейни, он стал ждать, пока посетители не начнут расходиться, притворившись бедняком, ждущим подаюния, окликнул одного из своих знакомых и, отведя его в сторону, обрисовал свое положение. Тот повел его к себе, снабдил приличной одеждой и укрыл в надежном месте, откуда аббат смог предупредить свою тетку о случившемся и получить от нее необходимую помощь. Из своего убежища он послал несколько прошений в судебную палату, требуя, чтобы было затребовано его дело. Тетка его сама вручила эти прошения королю. Но никакого ответа на них не последовало, хотя аббат даже выражал в них готовность ожидать своей участи в Консьержери, если будет уверен, что дело его станут рассматривать в установленном судебном порядке.

Убедившись, однако, что все его прошения ни к чему не приводят, аббат де Бюкуа пришел к заключению, что у него нет иного выхода, как покинуть пределы Франции. Переодевшись в платье бродячего торговца, он отправился по дороге, ведущей в Шампань. На свою беду, он добрался до Фера как раз в тот самый момент, когда партизаны, похитившие господина первого королевского конюшего, оказались отрезанными со стороны Ама и вынуждены были разбежаться и скрыться. Аббата приняли за одного из этих беглецов и, сколько он ни уверял, что всего лишь бродячий торговец, его тут же заключили в ферскую тюрьму впредь до получения о нем сведений из Парижа... Благодаря все той же своей поразительной наблюдательности, которая позволила ему до этого выбраться из Фор-Левека, он в ту самую минуту, когда его вводили в тюремные ворота, уже успел заметить груды камней, которой можно было воспользоваться, чтобы оказаться на верху крепостной стены.

Прежде чем войти в свою камеру, он попросил надзирателя принести ему попить и, пока тот ходил за водой, быстро вскарабкался по стене до бастиона и оттуда бросился в наполненный водой ров, который окружал тюрьму. Он почти совсем переплыл его, но жена надзирателя увидела его в окно и подняла тревогу, после чего аббата схватили уже у самого берега и, в бессознательном состоянии, с ног до головы облепленного тиной, приволокли обратно в тюрьму. На сей раз его предусмотрительно заперли в камере.

С большим трудом удалось привести бедного аббата в чувство, и первые же слова, которые произнес он, сетуя на Провидение, покинувшее его в минуту, когда готов был осуществиться его замысел, дали основание заподозрить в нем кальвинистского священника, сбежавшего из Севенн; и его тут же препроводили в Суассон, сочтя тамошнюю тюрьму более надежной.

Суассон, если только смотреть на него не из тюремного окошка, — город весьма интересный. В ту пору тюрьма находилась между резиденцией епископа и церковью св. Иоанна, с северной стороны она примыкала к городской крепости.

Аббата де Бюкуа поместили в одну из башен вместе с неким англичанином, взятым в плен во время амской экспедиции. По вечерам тюремный сторож, готовивший им обоим пищу, позволял аббату, который, как и прежде, притворялся больным, выходить на верхнюю площадку башни подышать воздухом. У сторожа этого был заметный бургундский выговор, который аббат сразу же признал, вспомнив, что именно так говорили люди, которых он встретил в Сансе, в харчевне.

Однажды вечером сторож этот сказал ему:

— Господин аббат, нынче вечером на башне хорошо видны будут звезды.

Аббат вопросительно взглянул на него, однако лицо сторожа выражало полнейшее равнодушие.

Он поднялся на башню; стоял густой туман.

Он повернул обратно. Спускаясь, он заметил, что дверь на дозорную площадку открыта, и там мерным шагом ходит караульный.

Аббат собрался было спускаться дальше, как вдруг солдат, проходя мимо, сказал ему вполголоса:

— Аббат... нынче прекрасный вечер... погуляйте здесь немного — кто вас заметит в этаком тумане?

Аббат де Бюкуа подумал, что у славного этого солдата, как видно, доброе сердце, коли из сострадания к несчастному узнику он решается нарушить устав.

Дойдя до края дозорной площадки, аббат неожиданно наткнулся на какую-то веревку и, приподняв ее, нащупал на ней крюк и петли.

Караульный в эту минуту как раз повернулся к нему спиной, и аббат, бывший человеком весьма умелым и ловким, соорудив во мгновение ока из конца веревки нечто вроде седёлки, какую употребляют живописцы, расписывающие стены, быстро спустился вниз.

Он очутился на дне глубокого рва, совершенно высохшего и заросшего густой травой. Наружная стена была слишком высока, нечего было и думать о том, чтобы через нее перебраться. Однако, отыскивая на ней какую-нибудь пробоину, куда можно было б хоть поставить ногу, чтобы все же попытаться вскарабкаться наверх, аббат вдруг заметил открытый люк сточной канавы; валявшийся кругом щебень и несколько свежеобтесанных камней свидетельствовали, что здесь производится какая-то починка.

Чья-то голова вдруг высунулась из люка и знакомый голос прошептал:

— Это вы, аббат?

— Но что...

— А то, что нынче прекрасный вечер, только внизу еще лучше.

Аббат наконец понял все и быстро спустился по лестничке в это изрядно зловонное убежище. Незнакомец, не говоря ни слова, довел его до подножья какой-то винтовой лестницы и сказал:

— Лезьте наверх, пока не натолкнетесь на преграду... Там постучите, вам откроют.

Аббат насчитал не менее трехсот ступеней, прежде чем уткнулся головой в опускающую дверцу, как видно, очень тяжелую, потому что она не поддавалась даже тогда, когда он с силой нажал на нее плечом.

Мгновение спустя он почувствовал, что ее приподнимают, и услышал шепот:

— Это вы, аббат?

— Да, черт побери, я, — сказал аббат, — да вы-то кто?

Незнакомец в ответ произнес только:

— Тсс, тише! — и еще через минуту аббат почувствовал под ногами твердый пол, но очутился в полной темноте.

Глава четвертая КАПИТАН РОЛАН

Осторожно пробираясь вперед, он нащупывал справа и слева от себя какие-то нескончаемо длинные столы и никак не мог взять в толк, куда ж это он попал. Но тут незнакомец зажег потайной фонарь, и комната осветилась. В больших стеклянных витринах сверкала серебряная утварь бесчисленные золотые украшения и различные драгоценности грудями лежали на столах... да нет, то были вовсе не столы, а прилавки... Не оставалось никаких сомнений — он находился в лавке ювелира.

Аббат с минуту подумал, затем, взглянув на лицо человека, державшего фонарь, сказал себе: «Совершенно очевидно что это вор, и каково бы ни было его поведение в отношении меня, совесть моя подсказывает, что я обязан тотчас же разбудить владельца этой лавки, которого собираются грабить». И в самом деле: из-под прилавка вдруг вылез еще один молодчик и стал поспешно собирать наиболее ценные вещи. Тогда аббат заорал что было мочи:

— Караул! Помогите! Воры!

Напрасно закрывали ему рот, осыпая угрозами. На шум из глубины лавки прибежал перепуганный человек в одной ночной рубашке и со свечой в руке.

— Вас грабят, сударь! — закричал ему аббат.

— Воры! Эй, стража! Помогите! — в свою очередь завопил хозяин лавки.

— Замолчишь ты или нет? — прошипел человек с фонарем, вытаскивая пистолет.

Владелец лавки не произнес больше ни звука, а аббат принялся что было силы колотить в дверь, ведущую на улицу, продолжая громко звать о помощи.

За дверью послышались чьи-то мерные, тяжелые шаги. Это явно проходил патруль; оба вора поспешно юркнули под прилавок. Дверь задрожала под ударами ружейных прикладов.

— Именем короля, откройте! — произнес грубый голос.

Владелец лавки бросился за ключами и отпер дверь. Взошел патруль.

— Что здесь происходит? — спросил сержант.

— Меня грабят! — завопил ювелир. — Они спрятались там, под прилавками...

— Господин сержант, — сказал аббат де Бюкуа, — какие-то неизвестные мне люди, чьи намерения совершен-

но мне непонятны, по чьему-то тайному наущению помогли мне бежать из суассонской тюрьмы. Я вижу, что люди эти — злоумышленники, и, будучи человеком честным, не могу стать соучастником их преступления... Я знаю, меня ждет Бастилия. Арестуйте меня и отведите обратно в тюрьму.

Тут сержант, человек громадного роста и могучего телосложения, сказал своим солдатам:

— Прежде всего займитесь ювелиром; суньте ему в глотку грушу молчанья, чтобы перестал вопить; затем сделайте тоже самое с аббатом — он совсем оглушил меня.

Грушей молчания назывался особый вид кляпа, состоявшего из кожаного мешочка, набитого отрубями, — его можно было жевать до скончания века, но ни единый звук не мог при этом вырваться наружу.

Аббат де Бюкуа, которому заткнули рот такой грушей и который вследствие этого вынужден был теперь молчать, никак не мог взять в толк, почему точно такой же операции подвергся и ограбленный ювелир. Еще больше был он поражен, заметив, что патрульная команда помогает обоим грабителям опустошать лавку. Несколько фраз на условном языке, которыми они обменялись при этом между собой, наконец открыли ему глаза. Это был вовсе не патруль.

В сержанте огромного роста аббат узнал того самого вожака мнимых подпольных торговцев солью, с которым он беседовал однажды в Моршанджи, неподалеку от Сан---, — тогда его назвали капитаном. Все было уже увязано в узлы, когда снаружи послышались крики вперемежку с ружейными выстрелами.

— Забирайте с собой все, — приказал капитан.

Воры торопливо взвалили на себя узлы, и сам аббат, крепко-накрепко связанный, оказался на чьей-то спине.

Вдалеке, со стороны Компьенских ворот, виднелись отсветы большого пожара... С противоположной стороны слышался шум сражения. Маленький отряд, высадив калитку в епископский сад, столкнулся там среди деревьев со множеством других людей, тоже с мешками на плечах. Одни входили в город, в то время как другие, обмениваясь между собой время от времени условными знаками, с помощью приставных лестниц спускались с крепостного вала, а затем перебирались через наружную стену, используя образовавшиеся в ней выбоины. Дальше им пред-

стояло переправиться через Эну, добраться до возвышенности Кюффи и углубиться в леса.

Впоследствии высказано было предположение, будто люди, пытавшиеся освободить аббата де Бюкуа из Суассонской тюрьмы, были посланцами тех самых мнимых подпольных торговцев солью, которых он повстречал в Бургундии и которым предложил тогда стать в их главе... Богатый дворянин, склонный к приключениям и сильный своими связями как внутри Франции, так и вне ее, — именно такой человек был им как нельзя более нужен.

Что касается капитана Ролана, бывшего предводителя участников севеннского восстания, то после капитуляции Кавалье ему удалось бежать через западные провинции. И в то время как Кавалье, ценою крови своих братьев получивший помилование, красовался на парадах в Версале, подобно вождю побежденных племен, Ролан с помощью подпольных торговцев солью, среди которых, как известно, были и протестанты, и дезертиры, и обнищавшие крестьяне, пытался добраться до севера, чтобы в случае необходимости там укрыться. Пока же люди его якобы занимались подпольной торговлей солью при тайной поддержке населения и плохо оплачиваемых солдат королевских войск. Обычно поджигался какой-нибудь дом, все в городе устремлялось туда, а в это время толпы вооруженных мнимых торговцев переправляли через плохо охраняемый крепостной вал свои мешки с солью. Затем они разбегались, в случае необходимости вступали в бой и вновь возвращались в леса.

И вот что еще стало нам известно из других рассказов тех времен.

В те дни, когда протестанты спешно покидали Францию, не успевая уладить свои дела, некоторые из них заложили у этого ювелира, который занимался немного и ростовничеством, весьма значительные ценности, получив под них денежные суммы, бывшие значительно ниже подлинной стоимости заложенных вещей. С тех пор к ювелиру время от времени стали являться посланцы этих изгнанников, которым поручено было, уплатив сумму залога, забирать драгоценности обратно. Ювелир счел для себя более выгодным донести на посланцев правосудию. Такова была побудительная причина экспедиции, в которой принял участие капитан Ролан.

Мнимые торговцы, пытавшиеся устроить побег аббата де Бюкуа, перебравшись через Эну, встретили на том берегу засаду. Множество их было взято в плен, одних

повесили, других колесовали, смотря по рангу. Мы не находим больше в истории никаких упоминаний о капитане Ролане, а что до аббата де Бюкуа, то он, более чем когда-либо внушавший теперь подозрения, был отправлен в Бастилию.

Когда его высаживали из носилок, он успел еще бросить беглый взгляд направо и налево — «то ли через подъемный мост, то ли через крепостной вал...» — но долго размышлять на этот счет ему не пришлось, ибо он незамедлительно был препровожден в башню, носившую имя Бретиньер.

Глава пятая

ПРЕИСПОДНЯЯ ДЛЯ ЖИВЫХ

В Бастилии было восемь башен, и каждая имела свое название; в каждой башне было по шесть этажей и на каждом этаже — одно-единственное окно, через двойную решетку которого воздух просачивался в расположенную в самой глубине помещения четырехугольную камеру, обрванную толстыми стенами.

Сначала аббата поместили в башню Бретиньер.

Остальные башни назывались: Бретодьер, Конте, Пюи, Трезор, Куэн, Либерте. Восьмая называлась Шапель. Из нее узники выходили обычно уже перед смертью, если только до этого их тайно не спускали в знаменитые *каменные мешки*, следы которых обнаружены были лишь после разрушения Бастилии.

Несколько дней аббата де Бюкуа продержали в подвале башни Бретиньер, что свидетельствовало о том, что дело его поначалу представлялось достаточно серьезным, ибо обычно узников на первых порах содержали в более благоприятных условиях. Первый же его допрос, который учинен был ему под председательством д'Аржансона, заставил отказаться от предположения, будто он является прямым сообщником подпольных торговцев солью в Суассоне. К тому же он весьма кстати сослался на высокие связи своего семейства, после чего ему нанес визит комендант крепости Бернавиль и пригласил к себе на завтрак, как это принято было здесь в отношении вновь прибывающих узников определенного ранга.

Теперь аббата де Бюкуа поместили в одном из верхних этажей, в лучшей проветриваемой камере, где находились еще и другие заключенные. Его перевели в башню Куэн, где содержались привилегированные узники под

охраной тюремного сторожа по имени Рю, слывшего человеком мягким и весьма пекущимся об удобствах своих постояльцев.

Взойдя в общую комнату, аббат остолбенел от изумления, увидев среди фресок, покрывающих ее стены, чудовищно изуродованное изображение Христа...

К челу его пририсованы были красные рога, а на груди большими буквами начертано одно слово: «Тайна».

Пониже красовалась надпись, сделанная углем: «Большой Вавилон, источник блуда и всей земной скверны».

Надпись эту явно начертала рука какого-нибудь содержавшегося здесь прежде протестанта. Однако никто с тех пор не удосужился стереть ее.

Над каминной доской красовался небольшой овальный портрет Людовика XIV. Рука какого-то другого заключенного сделала вокруг его головы надпись: «Плевательница», и черты государя уже едва можно было различить под бесчисленными следами надругательств, коим он подвергся.

Аббат сказал тюремному сторожу:

— Рю, почему допускаются подобные кощунства над священными изображениями?

В ответ тот засмеялся:

— Если начать карать пленников за все их *преступления*, пришлось бы целыми днями только и делать, что *колесовать и жечь живьем*. Пусть лучше умные люди увидят воочию, до какого умопомрачения может довести фанатизм.

Обитатели этой башни пользовались относительной свободой: им дозволялось в определенные часы гулять в садике коменданта крепости, разбитом в одном из бастионов; садик был засажен липами, под которыми можно было играть в шары; а еще под липами стояли столики, и те, у кого водились деньжата, могли сразиться здесь в карты и подкрепиться всякими закусками и напитками. Прибыль от этого предприятия комендант делил с поваром, ведавшим кухней для узников.

Аббат де Бюкуа тоже оказался в кругу этих привилегированных пленников — тюремное начальство на сей раз твердо решило удержать его: влиятельные друзья, с которыми аббату удалось связаться, сумели передать ему некоторое количество золота — это ни в одной тюрьме не бывает лишним. С помощью нескольких проигранных в карты луидоров он снискал расположение Корбе, прихо-

дившегося племянником прежнему коменданту (господину де Сен-Мару), однако продолжавшего пользоваться влиянием и при Бернавиле.

Стоило бы здесь, пожалуй, дать некоторое представление о внешнем облике Бернавиля, пользуясь тем описанием, которое оставил нам один из бывших узников Бастилии, впоследствии нашедший убежище в Голландии.

«Пронзительный взгляд его зеленых глаз, выглядывающих из глубоко сидящих глазниц под густыми бровями, кажется взглядом василиска. Изрытый морщинами лоб его напоминает кору дерева, на которой какой-нибудь муфтий вырезал строки из Алкорана. Изжелта-бурый цвет его лица избличает терзающую его день и ночь злобную зависть. Обтянутое кожей высохшее лицо являет собой живой образ скаредности. Поросшие густой шерстью щеки висят складками, подобно пустому кошельку, и походят на *защечные мешки* обезьян.

В те времена, когда он подвизался еще *кавалером ливреи* (иначе говоря, был лакеем), он носил свои прямые волосы бучками. Впоследствии он от этого отказался.

Хоть говорит он и мало, но, должно быть, слушает себя в оба уха, ибо рот у него до самых ушей. Однако раскрывает он его лишь затем, чтобы произнести отрывистое приказание, тотчас же выполняемое верными помощниками, которыми он сумел окружить себя».

Бернавиль в самом доле когда-то принадлежал к прислуге дома маршала Беллефона и носил лакейское платье, то есть ливрею. Но после смерти маршала он сумел войти в доверие к его вдове, дети которой в ту пору были еще малолетками, и благодаря ее высокому покровительству получить должность управляющего охотой в Венсенском замке, что сразу же открыло перед ним широкие возможности множества побочных доходов, сделал хозяином всех тех павильонов и охотничьих домиков, где придворные просаживали немалые деньги. Именно этому и был он обязан презрительным прозвищем Кабатчик... В своих откровенных беседах между собой узники отзывались о нем как о лакее: он так долго сопровождал карету, стоя на запятках, говорили они, что в конце концов исхитрился пролезть вовнутрь... Но воздержимся пока произносить свое суждение о вышеупомянутом Бернавиле, пока не рассмотрим его поступков, ибо

было бы несправедливо основываться на одних только отнюдь не беспристрастных рассказах узников.

Что касается Корбе, о котором уже шла речь, то дадим уж заодно и его портрет, набросанный рукой, в которой немного чувствуется школа Сирано.

«Он носил серый сюртучок из нимского сукна, выношенный до того, что одним видом своим отпугивал воров, протертые до дыр и заплатаанные на коленях синие штаны, выцветшую шляпу, осененную ощипаным черным султаном, и парик, словно стыдившийся своих преклонных лет. Грубым лицом своим, производившим еще более отталкивающее впечатление, чем его одежда, он скорее напоминал унтера, нежели офицера».

Сидя в обвитой виноградом беседке за игрой в винт с одним из узников по имени Ренневиль, аббат де Бюкуа сказал ему:

— Однако не так уж плохо здесь живется, и тому, у кого есть надежда в недалеком будущем выйти отсюда, вряд ли придет в голову пытаться бежать.

— Бежать отсюда — вещь невозможная, — сказал Ренневиль, — а что касается до гостеприимства, которое оказывают в здешнем дворце, то не торопитесь пока делать выводы.

— Разве с вами здесь плохо обращаются?

— В данный момент весьма неплохо. Но я уже пережил медовый месяц, который сейчас переживаете вы.

— Как вы сюда попали?

— Как нельзя проще: как и многие другие... Неизвестно за что...

— Но что-то вы все же сделали, раз угодили в Бастилию?

— Да. Я написал мадригал.

— Прочтите мне его... я откровенно выскажу вам свое мнение...

— Все дело в том, что вслед за моим мадригалом появился еще один, *пародирующий* его, на тех же рифмах, и его облыжно приписали мне.

— Вот это уже хуже.

В эту минуту проходивший мимо них Корбе с улыбкой сказал: «А вы все толкуете о своем мадригале, господин де Ренневиль... Да не огорчайтесь — ведь мадригал ваш очарователен».

— Из-за него меня держат здесь, — сказал Ренневиль.

— А разве у вас есть основания жаловаться на плохое обращение?

— Можно ли жаловаться, когда имеешь дело с порядочными людьми?

Довольный этим ответом, Корбе направился к другому столу с *ехидной* своей улыбкой. Ему предлагали прохладительные напитки, от которых он неизменно отказывался. Время от времени он бросал взгляды на окна тюрьмы, за которыми смутно виднелись фигуры узниц, и похоже было, что нет для него ничего на свете милее внутренних помещений этой государственной тюрьмы.

— Как же был построен этот мадригал? — спросил аббат Ренневиля, сдавая карты.

— По всем правилам жанра. Я передал его господину маркизу де Торси, чтобы тот показал его королю. В нем был намек на объединенную силу Испании и Франции против союзников... И в то же время речь шла в нем об игре в пикет.

И тут Ренневиль прочитал свой мадригал, который заканчивался следующими словами, обращенными к северным союзникам:

Коль вы на Францию с Испанией пойдете,
Мы козырнем: у нас Четырнадцать и Пять!

Под этим следовало понимать Филиппа V и Людовика XIV.

— Невиннейший мадригал! — сказал аббат де Бюкуа.

— Не скажите, — отвечал Ренневиль, — этот конечный стих в октаве и в александрине привел всех в восхищение. Но недоброжелатели в угоду моим врагам спародировали эти строки, переделав их так:

Тузом вы Францию с Испанией побьете —
Нас подвели Четырнадцать и Пять!

Посудите сами, господин граф, неужели бы я мог собственной рукой написать прямо противоположное тому, что только что написал в своем мадригале, да еще нарушая при этом меру в последнем стихе?

— Это было бы просто невозможно, — сказал аббат, — я подтверждаю это, ибо я сам поэт.

— Ну а господин де Торси отправил меня в Бастилию по одному лишь подозрению¹. Между тем я пользовался покровительством господина Шамийяра, которому не раз посвящал свои книги, он постоянно предлагал мне свои услуги.

— Подумать только, — задумчиво сказал аббат, — выходит, мадригал может довести человека до Бастилии?

¹ Исторический факт. (Примеч. Нерваля.)

— Мадригал?.. Да простое двустишие может открыть вам ее двери. Есть здесь один юноша... волосы его, правда, уже начали седеть... так вот, его из-за латинского двустишия долгое время держали в заключении на островах Святой Маргариты, а потом, когда господин де Сен-Мар, перед тем охранявший Фуке и Лозена, был назначен сюда комендантом, он привез этого юношу с собой, чтобы дать ему подышать другим воздухом. Этот юноша, а теперь уже немолодой человек, был одним из лучших учеников у иезуитов.

— И они его не защитили?

— Вот как это произошло. На стене дома, где помещалась парижская коллегия иезуитов, было начертано латинское двустишие во славу Христа. Позднее, когда иезуиты стали подвергаться нападкам кое-каких довольно влиятельных интриганов, они, чтобы обеспечить себе поддержку двора, вздумали устроить у себя большое представление, разыграв трагедию с хорами вроде тех, что давались некогда в Сен-Сире. Король и госпожа де Ментенон благосклонно приняли их приглашение. Все на этом празднике было устроено с расчетом, чтобы напомнить им молодые их годы. За неимением девиц, которых в этом доме неоткуда было взять, переодели в женское платье самых юных учеников, а для хора и балета использовали артистов Оперы. Успех был такой, что очарованный, растроганный король дал позволение высокочтимым отцам написать на дверях их дома свое имя. И прежняя надпись: «Collegium Claromontanum societatis Jesu»¹ изменена была так: «Collegium Ludovici Magni»². Молодой человек, о котором мы говорим, после этого рядом с латинским двустишием написал другое, в котором говорилось, что имя Иисуса Христа отныне заменено именем Людовика Великого. Вот это-то преступление он и искупает до сих пор.

— Но , — сказал аббат де Бюкуа , — у нас нет оснований жаловаться на особые притеснения в этой государственной тюрьме. Правда, я несколько дней протомился в подвале... Но теперь, сидя здесь, в этой беседке, попивая это подогретое бургундское вино, я чувствую, что готов терпеливо ждать.

— Я терпеливо жду вот уже четыре года , — сказал Ренневиль , — и если бы я вам рассказал, как все это со мной случилось...

¹ «Клермонская коллегия Ордена Иисусова» (лат.).

² «Коллегия Людовика Великого» (лат.).

— Мне любопытно, узнать, что могли сделать с человеком, виноватым лишь в том, что он написал мадригал.

— Все бы ничего, если бы не то, что свою супругу я оставил в Голландии... Впрочем, не будем говорить об этом. Я был арестован в Версале; меня в носилках отправили в Париж. Когда носилки поравнялись с Самаритянкой, я вытащил свои часы, чтобы сверить время, — было восемь часов утра. Сопровождавший меня полицейский офицер сказал мне: «Часы ваши ходят хорошо». Офицер этот произвел на меня впечатление человека благовоспитанного. «Сожалею, — сказал он мне, — что принужден был арестовать вас, это противно моей натуре... Но я обязан был выполнить эту последнюю обязанность, налагавшуюся на меня должностью, в коей я пребывал до настоящей минуты. С нынешнего же утра я числюсь оруженосцем графини де Люд. Мое имя — *де Бурбон*. Срок моей службы в качестве полицейского офицера истек, и впредь, в случае какой-либо надобности, можете рассчитывать на меня...»

Этот офицер показался мне порядочным малым, и когда мы проходили под Новым Мостом, я предложил выпить стаканчик вина ему, а также сопровождавшим нас троим *стражникам*, у которых на мундирах вышита была какая-то бесформенная фигура, вся утыканная остриями и такая надпись: «*Monstrorum terror*»¹. В то время как мы с ними пили, я не удержался и сказал: «Вы-то точно наводите страх... ну, а чудовище это, как видно, я!» Они посмеялись моей шутке, и все мы прибыли в Бастилию в самом лучшем расположении Духа.

Комендант принял меня в комнате, обитой желтым штофом с серебряной бахромой, довольно чистой на вид... Он протянул мне руку и предложил с ним позавтракать. Рука у него была холодная, это показалось мне недобрый знаком... Тут появился Корбе, его племянник: держался он этаким вертопрахом, все болтал о своих любовных подвигах в Голландии... об успехе, которым будто бы пользовался в Мадриде, участвуя в бое быков, во время которого дамы так восхищены были его храбростью, что бросали ему яйца, наполненные духами. Когда завтрак кончился, комендант сказал мне: «Я всегда к вашим услугам», — и добавил, обращаясь к племяннику:

¹ Да устрашится чудовища (*лат.*).

«Нового гостя надлежит поместить в княжеский павильон».

— Комендант заранее был к вам расположен... — со вздохом сказал аббат де Бюкуа.

— Он виден отсюда, этот павильон... это на первом этаже. Окна закрываются снаружи зелеными ставнями. Только прежде, чем попадешь в камеру, приходится пройти целых пять дверей. Камера показалась мне довольно неудобной, хотя на кровати лежал соломенный тюфяк, а сверху матрац и довольно опрятный парчовый занавес закрывал альков, да еще стояли два кресла, крытые лощеной холстиной.

— Меня устроили куда хуже, — сказал аббат де Бюкуа.

— Только я мысленно посетовал на отсутствие полотенец и простынь, как появился тюремный сторож Рю с постельным бельем, одеялами, вазами, подсвечниками — словом, всем тем, что подобает иметь, чтобы прилично устроиться в этом павильоне.

Наступил вечер, и появился Корбе, а за ним — двое служащих из тюремной кухни, которые принесли мне обед. Он состоял из хорошо сваренного супа с зеленым горошком, салата с кусочком цыпленка, ломтя говядины, телячьего паштета и бараньего языка, на десерт — бисквит и яблоки ранет. И ко всему этому — бургундское.

— Я бы вполне удовлетворился подобным обедом, — заметил аббат.

— Поклонившись мне, Корбе спросил: «Будете ли вы сами оплачивать свой стол или пожелаете быть должником короля?»

Я ответил, что буду платить сам.

Я не успел еще толком проголодаться после завтрака, которым угостил меня комендант, и предложил Корбе помочь мне управиться с обедом, однако он ответил, что не голоден и отказался даже выпить стакан вина.

— Таково уж его обыкновение, — заметил аббат де Бюкуа.

В это время раздался удар колокола, предупреждающий узников, что им пора расходиться по своим камерам.

— А известно ли в а м , — сказал Ренневиль аббату, вставая, — что этот самый Корбе изрядный волокита.

— Да что вы! Этаким урод!

— Да, обольститель... и, пожалуй, слишком уж напористый со здешними узницами. Вчера вечером у нас тут

на лестнице была премерзкая сцена... Снизу, из подвала нашей башни, где расположены карцеры, слышался невероятный шум... Потом все стихло... И тут мы увидели сторожа Рю, он поднимался оттуда, и штаны его были в кровавых пятнах. Он нам сказал: «Я только что спас эту бедняжку ирландку, которой домогался господин Корбе... За то, что она отказалась подчиниться его желаниям, он перевел ее в худшую камеру; но она и там продолжала отвергать его, и тогда он отдал приказ перевести ее еще этажом ниже. Когда за ней пришли, она стала сопротивляться, и тут ее потащили силой, да так неловко волокли по лестницам, что она стучалась головой о каждую ступеньку... Я весь измазался в ее крови. Из постели ее вытащили полуголой... и всем этим распоряжался Корбе, и он не сжалился над ней и заставил до конца вынести все эти мучения...»

— Она умерла? — спросил аббат де Бюкуа.

— Нынче ночью давилась.

Глава шестая БАШНЯ КУЭН

На третьем этаже башни Куэн сосредоточено было довольно избранное общество. Именно сюда поселяли *«любимчиков коменданта»*. Кроме Ренневилья и аббата, здесь находился некий немецкий дворянин, барон фон Пекен, арестованный за то, будто он сказал о короле, что тот «смотрит на все сквозь очки госпожи де Ментенон»; был здесь также некий Фалурде, замешанный в деле с фальшивыми дворянскими титулами; а еще бывший солдат по имени Жак ле Бертон, попавший сюда по обвинению в том, что пел непотребные песенки, в коих недостаточно почтительно говорилось о любовнице короля.

Ренневиль очень жалел этого солдата и возмущался, что за такой пустяк его Держат в заточении; он говорил, что этой Ментенон не худо бы взять пример с королевы Екатерины Медичи, которая однажды, открыв у себя в Лувре окошко, увидела внизу, на берегу Сены, солдат, жаривших на костре гуся и в ожидании ужина распевавших песенку, где о ней отзывались весьма нелицезно. Она только крикнула им: «Почему вы говорите гадости об этой бедненькой королеве Екатерине — она не сделала вам ничего плохого. И это ведь за ее счет куплен гусь, которого вы жарите!» Король Наваррский, который

находился рядом с ней, хотел тут же спуститься вниз, чтобы проучить этих наглецов, но королева не пустила его. «Оставайтесь наверху, — сказала она, — ведь все это происходит настолько ниже нас».

Был здесь также некий итальянский аббат по имени Папазаредо.

Когда принесли ужин, Корбе, который, по обыкновению своему, сопровождал прислугу, спросил, нет ли у кого-нибудь каких-либо жалоб.

— Есть! — вскричал аббат Папазаредо. — Я жалуюсь на то, что наша компания становится все более многочисленной и увеличилась теперь еще на одного аббата... Я бы предпочел женщин; среди здешних пленниц немало найдется таких, которых вы могли бы предоставить нам.

— Это совершенно против правил, — сказал Корбе.

— Послушайте, голубчик Корбе, посадите меня в карцер с какой-нибудь бабенкой...

Корбе пожал плечами.

— Ну дайте мне Мортоншу, или Флери, или Блонди, или Дюбуа — кого-нибудь из тех, с кем уже побаловались вы... Или хотя бы эту милочку Маргариту Фаландрие, торговку волосами из монастыря Сент-Опортюн, что целыми днями распевает песенки, мы даже здесь их слышим.

— Помилуйте, подобают ли священнослужителю такого рода речи? Постыдились бы этих господ! А что до Фаландрие, то она сейчас находится в карцере за то, что посмела обратиться к караульному офицеру.

— О! — сказал аббат Папазаредо, — бьюсь об заклад, здесь есть другая причина... Это вы из ревности решили наказать ее за то, что она с ним заговорила! Ну и жестокий же вы ревнивец, Корбе!

— Да ничего подобного, — сказал Корбе, весьма, впрочем, польщенный последним замечанием. — У этой девицы страсть возиться с птицами, она обучает их всяким штукам. Ей позволено было держать у себя несколько воробьев. Окно ее камеры выходит в сад, и одна из ее птах вылетела из него и угодила прямо в лапы кошке. Вот она и крикнула этому офицеру: «О, пожалуйста, спасите моего воробушка! Он у меня самый лучший, это тот, что танцует ригодон!» Офицер имел глупость послушаться ее, погнался за кошкой, но ему даже не удалось спасти птицу — теперь он сидит под арестом, ну а ее посадили в карцер, вот и все.

Сказав это, Корбе повернулся и вышел вон, дабы избежать дальнейших насмешливых замечаний итальянского аббата. Впрочем, он был в прекрасном расположении духа, потому что один из узников только что преподнес ему кольцо с большим сапфиром, а аббат де Бюкуа, которому пришлось не по вкусу тюремный стол, потребовал, чтобы обеды ему отныне приносились из города. Господин де Фалурде рассказал по этому поводу, что и он тоже в свое время надеялся таким способом улучшить условия своего существования. Однако обеды, которые приносились ему из города, обходились очень дорого, а вкусом были весьма посредственны — вино подавали ему по шести су за бутылку, а ставили в счет как шампанское ценою в ливр, да и во всем остальном действовали так же. Он тогда заявил Корбе: «Я буду платить за все вдвойне, но я желаю, чтобы мне подавалось все самое лучшее». Корбе ответил ему: «Вы совершенно правы, поставщики нас обманывают. Отныне я сам стану следить за выбором провизии и вин для вашего стола».

И в самом деле, с этого дня все, что ему подавали, было самого отменного качества.

После ухода Корбе все оживленно заговорили между собой; один только барон фон Пекен с мрачным видом сидел перед своей тарелкой, все более наливаясь гневом, который в конце концов обрушился на голову тюремного сторожа Рю.

— Тысяча чертей! — воскликнул барон. — Почему мне подали всего полсетье вина, в то время как у *новенького* целая бутылка!

— А потому, — ответил Рю, — что на ваше иждивение отпускается пять ливров, а господин граф де Бюкуа кормится за собственный счет.

— Что такое? Пять ливров в день? И за такие деньги нельзя получить целой бутылки? — вскричал барон. — А ну-ка, верните его, этого негодяя Корбе, этого проклятого подручного Кабатчика, и спросим его, может ли порядочный человек довольствоваться за обедом одним полсетьем скверного вина! Немедленно позовите его обратно! Если я хоть раз еще увижу перед собой эту бутылку, я разобью ее о вашу голову!

— Успокойтесь, прошу вас, господин барон, — сказал Рю, — и упаси вас боже требовать, чтобы сюда вернулся господин Корбе — он немедленно прикажет посадить вас в карцер... Ему это будет только выгодно, ведь расход на питание узника, содержащегося в карцере, составляет

всего одно су, поскольку помещение оплачивается за счет королевской казны... Что до сэкономленных этим путем денег, то одна треть их попадает в карман господина Корбе, а все остальное — в карман господина Берनावиля.

Рю, как мы видим, был человеком миролюбивым, и если узники и могли поставить ему что-либо в вину, то разве что частое исчезновение пирожков к супу, до которых он был большой охотник. Он мог бы, конечно, и умерить здесь свои аппетиты, ведь на его долю доставалось все, что не доедали узники.

Ренневиль и аббат де Бюкуа начали уверять барона, что они пьют очень мало вина, и принялись подливать ему из своих бутылок, после чего барон совершенно успокоился и закончил свой обед в самом благодушном настроении. Ренневиль стал рассказывать о том, как невесело ему пришлось однажды в одиночной камере, куда он угодил вследствие такой же гневной вспышки, и о том, как он там ухитрился установить связь с другими узниками, находившимися выше и ниже его этажом. Они общались между собой с помощью придуманной им простейшей азбуки, стуча ножкой от стула в пол или в потолок, причем один удар означал «а», два удара «б», и т. д. Вот как, например, передавалось слово «сударь»: «с» — шестнадцать ударов, «у» — восемнадцать, «д» — пять, «а» — один, «р» — пятнадцать и т. д.

В конце концов соседи начинали понимать эту систему и отвечали таким же способом. Только это отнимало очень много времени.

С помощью такой системы удалось установить имена всех тех, кто в то время содержался в этой башне, за исключением одного аббата, который так и не пожелал себя назвать.

Люди, сидящие в тюрьме, не способны говорить ни о чем другом, кроме как о тюрьме или же о том, как облегчить в ней свое существование. Де Фалурде рассказывал, как ему однажды удалось установить связь с другом — узником, с которым подружился в тюрьме, — используя способ не менее остроумный, чем азбука, изобретенная Ренневилем. Его посадили в одну из тех камерок, расположенных под самой крышей, которые прозвали «колпачками» и которые отличаются тем, что зимой в них невыносимо холодно, а летом невыносимо жарко. Зато оттуда открывался прекрасный вид. Еще до того, как их разлучили, он узнал, что камера его друга, г-на де Бальдоньера (брошенного в Бастилию за то, что, от-

крыв способ делать золото, он не пожелал поделиться этим секретом с министрами), находится на первом этаже той же башни и окном своим выходит в садик, разбитый внутри бастиона. С помощью перьев, которые он смастерил из голубиных косточек, и печной сажи, служившей ему чернилами, он принялся писать другу письма и выбрасывал их из своего окна, предварительно завернув в них камушек так, чтобы они падали у самого подножья башни.

Со своей стороны, Ла Бальдоньер приучил собаку коменданта, часто бегавшую по садику, притаскивать всякую всячину к его окну. Сперва, бросая ей завернутые в бумагу остатки своего завтрака, он завязал с ней дружбу и таким способом, приручив ее, стал посылать за свертками, которые бросал ему Фалурде, и она всякий раз послушно их ему приносила. Но в конце концов все это открылось. Письма были схвачены, а друзей приговорили к некоторому числу ударов плетью из *лошадиных жил*. После того как солдаты подвергли их этому наказанию, Фалурде, как наиболее виновный, был брошен в карцер, где, кроме него, находился мертвец, за которым пришли только на третий день. Позднее, когда Фалурде прислали денег, он вновь стал пользоваться благорасположением коменданта.

Находясь еще в «*колпачке*», ему удалось также найти способ сноситься с женой, которая сняла комнату неподалеку, в одном из крайних домов Сент-Антуанского предместья. Он писал ей письма углем огромными буквами на доске и доску выставлял за свое окно; стирая одни буквы и заменяя их другими, он составлял целые длинные фразы.

По этому поводу один из собеседников рассказал о придуманной им в свое время еще более совершенной системе: он приручал голубят, которых ловил на крыше башни, привязывал им под крылья письма, и те доставляли их потом в дома, находящиеся за пределами тюрьмы.

Вот о чем более всего беседовали узники, заключенные в той самой башне Куэн, где до них находилась в заключении племянница Мазарини Мария Манчини, основавшая, как известно, «Академию весельчаков», а позднее — знаменитая госпожа Гюйон, пробывшая, правда, в Бастилии совсем недолго, но чей духовник уже восьмидесятилетним старцем все еще пребывал в ней в ту самую пору, когда там находился аббат де Бюкуа,

наш герой, которого в отличие от его товарищей менее всего интересовали способы установления связей между узниками. Увидев, что нет никакой надежды на благоприятный исход его дела, он стал уже всерьез подумывать о побеге. Хорошенько обдумав план этого предприятия, он принялся осторожно выяснять, как отнесутся к этому плану его соседи; те вначале решительно объявили его неосуществимым. Однако быстрый ум аббата один за другим отвергал их возражения, всякий раз находя новые способы преодоления всех трудностей, на которые ему указывали. И в конце концов Фалузде заявил, что предлагаемые аббатом меры все же имеют, пожалуй, некоторые шансы на успешное осуществление, но что для того, чтобы усыпить бдительность Рю и Корбе, потребуется много денег.

Тогда аббат де Бюкуа вытащил неизвестно откуда взявшиеся у него золото и драгоценные камни, и это сразу заставило всех почувствовать, что задуманное предприятие становится возможным. Тут же решено было приступить к плетению веревок, используя для этой цели простыни, и изготовлению крюков из железных ножек складных кроватей и гвоздей, вытаскиваемых из камня.

Подготовка была в полном разгаре, когда внезапно в камере появился Корбе в сопровождении солдат и заявил, что ему все известно. Один из узников выдал своих товарищей... Это был итальянский аббат Папазаредо. Ценой этого предательства он надеялся снискать себе помилование; добился он, однако, лишь того, что некоторое время находился в лучших условиях.

Все остальные были брошены в карцеры; аббат де Бюкуа попал в самый нижний этаж.

Глава седьмая **НОВЫЕ ЗАМЫСЛЫ**

Само собой разумеется, что пребывание в одиночной камере весьма не нравилось аббату де Бюкуа. Пробыв там несколько дней, он прибегнул к средству, которое не раз уже выручало его в подобных обстоятельствах: он притворился больным. Тюремный сторож, ходивший за ним, был испуган его состоянием: лихорадочное возбуждение то и дело сменялось упадком сил, при котором он становился похожим на мертвеца; он изображал это со-

стояние до того правдоподобно, что врачи Бастилии, которым с превеликим трудом удалось добиться у него хотя бы слабых признаков жизни, объявили, что больному грозит паралич. После этого приговора врачей он стал делать вид, будто половина тела у него парализована и он может шевелиться только другой половиной.

Навестивший его Корбе сказал ему:

— Вас сейчас переведут в другую камеру. Но вы видите, до чего довели вас ваши мысли о побеге?

— Побеге? — вскричал аббат. — Да разве может кто-нибудь надеяться выбраться из Бастилии? Разве подобные вещи когда-нибудь случались?

— Никогда! Гюгу Обрио, который строил эту крепость, а впоследствии сам оказался в ней заключенным, удалось выйти из нее только благодаря бунту парижского престонородья. Он был единственным, кто покинул ее вопреки воле правительства.

— Боже мой, — сказал аббат, — если бы не этот поразивший меня недуг, на что мог бы я здесь жаловаться?.. Разве что на жаб, которые оставляют слизь на моем лице, ползая по мне в то время, пока я сплю?

— Вот видите, к чему привело вас непокорство?

— Но, с другой стороны, разве не обрел я здесь утешение, обучая всяким штукам крыс, которым отдаю хлеб, даруемый мне королем и который сам не могу вкушать из-за своей болезни. Сейчас увидите, какие они у меня разумные. — И он позвал:

— Морико, сюда!

Тотчас же из щели между камнями вышла крыса и, став на задние лапки, остановилась около ложа аббата.

Корбе невольно расхохотался.

— Вас сейчас переведут в более приличествующее вам помещение, — сказал он.

— Мне бы очень хотелось, — сказал аббат, — вновь оказаться в одной камере с бароном фон Пекеном. Я только-только начал обращать этого лютеранина в праведную веру, и поскольку разум мой вследствие болезни, коей поразил меня господь, обращен ныне к одному лишь высокому, я счастлив был бы выполнить сию задачу.

Корбе тут же отдал нужные распоряжения, и аббат был перенесен в камеру, находившуюся на третьем этаже башни Бретодьер, где несколько дней уже находился барон фон Пекен вместе с одним ирландцем.

Аббат продолжал изображать паралитика даже перед своими сожителями, ибо то, что случилось с ним в башне

Куэн, убедило его, что излишняя откровенность может быть опасной. Немец и ирландец плохо ладили между собой. Последний вскоре стал вызывать антипатию и у аббата. Но барон фон Пекен, будучи человеком менее терпимым, как-то однажды до того разобидел ирландца, что тот вызвал его на дуэль.

Взяли ножницы, разъяли их на две части и, хорошенько отточив конец каждого лезвия, накрепко привязали обе половинки к двум палкам, после чего приступили к дуэли по всем правилам.

Аббат де Бюкуа вначале склонен был относиться к этому как к шутке, но увидев, что дело принимает серьезный оборот, и уже всю течет кровь, принялся изо всех сил стучать в дверь, призывая на помощь тюремных сторожей.

Когда аббата стали спрашивать о случившемся, он во всем обвинил ирландца, которого тут же перевели в другую камеру, так что они остались вдвоем с бароном. Тогда он решился доверить ему свой план побега, куда более хитроумный, чем предыдущий; на сей раз он предложил продырявить стену, граничившую с соседним помещением, где находилось отхожее место. Там стояла, правда, изрядная вонь, но оттуда, медленно сползая вниз по сквозному проходу, можно было в конце концов спуститься к сточным канавам со стороны улицы Сент-Антуан.

Оба горячо принялись за дело, и вскоре стена была продырявлена. К несчастью, барон фон Пекен любил прихвастнуть и совсем не мастер был держать язык за зубами. Еще прежде он открыл способ сноситься с обитателями расположенной под ними камеры через отверстие, сделанное внутри камина. Оба по очереди залезали в камин и оттуда с довольно большого расстояния беседовали с этими неизвестными новыми друзьями.

Во время такой беседы барон и проболтался о том, что питает надежду вместе со своим товарищем в скором времени отсюда выбраться, и то ли из зависти, то ли рассчитывая таким образом добиться смягчения своей участи, один из обитателей верхней камеры, некто Жуайёз, сын кельнского судьи, пересказал его слова Корбе, который тотчас же доложил об этом коменданту.

Бернавиль приказал послать за аббатом де Бюкуа, который, по-прежнему изображая паралитика, заставил принести себя на руках, и тут же весело опроверг предъявленное ему обвинение. Он объяснил все дело тем, что

барон фон Пекен, выпив несколько лишних стаканчиков вина, просто спьяна наболтал какую-то ерунду этому Жуайёзу — как видно, отъявленному *остолопу*, — и добавил, что будет поистине прискорбно, если из-за этого дурацкого доноса, его, аббата де Бюкуа, разлучат с бароном, которого он почти совсем уже обратил на путь истинной веры...

Барон на все задаваемые ему вопросы отвечал точно так же, и донос Жуайёза был предан забвению. К тому же друзья, своевременно предупрежденные тюремным сторожем, который, благодаря деньгам, постоянно получаемым им от аббата, всячески старался их выручить, успели вовремя заделать дыры в стене так, что никто ничего не заметил.

Аббата де Бюкуа вместе с бароном перевели теперь в другую камеру, расположенную в башне Либерте. Он ревностно продолжал обращать в праведную веру лютеранина фон Пекена и по-прежнему упорно думал о побеге. Его особенно раззадорил рассказ тюремного сторожа о некоем дю Пюи, которому удивительно легко удалось бежать из Венсенской тюрьмы с помощью поддельных ключей.

Этот дю Пюи служил прежде секретарем у г-на де Шамийяра, и его прозвали *«золотым пером»* за его удивительное искусство каллиграфа. Но не меньшее искусство проявлял он, подделывая дверные ключи из олова, для чего расплавлял ножи и вилки, что подавались ему за обедом.

С помощью добытых таким образом поддельных ключей этот дю Пюи по ночам выходил из своей камеры и посещал других узников и даже узниц; некоторые из них принимали его визиты хоть и с удивлением, но весьма учтиво.

И в конце концов ему удалось вместе с соседом по камере, неким Пижоном, бежать из Венсенской тюрьмы и укрыться в Лионе. «Сам доктор Фауст, — писал впоследствии в своих воспоминаниях Ренневиль, — никогда не слыл большим чародем, чем этот дю Пюи».

Тем не менее его все же, в конце концов, снова арестовали в Лионе, где он, чтобы раздобыть денег, подделывал на казенных бланках королевские ордонансы.

В Бастилии дю Пюи повезло меньше, чем в Венсенской тюрьме. Там ему удалось спуститься в ров, где днем работали косари, а он еще до этого заметил, что уходят они оттуда по вечерам через подземную

дверь, которую за ними не закрывают. К этой двери он и прокрался, оказавшись внизу, но было еще светло, и один из караульных, заметив его, выстрелил по нему из аркебуза, после чего его притащили обратно в Бастилию, где после длительной болезни он мог уже передвигаться, не иначе как опираясь на клюку.

Конец этой истории отнюдь не был обнадеживающим. Тем не менее аббат де Бюкуа продолжал готовиться к побегу. С каждой винной бутылки, которую ему подавали, он норовил стащить ивовую оплетку, объясняя тюремному сторожу, что пользуется ими как растопкой, чтобы разжигать по утрам огонь. День-деньской он плел из этих ивовых прутьев веревки, скрепляя их тесьмой, которую отрывал от своих простыней, полотенец и матраца, причем всякий раз старательно подрубал их или зашивал, так что никто ничего не мог заподозрить.

Барон фон Пекен, со своей стороны, занимался тем, что мастерил необходимые инструменты из различных кусков железа, которые ухитрялся находить то здесь, то там, повсюду подбирая старые гвозди и обломки кастрюль. Все это потом оттачивалось, накаливалось на огне и опускалось в фаянсовые кувшины, в которых держали воду.

Самой трудной задачей было найти место, где бы хранились ивовые прутья и готовые веревки. Аббату де Бюкуа удалось приподнять на полу несколько плиток, и они устроили там тайник, чтобы прятать в нем все эти материалы. Но в один прекрасный день пол, державшийся на подгнивших балках, не выдержав постоянного долбления, обрушился, и аббат де Бюкуа вместе с бароном провалились вниз, в камеру, находившуюся этажом ниже; в камере этой содержался некий иезуит, который и до того был сильно поврежден рассудком и которого это событие довело до полного безумия.

Аббат де Бюкуа и его товарищ отделались легкими ушибами. Иезуит же так отчаянно вопил: «Помогите! Спасите!», что аббат стал увещевать его по-латыни, умоляя замолчать и обещая сделать соучастником побега. Тот окончательно потерял голову, вообразив, будто его собираются убивать, и принялся кричать еще пуще.

На эти вопли прибежали сторожа, и тут уж аббат де Бюкуа, так же как и барон, в свою очередь начали что было сил вопить, возмущаясь ненадежностью перекрытий.

Их водворили в прежнюю камеру, и у них достало времени перебраться по веревочным лестницам, хранившимся под плитами, равно как и железные предметы, необходимые для побега. Но вот однажды в камере их появился слесарь, которому приказано было прорезать в их двери окошечко... Когда аббат спросил, для чего это делается, ему ответили, что через это окошечко будут приносить еду для сумасшедшего иезуита, которого собираются в эту камеру перевести. Что же до них, то их должны переселить в камеру получше. Это известие отнюдь не обрадовало обоих друзей, которые успели к этому времени подпилить оконные решетки и имели уже все основания рассчитывать на успех своего предприятия.

Аббат потребовал свидания с комендантом и заявил, что теперешняя камера ему вполне по вкусу и что, кроме того, ежели вздумают его разлучить с бароном фон Пекеном, обращение последнего в праведную веру станет невозможным, поскольку тот доверяет лишь одним его, аббата де Бюкуа, дружеским увещаниям... Комендант был неумолим; вернувшись в камеру, аббат сообщил немцу о положении дел.

Он посоветовал ему прибегнуть к притворству и, под видом невыносимой скорби по поводу переселения в другую камеру, разыграть попытку к самоубийству. И барон поистине разыграл ее на славу, ибо вместо того, чтобы выпустить у себя одну капельку крови, он перерезал себе вены на руках так, что аббат, испугавшись вида ручьями текущей крови, стал звать на помощь. Караульные тотчас же дали знать об этом на гауптвахту, и комендант явился самолично, проявляя все знаки глубокого сострадания.

Главной причиной такого его поведения было то обстоятельство, что он уже довольно давно получил приказ об освобождении барона. Однако, чтобы еще какое-то время поживиться за счет денег, которые тот вносил на свое содержание, он старался как можно дольше продержать его в заключении.

После этого случая аббата де Бюкуа перенесли, правда, не в карцер, но в одну из тех камерок на верхнем этаже башни, которые назывались «колпачками». Прежние обитатели этой камерки ухитрились разрисовать ее стены, покрыв их всякими устрашающими изображениями и изречениями из библии, «способствующими приуготовлению ко смерти».

Другие узники, более склонные к политике, нежели к религии, написали на стене такую эпиграмму:

Фуке поныне жаль. При нем
Мы жили в веке золотом,
Но век серебряный привел нас к переменам —
И родился Кольбер; потом в сем мире бренном
Зачат был Пеллетье — он глупостью блистал
И веком бронзовым французов наказал.
Теперь и хлеба нет, не подступиться к ценам —
И впрямь железный век настал,
Накликанный на нас прожорой Поншартреном.

Некто, еще более решительный, дерзнул вырезать на стене следующее четверостишие:

В Италии разбит, испанцем изгнан вон,
Людовик не скорбит среди стольких поражений:
Владеет Ментенон, владеет миром он...
За вычетом былых владений.

Пребывание в этой восьмиугольной камерке со стрельчатым сводом, да к тому же еще в полном одиночестве, было весьма тягостным для аббата де Бюкуа. Ему предложили поселиться вместе с неким капуцином по имени Брандбург; однако, проведя с ним несколько дней, аббат стал жаловаться, что монах этот больно уж важничает и требует, чтобы с ним обращались как с невестой какой персоной. Он стал просить коменданта, чтобы к нему поместили какого-нибудь *доброго малого* из протестантов, которого он мог бы обратиться в праведную веру. Он даже сам назвал имя некоего Гранвиля, о котором наслышан был от своих товарищей по прежней камере.

Он оказался весьма предприимчивым малым, этот Гранвиль, и куда менее склонным к обращению на путь истины, нежели к мыслям о побеге, в чем они как нельзя лучше сошлись с аббатом де Бюкуа.

Глава восьмая ПОСЛЕДНИЕ ПОПЫТКИ

Аббат и Гранвиль усердно искали в стене такое место, которое всего легче было бы продырявить, и им наконец удалось обнаружить в ней заложенное кирпичом бывшее окно. Но в самый разгар их работы в камеру ввели двух новых постояльцев. Одним из них оказался шевалье ле Суланж, человек надежный, с которым аббат уже когда-то встречался. Они обнялись. Что касается

второго, то это был странный субъект по имени Гренгале, который слыл умалишенным, но подозревали, что это шпион, ибо в больших камерах кто-нибудь из узников непременно оказывается шпионом. Однако этому Гренгале устроили до того невеселую жизнь, что он сам вскоре запросился из этой камеры, и его заменили другим.

Оставшиеся четыре узника, познакомившись и убедившись, что все они — люди чести, по-братски стали держать совет, каким образом им отсюда бежать, и план, предложенный аббатом де Бюкуа, с самого же начала получил единодушное одобрение.

Согласно этому плану надлежало просто подпилить решетки на окне и через образовавшуюся брешь спуститься ночью в ров при помощи веревок из скрепленных между собой тесьмой ивовых прутьев. Аббату удалось сохранить некоторые из тех веревок, которые он плел вместе с бароном фон Пекеном, и он объяснил своим новым товарищам, как сделать по этому образцу другие, а также научил их отливать скобы.

Что до вопроса о том, каким образом подпилить решетку, аббат показал им маленький напильник, который ему в свое время удалось припрятать и которого было вполне достаточно, чтобы произвести нужную подготовку.

Однако прежние неудачные попытки к бегству сделали аббата недоверчивым, и он потребовал, чтобы каждый из участников поклялся самой страшной клятвой, что ни при каких обстоятельствах не выдаст своих сообщников. С помощью сделанного из соломинки пера и разведенной сажи он написал на листе бумаги выдержки из евангелия и велел каждому, положив на этот лист руку, принести торжественную клятву.

Бурные споры возникли у них по поводу того, с какой стороны лучше взбираться на контрэскарп, после того как они окажутся во рву.

Аббат считал, что нужно взобраться на контрэскарп, соседствующий с домами Сент-Антуанского предместья, остальные же полагали, что гораздо надежнее пробраться через наружный крепостной вал в ров, что лежит по ту сторону ворот.

Мнения настолько разделились, что пришлось выбирать председателя... В конце концов согласились на том, что каждый, очутившись во рву, будет действовать по собственному усмотрению.

Пятого мая в два часа пополудни план был осуществлен.

Необходимо было, чтобы пробой, через который продеваться будет веревка, несколько выступал из окна, дабы веревку эту легче было разматывать. Беглецы еще за несколько дней до этого смастерили некое подобие циферблата солнечных часов и, прикрепив это приспособление к палке, высунули его за окно, дабы часовые привыкли видеть его в этом месте. Кроме того, веревки пришлось вымазать сажей и намотать их на высунутый из окошка пробой. А поскольку его все же могли случайно увидеть снизу, поверх еще накинули одеяло, будто бы для просушки.

Первым спустился аббат де Бюкуа; они заранее условились, что он будет следить за движением караульных и сообщит товарищам, дернув за веревку, следует ли тем спускаться или нужно еще повременить. Однако прошло более двух часов, а он все ждал, притаившись в высокой траве: несмотря на данный им сигнал, никто не спустился.

А задержались эти бедняги, как оказалось впоследствии, потому что одному из них из-за его тучности никак не просунуться было в брешь, сделанную в решетке, и они тщетно старались ее расширить.

Двое из них наконец все же спустились и сообщили аббату де Бюкуа, что Гранвиль решил пожертвовать собой ради других, сказав: «Пусть уж лучше погибнет один».

Более всего аббата беспокоил вопрос о караульных; он предложил расправиться с ними, ибо их хождение взад и вперед мешало ему осуществить свое намерение перебраться через контрэскарп со стороны улицы Сент-Антуан. Остальные были с ним не согласны: они предлагали бежать в другую сторону, воспользовавшись высокой травой, которая позволила бы им проскользнуть незаметно.

Аббат, который никогда не отказывался от раз принятого им решения, остался стоять на месте, ожидая, чтобы караульные отошли подальше, после чего быстро *вскарabalся* на стену, за которой обнаружил еще один ров. Он перебрался и через него и оказался за пределами крепости на улице Сент-Антуан, на железной кровле какого-то строения. Теперь ему оставалось лишь перебраться на крышу соседней пристройки, оказавшейся кладовой торговца мясом.

Прежде чем спуститься, он решил еще раз взглянуть, что стало с его товарищами; но, услышав ружейный выстрел, понял, что те пытались, очевидно безуспешно, разоружить караульного...

Соскальзывая с крыши, аббат рассадил себе плечо о крюк, служивший для подвешивания мясных туш. Но он не обратил на это никакого внимания и пустился скорей бежать вниз по улице Сент-Антуан, а затем по улице Турнель; пробежав таким же образом всю дорогу, он очутился наконец на другом конце Парижа, у ворот Конфранс, где жил один из его друзей по кофейне Лорана. Несколько дней его прятали. Затем, понимая, что оставаться теперь в Париже было бы большой ошибкой, он под чужим именем через Бургундию добрался до Швейцарии. У нас нет никаких сведений о том, не останавливался ли он там снова, чтобы поговорить с подпольными торговцами солью.

Побег аббата имел весьма серьезные последствия для узников, содержавшихся в Бастилии. До этого случая всем известно было, что «из Бастилии не убежишь». Бернавиль до того разъярился из-за этой истории, что велел немедленно срубить все деревья и в саду, и в аллеях вокруг крепостных валов. Затем, узнав от Корбе, каким образом некоторым узникам удалось общаться с внешним миром, он приказал уничтожить всех голубей и ворон, что гнездились на вершинах башен, и даже воробьев и малиновок, составлявших радость и утешение некоторых узниц.

Корбе заподозрили в том, будто он намеренно не проявлял должной бдительности в надзоре над узниками, поскольку был подкуплен постоянными подарками, получаемыми им от аббата де Бюкуа. Да и его поведение с узницами давно уже вызывало на него нарекания.

Влюбившись без памяти в Одрико — жену одного ирландца, — он содержал ее в Бастилии таким образом, что муж и не подозревал, что она находится так близко от него. Корбе и Жиро (тюремный священник) оба обхаживали сию даму, и та в конце концов забеременела... и невозможно было разобраться, от кого этот ребенок.

Однако Корбе был уверен, что ребенок «его, и только его», и с помощью своих связей добился помилования г-жи Одрико, которая была весьма хороша собой, хотя у нее и были рыжие волосы. Корбе был невероятным скупердяем, о нем говорили, будто он уморил голодной смертью одного протестантского священника по имени

Кардель только ради того, чтобы завладеть несколькими серебряными тарелками и чашками, которые принадлежали этому бедняге. Но эта Одрико так сумела его поработить, что добилась от него и кареты, и слуг, и всего прочего, что ей надобно было, чтобы вести светскую жизнь, и вконец его разорила. Вследствие достаточно обоснованных жалоб, он отстранен был от должности, и надо полагать, конец его был плачевен.

Бернавиль, которого заключенные до такой степени осыпали золотом, что, по самым скромным подсчетам, он имел от них доходу не менее шестисот тысяч франков в год, был замещен Делоне лишь в самом конце царствования Людовика XIV. Последним важным узником, которого он принял в Бастилию, был тот самый юный Фронсак, герцог де Ришелье, которого в один прекрасный день застали спрятавшимся под кроватью герцогини Бургундской, супруги наследника престола. Злые языки того времени высказывали сожаление, что военные лавры не уберегли герцога Бургундского от подобного позора. Впрочем, герцог вскоре после этого скончался, предоставив Фенелону скорбеть о том, что он только даром потратил такое множество прекрасных мыслей и прекрасных оборотов речи, излагая наследнику будущие его обязанности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы показали аббата де Бюкуа в пору его бегства из Бастилии, что было делом отнюдь не легким; было бы, пожалуй, скучно рассказывать еще о его путешествии по германским странам, куда он направился после Швейцарии. Еще в бытность его там, в Швейцарии, тамошний французский посланник, граф де Люк, которому Ж. Б. Руссо посвятил известную оду, пытался помирить аббата де Бюкуа со двором. Но он потерпел неудачу, равно как и тетка аббата, вдовствующая графиня де Бюкуа, которая обратилась к королю с прошением, начинающимся так:

«Вдова графа де Бюкуа покорнейше доводит до сведения Вашего Величества, что племянник покойного ее супруга господин аббат де Бюкуа имел несчастье быть арестованным в Сансе, где его приняли за господина аббата де Бурли, коему предъявлялось обвинение в том, что он послан был г-ном де Мальборо для содействия рассеян-

ным по Бургундии и Шампани мнимым торговцам солью с целью при их содействии поднять мятеж».

Далее графиня указывает на ошибочность этого ареста и перечисляет страдания, кои пришлось претерпеть столь верному подданному короля, как аббат де Бюкуа, принятому по ошибке за одного из мятежников и брошенному в суассонскую тюрьму вместе с людьми, обвиняемыми в похищении г-на *де Берингена*¹.

Засим графиня подчеркивает то мужество, с которым племяннику ее после долгих и изнурительных приготовлений удалось *безо всякой огласки* осуществить пятого мая побег из Бастилии... Однако теперь, очутившись на чужбине, он просит, чтобы его признали невиновным, объявляя себя одним из самых ревностных подданных короля, «но подданным Фенелона образца, из тех, кто преодолюбив и прямодушен и в чьем лице государь обретает ту славу, которая блеском своим обязана одной лишь добродетели»...

Далее графиня замечает, что «желательно было бы, чтобы имя ее племянника было исключено и вымарано из списков узников в тюрьмах Санса, Суассона, равно как и в Фор-Левеке и Бастилии, и он был бы восстановлен во всех своих правах, прерогативах и титулах, а также чтобы ему возмещен был денежный ущерб в сумме более шестисот пистолей, отнятых у него в разное время при заключении его под стражу». К этому она добавляет, что лакей ее племянника Фурнье и служанка Луиза Деню присвоили себе две тысячи экю, которые были у него перед самым его бегством.

В конце своего прошения вдовствующая графиня просит предоставить ее племяннику какую-либо приличествующую ему должность, будь то в королевских войсках, будь то в качестве слуги церкви, ибо он готов выполнять все, что *благоугодно будет на него возложить*, и взять на себя любые обязанности, лишь бы, выполняя оные, он мог содействовать добру.

Прошение это датировано 22 июля 1709 года.

Никакого ответа на него не последовало.

Находясь в Швейцарии, нет ничего проще как спуститься вниз по Рейну либо на обычном судне, либо на

¹ Во «Всемирной биографии» Мишо он назван «первым королевским конюшим». Имя его мы почерпнули из изданной во Франкфурте полунемецкой книги, где дана подлинная история аббата де Бюкуа. (*Примеч. Нерваля.*)

одном из плотов, которые нередко перевозят на своих сосновых настилах целые деревни. Углубив рукава Рейна, их превратили в каналы, которые облегчают путь в Нидерланды.

Мы не знаем, каким способом добирался аббат де Бюкуа из Швейцарии в Голландию, но нам доподлинно известно, что он сумел найти там доступ к достопочтенному ратпенсионарию Гейнсиусу, который, будучи философом, принял его с распростертыми объятиями.

К этому времени аббат де Бюкуа успел уже сочинить целый проект республиканского устройства применительно к Франции, в котором рассмотрены способы упразднения монархии! Он озаглавил это так: «Антимакьявеллизм, или Философские размышления о власти вообще и самовласти в частности».

«Можно сказать, — пишет он в своих мемуарах, — что республика есть не что иное, как преобразование формы злоупотреблений, которое случай со временем привносит в управление народом».

Аббат де Бюкуа, очевидно в миролюбивых целях, добавляет, что и монархия может иной раз явиться действенным лекарством против злоторства республики... «Природа являет себя в обоих этих образах правления — и в республиканском, и в монархическом, но в последнем не столь свободно, как в первом».

Он признает, что в руках мудреца самой совершенной из всех является власть монархическая, но где найти мудрого государя? Исходя из этого, республиканский образ правления кажется ему наименее вредоносным из всех.

«Самовластие (аббат имеет здесь в виду правление Людовика XIV) слишком уж часто пускает в ход имя божье, но с какой целью? Чтобы прикрывать свою несправедливость... Оно способно, таким образом, обмануть толпу или так *отвести ей глаза*, что молчание ее можно принять за одобрение, но берегитесь... Достаточно появиться нескольким человекам определенного склада, достаточно соответствующего стечения обстоятельств, самой пустой случайности, чтобы разбудить в народе то, что кажется в нем уснувшим».

Можно ли возлагать какие-то надежды, спрашивает далее аббат, на тайных безбожников, которые, как и вы сами, пекутся лишь о собственных интересах? Не ждите от них, что в решительный час они станут ради вас усердствовать. «Они поступят так, как подскажет им

Время, и вы будете поражены, увидев, что они первыми от вас отступятся».

Настоящая работа является не более как дополнением к биографии, и потому мы лишь мимоходом рисуем здесь аббата де Бюкуа как одного из предтеч французской революции. Труд, общий дух которого мы в главных чертах наметили выше, сопровождается «Извлечением из трактата о бытии божьем», в коем автор старается доказать, вопреки философам-материалистам, что *материи* самой по себе не свойственно ни бытие, ни движение.

«Обладает ли каждая частица материи, — говорит о н, — своим собственным бытием? Тогда должно было бы быть столько же необходимых сущностей, сколько частиц. Это породило бы бесчисленное множество богов, подобно тому как породило их воображение язычников». Тела, утверждает аббат, сами по себе не имеют ни бытия, ни движения... Вы скажете, что «в недрах материи один атом толкает другой и что порядок есть результат их взаимодействия?» Вот этого аббат и не может допустить без вмешательства бога.

«Тела сами по себе имеют так же мало движения и порядка в этом движении, как и бытия. С учетом сказанного, является ли *случай* чем-то, что присуще всему этому? Но, значит, он от чего-то зависит. Существует ли он сам по себе, не будучи ничем из того, о чем шла речь? Тогда это бог. Если же он ни то и ни другое, то это ничто!»

Автор, как мы видим, борется здесь с некоторыми картезианскими идеями, уже предвосхищающими Гольбаха и Ламетри; в конце он не может удержаться, чтобы не поддеть двор Людовика XIV: «О Господь, сколько уст исповедуется тебе в грехах своих, но кто истинно верует в тебя сердцем своим? А разве могло бы быть все это, о Господи, когда бы именем твоим люди не прикрывали своих несправедливых деяний?»

Правительство Нидерландов весьма благосклонно отнеслось к проекту аббата де Бюкуа, но в ту пору было бы затруднительно установить во Франции республику; к тому же это было бы возможно лишь в том случае, если бы союзники одержали победу.

Так что аббат имел успех в Голландии лишь в салонах, где прослыл глубокомысленным философом. Его охотно слушали в собраниях, где встречал он единодушное сочувствие *той Франции*, которая рассеяна была вслед-

ствии всякого рода преследований за ее границами и включала в себя в той же мере отважных католиков, что и протестантов. И тех и других объединяла ненависть к человеку, требовавшему, чтобы имя его сопровождалось эпитетом «viro immortalis»¹ или «fit regio divo»².

Дамы гаагских салонов высказывались весьма неодобрительно по поводу того прошения, с которым обратилась к королю тетушка аббата. «Во Франции, — говорили они, — давно уже вышло из моды выражать свои мысли столь прямо и столь наивно». «Это дорого обошлось г-ну де Камбре, хоть он и облек все это в свойственный ему стиль».

По поводу смерти Людовика XIV аббат де Бюкуа сочинил следующее четверостишие, предпослав ему такое заглавие:

ПОСЛЕДНЯЯ ЕГО РОЛЬ

(Место действия — церковь Сен-Дени)

Игре конец! Мертвецким (sic!) сном
Герой наш опочил спокойно
И чтоб почтить его достойно,
Мы лучше умолчим о нем.

Быть может, есть все же некоторое преувеличение в этих строках аббата. «Его царствование — поистине роман, — пишет он далее. — «Хочу — значит, могу!» — таков был его девиз».

«Что совершил он? Ровно ничего».

«Когда бы можно было возвратить жизнь тем тысячам людей, коих принес он в жертву своим замыслам!»

Эти рассуждения аббат де Бюкуа послал 3 апреля 1717 года из своего ганноверского далека не кому иному, как матери регента.

Будучи в Ганновере, аббат де Бюкуа издал свои размышления по поводу *внезапной кончины* шведского короля. Указав на те требования, которые предъявляет ко всякому государю его высокое положение, он написал следующую фразу: «Какой позор и стыд для всех тех, кто, будучи возвышен судьбой, оказывается в делах своих ни богу свечка, ни черту кочерга». И к этому добавляет: «Нет для меня ничего более оскорбительного, как встретить в государе жалкую душонку обывателя».

¹ «Бессмертному мужу» (лат.).

² «Божественному королю» (лат.).

Что до его шведского величества, то аббат ставит ему в вину, что он слишком юным начал читать Квинта Курция. «Бойтесь т е х , — прибавляет о н , — кто всегда носит с собой одну и ту же книгу».

«Всегда и повсюду солдат, воин по самой сути своей — таков он был от природы; но чтение Квинта Курция погубило его. Начав со славной победы под Нарвой, он вынужден затем спастись бегством под Полтавой, пускается в авантюры в Бендерах и находит бессмысленную гибель под стенами крепости Фрëдрихсталь».

Вот каким политическим рассуждениям предавался аббат де Бюкуа в Ганновере около 1718 года. Но в 1721-м он уже всецело занят одними только женщинами, записывая свои размышления «О зловредности прекрасного пола». В этом новом его сочинении мы находим следующую фразу:

«О женщина! Вытяжка из ребра! Порождение ночи и сна: Адам ведь спал в то время, как Господь создавал тебя... Проснись он раньше, нам, быть может, досталось бы изделие получше — или он умолил бы Создателя сделать эту кость от кости его более гибкой, хотя бы со стороны головы».

Он вообще мог бы сказать Господу: „Не тронь ты моего ребра: лучше уж мне быть одному, чем в дурном обществе...“».

Аббату де Бюкуа, весьма радушно принятому при ганноверском дворе, предоставлена была квартира во дворце. Но кто мог предвидеть, что он встретит здесь некую особу по имени Марта, которая была тамошней смотрительницей и причинила ему немало огорчений.

Однажды он уехал в Лейпциг, и в его отсутствие ему пришли деньги. Когда он вернулся, никто ему о них не сказал, и о том, что они были ему посланы, он узнал лишь позднее из письма. Когда он сказал об этом смотрительнице, та заявила, что, пока его не было, она эти деньги потратила и вернет их как-нибудь потом. На это он только сказал ей по-немецки: «Es ist nicht recht» (это нехорошо).

Но все же он выразил свое недовольство ее мужу, и вот рано поутру она пожаловала к аббату в одной сорочке и короткой нижней юбке, из-под которой выглядывали ляжки... «Как з н а т ь , — говорит а б б а т , — не была ли то Федра разъяренная, объятая безудержным гневом и страстью...» И он бросился к своим pistolетам, чтобы

зарядить их ружейной дробью. Дама тут же поспешила спастись бегством...

Эти последние огорчения очень растревожили аббата де Бюкуа, и он несколько раз обращался по этому поводу к Его Величеству королю британскому, которому подчинялось правительство Ганновера. Вполне, впрочем, возможно, что в эти последние годы, то есть когда ему было уже под девяносто лет, разум его несколько ослабел, и он многое изрядно преувеличивал.

У нас нет никаких других сведений, касающихся последних лет жизни аббата графа де Бюкуа.

Писатель этот показался нам фигурой примечательной и своими побегам, и относительными достоинствами своих сочинений.

Не следует, однако, смешивать его с неким г-ном Жаком де Бюкуа, книга которого под названием «*Reise door de Indiën*» door Jacob de Bucqoy. Harlem: Jan Bosch, 1744¹ хранится в Национальной библиотеке.

Граф де Бюкуа после бегства своего из Бастилии жил то в Голландии, то в Германии, но в Индии он не бывал.

Возможно, поездку туда совершил в ту пору кто-нибудь из его родственников.

КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ

I

Не пугайтесь этого персонажа — он ведь не столько черный, сколько темно-красный. Но все дьяволы непременно черны, а этот по природе своей куда более принадлежит земле, нежели аду; он даже не столь уж большое участие принимал в великой битве, случившейся некогда в небесных сферах, которую назвали *Восстанием Сатаны и ангелов его против Адоная* (Вседержителя) и его присных.

Сатана был неким подобием Кошута, который осмелился поднять знамя восстания против своего законного императора и вовлек в этот заговор множество беспокойных умов, пропитавшихся республиканскими теориями.

¹ «Путешествия по Индии» Якоба де Бюкуа. Гарлем, Ян Босх, 1744 (нидерл.).

Мы знаем, что с самого начала всякой звездой, всякой планетой, даже самой что ни на есть захудалой кометой ведал какой-нибудь дух либо ангел, который одушевлял ее, подобно тому как душа одушевляет тело. Что до нас, людей и животных, населяющих Землю, то мы не более как чужеродные насекомые, что обитают на поверхности каждого небесного тела, и питаемся мы — нередко из рук вон плохо — лишь за счет внешней ее оболочки.

Сатана был одним из тех властолюбивых, непокорных и неблагодарных созданий, которые не терпят чужою превосходства; скажем без обиняков — себя он считал гениальным. Святую троицу он рассматривал как династию тиранов, коварно увековечившую свое могущество, объявив его *божественным правом*, или ловких узурпаторов, добившихся мирового господства с согласия подкупленного ими большинства.

В свой заговор он вовлек целую толпу планет, небесных светил, туманных пятен, даже несколько звезд первой величины, поддавшихся его прельстительным речам. Кометы, которые ничего не стоит склонить ко злу, взяли на себя роль иррегулярных войск — и завязалась чудовищная битва, в ходе которой между небесными телами происходили отчаянные схватки. Остававшиеся после этого сражения обломки образовали то, что мы ныне называем *Млечный Путь*. Дождь из аэролитов, явившийся следствием этих столкновений, произвел во вселенной неопишущую кутерьму. Еще и сегодня нет-нет да и стукнется о наш земной шар какой-нибудь старый обломок тех далеких времен, тысячелетиями кружившийся в небесном пространстве.

Подробности этой чудовищной катастрофы можно прочитать в «Потерянном рае» Мильтона, целиком основанном на одной из так называемых апокрифических книг библии, известной под названием «Книга Еноха»¹.

Книгу эту всегда исключали из ортодоксальных библий, опасаясь, как бы повесть о восстании Сатаны не представила его в ореоле некоторого величия, способного соблазнить воображение малых сих. Один католический ученый, иезуит отец Кирхер, перевел оттуда отрывок и поместил его в своем «Oedipus Aegyptiacus»².

¹ Книга Еноха была переведена целиком с древнесирийского на латинский язык епископом Кентерберийским. (*Примеч. Нервала.*)

² «Эдип египетский» (*лат.*).

Вот из этой последней книги, хорошо известной кабалистам, и позаимствовали мы достоверную фигуру Красного дьявола, о котором собираемся здесь рассказать.

II

...Бедняга дьявол! Да полно, дьявол ли он? Древние называли его всего только «демоном» — словом, которое в какой-то мере происходит от «demos» и означает лишь несчастливца, бунтовщика, но в общем-то неплохого малого. В слове «демон», сугубо греческом, никогда не было и тени какого-либо неодобрительного смысла.

Положение Красного дьявола после одержанной Предвечным победы оказалось, если верить тому, что сообщает Данте в своей «Божественной Комедии», весьма плачевным. До участия своего в заговоре Сатаны он был правителем вечерней звезды, которую называли попросту Люцифер¹. Имя это он сохранил, но при этом утратил все свои полномочия, которые переданы были его супруге Астарте — у той оказались большие связи в Раю.

Во время небесной революции бедный Люцифер был командующим артиллерией (Мильтон сообщил нам, что, дабы противостоять небесным молниям, Сатана изобрел пушки еще за много тысяч лет до того, как их придумали на Земле). Батарея, которой командовал Люцифер, была полностью разгромлена, а его самого поразил удар молнии прямо в грудь, да так, что беднягу сбросило с его звезды, и он со всего размаха вонзился головой в только что образовавшийся земной шар, который еще недостаточно затвердел, — и это ослабило силу удара.

Не следует судить о размерах обитателей небесных сфер, исходя из наших ничтожных масштабов: мы — атомы. Но если правда, что люди, населявшие Землю до потопа, имели милю в высоту и жили по тысяче лет (надо же верить тому, что говорится в библии), нетрудно понять, что существа, которые жили еще до Адама и квартировали на звездах, в тысячу раз превосходили их величиной. Вот почему не следует удивляться тому, что

¹ Люцифер означает «носитель света», вот почему, вероятно, дьявол этот изображается, как мы видим это на картинке, освещающим семью факелами все семь планет. (*Примеч. Нервала.*)

прославленный поэт в XXIV песни своей поэмы приписал Люциферу такой огромный рост. Он утверждает, будто тело его протыкает весь земной шар таким образом, что голова находится непосредственно над самым Королевством обеих Сицилий, а ноги образуют два острова в Океании по ту сторону Земли, как раз напротив нашей Европы. Один его рог сопряжен с Везувием, другой — с Этной. Как только он пошевелится, происходит землетрясение, как только чихнет — извержение вулкана.

Данте со свойственной итальянцам напыщенностью называет его «червем презренным, коим мир пронзен»¹.

Ведомый Вергилием флорентийский поэт добрался до средоточия «недр ледяного слоя», который окружает стан Нечистого и образует последний из семи кругов земного ада. Вода вокруг него превратилась в лед, хотя наверху рот и ноздри его изрыгают пламя. Вот слова Данте: «Мучительной державы властелин, грудь изо льда вздымал наполовину».

Пройдя через подземное жерло, где терпят адские муки грешники и которое, попросту говоря, зовется геенной, Данте и его вожатый, ухватившись за шерсть Люцифера и перебираясь с одного ее клокка на другой, ухитрились проскользнуть вдоль его косматых чресел. И когда они миновали центр земного шара, Данте в себя не мог прийти от изумления, оказавшись вскоре на другой стороне Земли. И на выраженное им удивление Вергилий отвечает так: «Теперь здесь день, там вечер наступил, // Ибо насквозь с тобой прошли мы шар земной». «А этот вот, чья лестница мохната, // — продолжает он, указывая поэту на позу демона, — Все так же воткнут, как и прежде был. // Сюда с небес вонзился он когда-то; // Земля, что раньше наверху цвела, // Застлалась морем, ужасом объята, // И в наше полушарье перешла».

III

Читателям нашим должно быть ясно, что Люцифер, Красный дьявол, есть не кто иной, как тот самый персонаж, которого древние называли *демогоргоном* — именем, в коем еще легко обнаруживается корень «демос» — народ.

¹ Здесь и далее цитаты из Данте даются в переводе М. Лозинского.

Для греков он был одним из Титанов, борющихся против Юпитера. Для жителей Сиракуз и Великой Греции (неаполитанцев) — тем же, что и Анслад, к которому вполне применимо описание, данное Данте. В описании отца Кирхера, на которого мы ссылаемся в начале настоящей статьи, он, пожалуй, скорей смахивает на великого Пана, то есть Духа Земли, столь боготворимого и перевозносимого современным *пантеизмом*. Словом, у нас есть все основания предполагать, что все эти персонажи представляют собой один, который ни в коей мере не следует отождествлять с дьяволом, каким его обычно себе представляют, то есть с Духом Зла.

IV

В самом деле, ведь отнюдь не доказано, что Всевышний предал незадачливого Люцифера вечному проклятию. В самый момент его падения жене его Астарте, которая до того без устали отговаривала мужа от каких бы то ни было действий против законного порядка, удалось внушить Вседержителю, что *бедный дьявол* попросту глуп и потому неспособен был противиться подлым ухищрениям Сатаны и его изощренному красноречию. Этим она добилась того, что беднягу оставили в покое, предоставив ему барахтаться в глинистой почве, куда его так несчастливо занесло.

А чтобы он все же приносил какую-то пользу в те промежутки, когда ему надоедает курить и кряхтеть, его произвели в надзиратели земного ада — тюрьмы, не имеющей одиночных камер, устроенной еще по старинке, которую не следует смешивать с чудовищной, ужасной преисподней, предназначенной для необозримой массы грешников всего мироздания. Последние, по словам Иисуса Христа, ввергнуты во *тьму кремешную*, то есть пребывают за пределами оного.

Милейший этот дьявол — можем же мы теперь применить к нему этот смягчающий эпитет — вел себя столь безусловно, что, когда господь снизошел на нашу Землю, он счел для себя возможным остановиться, чтобы побеседовать с ним, как это явствует из второй главы книги Иова. Он доверил ему и кое-какие полицейские обязанности, которые не имеют ничего общего с обязанностями агента-provokatora, ибо, как было сказано, задача не в том, чтобы вводить человека *во искушение*, а

в том, чтобы побуждать в нем волю к действию, каковая имеет склонность ослабевать, как доказал нам это знаменитый Гёте, автор «Фауста».

В этой связи вряд ли стоит приписывать невежеству некоторых средневековых монахов высказанное ими предположение, будто этот дьявол был вдохновителем всех знаменитых открытий, составивших славу XV века. Вспомним, ведь порох выдумал не кто иной, как монах по имени Бертольд Шварц, а если в самом деле подсказал это ему Люцифер, то, может статься, тому просто захотелось воскресить в памяти былые свои подвиги артиллериста в пору службы у Сатаны. Но факт этот отнюдь не доказан; зато все знают, что именно он внушил доктору Фаусту идею книгопечатания, этой всенародной могущественной силы, способной противостоять пушкам — *ultima ratio*, последнему доводу королей.

Пушка и книгопечатание суть, таким образом, две противоборствующие силы, стремящиеся уничтожить друг друга: первая — во имя мрака, вторая — во имя света. А ведь сказано в евангелии: «И несть раздора в преисподней». Так что если книгопечатание изобрел наш дьявол, пушку изобрести он не мог.

Оставим эти беспредметные споры. Бедняга Люцифер и без того оказывается кругом виноватым в глазах известного рода людей. Его обвиняют, и не без основания, в материализме и в коммунизме и сильно подозревают в том, что он имел касательство к событиям прошлого года. Мы полагаем, что у него были чистые намерения и что присущая людям злоба преувеличила их последствия. Вот почему мы просим отнестись все же снисходительно к этому существу, скорее несчастному, чем виновному, которого, надо думать, коснется та всеобщая амнистия, что уготована всем бедолагам, которых его теории сбили с толку.

ИСТОРИЯ ТЮЛЕНЯ

Я, честно говоря, побаиваюсь, что наскучил публике рассказами о своих злополучных поисках аббата де Бюкуа. С другой стороны, читатели не вправе рассчитывать, что в наши дни истории с продолжением будут столь же увлекательны, как во времена, когда нам еще не воспрещали писать о любви.

Я только что узнал, что некую газету грозятся при-крыть лишь за то, что в напечатанном там описании путешествия в Гренландию повествуется между прочим о перипетиях любовной страсти, вполне доподлинно к тому же.

По этой причине мне, возможно, не удастся поделиться с вами наблюдениями, не вовсе лишенными интереса и сделанными мною в Версале, куда я поехал, надеясь найти в тамошней библиотеке нужную книгу.

Библиотека размещена в одном из дворцовых зданий. Как и следовало ожидать, она, подобно большинству парижских библиотек, все еще была закрыта на ва-кации.

Возвращаясь из дворца по аллее, ведущей в Сен-Клу, я попал на ярмарочное гулянье — его там всегда устраи-вают в это время года.

И сразу глаза мои приковала огромная афиша, при-зывающая поглядеть на ученого тюленя.

Я уже видел его в прошлом году в Париже и восхи-щался им — он так мило произносил «папа-мама» и це-ловал юную особу, чьим приказам неукоснительно пови-новался.

Я навсегда проникся горячей симпатией к тюленям после того, как в Голландии мне рассказали следующую историю.

И это не вымысел — так, во всяком случае, утверж-дали голландцы. Тамошним рыбакам тюлени заменяют собак; головы у них точь-в-точь как у догов, глаза как у телят, а усы кошачьи. Во время путины они плывут за рыбачьими суденышками и, если хозяин не успел схватить рыбу или выронил ее, тюлень приносит ему ускользнувшую добычу.

Тюлени — зябкие твари, и зимой рыбак берет одного из них к себе в постояльцы: тот вползает в домишко и почти все время проводит в углу у очага, ожидая, что ему перепадет кусочек снеди из котелка на очаге.

ИСТОРИЯ ТЮЛЕНЯ

Жил на свете рыбак, и у него была семья, и они со-всем обнищали, сидели впроголодь, потому что год вы-дался тяжелый, и однажды рыбак сказал жене: «Эта тварь объедает наших детей. Заброшу-ка я ее подальше в море, там она найдет сородичей, которые зимою пря-

чутся в ямах, отлеживаются на подстилке из водорослей, и рыбы им хватает, они знают, где она еще водится».

Жена стала просить его пожалеть тюленя, но он и слушать ничего не хотел. Тогда она подумала о своих голодных детях и замолчала.

Чуть рассвело, рыбак загнал тюленя в суденышко и отвез на остров в нескольких лье от берега. Тюлень начал резвиться со своими сородичами и внимания не обратил, что судно уплывает все дальше и дальше.

Рыбак, возвращаясь домой, печалился, что пришлось ему расстаться с постоянным своим спутником. А тюлень меж тем обогнал хозяина и уже поджидал его, обсыхая у очага. Прошло несколько дней, нужда одолевала семью рыбака, и вот, измученный отчаянными воплями детишек, он решил принять крутые меры.

Он увез тюленя очень далеко и выбросил в открытое море, где кругом не было ни клочка суши.

Раз за разом пытался тюлень ластом — а ласты у этих тварей очень похожи на человеческие руки — ухватиться за борт. И тогда рыбак вышел из себя, ударил веслом по ласту и сломал его. Тюлень жалобно, совсем как человек, вскрикнул и нырнул под воду, обогренную его кровью.

Рыбак вернулся домой, и сердце у него надрывалось от горя. На этот раз тюлень не поджидал его, греясь у очага.

Но как только стемнело, на улице вдруг раздались громкие крики.

Рыбак решил, что там кого-то убивают, и бросился на выручку.

У самого порога лежал тюлень — он кое-как дополз до дома и теперь жалостно стонал, поднимая к небу кровоточащий ласт.

Его впустили в дом, перевязали и больше не пытались изгнать из семьи — да и улов рыбы к тому времени стал куда лучше.

Эту легенду вы, разумеется, не сочтете опасной: в ней ведь нет ни слова о любви.

Но вот стоит ли пересказывать то, что я услышал в версальском балагане, где показывали тюленя, сам я решить никак не могу. Вам виднее, опасно это или нет.

Прежде всего я, к своему удивлению, обнаружил, что в прошлом году видел другого тюленя. Этот и расцветки иной, и потолще.

Вместе со мной на него глазели двое военных — сержант и солдат стрелкового полка из саторийского военного лагеря, выражавшие свои чувства на той смеси эльзасского наречия с овернским, которая столь характерна для некоторых французских воинских частей.

Повинуясь палочке хозяина, тюлень уже несколько раз перекувырнулся в чане с водой. Сержант окинул чан пренебрежительным взором человека, повидавшего на своем веку немало ученых рыб.

Сержант: Вот уж ты так не покрутился бы в море.

Солдат: Не скажите, может, и покрутился бы, будь вода не чересчур холодная или если бы мне удалось разжиться вот таким меховым плащом.

Сержант: Что ты такое несешь? Меховой плащ у этой рыбины?

Солдат: А вы пощупайте ее, сержант.

Сержант намеревается пощупать тюленя.

Хозяин: Не трогайте его. Он очень злой натошак.

Сержант (пренебрежительно): Вот в Алжире я видел рыбин, так они в два, а то и в три раза длиннее этой. И надо сказать, никакого меха у них не было, одна чешуя... Да и вообще не похоже, чтобы такие рыбы водились в Африке.

Хозяин: Прошу прощения, сержант, эту я выловил у Зеленого Мыса.

Сержант: Ну, если у Зеленого Мыса, тогда дело другое... совсем другое. Но не завидую людям, которые из мор-ря ее вытаскивали... хлебнули они горя с ней!..

Хозяин: Золотые ваши слова, сержант. Эту выловили мы с братом. Врагу не пожелаю до нее дотрагиваться!

Сержант (солдату): Ну, теперь сам видишь, я тебе все правильно говорил!¹

Солдат (несколько сбитый с толку этими словами, но покоряясь неизбежному): Что правда, то правда, сержант.

¹ Сержант, таким образом, утверждает принцип, согласно которому последнее слово должно всегда оставаться за старшим по чину. (Примеч. Нерваля.)

Сержант доволен и дает хозяйке су, чтобы поглядеть, как завтракает тюлень, чьи трапезы целиком зависят от щедрости посетителей.

Прочие зрители также раскошеляются, вскоре перед нами вырастает изрядная куча селедок, и тюленю пора приступить к упражнениям в крашенной зеленой краской лохани.

— Смотрите, он подплывает к краю, — говорит хозяин. — Хочет понюхать, свежие ли селедки. Если нет, его не проведешь, ни за что не станет развлекать публику.

Тюлень, видимо, удовлетворен и произносит «папа-мама»; у него северный акцент, но слоги он все же не совсем сглатывает.

— Он же говорит по-голландски! — восклицает сержант. — А вы нас уверяли, будто выловили его у Зеленого Мыса.

— Ну да. А выговор, он какой есть, такой и на юге остается. Тюлени каждое лето путешествуют, это их здоровью полезно. А потом возвращаются на север, если только их не выловят, как вот этого, чтобы они Версаль посетили.

После фонетических упражнений, всякий раз вознаграждаемых селедкой, наступил черед гимнастики: сперва рыба встала на хвост — а он со своими аккуратными фалангами внизу очень похож на человеческую ступню, — потом начала проделывать всевозможные телодвижения под водой, побуждаемая видом трости с одной стороны и селедочными подношениями — с другой.

Я смотрел и не мог надивиться — до чего же силен в этих межумочных тварях тот особый дух, который присущ всем обитателям севера. Власть ничего от них не добьется, если не даст им при этом твердых гарантий.

Когда с упражнениями было покончено, хозяин подвел нас к растянутой на стене шкуре тюленя, которого он показывал в прошлом году парижанам. Теперь солдату удалось взять верх над своим начальником, чьи глаза, возможно, были вначале несколько затуманены саторийским шампанским.

Меховым плащом солдат именовал добротную шкуру этих рыб, покрытую пятнистой, не длиннее, чем у теленка, шерстью. Сержант больше и не пытался настаивать на непререкаемом авторитете старшего по чину.

Я уже собирался уходить и тут услышал следующий диалог между хозяйкой балагана и какой-то жительницей Версаля.

— А много эти твари съедают селедок?

— Ох и не говорите, мадам! Вот этот, к примеру, обходится нам в двадцать пять франков каждый божий день. Селедки ведь стоят по три су за штуку, так ведь?

— Ваша правда, — вздохнула дама. — Селедки ужас как дороги в Версале.

Я спросил, отчего издох тюлень, которого показывали в Париже.

— Дочку выдала за мужа, — ответила хозяйка, — после этого он и подох — с горя, одним словом. А мы и в одеяла его завертывали, прямо как за человеком ухаживали... но он слишком был привязан к моей дочке! Ну, тогда я и сказала сыну: «Отправляйся в путь и привези нового тюленя... только на этот раз тюлениху», самки у них не так привязчивы, как самцы. У этой тоже причуд хватает, но когда есть свежие селедки, с ней что хочешь делай.

Как поучительно наблюдать за животными и как эти наблюдения подтверждают гипотезы, выдвинутые в стольких книгах за последнее время! Роясь в книжных залежах на лотках у версальских букинистов, я наткнулся на том в двенадцатую долю листа с таким заглавием: «В чем различие между человеком и животным». Там я прочитал, что зимой гренландцы закапывают в снег убитых тюленей, «а потом вытаскивают и, не разморозив, едят в сыром виде».

В этом отношении тюлени, на мой взгляд, стоят выше людей: они признают только свежую рыбу.

На странице девяносто третьей я прочитал следующее весьма изящное изречение: «Любовники понимают друг друга, потому что любят, друзья любят друг друга, потому что понимают». И дальше: «Любовники скрывают друг от друга свои недостатки и постоянно себя выдают, друзья, напротив того, признаются в них и друг друга прощают».

Я положил на прилавок книгу этого моралиста, который любит животных и не любит любовь!

Меж тем мы только что убедились, что тюлень способен и на дружбу, и на любовь.

А вдруг цензура наложит запрет на номер газеты с фельетоном, где упомянута любовь тюленя к своей хозяйке? К счастью, я лишь мимоходом коснулся этого предмета!

Но вот газете, обвиненной в том, что рассказ о путешествии в страну эскимосов содержит любовный эпизод, грозят большие неприятности — таков, во всяком случае, смысл заявления некоего товарища прокурора, который на вопрос, в чем отличие фельетона критического, географического или исторического от романа-фельетона, ответил так: «Основу романа-фельетона составляет живописание любви. Слово «роман» произошло от «романса». Вывод сделайте сами».

Мне подобный вывод кажется натянутым; к тому же, если на нем будут настаивать, публика начнет повторять стишки из «Мечтаний, древним грекам приписываемых»:

Малюточка любовь
Трагедию венчает...
Давай же славословь
Малюточку любовь!

Мне и впрямь совестно занимать подобным вздором внимание ваших читателей. Вот кончу это письмо и немедленно испрошу аудиенцию у прокурора Республики. Правосудие у нас очень строгое, оно не менее сурово, чем закон у древних римлян (*dura lex, sed lex*¹), но это правосудие французское, то есть более любого другого способное понять все, что подведомственно разуму...

Воздайте, пожалуйста, хвалу твердости моего характера: я только что побывал во Дворце правосудия.

Многие в подобных случаях опасаются, что из канцелярии прокурора Республики они выйдут лишь для того, чтобы немедленно отправиться на гильотину. Во имя истины свидетельствую, что в оной канцелярии со мной обходились приветливо и смотрели на меня доброжелательно.

Я был введен в заблуждение, когда писал об ответе товарища прокурора на заданный ему вопрос касательно романа-фельетона. То был, судя по всему, провинциальный товарищ прокурора, проводивший отпуск в Париже, и он излагал собственную точку зрения в гостинной

¹ Закон суров, но это закон (*лат.*).

каких-нибудь знакомых, где, разумеется, не смог стяжать одобрения дам.

К счастью, я имел возможность обратиться к тому товарищу прокурора, на которого официально возложена обязанность решать вопросы, связанные с газетами, и вот что он мне сказал: «Прокуратура ни в коей мере не занимается определением, был или не был в данном случае нарушен закон о романе-фельетоне».

Прокуратура начинает действовать, лишь получив соответствующее заявление от Гербового казначейства, содержащего особых чиновников, которые и определяют, можно ли данный фельетон назвать романом и подлежит ли он обложению гербовым сбором.

До сего времени прокуратуре лишь один раз пришлось разбирать подобное нарушение закона: речь идет о романе Александра Дюма «Бог располагает», напечатанном в виде приложения к «Эвенман». Но и это дело отнюдь не из серьезных.

Была однажды конфискована газета «Виль э Кампань» из-за напечатанного в ней фельетона г-жи Мари Экар и сделано предупреждение газете «Друа» из-за фельетона того же автора — сперва рассылку номера задержали, но потом она все же состоялась, ибо казначейству был уплачен штраф в виде дополнительного гербового сбора.

Подобные дела решаются в административном порядке.

Итак, на сегодняшний день мы можем быть спокойны, но при этом ни в коем случае не должны забывать, что следует еще навести справки в Гербовом казначействе, которое подведомственно Управлению косвенными налогами и государственным имуществом.

Из книги „Дочери огня”

АНЖЕЛИКА

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

В поисках родной книги. Франкфурт и Париж.
Аббат до Бюкуа. Венский Пилат. Библиотека Ришелье.
Немного злословия. Александрийская библиотека

В 1851 году я проездом оказался во Франкфурте. Обстоятельства задержали меня там на два дня, а так как я уже бывал в этом городе, мне только и оставалось что бродить по главным улицам, в ту пору заполоненным ярмарочными купцами. Особенной роскошью блистали товары на Рёмерской площади; в двух шагах от нее расположился рынок, где торговали пушнойой, — их было не счесть, этих звериных шкур, привезенных из глубин Сибири и с берегов Каспийского моря. Настоящая выставка чудес, где белый медведь, голубой песец, горноста́й занимали отнюдь не самое почетное место. Чуть дальше сосуды из богемского стекла, оправленные в золото, украшенные, инкрустированные, гравированные золотом, переливались сотнями оттенков на полках кедрового дерева, словно цветы, сорванные в неведомом раю.

Не столь роскошную часть ярмарки, где торговали портняжным прикладом, обувью, всяческой галантереей, окружали полутемные, непримечательные на вид лавчонки. В них хозяйничали книготорговцы, съехавшиеся со всей Германии, и самым ходким товаром там были календари, цветные картинки, литографии; *Volks-Kalender* (Народный календарь) с гравюрами на дереве, злободневными песенками, литографированными портретами Роберта Блюма и героев войны с Венгрией всего более притягивал взоры и *kreutzers*¹ толпы зевак. Под этими новинками рядами лежали старинные книги, но в их пользу говорили только весьма умеренные цены. К своему

¹ Крейцеры (нем.).

удивлению, я обнаружил среди них немало книг на французском языке.

А дело в том, что Франкфурт, вольный город, долгое время служил пристанищем протестантам и, наравне с крупнейшими городами Нидерландов, столь же долгое время был средоточием типографий, которые начали распространять по всей Европе дерзновенные творения французских философов и вольнодумцев; в наши дни они до известной степени стали рассадниками откровенных подделок, и обуздать их будет не так-то легко.

Какой парижанин устоит против соблазна полистать старинные издания, разложенные на лотке у букиниста! Эта часть франкфуртской ярмарки напомнила мне наши набережные — волнуемое, сладостное воспоминание! Я купил несколько старых книг и тем самым обрел право не спеша копаться во всех остальных. И тут я наткнулся на том, отпечатанный наполовину по-французски, наполовину по-немецки, — привожу его заглавие, проверенное мною впоследствии по «Справочнику книгопродавца» Брюне: «Происшествия поистине необычайные, или Повесть о некоем аббате, он же граф де Бюкуа, и среди прочего о его побегах из крепостей Фор-Левек и Бастилия, с присовокуплением избранных творений в стихах и прозе, особливо к посрамлению женского пола, продается у Жана-Француза, Реформатская улица, в Надежде, в Благой В е р е . — 1719».

Книготорговец запросил за этот том флорин и шесть kreutzers (произносить следует «крюш»). Цена мне показалась несообразной для ярмарочной распродажи, и я ограничился тем, что полистал книгу — безвозмездно, благодаря уже сделанным покупкам. История побегов аббата де Бюкуа весьма любопытна, но, поколебавшись, я все же решил: прочитаю ее потом в какой-нибудь парижской библиотеке или у одного из бесчисленных любителей, собравших у себя решительно все воспоминания, которые хоть мало-мальски касаются французской истории. Поэтому я просто написал полное заглавие книги и отправился на Meinelust, набережную Майна, читая на ходу Volks-Kalender.

Вернувшись в Париж, я застал литературную братию в неопишуемой панике. Согласно дополнению Риансе к закону о печати, газеты не имели права публиковать опусы, которым правительству благоугодно было дать наименование «романов-фельетонов». Я говорил со многими писателями, совершенно не причастными политике,

которых это дополнение повергло в истинное отчаянье, безжалостно лишив средств к существованию.

Я романов не пишу, но тоже затрепетал при мысли, как расширительно можно толковать столь причудливое сочетание слов: «роман-фельетон», и поспешил сообщить вам заглавие нового своего опуса: назвал я его «Аббат де Бюкуа» в уверенности, что быстро отыщу в Париже документы, позволяющие говорить об оном персонаже как о лице историческом, а не вымышленном, ибо различие между этими понятиями следует сразу же подчеркнуть.

Книга во Франции существует — я нашел ее не только в «Справочнике» Брюне, но и в «Литературной Франции» Керара. И пусть она отмечена как редкая, ее легко будет отыскать в одной из общественных библиотек, или опять-таки у какого-нибудь любителя, или в лавках, торгующих старыми изданиями.

В общем, поскольку я пролистал весь том и, более того, наткнулся еще на один рассказ о похождениях аббата де Бюкуа в примечательных и на редкость остроумных письмах госпожи Дюнуайе, мне казалось не таким уж сложным делом дать портрет этого человека и описать его жизнь, ни в чем не погрешая против фактов.

Но сейчас меня все больше тревожит опасность, грозящая газетам за малейшее отступление от буквы нового закона. Пятьдесят франков за каждый конфискованный экземпляр — тут у самого отважного дрогнет сердце: если газета выходит хотя бы в двадцати пяти тысячах экземпляров — а таких у нас несколько, — штраф перевалит за миллион франков! Как же тут не понять, что *широкое* толкование этой поправки даст властям возможность подавить всякую оппозицию! Было бы куда спокойнее, если бы у нас просто ввели цензуру. При старом режиме писатель знал, что если дозволение цензора получено — а цензора можно было выбирать, — он, ничем не рискуя, может излагать свои мысли в печати, и, право же, в иных случаях только дивишься тогдашней свободой! Я читал книги, подписанные цензорами Луи и Феллиппо, которые сегодня были бы несомненно конфискованы.

Мне случилось жить в Вене, а там процветает цензура. Потратившись на непредвиденную поездку, я сидел на мели, получить деньги из Франции было сложно, вот я и прибегнул к простейшему способу поправить свои

дела — решил напечатать что-нибудь в местных газетах. За лист в шестнадцать коротких столбцов платили сто пятьдесят франков. Я написал две серии очерков, и они были посланы в цензуру.

Прошло несколько дней. Никакого ответа. Я вынужден был отправиться к г-ну Пилату, главе этого учреждения, и принести жалобу на то, что меня слишком долго заставляют ждать *визу*. Он был на редкость учтив и, в отличие от своего квазитезки, не умыл рук, не отказался от ответственности за эту несправедливость. Я был лишен возможности читать французские газеты, так как в кофейнях получали только «Журналь де Деба» и «Котидьен». И вот что я услышал от г-на Пилата: «Вы сейчас находитесь в самом свободном уголке нашей империи (то есть в цензурном комитете), приходите сюда хоть каждый день и читайте любую газету, даже «Насьональ» и «Шаривари».

На такой тонкий подход и такую любезность способен только немецкий чиновник, но есть тут и обратная сторона: люди терпеливее сносят произвол.

Мои отношения с французской цензурой сложились не столь идиллически — я имею в виду театральную цензуру, но вряд ли нам было бы чем похвалиться, сущестуй она на книги и газеты. В самой нашей натуре заложена склонность пускать в ход силу, раз уж мы ею обладаем, и злоупотреблять властью, раз уж сумели ее заполнить.

Недавно я поделился своими затруднениями с ученым, которого нет нужды именовать здесь иначе, нежели библиофил. Он сказал мне: «Когда будете писать об аббате де Бюкуа, не ссылайтесь на «Галантные письма» г-жи Дюнуайе — уже само это заглавие заставит отнести к вашей повести как к чему-то несерьезному. Дождитесь открытия Национальной библиотеки (она в то время была на вакациях), — там, несомненно, вы найдете книгу, которую читали во Франкфурте».

Я не обратил внимания на усмешку, которая, полагая, змеилась на устах библиофила, и первого октября одним из первых уже был в библиотеке.

Г-н Пилон человек многосведущий и обязательный. Он распорядился отыскать нужную мне книгу, но прошло полчаса, а книги все не было. Тогда он перелистал Брюне и Керара, нашел подробное ее описание и попросил меня зайти через три дня — пока что затребованный мною том не обнаружен.

— Вполне возможно, — сказал г-н Пилон с присущей ему терпеливой благожелательностью, — вполне возможно, что книга занесена в рубрику романов.

Меня пробрала дрожь.

— В рубрику *романов*? Но это же не вымысел! Ее место в разделе воспоминаний о веке Людовика XIV. В ней столько ценного материала для истории Бастилии: подробности о бунте камизаров, об изгнании протестантов, о знаменитом союзе подпольных торговцев солью в Лотарингии, из которых Мандрен составил потом настоящие военные отряды — они не только давали отпор регулярным войскам, но и сумели взять приступом такие города, как Бон и Дижон!..

— Вы правы, — сказал г-н Пилон, — но книги распределяли по рубрикам в разные времена и допускали ошибки. А обнаружить подобную ошибку можно лишь тогда, когда книгу потребует какой-нибудь читатель. Помочь вам мог бы только г-н Равенель... Но, к сожалению, сейчас *не его неделя*.

Я дождался недели названного господина. К счастью, в понедельник я встретил в читальном зале кого-то, кто, будучи знаком с ним, вызвался меня представить ему. Г-н Равенель был сама любезность.

— Я очень рад, — сказал он, — случаю свести с вами знакомство и прошу об одном: дайте мне несколько дней отсрочки. Эту неделю я целиком принадлежу читателям, а вот на будущей весь к вашим услугам.

Итак, г-н Равенель уже не числил меня читателем на том основании, что я был ему представлен! Он считал, что не вправе тратить служебное время на того, с кем лично знаком.

В общем, это вполне справедливо, по подумайте, каково мое невезение! Потому что, кроме невезения, винить тут некого.

Сколько уже было разговоров об изъянах в работе Национальной библиотеки! Отчасти дело тут в малочисленности служащих, отчасти в стародавних традициях, от которых никак не избавиться. Но всего справедливее упрек в том, что видные ученые, занимающие не слишком прибыльные должности библиотекарей, тратят непомерно много времени и сил на выдачу шести сотням читателей, ежедневно посещающим библиотеку, тех расхожих книг, которые имеются в любой читальне, а это идет во вред не только читальням, но также издателям

и авторам, потому что кому ж охота покупать книгу или платить за чтение, когда можно получить ее задаром!

С неодобрением, опять-таки заслуженным, говорили а о том, что учреждение, которому нет равного в мире, превратилось в этакое уютное местечко, где можно обогреться, своего рода гостиную в доме призрения, а между тем подобные посетители в большинстве своем опасны не только для сохранности, но и для самого существования книг. Эти толпы заурядных бездельников, бывшие чиновники, вдовцы, стряпчие, в чьих услугах никто не нуждается, школяры, которым нужно списать заданный им перевод, преклонных лет маньяки, вроде несчастного Карнавала, ежедневно являвшегося во фраке то алого цвета, то небесно-голубого, то ядовито-зеленого и в украшенной цветами шляпе, — разумеется, все они заслуживают участия, но ведь в Париже немало других библиотек, может быть, есть даже смысл открыть какую-нибудь специально для них?..

В Национальной библиотеке хранилось девятнадцать печатных изданий «Дон Кихота». Решительно во всех вырваны страницы. Путешествия, комедии, развлекательные истории в духе творений господ Тьера и Капефига, адресные книги — вот что неизменно берет для чтения эта публика с тех пор, как наложен запрет на выдачу романов.

Время от времени выясняется, что такое-то собрание сочинений разрознено, а такая-то редкая книга исчезла, и все это результат попустительской системы, при которой у читателей даже не спрашивают имен!

Занимать в Национальной библиотеке сколько-нибудь привилегированное положение следовало бы только пишущей братии — никому ведь в голову не придет оспаривать право на него у тех, кто погружен в науки и вообще у людей выдающихся!

Знаменитая Александрийская библиотека была открыта лишь для ученых и поэтов, не вовсе безвестных. Но зато их приветствовали как дорогих гостей, и тот, кто приезжал, дабы ознакомиться с каким-нибудь автором, мог жить там сколько заблагорассудится, безвозмездно получая стол и кров.

Кстати, об Александрийской библиотеке: позвольте путешественнику, ступавшему по той самой земле, где она некогда стояла, и перерывшему немало воспоминаний, защитить знаменитого халифа Омара, которого до сих пор хором поносят за пресловутый пожар, уничто-

живший это книгохранилище. Что бы там ни утверждали господа академики, Омар ни разу в жизни не был в Александрии. Не давал он такого распоряжения и своему заместителю Амру. Александрийская библиотека и Серапейон, то есть убежище, входившее в нее составной частью, были сожжены и уничтожены в IV веке христианами, которые вдобавок зверски убили на улице прославленную Гипатию, сторонницу пифагорейского учения. Что и говорить, христианская религия неповинна в этих бесчинствах, но справедливости ради следует обелить и многострадальных арабов — их попрекают невежеством, меж тем именно они своими переводами сохранили для нас сокровища греческой философии, медицины, науки да еще добавили к этому собственные свои исследования, яркими лучами то и дело прорезавшие многовековую мглу феодализма.

Если вы простите мне эти отступления, обещаю держать вас в курсе дальнейших моих *поисков* утраченного аббата де Бюкуа. Сей персонаж, пусть он сумасброд и всегда в бегах, все же не может вечно ускользать от того, кто так рьяно его ищет.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Палеограф. Полицейские донесения за 1709 год.
Дело Лепилера. Семейная драма

Никто не станет отрицать, что в Национальной библиотеке все донельзя услужливы. Ни один истинно ученый муж не посетует на ее нынешнюю организацию, зато, когда является автор романов-фельетонов или просто романов, «книжные полки трепет объемлет». Любой библиограф, любой сведущий в какой-либо науке человек точно знает, какая книга ему надобна. Но автор вымышленных историй, да еще вынужденный превращать их в «романы с продолжением», все перевероршит и всех переполошит в угоду несуразной идее, которая взбрела ему в голову.

И вот тут стоит подивиться терпению хранителя — обыкновенный библиотекарь чаще всего слишком молод для столь отечески самоотверженного внимания. К хранителю обращаются порою невежи, которые слишком много мнят о своих правах на том лишь основании, что они — представители *общества*, и посему обходятся с библиотекарем, как с гарсоном в кофейне. Так вот,

известный ученый, академик, отвечает этому субъекту со смиренной благожелательностью монаха. И будет терпеливо сносить его выходки с десяти утра до двух часов тридцати минут пополудни включительно.

Видя мою растерянность, милосердные библиотекари перерыли все каталоги, добрались даже до *запасного фонда*, даже до неудобоваримых залежей романов, к которым по ошибке могли отнести аббата Бюкуа, и вдруг какой-то библиотекарь, воскликнув: «Он у нас на голландском языке!» — прочитал мне заглавие: «Жак де Бюкуа. Занятные происшествия...»

— Простите, — прервал его я, — заглавие нужной мне книги начинается словами: «Происшествия поистине необычайные...»

— Давайте прочитаем дальше, может быть, это просто неточный перевод: «...имевшие место во время путешествия в Индию, длившегося шестнадцать лет. Гарлем, 1744 год».

— Нет, не то... хотя аббат де Бюкуа действительно жил как раз в эти годы и его тоже звали Жак. Но зачем этому фантастическому аббату понадобилось ехать в Индию?

Тут ко мне подходит еще один библиотекарь: вышла, мол, ошибка в орфографии, означенный аббат вовсе не де Бюкуа, а дю Бюкуа. И так как эту фамилию могли писать с заглавного «Д», то есть Дюбюкуа, следует пересмотреть всех авторов на букву «Д».

Как тут не предать проклятию эти французские частицы перед фамилиями!

— Дюбюкуа, — сказал я, — несомненно, какой-нибудь заурядный мещанин, а в заглавии книги указано, что речь идет о графе де Бюкуа.¹

Некий палеограф, работавший за соседним столом, подняв голову, изрек:

— Частица «де» отнюдь не доказательство знатности рода, напротив, чаще всего это приставка к фамилиям состоятельных горожан, чьи предки обзавелись так называемыми аллоидальными владениями. Им давали фамилии по названиям поместий, и окончания этих фамилий порою даже указывают на то, кто к какой ветви принадлежит. У старинной родовой знати фамилии совсем иные: Бушар (Монморанси), Бозон (Перигор), Бопуаль (Сент-Олер), Капет (Бурбон) и т. д. А всякие «де» и «дю» чаще всего произвольны и незаконно присвоены. Более того; во Фландрии и Бельгии частица «де» ничем

не отличается от немецкого артикля «дер». Так что де Мюллер просто-напросто «мельник» и т. д. Вот и получается, что четверть Франции населена мещанами во дворянстве. Вспомните, как весело издевался Беранже над частицей «де» перед своей фамилией, говорящей всего лишь о фламандском происхождении поэта.

С палеографами не спорят, им дают выговориться.

Меж тем нужная фамилия на букву «Д» ни в одном каталоге обнаружена не была.

— Почему вы решили, что мой аббат не де, а дю Бюкуа? — «просил я у услужливого библиотекаря, подавшего мысль насчет заглавного «Д».

— Потому что наткнулся на это имя, просматривая каталог архивных полицейских дел за 1709 год — время ведь подходящее?

— Да, конечно: в этом году граф де Бюкуа в третий раз бежал из заточения.

— Дю Бюкуа!.. Во всяком случае, он так именуется в каталоге рукописных материалов. Пойдемте со мной наверх и сами убедитесь.

Через несколько минут я уже держал в руках фолиант в красном марокеновом переплете, состоящий из нескольких досье, — то были полицейские донесения за 1709 год. На втором досье проставлены имена: Лепилер, Франсуа Бушар, госпожа де Буланвилье, Жанна Массе, граф дю Бюкуа.

Вот так так! Речь действительно шла о побеге из Бастилии — привожу донесение г-на д'Аржансона г-ну де Пошнартрену:

«Я продолжаю розыски *мнимого* графа де Бюкуа в тех местах, кои вам благоугодно было мне указать, но там о нем решительно ничего не знают, и я полагаю, что его нет в Париже».

Эти строки и ободряли, и в равной мере обескураживали. Граф де или дю Бюкуа, о котором до сих пор у меня были самые смутные или вообще сомнительные сведения, обретал благодаря донесению д'Аржансона несомненную историческую реальность. Теперь уже никакой суд не сможет причислить его к героям романов с продолжением.

Но почему г-н д'Аржансон пишет: «*мнимый* граф де Бюкуа»?

Быть может, кто-то присвоил себе это имя, выдал себя за аббата с целью, которую сейчас уже никак не установить?

Или это все тот же человек, скрывшийся под псевдонимом?

Подтвержденная одним-единственным доказательством истина выскальзывает у меня из рук — ведь любой законник будет вправе оспаривать реальность существования аббата.

Какие возражения я приведу товарищу прокурора, который возгласит на судебном заседании: «Граф де Бюкуа — вымышленный персонаж, порожденный *романтической* фантазией автора!» И потребует принять законные меры, то есть наложить штраф, скажем, в миллион франков! И этот штраф будет все увеличиваться по мере изъятия следующих номеров газеты с продолжением очерка, если их продажу не успеют приостановить!

Любому писателю, пусть он и не имеет права на высокое звание ученого, приходится время от времени прибегать к научной методе; я с пристрастием начал изучать донесение, подписанное д'Аржансоном, эти пожелтевшие строчки на голландской бумаге. Против строки: «Я продолжаю розыски мнимого графа» уверенной и беглой рукой были написаны карандашом на полях три слова: «Усилий не жалеть». Усилий, направленных на что? На розыски аббата, разумеется.

Я был того же мнения.

Но разобраться в почерке можно только одним путем — путем сличения. Приведенные три слова повторялись на другой странице того же донесения против следующих строк: «По вашему распоряжению у всех подъездов Лувра поставлены фонари, и я самолично буду надзирать за тем, чтобы их зажигали каждый вечер».

Так закончил эту фразу письмоводитель, переписывавший донесение. Кто-то почерком менее разработанным к словам «каждый вечер» добавил слово «неукоснительно».

На полях начертаны слова — судя по всему, министром Поншартреном: «Усилий не жалеть».

Та же фраза, что и по поводу аббата де Бюкуа!

Тем не менее вряд ли министр Поншартрен употребил только эти слова. Вот тому пример: «Я распорядился объявить купцам на Сен-Жерменской ярмарке, что им

надлежит повиноваться королевскому указу, воспрещающему кормить кого бы то ни было в часы, когда, согласно предписанию церкви, следует соблюдать пост». На полях карандашом написано одно-единственное слово: «Правильно».

Дальше речь идет о *некоем лице*, арестованном по подозрению в убийстве монахини из Эвре. При нем найдены чашка, серебряная печатка, узелок с окровавленным бельем и *перчатки*. Выяснилось, что он аббат (опять аббат!), но обвинение в убийстве не подтвердилось, сообщает г-н д'Аржансон, и далее разъясняет, что оный аббат приехал в Версаль ходатайствовать о своих делах, в которых терпит неудачу, поелику он всегда стеснен в деньгах. «Посему, — добавляет г-н д'Аржансон, — его следует считать пустым фантазером и незамедлительно отправить по месту жительства из Парижа, где своим присутствием он лишь обременяет общество».

Министр карандашом пишет заключение: «Сперва пусть с ним поговорит». Страшные слова, которые, быть может, дали совсем иной оборот делам незадачливого аббата!

А что, если он и есть аббат де Бюкуа? Имя не приведено, только — «некое лицо»... Дальше речь идет о какой-то Лебо, жене субъекта по прозвищу Кардинал: она Лебо известна своим распутным поведением. Ее соблазняет привлечь к ответу г-н Паскье...

На полях карандашом: «В арестный дом. Сроком на полгода».

Не знаю, всем ли было бы так интересно, как мне, одну за другой читать эти зловещие страницы, озаглавленные: «Различные полицейские документы». Немногие события, изложенные в них, живописуют именно тот отрезок времени, на фоне которого протекала жизнь беглого аббата. И я, знающий этого беднягу так хорошо, как, быть может, никогда не удастся узнать моим читателям, — я с трепетом листал безжалостные донесения, прошедшие через руки господ д'Аржансона и Поншартрена¹.

¹ Вот как обыгрывали тогда в куплетах имя Поншартрена:
Понтон из трухлявых досок,
Шарабан, чей растрескался кузов,
Трензель гнусный во рту у французов...
(Примеч. Нерваля.)

Первый из них после заверений в преданности пишет в одном из донесений: «И я даже сумею принять как должное упреки и выговоры, которые вам будет благо-угодно мне сделать...»

Министр, обращаясь к нему в третьем лице, отвечает — на этот раз чернилами: «Он даже и при желании не сможет их заслужить, и я был бы весьма раздосадован, когда бы усомнился в его преданности, поскольку в способности справиться с поставленной задачей сомневаться не приходится».

Последнее досье было озаглавлено: «Дело Лепилера». Передо мной развернулась чудовищная драма.

И это не *роман*.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА. ДЕЛО ЛЕПИЛЕРА

Мы становимся свидетелями одной из тех страшных семейных сцен, что происходят у постели покойника — такие сцены отлично разыгрывали когда-то актеры бульварных театров — в ту минуту, когда наследник, сбросив маску сокрушительной скорби, гордо выпячивает грудь и приказывает домочадцам: «Дайте ключи!»

У только что испутившего дух Бине де Вилье два наследника — его брат Бине де Басс-Мезон, в чью пользу составлено завещание, и зять Лепилер.

Поверенный покойного и поверенный Лепилера с помощью нотариуса и письмоводителя занимались описью имущества. Лепилер стал возмущаться, что в опись не внесены бумаги, по заверению Бине де Басс-Мезона не имеющие особой ценности. Тогда последний, обращаясь к Лепилеру, заявил, что не следует ему предъявлять вздорных притязаний, пусть лучше спросит мнение Шатлена, своего поверенного.

На это Лепилер ответил, что и не подумает советоваться с поверенным, тот ему не указчик, ну а если даже его притязания вздорны, он достаточно *влиятельная особа*, чтобы на них настоять.

Разозленный такими словами, Басс-Мезон подошел к Лепилеру и, взяв за верхние петли камзола, крикнул, что не допустит подобных выходов; Лепилер схватился за шпагу, Басс-Мезон тоже... Они начали наносить друг другу удары, но покамест не очень сближаясь. Жена Лепилера, бросившись к ним, встала между мужем и братом, все бывшие при этом помогли ей, дерущихся растащили и заперли на ключ в разных комнатах.

Не прошло и минуты, как где-то со стуком распахнулось окно и раздался голос Лепилера: он кричал своим слугам, стоявшим во дворе, чтобы те «привели обоих его племянников».

Законники начали составлять протокол о происшедших на их глазах беспорядках, но тут в комнату вошли племянники с саблями наголо; оба они были офицерами королевской гвардии. Оттолкнув челядинцев и наставив сабли на поверенных и нотариуса, они потребовали, чтобы им сказали, где сейчас Басс-Мезон.

Им упорно не отвечали, но тут Лепилер крикнул из своей комнаты: «Племянники, ко мне!»

А те уже успели взломать дверь другой запертой комнаты и принялись саблями плашмя избивать несчастного Басс-Мезона, который, согласно донесению, страдал «гастмой».

Дионис — так звали нотариуса, — уверенный, что Лепилер, удовлетворившись уже произведенной расправой, утихомирит племянников, выпустил его из запертой комнаты и начал увещевать. Но тот, едва переступив порог, завопил: «Теперь мы ему покажем!», подбежал к племянникам, продолжавшим избивать Басс-Мезона, и воизил ему шпагу в живот.

За реляцией, где изложены эти факты, следует другая, более подробная, с показаниями тринадцати свидетелей, из коих трое — поверенные и нотариус — *более других достойны внимания.*

Справедливости ради следует сказать, что все тринадцать в критический момент удрали из комнаты. Поэтому никто из них не утверждает, что смертельный удар шпагой нанес именно Лепилер.

Один поверенный свидетельствует, что действительно слышал глухие удары саблей плашмя — больше он ничего сказать не может.

Его собрат по ремеслу дает такие же показания.

Слуга по имени Барри говорит несколько определеннее: глядя издали в окно, он видел, как произошло убийство, но кто воткнул Басс-Мезону шпагу в живот, Лепилер или другой человек в чем-то *серо-белом*, знать не знает. Второй слуга, Луи Кало, показывает более или менее то же самое.

Последний из тринадцати храбрецов, наименее достойный внимания, а именно письмоводитель, *воочию видел*, как жена Лепилера уворовала какие-то бумаги покойного. Он добавляет, что после происшествия Лепилер

спокойно вошел в зал, где находилась его жена, а потом «вместе с нею и теми двумя, что устроили побоище, уехал в своей карете».

В этой поучительной истории, рисующей нравы эпохи, не хватало бы морали, когда бы донесение не оканчивалось следующим многозначительным выводом: «Оное преступление беспримерно по своей мерзости и жестокости. Но, поелику сонаследники умерших братьев приходятся Лепилеру родственниками по жене, есть веские основания полагать, что вышеупомянутое убийство останется безнаказанным и будет иметь единственным следствием большую уступчивость онго Лепилера в отношении своих сонаследников и их предложений касательно раздела имущества».

Кто-то сказал, что в так называемый великий век даже самый мелкий чиновник писал стилем не менее помпезным, нежели сам Боссюэ. Ну как не восхититься великолепным бесстрашием, с каким в донесении выражена надежда, что убийца проявит большую уступчивость в вопросе о дележе наследства!.. А убийство, похищение документов, даже побои, доставшиеся, судя по всему, представителям закона, останутся безнаказанными, поскольку ни родные, ни свидетели жалобы в суд не подали...

Еще бы, г-н Лепилер *достаточно влиятельная особа, чтобы настоять на своих самых вздорных притязаниях!*..

Больше в документах нет упоминаний об этой истории, выбившей у меня на время из головы беднягу аббата, но, за отсутствием романтических прикрас, из нее, пожалуй, можно вырезать для оживления фона силуэты исторических личностей. Во всяком случае, для меня уже все ожило, все связалось воедино. Я вижу д'Аржансона в его канцелярии, Поншартрена в его кабинете, того самого описанного Сен-Симоном Поншартрена, который всех так забавлял требованием, чтобы его величали де Поншартрен, и, подобно многим и многим, за насмешки мстил террором.

Но к чему вся эта подготовительная работа? Дозволят ли мне, по примеру Фруассара или Монтреле, вставить в повествование вполне реальные происшествия? Нет, скажут, что я подражаю Вальтеру Скотту, автору романов, так что лучше, не мудрствуя лукаво, ограничиться разбором истории аббата де Бюкуа... когда мне удастся ее разыскать!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Хранитель Мазариниевской библиотеки.
Афинская мышь. Заколдованный звонок

Я преисполнился надежды: г-н Равенель займется поисками, это вопрос какой-нибудь недели. К тому же скорее всего я и сам в ближайшие дни набреду на книгу в одной из парижских библиотек.

К несчастью, все они были закрыты, за исключением Мазариниевской библиотеки. Так что пришлось мне нарушить безмолвие этих великолепных и насквозь промерзших галерей. В библиотеке есть подробнейший каталог, вам предоставлено право самому ознакомиться с ним, и через десять минут он нам с предельной точностью ответит «да» или «нет» на любой ваш вопрос. Даже подносчики книг там так осведомлены, что лишь в редких случаях приходится тревожить библиотекарей или разбираться в каталоге... Я обратился к одному из них, и он, несколько озадаченный, погрузился в размышление, а потом изрек: «У нас этой книги нет... И все-таки она мне смутно помнится».

Все на свете знают хранителя Мазариниевской библиотеки, человека острого ума и фундаментальных познаний. Он меня узнал.

— Зачем вам понадобился аббат де Бюкуа? Для оперного либретто? Лет десять назад я слышал оперу, для которой вы написали прелестное либретто¹... А музыка была просто восхитительная. И певица отличная. Но нынешняя цензура не позволит вам вывести на подмостки *аббата*.

— Нет, книга мне нужна для исторического повествования.

Он оглядел меня так внимательно, словно я попросил у него книги по алхимии, помолчал, а потом произнес:

— Понимаю. Вы намереваетесь написать исторический роман в духе Дюма.

— В жизни не писал исторических романов, а теперь и подавно не собираюсь: мне вовсе не улыбается разорять газеты, которые печатают меня и платят от четырехсот до пятисот франков, подлежащих гербовому сбору. Если окажется, что достоверное историческое повествование мне не по плечу, я просто напечатаю всю эту книгу.

¹ «Пикильо», музыка Монпу, совместно с Александром Дюма. (Примеч. Нерваля.)

Сомнительно покачав головой, он сказал:

— Она у нас есть.

— О-о-о!

— И я знаю, где ее искать: в том книжном фонде, который поступил к нам из Сен-Жермен-де-Пре. Поэтому она и не занесена в каталог... Лежит до сих пор в подвальной хранилище.

— О-о-о! Но если бы вы были так любезны...

— Для вас я ее раскопаю, но придется несколько дней подождать.

— Послезавтра я должен приступить к работе.

— О-о-о! Но, понимаете ли, книги там свалены как попало: отыскать какую-нибудь — все равно что иголку в стог сена найти. Но ваша книга там есть, я ее видел.

— О-о-о!.. На фонд из Сен-Жермен-де-Пре нужно обратить особое внимание, — сказал я, — ведь столько крыс развелось... И пишут все о новых и новых видах, не говоря уже о русской серой крысе, которую завезли казаки. Правда, эти серые крысы сожрали английских крыс, но теперь сообщают о каком-то новоявленном *грызуне* — об *афинской мыши*. Она будто бы неслыханно плодовита, а попала она к нам в ящиках, отправленных университетом, который Франция содержит в Афинах.

На эти мои опасения хранитель ответил улыбкой и закончил аудиенцию, пообещав сделать все, что в его силах.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗВОНОК

И тут же мне пришла в голову новая идея: Арсенальная библиотека сейчас закрыта на вакации, но я знаком с одним из ее хранителей. Он в Париже; ключи у него. Когда-то он очень благоволил ко мне, так неужто сейчас откажет выдать, в виде исключения, книгу из того рода литературы, которым особенно богата эта библиотека!

Я было уже направился к нему. Вдруг страшная мысль пригвоздила меня к месту. Мне вспомнилась слышанная довольно давно невероятная история.

Мой знакомец хранитель сменил на этом посту прославленного старца¹, страстного собирателя книг, который лишь в очень преклонном возрасте, и то весьма неохотно, расстался со своими излюбленными изданиями XVII века; все же он умер, и в его квартире поселился вновь назначенный хранитель.

¹ Господина де Сен-Мартена. (Примеч. Нерваля.)

Совсем недавно женатый, он мирно почивал возле молодой жены, как вдруг, в час ночи, его разбудил неистовый звон дверного колокольчика. Комната служанки на другом этаже. Хранитель встает и сам открывает дверь.

На лестнице ни души.

Он осведомляется у консьержа — тот никого не видел, в доме сонная тишина.

Назавтра в такое же время раздается такой же залихватистый звон колокольчика.

И опять лестница пуста. Хранитель, прежде где-то учительствовавший, решает, что какой-нибудь злопамятный школяр, получивший от него за нерадивость целую гору *pensums*¹, либо сам спрятался в темном уголке, либо даже привязал к шнуру звонка кошку за хвост, и та дергает его, стараясь освободиться.

На третью ночь хранитель просит консьержа постоять с зажженной свечой на лестничной площадке, пока не минует роковое время, обещая щедро заплатить, если звонка не последует.

В час пополуночи потрясенный консьерж видит, что шнур от звонка начинает сам собою дергаться, а красная его кисточка бешено скачет вдоль стены. Хранитель открывает дверь — перед ним только консьерж, лихорадочно осеняющий себя крестным знаменьем.

— Это душа вашего предшественника тревожит вас!

— Вы его видели?

— Нет, но он же призрак, как его углядишь при зажженной свечке?

— В таком случае попробуем завтра подстеречь его в темноте.

— Сударь, вы как хотите, а меня увольте.

По зрелом размышлении хранитель решил воздержаться от встречи с призраком; надо думать, он отслужил мессу за упокой души старого библиофила, потому что больше никто уже не нарушал его сна.

И я, я дерзну дернуть за тот самый звонок!.. А что, если двери мне откроет призрак?..

К тому же мне грустно бывать в этой библиотеке, столько с ней связано воспоминаний! Я хорошо знал трех предыдущих ее хранителей: первый из них — оригинал предполагаемого призрака, о котором шла речь; второй, человек такого тонкого ума, такой доброты... он был

¹ Домашних заданий (*лат.*).

одним из моих литературных опекунов¹; третий² в свое время с редкостной любезностью позволил мне досконально ознакомиться со своей несравненной коллекцией гравюр... Я потом подарил ему «Фауста», иллюстрированную немецкими гравюрами.

Нет, мне слишком трудно будет опять переступить порог Арсенальной библиотеки!

Притом в запасе есть еще старые букинисты: Франс, Мерлен, Тешнер.

Г-н Франс мне сказал:

— Знаю я эту книгу, раз десять держал в руках... Походите по книжным лавкам на набережных, может, и наткнетесь на нее: я там купил ее за десять су.

Бегать несколько дней по набережным в поисках книги с отметкой «редкая»! Я предпочел пойти к Мерлену.

— Бюкуа? — переспросил меня преемник Мерлена. — Да эта книга на каждом шагу попадает, вот и сейчас она стоит вон на той полке.

К чему пытаться описать мою радость? Букинист принес мне том в двенадцатую долю листа; формат был тот самый, но не слишком ли эта книга толстая (649 страниц)? Я раскрыл ее — на одной стороне листа был портрет, на другой — заглавие: «Хвалебное слово графу де Бюкуа». Портрет окружала латинская надпись: «COMES. A. BVCQVOY».

Моя надежда тут же испарилась: в книге излагалась история богемского восстания; Бюкуа, изображенный на портрете, был облачен в кирасу и носил бородку, подстриженную по моде Людовика XIII. Возможно, это предок злосчастного аббата. И все-таки купить книгу имело смысл: вкусы, черты характера часто передаются по наследству из поколения в поколение. Этот Бюкуа, воевавший в Богемии, был родом из Артуа; судя по лицу, он был наделен воображением, энергией и толикой сумасбродства. Аббат де Бюкуа, думаю, был похож на него — в той мере, в какой мечтатель может быть похож на человека действия.

КЕНАР

Решив все же в последний раз попытать счастья, я отправился к Тешнеру и по дороге остановился у лав-

¹ Нодье. (Примеч. Нерваля.)

² Сулье. (Примеч. Нерваля.)

ки торговца птицами. Пожилая женщина в шляпке, одетая с той потугой на элегантность, которая как бы говорит: «Мы знавали лучшие дни», пыталась продать ему кенара в клетке.

Стоя на пороге, торговец отвечал, что и своих-то канареек не знает как прокормить. Старая дама удрученным тоном продолжала его упрашивать. В ответ она услышала, что ее кенар и полушки не стоит. Тяжко вздохнув, она ушла.

Я истратил все деньги на богемские подвиги графа де Бюкуа, не то сказал бы торговцу: «Верните эту даму, объясните ей, что передумали, что купите у нее птицу...»

Вот уж поистине роковые для меня Бюкуа! Из-за них я этого не сделал и нажил угрызения совести.

— Сейчас у меня уже нет нужной вам книги, — сказал г-н Тешнер, — но я знаю, что вскоре состоится распродажа библиотеки одного любителя, там вы сможете ее купить.

— Кто же этот любитель?

— Извольте, скажу, это Н., но в каталоге его имя не будет значиться.

— А если я хочу купить книгу, не дожидаясь торгов?

— Книги, уже объявленные к распродаже и оцененные, никогда не продаются заранее. Торги назначены на 11 ноября.

11 ноября! Вчера я получил записку от г-на Равенеля, хранителя Национальной библиотеки, которому был представлен. Он не забыл обо мне и сообщал о той же распродаже. Только, по всей видимости, она будет отсрочена до 20 ноября.

А до той поры что прикажете делать? Тем паче что цену на книгу могут вздуть невесть как!..

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Рукопись из Государственного архива.
Анжелика де Лонгваль. Путешествие в Компьен.
История двоюродной бабки аббата де Бюкуа

Я решил покопаться в Государственном архиве, и там мне помогли выяснить генеалогию семейства Бюкуа. Родовое имя этого семейства — Лонгваль. Мне принесли

многочисленные папки с материалами о Лонгвалях, и вот тут я набрел на интереснейшую рукопись.

В ней около ста страниц, бумага пожелтела, чернила выцвели, листы скреплены бледно-розовыми ленточками; это история Анжелики де Лонгваль, я выписал из нее отрывки и постараюсь связать их между собой, сперва подвергнув тщательному анализу. В бесчетных бумагах и справках о Лонгвалях и Бюкуа я нашел ссылки на другие документы, которые, судя по всему, хранятся в компьенской городской библиотеке. А так как было это в канун дня всех святых, я и ухватился за возможность одновременно поработать и отдохнуть.

О старой провинциальной Франции мало что известно, особенно о той, о которой идет речь, хотя ее вполне можно причислить к окрестностям Парижа. Что касается местности, где Иль-де-Франс, Валуа и Пикардию разделяют лишь Эна и Уаза, так беспечно и безбурно струящие свои воды, она словно создана для самых пленительных идиллий.

И французский язык даже у крестьян поражает там своей чистотой, разве что произношение у них своеобразное — окончания слов взлетают в поднебесье, словно песня жаворонка. Детишки — те просто щебечут по-птичьи. В строе фраз порою проскальзывает что-то итальянское — оно и понятно, Медичи с их флорентийской свитой долго жили в этом краю, разделенном тогда на королевские и княжеские уделы.

Продолжая с присущим мне тихим упрямством погоню за пресловутыми Бюкуа в их разнообразных воплощениях, я вчера вечером приехал в Компьен. Что касается парижских архивов, где я успел сделать немногочисленные выписки, они по случаю дня всех святых нынче закрыты.

В гостинице «Колокол», прославленной Александром Дюма, с утра невообразимый шум: лают псы, чистят оружие охотники... Какой-то псарь — я слышал это собственными ушами — сказал своему хозяину: «Вот ваше ружье, господин маркиз».

Значит, на свете еще существуют маркизы!

Но меня занимала охота совсем другого рода... Я спросил, когда открывается городская библиотека.

— В день всех святых она, разумеется, закрыта, — ответили мне.

— А в другие дни?

— Открыта с семи утра до одиннадцати вечера.

Боюсь, как бы меня не постигли здесь еще большие разочарования, чем в других местах. Я запасся рекомендательным письмом к одному из здешних библиотекарей, который известен и как библиофил. Он был так любезен, что не только позволил ознакомиться с книгами городского хранилища, но и показал собственное собрание книг и рукописей поистине бесценных — таких, к примеру, как *неизданные* письма Вольтера или сборник песен, положенных на музыку и собственноручно переписанных Руссо — с великим умилением смотрел я на четкий, прекрасный его почерк! «Старые песни на новый лад» — так озаглавлен этот сборник, и вот первая из них в духе Маро:

Увы, мои молодые лета!
К прошедшему возврата нет:
Прыгнув в окно, весна и лето
Покинули мой кабинет, и т. д.

Воспоминание о Руссо навело меня на мысль вернуться в Париж через Эрменонвиль — путь самый короткий по расстоянию и самый долгий по времени, при том что парижская железная дорога на Компьен делает немудимый крюк.

Чтобы попасть в Эрменонвиль или выбраться из него, нужно три с лишним лье пройти пешим ходом — другого способа нет. О почтовой карете и не мечтайте. Но завтра, в день поминовения усопших, для меня это будет паломничеством, и я совершу его, всю дорогу с благоговением думая о прекрасной Анжелике де Лонгваль.

Посылаю вам все, что мне удалось узнать о ней сперва в Государственном архиве, потом в Компьене, — почти дословный пересказ содержания документов и, главное, тетради с пожелтевшими страницами, целиком исписанными ее рукою и заполненными признаниями, еще более, пожалуй, смелыми — ведь их делает девица из знатной семьи, — нежели «Исповедь» Руссо.

Отец Анжелики де Лонгваль, Жак де Лонгваль граф д'Арокур, был одним из самых влиятельных вельмож в Пикардии. Он заседал в Королевском Совете, имел чин бригадного генерала, был правителем Шатле и Клермонан-Бовуази. Вблизи от этого городка, в замке Сен-Римо, жили его жена и дочь, когда долг службы призывал главу семейства ко двору или в армию.

Анжелика де Лонгваль, натура мечтательная и склонная к унынию, не находя радости, по ее словам, «ни в красивых драгоценностях, ни в красивых вышивках, ни

в красивых нарядах», с тринадцати лет «торопила смерть, дабы та исцелила ей душу». В нее влюбился молодой дворянин из отцовской свиты. Он не сводил с Анжелики глаз, исполнял ее малейшие желания, и она, еще не понимая, что такое Любовь, все же смутно радовалась столь страстному домогательству.

Молодой человек передал Анжелике письмо с излиянием нежных чувств, и это первое полученное ею любовное послание так врезалось ей в память, что шесть лет спустя, пережив бури другой любви, изведав многие горести, она слово в слово приводит его в своей тетради. Да не посетуют на меня читатели за то, что я процитирую здесь этот любопытный образец стиля провинциального воздыхателя времен Людовика XIII.

Вот письмо первого поклонника мадемуазель Анжелики де Лонгваль:

«Я более не дивлюсь тому, что целебные травы обретают силу лишь озаренные солнцем, ибо сегодня был столь несчастлив, когда пришлось мне уехать до восхождения прекрасной денницы, чье сияние пронзает светом все мое существо, меж тем как отторгнутый от нее, я пребываю в теснинах мрака, и пылкое желание вырваться из оных и лицезреть вас, о моя красавица, понудило меня, черпающего жизнь лишь в этом лицезрении, так поспешно воротиться, дабы вновь пала на меня тень ваших совершенств, любовь к коим похитила и мою душу, и мое сердце; но я преисполнен смиренной благодарности за это хищение, ибо оно вознесло меня к столь священному и наводящему трепет кумиру, который я буду боготворить до последнего своего вздоха с верностью и рвением, равными вашим совершенствам».

Это письмо не принесло счастья бедному юноше. Отец Анжелики застиг его в ту минуту, когда он украдкой передавал ей свое послание, и четыре дня спустя молодой человек был убит неведомо кем.

Отчаянье, в которое повергла Анжелику его смерть, было вместе с тем и познанием Любви. Два года она не осушала глаз. К концу этого срока, сказав себе, что лишь смерть или новая любовь может исцелить подобное горе, она стала умолять отца вывезти ее в свет. Ей казалось, что среди стольких знатных вельмож найдется человек, который вытеснит из ее сердца неотступный образ умершего.

Граф д'Арокур, видимо, остался глух к этим мольбам, так как все до единого поклонники Анжелики были

из его свиты или челяди. Двое из них, г-н де Сен-Жорж, офицер, и Фарг, графский камердинер, воспылав страстью к дочери своего господина, так возненавидели друг друга, что дело кончилось трагедией. Фарг, уязвленный привилегированным положением соперника, вел о нем поносные речи. Узнав об этом, Сен-Жорж призывает его к себе, бранит за дерзость и начинает избивать шпагой плашмя, да так, что клинок погнулся. Фарг, вне себя от ярости, носится по замку в поисках оружия. Увидев барона д'Арокура, брата Анжелики, он выхватывает у него шпагу, бежит к Сен-Жоржу и вонзает ее тому в горло. Сен-Жоржа находят уже при последнем издыхании. Хирургу только и остается что сказать: «Молите господа да отпустит вам грехи ваши, пришел ваш последний час». Фарг тем временем успевает скрыться.

ИСТОРИЯ ДВОЮРОДНОЙ БАБКИ АББАТА ДЕ БЮКУА

Вот первые строки из тетради Анжелики:

«Когда моя злосчастная судьба решила и дальше не давать мне покоя, она однажды вечером в Сен-Римо наслала на меня этого человека, и я уже семь лет знала его и два года допускала к себе, не любя. Он вошел ко мне в опочивальню будто бы из-за склонности к девице Борегар, челядинке моей матушки, и приблизился к моей постели со словами: «Вы позволите, госпожа?» и еще приблизился и сказал: «Ах, как я вас люблю и уже давно люблю!», на что я ему в ответ: «А я вас ничуть не люблю, но ненависти к вам у меня тоже нет, только уходите поскорей, боюсь, папенька прознает, что вы в такой час в моей опочивальне!»

Утром я сразу стала искать случай увидеть того, кто ночью сделал мне признание в любви, и, разглядевши как следует, нашла, что дурно в нем только одно — его подневольное положение, из-за которого он весь день держался в стороне, только ни на минуту не спускал с меня глаз. И с этого дня он стал наряжаться с великим тщанием, чтобы мне понравиться. Правду сказать, наружность у него была тоже очень приятная и обхождение совсем не как у простолюдина, потому что он обладал сердцем отменно мужественным и отменно благородным».

Из рассказа некоего монаха-целестинца, приходившего кузеном Анжелике, мы узнаем, что упомянутого молодого человека звали Лакорбиньер, что был он всего-навсего сыном колбасника из Клермон-сюр-Уаз и нанялся к графу д'Арокуру простым слугой. Но тут надобно добавить, что, будучи бригадным генералом, граф и у себя дома завел военные порядки, все его слуги должны были отрастить усы, ходить при шпорах и носить мундиры вместо ливрей. Этим до некоторой степени объясняется приятное заблуждение Анжелики.

Она очень опечалилась, когда Лакорбиньеру пришлось сопровождать графа в Шарлевиль к герцогу де Лонгвилю, заболевшему там дизентерией. «Несчастный недуг, — простодушно размышляет девица, — поистине несчастный, потому что разлучает меня с человеком, чьи нежные чувства не вовсе мне безразличны». Прошло время, и она вновь увидела его в Вернейле. Встреча произошла в церкви. При дворе герцога де Лонгвиля молодой человек приобрел лоск учтивости. На нем было платье из жемчужно-серого испанского сукна с кружевным узорчатым воротником, серую шляпу украшали жемчужно-серые и желтые перья. Улучив удобную минуту, он подошел к Анжелике и сказал: «Примите в дар, госпожа, эти ароматические браслеты, я привез их из Шарлевиля, где *все мне было тошно*».

Лакорбиньер снова исполнял свою службу в замке. И снова он прикидывался, будто влюблен в горничную девушку Борегар, и уверял, что ходит к госпоже только ради нее. «И эта простушка, — пишет Анжелика, — свято ему верила... И мы по два, а то и по три часа смеялись и веселились втроем каждый вечер в обтянутом белой тканью покое Вернейльской башни».

Подозрения и слезка лакея по имени Дурдий прервали эти свидания. Теперь влюбленная пара могла сообщаться только письмами. Но стоило отцу Анжелики уехать в Руан к герцогу де Лонгвилю, под чьим началом он служил, как Лакорбиньер выскользнул ночью из замка, влез на башенную стену, воспользовавшись брешью, добрался до окна Анжелики и бросил в него камешек.

Анжелика сразу догадалась, кто это, и, продолжая все ту же игру, сказала Борегар: «Твой кавалер, видно, вовсе ума лишился. Скорей отпри ему дверь нижнего зала, что выходит в цветник, он уже там, а я тем временем оденусь и запалю свечу».

Стали думать, чем бы накормить Лакорбиньера, «а у нас, кроме варений, ничего не было. И всю эту ночь, — добавляет Анжелика, — мы втроем очень много смеялись».

Одно было плохо для бедняжки Борегар: Анжелика и Лакорбиньер тайком особенно *смеялись* над ее верой в любовь молодого человека.

Чуть начинало светать, его прятали в так называемом королевском покое, куда никто никогда не заглядывал, и приходили за ним только с наступлением темноты. «Все эти три дня, — сообщает Анжелика, — он только и ел, что холодных цыплят, которых я приносила, засунув между рубашкой и юбкой».

Но Лакорбиньеру пришлось все же уехать вслед за графом, который надолго отбыл в Париж. Целый год Анжелика предавалась унынию, и единственным ее развлечением были письма к возлюбленному. «Не было мне иной улады, — пишет она, — потому что ни красивые драгоценности, ни красивые вышивки, ни красивые наряды меня нисколько не радуют, если нельзя проводить время в беседе с любезными сердцу людьми... Снова мы свиделись в Сен-Римо, и так нас удивляла эта встреча, что только те, что сами любили, могут это вообразить. И он еще больше мне понравился в новом своем платье пунцового цвета...»

Вечерние свидания возобновились. Лакея Дурдий уже не было в замке, в его комнате жил сокольничий по имени Лавинь, а он делал вид, будто ничего не замечает.

Так они и длились, эти любовные отношения, вполне, в общем, целомудренные, и прерывали их только печальные месяцы разлуки — Лакорбиньеру волей-неволей приходилось сопровождать графа в частых его разъездах по делам военной службы. «Даже и сказать нельзя, — пишет Анжелика, — сколько мы вкусили радости за то три года, что жили во *Франции*¹».

Но однажды Лакорбиньер осмелел. Может быть, его немного развратила парижская жизнь. Он вошел в опочивальню к Анжелике поздней ночью. Борегар спала на полу, она — в постели. Чтобы не выводить прислужницу из заблуждения, он сперва начал миловаться с нею, потом сказал: «А ну-ка, я напугаю госпожу!»

¹ Тогда *Францией* именовались округа, входившие в Иль-де-Франс. За ее пределами начинались Пикардия и Суассон. Еще и в наше время так называют иные местности, подчеркивая их особенный характер. (*Примеч. Нерваля.*)

«Я крепко спала, — продолжает Анжелика, — и тут он вдруг забрался ко мне в постель, на нем было одно только исподнее. И я не так была рада, как перепугана, и начала заклинать его любовью ко мне поскорее уйти, потому что в моей опочивальне нельзя было шагу ступить, слова сказать, чтобы не услышал папенька. И мне стоило большого труда его выпроводить».

Несколько сконфуженный вздыхатель уехал в Париж. Но когда он вернулся, взаимная страсть еще сильнее разгорелась, и тут родители Анжелики начали что-то подозревать. Однажды, когда девушка легла спать в так называемом королевском покое, Лакорбиньер спрятался под столом, на который был накинута большая турецкий ковер, а потом вылез и улегся рядом с нею. Она раз пятьдесят просила его уйти, страшаясь, что в комнату войдет отец. Но, хотя они так и уснули, лежа рядом, ласки их были безгреховны...

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Продолжение истории двоюродной бабки
аббата де Бююа

Такое уж это было время — везде, а в провинции особенно, властвовал под влиянием итальянских поэтов дух платонизма, достойный самого Петрарки. Сквозит подобное умонастроение и в манере писать прекрасной кающейся грешницы, которой мы обязаны этой исповедью.

Меж тем Лакорбиньер ушел в то утро от Анжелики позже обычного. Когда он проходил по большому залу, его увидел вставший спозаранку граф и заподозрил, пусть и не имея веских доказательств, что слуга провел ночь у его дочери.

«Поэтому, — добавляет она, — дорогой мой папенька весь день был в великой печали и беспрестанно шептался с маменькой, но мне они ни слова не сказали».

Прошло три дня, и граф отправился на похороны своего зятя Маникана. В сопровождающие он взял, кроме Лакорбиньера, одного из своих сыновей, конюшего и двух лакеев и, когда кавалькада углубилась в Компьенский лес, внезапно подъехал к возлюбленному дочери,

выхватил у него шпагу из перевязи, приставил пистолет к горлу и приказал лакею: «Сними шпоры с негодяя и пройди с ним немного вперед...»

ОТСТУПЛЕНИЕ

Я отнюдь не собираюсь подражать здесь константинопольским рассказчикам или каирским повествователям, которые, прибегая к старой, как мир, уловке, обрывают начатую историю на самом интересном месте, чтобы слушатели не преминули вернуться завтра в ту же кофейню. Книга про аббата Бюкуа существует; рано или поздно я ее разыщу.

И все же как не подивиться, что в Париже, в этом просвещеннейшем из городов, чьи общественные библиотеки насчитывают не менее двух миллионов книг, так трудно найти французскую книгу, которую я листал во Франкфурте и, по неразумию, не купил!

Книги постепенно исчезают — отчасти из-за системы их выдачи, но более всего потому, что племя собирателей книг и картин стало вымирать после революции. Редкие издания, украденные, проданные, потерянные, всплывают то в Голландии, то в Германии, то в России... Я не отваживаюсь в это время года на дальние путешествия, довольствуясь розысками в местах, отстоящих от Парижа километрах в сорока, не больше.

Мне привелось убедиться, что на доставку письма санлисской почте потребовалось семнадцать часов, тогда как в Париже довольно было бы и трех. Полагаю, дело не в том, что я, выросший в этих краях, состою на подозрении, а впрочем, вот вам незначительный, но прелюбопытный случай.

Уже несколько недель я занимаюсь составлением плана той книги, которую вы любезно согласились напечатать, и одновременно собираю материал о семействе Бюкуа — это имя всегда будит в моей душе отклик, словно воспоминание детства. Я приехал в Санлис со своим другом, чернобородым верзилкой бретонцем. Ранним утром мы сошли с поезда в Сен-Мексане, потом долго ехали в омнибусе лесами по старой фландрской дороге и, добравшись наконец до Санлиса, имели неосторожность зайти в самую, на вид, пристойную кофейню, чтобы подкрепить силы.

Там было полно жандармов в цивильном платье — оно дает им благое право немного поразвлечься после трудового дня. Одни играли на бильярде, другие сражались в домино.

Наши повадки и парижские бороды, видимо, повергли сих служак в изумление. Но в тот вечер они никак его не выказали.

Наутро, когда мы завтракали в отличной гостинице под вывеской «Форель на крючке» (клянусь вам, я ничего не выдумываю), к нам подошел жандармский унтер-офицер и весьма учтиво попросил предъявить паспорта.

Простите за такие подробности, но тут каждому есть над чем задуматься...

Мы ответили ему, как некий солдат ответил конной страже — так по крайней мере поется в песне, сложенной в этом самом краю (меня баюкали этой песней):

Окружили, говорят:
«Отпуск предъяви, солдат!»
«Отпуск у меня в подметках», —
Был ответ его короткий.

Превосходный ответ. Но припев устрашающий:

*Spiritus sanctus,¹
Quoniam bonus!*

Из чего следует, что кончил солдат не слишком хорошо"... Развязка нашего злключения менее печальна. Итак, мы ответили тоже вполне вежливо, что для посещения дальних окраин Парижа паспортов, как правило, не требуется. Унтер-офицер отковырял, больше ничего не спросив.

В гостинице мы поговорили о том, что, может быть, стоит съездить в Эрменонвиль. Но погода испортилась, мы отказались от этого замысла и купили места в почтовой карете на Шантильи, то есть в сторону Парижа.

Перед самым отправлением кареты к нам подошел пристав, обрамленный двумя жандармами, и потребовал наши паспорта.

Мы ответили ему то же, что унтер-офицеру.

— В таком случае, — заявил сей ч и н, — вы арестованы.

Мой друг бретонец нахмурился, еще больше осложнив наше положение.

— Успокойся, — сказал я ему. — Я же почти что дипломат... Повидал вблизи — за границей, разумеется, —

¹ Дух святой, // Яко благ! (лат.).

и королей, и пашей, и даже падишахов, мне ли не знать, как вести себя с властями предержажими! — После этого я произнес следующую речь: — Господин пристав (ибо людей следует величать согласно их чинам и званиям), я совершил три путешествия в Англию, и паспорт у меня спрашивали только при выезде из Франции... А сейчас я возвращаюсь из Германии, посетил там десять суверенных владений, в том числе Гессенское курфюршество, так вот, паспорт у меня не требовали даже в Пруссии.

— Ну что ж, а во Франции я его требую.

— Но вы же отлично знаете, что у злоумышленников бумаги всегда в порядке.

— Отнюдь не всегда.

Пришлось переменить тактику.

— Я десять лет прожил в этом краю, у меня здесь даже есть небольшое поместье...

— Но паспорта у вас нет?

— Паспорта нет... Как вы полагаете, станут подозрительные субъекты прохлаждаться за вечерним пуншем в кофейне, где развлекаются жандармы?

— Отличный способ стушеваться.

Я понял, что имею дело с неглупым человеком, и сказал:

— Господин пристав, я всего-навсего писатель, собираю материал о семействе Бюкуа де Лонгваль и хочу выяснить, где в этой провинции сохранились развалины их замков.

Внезапно чело пристава прояснилось.

— Что вы говорите! Вы литератор? Но, сударь, я тоже! В юности писал стихи... сочинил трагедию...

Мы попали из огня да в полымя: пристав явно намеревался пригласить нас отобедать, чтобы потом угостить своей трагедией. Пришлось сослаться на срочные дела в Париже, и тогда нам позволили наконец занять места в карете, чье отбытие в Шантильи задержал наш арест.

Нужно ли повторять, что, продолжая подробно описывать свои розыски и все им сопутствующее, я по-прежнему ни на шаг не отступаю от истины.

Только охотникам дано до конца постичь красоту осенней природы. Сейчас перед нами плывут полускрытые утренним туманом картины, достойные кисти великих фламандских мастеров. В замках, в музеях все еще можно проникнуться духом живописцев Севера. Всегда эти розовые или блекло-голубые отблески на небе,

облетающие деревья и либо вдалеке, либо на переднем плане поля, где трудятся поселяне.

Ватто окутал свою картину «Путешествие на Киферу» прозрачной переливчатой дымкой, неотъемлемой от этого края. Его Кифера списана с одного из островков на прудах, образованных разливами Эны и Уазы, рек столь мирных и неспешных в летние дни.

Пусть не удивляет вас восторженный тон этих описаний: я устал от Парижа, от его суесловия и кипения мелких страстишек, я отдыхаю, глядя на поля, такие зеленые, такие плодородные, я черпаю силы у этой вскормившей меня земли.

Как там ни философствуй, мы связаны крепкими узами с родной почвой. Нельзя унести на подошвах прах своих праотцев, но и самый бездоленный человек свято хранит в тайниках души память о тех, кто его любил. Назовите это религией, назовите философией, но издревле некий голос повелевает нам благоговейно чтить воспоминания.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

День поминовения усопших. Санлис. Римские башни.
Девушки. Дельфина

Пишу вам в день поминовения усопших — простите, что навожу на печальные мысли. Вчера по пути в Санлис я видел самые прекрасные и самые грустные пейзажи, какие только бывают в это время года. Краснобурая листва дубов и осин на густо-зеленом фоне травы, белоствольные березы среди вересковых зарослей и кустарников, а более всего — величаво простертая вдаль фландрская дорога, порою всходящая на холм, откуда восхищенному взору открываются нескончаемые леса, окутанные туманной дымкой, — все это наваяло на меня мечтательную задумчивость. В Санлис я попал в разгар праздника. Отовсюду несся колокольный звон — как любил Руссо эти летящие издали звуки! — молоденькие девушки стайками прогуливались по улицам или, смеясь и щебеча, стояли на порогах. Не знаю, может быть, я жертва иллюзии, но, право, мне не случилось встретить в Санлисе ни одной дурнушки... По домам они все сидят, что ли?

Нет, просто красота свойственна обитателям этих мест, а причина тому — чистый воздух, обильная пища,

незамутненная вода. Санлис остался в стороне от Северной железной дороги, по которой столько народу едет в Германию. Я так и не взял в толк, почему она делает огромный крюк и минует наши края, почему огибает Монморанси, Люзарш, Гонес и другие городки, лишая их тем самым преимуществ прямого сообщения. Не потому ли, что устроители дороги желали провести ее по своим владениям? Довольно взглянуть на карту — и любовью удостоверится в справедливости этого предположения.

Когда в Санлисе праздник, естественно пойти поглядеть на собор. Он очень красив и совсем недавно поновлен; там даже озаботились опять повесить над боковым входом усеянный лилиями щит с гербом города. Мессу служил сам епископ, и собор был переполнен богатыми горожанами и владельцами замков, которые все еще не вывелись в этой округе.

ДЕВУШКИ

Выйдя из собора, я залюбовался игрой закатных лучей на древних башнях римской крепости, полуразрушенных и увитых плющом. Когда я проходил мимо дома настоятеля, внимание мое привлекли девушки, сидевшие на лестничных ступенях.

Они пели, а управляла хором девочка постарше: оборотившись к ним лицом, она отбивала ритм, хлопая в ладоши.

— Придется повторить, девочки, кто-то из малышей фальшивит. Я хочу послушать вот ту маленькую слева, первую на второй ступени. Ну-ка, спой одна.

И малышка запела, голосок у нее был слабый, но при этом верный:

Плывут утки...

Вот и этой песней меня баюкали! Когда пройдена половина жизненной дороги, как живо встают воспоминания детства! Так, под воздействием химических веществ, на палимпсесте проступают стертые строки рукописи.

Девочки хором запели другую песню — еще одно воспоминание:

Три девицы в лесочке весной...
Всей душою, (2 раза)
Всей душою лечу за тобой!

— Вот ведь негодницы! — сказал добродушный на вид крестьянин — он остановился рядом со мной послушать песню. — Но какие же вы милашки! А теперь спляшите!

Девочки сбегали с лестницы и стали выделывать па какого-то замысловатого танца, сразу мне напомнившего танец юных девушек с греческого архипелага.

Они становятся, как говорят у нас, *гусем*, какой-нибудь юнец берет за руки девочку, возглавляющую эту цепь, и начинает с нею пятиться, остальные следуют за ними, причем каждая держит под руку идущую сзади подружку. Получается фигура, похожая на змею: она сперва скручивается в спираль, потом образует кольцо, которое сжимается вокруг слушателя, принужденного неподвижно стоять, а когда круг тесно обовьет его, он должен перещеловать по очереди всех маленьких плясуньих, так изящно приветствующих прохожего чужеземца.

Я не был здесь чужеземцем но до слез растрогался, потому что эти тоненькие голоса повторяли интонации, рулады, особенности произношения, знакомые мне с самого раннего детства, — переходя от матерей к дочерям, они всегда неизменны...

Музыка в этих местах не испорчена подражанием парижским операм, салонным романсам, заигранным шарманщиками мелодиям. В Санлисе она та же, что звучала в XVI веке при Медичи. Впрочем, свои следы оставило на ней и время Людовика XIV. Деревенские девушки все еще поют жалостные песни восхитительно дурного вкуса. В них слышатся отзвуки то ли оперных арий XVI века, то ли ораторий XVII.

ДЕЛЬФИНА

Однажды мне случилось присутствовать в Санлисе на представлении, где роли исполняли воспитанницы пансиона для благородных девиц.

Как в давно минувшие времена, они разыгрывали мистерию. Жизнь Христа была представлена во всех подробностях; мне особенно запомнилась та сцена, где все ожидают сошествия спасителя в преисподнюю.

На подмостках появилась светловолосая красавица в белом платье; ее разубранную жемчугом голову окружал венчик, в руке был меч, она стояла на полушарии, изображавшем угасшее светило.

Девушка запела:

О, ангелы, ваш легион
Да снидет во глубь чистилища!..

И она славила мессию, который вознамерился спуститься в эту обитель мрака. Дальше следовали слова:

Там восседает Он
На троне,
В короне!..

Происходило это еще во времена монархии. Светловолосая девушка была отпрыском одного из знатнейших семейств в нашем краю; звали ее Дельфина. Вовек не забыть мне этого имени!..

...Сеньор де Лонгваль сказал своим челядинцам: «Обыщите негодяя, заберите у него письма моей дочери!» Потом он обратился к Лакорбиньеру: «Отвечай, вероломный злодей, от кого ты шел в такой ранний час, когда я застиг тебя в большом зале?» — «Я шел из опочивальни господина Делапорта и не понимаю, о каких письмах вы говорите», — ответил тот.

На свое счастье, он сжег все послания Анжелики, и у него ничего не нашли. Тем не менее граф де Лонгваль, все еще держа пистолет наготове, сказал сыну: «Остриги его наголо и срежь усы!»

Граф полагал, что приведенный в такой вид Лакорбиньер разонравится его дочери.

А вот что рассказывает по этому поводу она сама:

«И когда с ним так поступили, он решил умереть, потому что и впрямь вообразил, будто я его разлюблю, но моя к нему склонность, напротив того, вдвое возросла, когда я увидела, что он претерпел из-за любви ко мне, и я поклялась лишить себя жизни прямо на глазах у отца, если он еще хуже обойдется с этим юношей, но папенька был человек разумный, и он сдержал свой гнев, не сделал ему больше ничего худого, только приказал взять доброго скакуна и поспешить в Бовуази и предупредить там отряды драгунов, чтобы они были наготове расположиться гарнизоном в Орбе».

Дальше Анжелика пишет:

«И хотя мой отец так дурно обошелся с ним и строгонастроено приказал исполнить свой долг, ни о чем больше не помышляя, он сумел провести всю ночь со мною, и для этого придумал вот какую хитрость: немедля оседлал коня, как ему велел мой отец, но вместо того, чтобы скакать прямо в Бовуази, остановился в Гюнийском лесу,

а когда стемнело, отправился к Танкару в Куси-ла-Виль, там поужинал, потом, прихватив два пистолета, воротился в Вернейль и перелез через ограду садика, где я его поджидала, и мне нисколько не было страшно, потому что все думали, будто он уже невесть как далеко уехал. Я повела его к себе в опочивальню, и тогда он сказал мне: «Нельзя нам упускать такой случай помилиться, так что давай разденемся... Бояться-то ведь нечего».

Лакорбиньер чем-то заболел, это немного смягчило графа, но, по-прежнему желая разлучить его с Анжеликой, он приказал ему: «Отправляйся в Орбе, все драгуны уже там».

С великой неохотой Лакорбиньер подчинился.

Когда сокольничий графа отправил из Орбе в Вернейль своего слугу по имени Токет, Лакорбиньер поручил тому передать письмо Анжелике де Лонгваль. Но, опасаясь, как бы кто не увидел этого, наказал Токету спрятать письмо под камнем у входа в замок, чтобы, в случае если его обыщут, при нем ничего не оказалось.

А уж когда его впустят, проще простого потом выйти, взять письмо из-под камня и отдать молодой госпоже. Мальчуган в точности исполнил поручение и, подойдя к Анжелике де Лонгваль, сказал: «Я вам кое-что привез».

Это письмо доставило ей немалую радость. Лакорбиньер сообщал, что, хотя служба в Германии сулила немалые выгоды, он вернулся, дабы вновь свидеться с Анжеликой, и если возлюбленная откажет ему в этой милости, ему только и остается что умереть.

Меж тем брат увез Анжелику в Невиль, и там она сказала лакею своей матери, чье прозвище было Кругомбегом: «Прошу тебя, разыщи Лакорбиньера, он уже вернулся из Германии, и передай ему это письмо, но только так, чтобы никто не видел».

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Несколько общих замечаний. Король Луи.
Меж белых роз

Прежде чем перейти к рассказу об отважном решении Анжелики де Лонгваль, позвольте мне еще раз немного отклониться в сторону. Обещаю впредь почти не делать отступлений. На исторические *романы* наложен запрет, вот нам и приходится подавать соус отдельно от рыбы,

то есть описывать место действия, говорить о приметах времени, разбирать особенности характеров без всякой связи с изложением подлинных событий.

Я никак не могу найти объяснения поездке Лакорбиньера в Германию. Мадемуазель де Лонгваль упоминает о ней мимоходом. Но в ту эпоху Германией называли и некоторые области Верхней Бургундии, а мы знаем, что именно там герцог де Лонгвиль болел дизентерией. Возможно, Лакорбиньер жил некоторое время при его дворе.

Что касается нрава отцов в тех местах, по которым я сейчас разъезжаю, то, если верить легендам, слышанным мною в дни юности, он всегда был одинаков. Все та же смесь патриархальной жестокости с патриархальным добродушием. Вот одна из песен, которую я записал в старинной нашей провинции Иль-де-Франс, что простирается от Паризии до границ Пикардии:

Король Луи угрюм сидит,
К нему прильнувши, дочь твердит:
«Кто люб, тому и дам обет...»
А у того и гроша нет!

«Не отговаривай меня!
Пускай бранится вся родня,
И мать, и даже ты, отец!
Лишь с ним пойду я под венец!»

«Пойдешь с другим, вот мой приказ,
Не то в темницу сей же час!»
«Пойду в темницу хоть сейчас,
Но не исполню твой приказ!»

«Стремянные, ведите дочь
В темницу, с глаз отцовских прочь!
Пусть там не осушает глаз!
Так исполняйте мой приказ!»

За годом год прошло семь лет,
Ее на свете будто нет,
Уже восьмой стучится год —
Отец наведать дочь идет.

«Как, дочь, в темнице ты живешь?»
«Да плохо... Воздух нехорош,
И ног распухших не согнуть,
И черви мне изгрызли грудь».

«Скорей исполни мой приказ,
Чтоб здесь не встретить смертный час!»
«Я встречу здесь свой смертный час,
Но не исполню твой приказ!»

Мы познакомились с жестокосердным отцом; а вот— отец снисходительный.

К великому сожалению, вы только прочитаете, а не услышите эти песни, меж тем их мелодии так же поэтичны, как музыкален ритм стихов, в которых, как у испанцев, созвучие гласных так часто заменяет рифму:

Одна в саду отца
Под розой, розой белой
Красавица сидела,
Лицом, как снег, бела.
Три рыцаря узрели
Ее при свете дня.

Эту легенду потом исказили: перекроили стихи, пытались даже доказать, что ее родина — провинция Бурбоне. Более того, напечатали, снабдив красивыми картинками и посвящением бывшей королеве Франции... Целиком я ее привести не могу, ограничусь еще несколькими отрывками. Три всадника едут мимо сада:

Взял младший из троих
Ее за белу руку:
«Садись, краса-девица,
На серого коня!»

Вот вам четыре строчки, которые лишний раз доказывают, что стихи отнюдь не всегда требуют рифмы, — это отлично знают немцы, недаром они, по примеру древних греков, иной раз довольствуются чередованием долгих и кратких гласных.

Три рыцаря и красавица, которую младший из трех посадил на круп своего коня, приезжают в Санлис. Трактирщица, чуть глянув, красавице сказала:

«Входи, краса-девица,
Тебя улады ждут:
Всю ночьеньку три воина
С тобою проведут!»

Тут красавица начала понимать, что поступила не совсем осмотрительно и, сперва возглавив трапезу, потом *прикинулась мертвой*, а рыцари были так простодушны, что дались в обман. Воскликнув: «Она мертва! О горе!» — они стали думать, куда бы им перенести ее тело. И тогда младший рыцарь сказал, что место девице

В саду ее отца.

И они отвезли и уложили красавицу под белой розой.

Рассказчик продолжает:

Три дня лежала там,
На третий день очнулась.

«Отец, открой мне двери,
Услышь благую весть:
Я притворилась мертвой
И сохранила честь!»

В это время отец со всем семейством сидел за вечерней трапезой. Трехдневная отлучка девицы очень тревожила родных, и теперь они с великой радостью встречают красавицу; более чем вероятно, что в дальнейшем она вполне благопристойно вышла замуж.

Но вернемся к Анжелике де Лонгваль.

«А как оно было, что я решила уехать на чужую сторону, сейчас расскажу об этом. Когда тот ¹, кто уезжал в Мен, воротился в Вернейль, мой отец спросил у него перед ужином: «У тебя, видать, денег куры не клюют?» И он ответил: «За деньгами дело не станет». И мой отец так разгневался, что бросился на него, схватив нож со стола, а стол уже был накрыт к ужину, и хотел поранить, и в это время прибежали мы с маменькой, но тот, кто стал потом причиной стольких бед, успел сам поранить себе палец, когда вырывал нож у отца... и хотя с ним так плохо обошлись, он из любви ко мне пренебрег этим и никуда не уехал.

За целую неделю отец ни словечка ему не сказал, ни хорошего, ни дурного, а он тем временем все строчит мне письма, упрашивал решиться уехать с ним, я же никак не решалась, но, когда прошла эта неделя, мой отец, повстречав его в саду, сказал: «Дивлюсь я, как у тебя хватает наглости после всего, что было, по-прежнему жить у меня; убирайся вон, да поживее, и не смей близко подходить к моему порогу, потому что никогда ты не будешь у меня желанным гостем».

И тогда он сразу пошел и оседлал коня, у него был свой собственный конь, а когда поднимался к себе за пожитками, сделал мне знак, чтобы я поднялась в спальню

¹ Она никогда не называет Лакорбиньера по имени — оно стало нам известно из повествования монаха-целестинца, ее кузена. (*Примеч. Нерваля.*)

д'Арокура, там в передней комнате была дверь, она всегда заперта, но все равно через нее можно было переговариваться. Я сразу пошла туда, и вот какие слова он мне сказал: «Решайся, или тебе больше меня не видеть».

Я попросила у него три дня, чтобы хорошенько обо всем подумать, и он уехал в Париж, но через три дня вернулся в Вернейль, и все эти дни я только и делала, что старалась отвлечь от него свое сердце, но так и не смогла, хотя до самого отъезда ни на минуту не забывала, какие страдания мне уже пришлось из-за него претерпеть. Любовь и отчаянье все равно взяли верх, и вот я решилась».

На исходе третьего дня Лакорбиньер подъехал к замку и пробрался в садик. Анжелика де Лонгваль ожидала его там и провела в подвальную каморку, и он *до смерти был рад*, узнав о решении девушки.

Бежать сговорились в первое воскресенье великого поста. «К тому времени нужно раздобыть серебро и коня», — сказал Лакорбиньер, и Анжелика пообещала сделать все, что в ее силах.

И она стала ломать себе голову, как ей подобраться к серебряной посуде — о деньгах и думать было нечего, отец всю наличность увез с собой в Париж.

Когда пришел назначенный день, она сказала конюшему по имени Брето: «Мне нужно послать ночью слугу в Суассон купить тафты на нижнюю юбку, так что пусть заранее оседлают коня. Обещаю, он будет на месте раньше, чем проснется маменька. И не дивись, что прошу его на ночь, я не хочу, чтобы она тебя бранила».

Конюший обещал исполнить *веление* молодой госпожи. Теперь следовало заполучить ключ от главных ворот. Анжелика объяснила привратнику, что собирается ночью послать человека в город за какими-то покупками, но графиня об этом знать не должна... Если он снимет со связки только нужный ключ, она ничего не заметит.

Оставалось главное — выкрасть посуду. За ужином, словно «по наитию свыше» (это слова Анжелики), графиня сказала служанке, которая ведала серебром: «Юберда, господин д'Арокур уехал, так что запри-ка ты серебряную посуду в этот сундук. Ключ принесешь мне».

Анжелика похолодела... Отъезд пришлось отложить. Но когда утром в следующее воскресенье графиня отправилась на прогулку, ее дочери пришлось на ум призвать деревенского кузнеца и приказать ему, под предлогом

того, что ключ куда-то запропастился, снять с сундука замок.

«Но так просто дело не кончилось, — продолжает она, — потому что при мне все время был шевалье, мой меньшей братец, и когда он увидел, что я всем дала поручения и сама заперла главные ворота, то сказал: «Ежели ты, сестрица, собираешься обворовать папеньку с маменькой, я на это не согласен и сейчас пойду и пожалуюсь маменьке». А я ему в ответ: «Иди, бесстыдник, я ей и без тебя все расскажу и, коли она меня не образумит, сама образумлюсь». Но говорила я одно, а думала совсем другое. Мальчишка побежал докладывать о том, что я хотела скрыть, но на бегу все время оглядывался, и когда увидел, что я не смотрю ему вслед, решил, будто и думать о нем забыла, и вернулся ко мне. А я нарочно не смотрела, я знала: чем больше показываешь детям, что боишься их, и уговариваешь придержать язык, тем больше им хочется все разболтать».

Наступил вечер, время отходить ко сну, и Анжелика с великой печалью пожелала матери спокойной ночи, а у себя в опочивальне сказала горничной девушке: «Иди, Жанна, ложись спать, что-то у меня на душе тревожно, я повременю раздеваться».

Она легла одетая в постель и стала ждать полуночи; Лакорбиньер не опоздал ни на минуту.

«О господи, как тянулось время! — пишет Анжелика. — Я вся задрожала, когда он бросил камушек в окно... Он уже пробрался в садик».

Она провела его в зал и там сказала: «Плохи наши дела: госпожа взяла ключ от сундука с серебром, а ведь раньше ей это и в голову не приходило. Правда, у меня есть ключ от чулана, где стоит сундук». А он мне на это: «Прежде всего пойди переоденься, а там посмотрим, как нам быть».

«Я натянула на себя мужские штаны и сапоги, и он помог мне пристегнуть шпоры. Но тут конюший подвел к двери зала коня, и я испугалась и скорее надела ратиновую юбку, не то он бы увидел, что я наполовину обряжена под мужчину, а потом вышла и взяла поводья из рук Брето и вывела коня за главные ворота к тому вязу, под которым в праздник пляшут деревенские девушки, и вернулась в зал к *моему кузену* (так я должна была называть его в пути), и он ждал меня с великим нетерпением и сказал: «Пойдем посмотрим, может, что-нибудь да раздобудем, а нет — все равно

уедем, хоть и с пустыми руками». И тогда я пошла на кухню, она рядом с чуланом, раздула огонь в очаге и при его свете увидела большой железный гребок для золы, взяла его и сказала: «Пойдем в чулан», и там мы попробовали приподнять крышку сундука и оказалось — она немного *поддается*. И тогда я сказала: «Просунь-ка поглубже гребок под крышку». И мы изо всех сил налегли на ручку гребка, но у нас не вышло, мы налегли еще раз, пробои выскочили, и я сразу запустила руку в сундук».

Анжелика вытащила стопку серебряных тарелок, передала ее Лакорбиньеру и хотела взять еще, но он сказал: «Хватит, триповая сума и без того полнехонька».

Она собиралась прихватить еще и чаши, подсвечники, кувшины, но он опять сказал: «Не нужно, слишком громоздкая будет поклажа».

И добавил — пусть лучше пойдет и наденет куртку и накидку, чтобы в дороге ее никто не узнал.

Они поехали напрямиком в Компьен и там за сорок экю продали коня Анжелики де Лонгваль. Потом сели в почтовую карету и к вечеру добрались до Шарантона.

В Шарантоне им пришлось заночевать, потому что река вышла из берегов. Анжелику и впрямь все принимали за мужчину; к примеру, трактирщица, когда кучер стягивал с девишки сапоги, спросила: «Что вам, *господа*, угодно на ужин?» — «Что есть самого лучшего, то и подайте», — последовал ответ.

Но Анжелика сразу легла в постель: она так устала, что ей кусок в горло не шел. К тому же она смертельно боялась графа де Лонгваля, своего отца, «который был тогда в Париже».

Утром они отплыли в Эссон, и там обессиленная Анжелика сказала Лакорбиньеру: «Поезжай в Лион и жди меня там. И посуду возьми с собой».

В Эссоне они прожили три дня — отчасти потому, что не было почтовой кареты, отчасти из-за ссадин на ляжках у Анжелики, непривычной к мужскому седлу.

Когда на почтовых они проехали Мулен, какой-то пассажир, выдававший себя за дворянина, стал повторять: — А не едет ли с нами девица в мужском платье? И Лакорбиньер в ответ:

— Ну, едет, а вам-то что, сударь? Разве я не волен наряжать свою жену, как мне заблагорассудится?

В Лион они приехали вечером и остановились в трактире «Красная шляпа»; там они продали серебряную посуду за триста эю, и Лакорбиньер тотчас заказал себе, «хотя не имел в том нужды, очень красивое платье пунцового сукна, отделанное золотой и серебряной тесьмой».

Дальше они поплыли на судне вниз по Роне, остановились на ночлег в какой-то гостинице, и тут Лакорбиньер вздумал испытать свои новые пистолеты, да так небрежно, что угодил Анжелике де Лонгваль в правую ногу, а когда его стали бранить за неосторожность, только и сказал: «Ранил-то я не кого-нибудь... *самого себя* ранил! Ведь она мне жена!»

Анжелика три дня пролежала в постели, потом они снова сели на речное судно и добрались до Авиньона, где ей пришлось заняться лечением ноги, а когда рана немного затянулась, они продолжили путь и наконец в первый день пасхи прибыли в Тулон.

Оттуда они отплыли в Геную, но едва их корабль вышел из порта, как началась буря, им пришлось стать на якорь в бухте вблизи замка Сен-Супир, владелица которого, узнав, что они чуть не утонули, заказала спеть «*Salve regina*»¹, затем угостила излюбленными в том краю оливками и каперсами, а лакея велела накормить артишоками.

«Подумать только, — пишет Анжелика, — чего только не *сотворяет любовь*: в ожидании попутного ветра мы трое суток провели на пустынном берегу, к тому же росинки маковой не имея во рту. И все равно часы мне казались минутами, хотя я была очень голодная. Потому что в Вильфранше, из страха перед чумой, нам не позволили запастись съестным. И вот, такие голодные, мы наконец поплыли дальше, но я боялась, что корабль пойдет ко дну, и поэтому исповедалась в грехах доброму монаху-францисканцу, который, как и мы, направлялся в Геную.

И вот мой муж (с этих пор она только мужем его и называет), когда к нам в комнату вошел какой-то генуэзский дворянин, спросил у него: «Что вам угодно,

¹ «Радуйся, царица» (лат.).

сударь?» А тот, немного лопотавший по французски, ему в ответ: «Сударь, у меня надобность поговорить с сударыней». И тогда мой муж, схватившись за шпагу, сказал: «А вы разве знакомы с ней? Убирайтесь вон, не то я вас убью!»

Сразу после этого нас посетил господин Одифре и посоветовал как можно скорее уехать, потому что наверняка этот генуэзец учинит моему мужу много неудобств.

Мы добрались до Чивитавеккьи, потом до Рима и остановились в лучшей гостинице, намереваясь переночевать в комнате уже со всем убранством, как только найдем подходящую, и нам помогли удобно устроиться на улице Бургиньон у пьемонтца, женатого на римлянке. И однажды я стояла у окна, а мимо проезжал племянник его святейшества папы, и при нем было девятнадцать стремянных, и он послал ко мне одного, и тот сказал по-итальянски: «Его преосвященство повелел спросить у вас, не пожелаете ли вы, чтобы он вас навестил?» И я ему в ответ, а сама вся дрожу: «Когда бы мой муж был дома, я почла бы это за честь, но он отлучился, и я смиренно прошу вашего господина не осердиться за мой отказ».

Его карета остановилась у третьего дома, считая от нашего, там он ждал моего ответа, а как услышал, карета сразу двинулась, и больше он никогда не давал о себе знать».

Вскоре после этого Лакорбиньер рассказал ей, что встретил графского сокольничьего, некоего Ларуари. Анжелике очень захотелось поговорить с ним, и тот, когда увидел ее, «сперва совсем онемел», а потом, успокоившись, сказал, что госпожа посланница наслышана о ней и рада была бы видеть ее у себя.

Посланница хорошо приняла Анжелику де Лонгваль, однако по каким-то еле уловимым признакам та поняла, что сокольничий наболтал лишнего, и испугалась, как бы их с Лакорбиньером не посадили в тюрьму.

К великой своей досаде, они битых двадцать девять дней просидели в Риме, тщетно добиваясь, чтобы их обвенчали. «И в о т , — пишет Анжелика, — пришлось мне уехать из Рима, так ни разу и не увидев папу».

В Анконе они сели на корабль, отплывающий в Венецию. Адриатическое море встретило их бурей, но судно благополучно достигло венецианского порта; они поселились на Большом канале.

«Этот город, — пишет Анжелика де Лонгваль, — пусть и распрекрасный, был мне не по душе, потому что он стоит на море, и я там ела и пила только, чтобы не умереть с голоду».

А деньги тем временем таяли, и Анжелика сказала Лакорбиньеру: «Что же с нами станется? Деньги-то на исходе».

«Когда доберемся до твердой земли, — ответил он, — господь нас не оставит... Одевайся, пойдем послушаем мессу в соборе св. Марка».

В соборе супруги сели на скамью сенаторов и, хотя они и были чужеземцы, никому и в голову не пришло сделать им замечание: еще бы, на Лакорбиньере были черные бархатные штаны, а куртка, плащ, шапочка и все прочее — из серебряной парчи.

Анжелика тоже приделась и была вознаграждена за это: сенаторы глаз не могли отвести от ее сшитого по французской моде наряда.

А французский посол, который во время крестного хода шествовал рядом с дожем, отвесил ей поклон.

Когда пришло время обеда, она пожелала остаться в гостинице, предпочитая отдых поездке в гондоле по морю.

Лакорбиньер решил тем временем побродить по площади св. Марка, встретил там г-на де Ламорта и, когда тот спросил, не может ли быть ему полезным, рассказал о том, что им с Анжеликой никак не удастся обвенчаться: тогда де Ламорт посоветовал ему переехать в Пальманову, где стоит его, де Ламорта, гарнизон и где можно будет помочь Лакорбиньеру не только обвенчаться, но и на военную службу поступить.

В Пальманове де Ламорт представил будущих супругов *его превосходительству генералу*, и тот сперва даже верить не хотел, что молодой человек, так красиво *обряженный*, готов идти в простые пехотинцы. Он определил Лакорбиньера в роту г-на Рипера де Монтелимара.

При этом его превосходительство генерал согласился быть свидетелем на брачной церемонии, отмеченной скромным празднеством, на которое однако ушли последние *двадцать пистолей*, все еще обременявшие карманы молодоженов.

Через неделю генерал получил приказ от Сената отправить роту в Верону, и это повергло Анжелику де Лонгваль в настоящее отчаянье — ей правилась Пальмана: жизнь там была такая дешевая.

Оказавшись проездом в Венеции, они купили кое-что из домашнего обзаведения: «две пары простыней за две пистолы, да еще одеяло, тюфяк, шесть фаянсовых блюд и шесть тарелок».

В веронском гарнизоне служило несколько французских офицеров. Один из них, г-н де Брёнель, прапорщик, отрекомендовал чету г-ну де Бопюи, который без труда устроил им жилье, — дома в Вероне были очень дешевы. Они поселились как раз напротив женского монастыря, и монахини пригласили Анжелику де Лонгваль посетить их, а когда она пришла, «так обласкали, что совсем сконфузили».

К этому времени у нее родился первый ребенок; восприемниками были его превосходительство Аллуизи Джорджо и графиня Бевилаква. Когда Анжелика де Лонгваль оправилась после родов, его превосходительство часто посылал за ней свою карету.

На одном из балов она, разодетая по французской моде, танцевала с генералом Аллуизи, чем поразила всех веронских дам.

«А офицеры-французы, служившие в войсках этой республики, — добавляет Анжелика де Лонгваль, — были в восторге оттого, что генерал, который всем внушал страх и трепет, оказал мне такое внимание».

Танцуя с ней, генерал вел речи, которые, отмечает она, «были не для ушей моего мужа». Он говорил: «Что ожидает вас в Италии? Нужда с ним до конца ваших дней. Вы скажете — он любит вас, но сами видите — я люблю еще сильнее... и притом подарю вам самый дорогой жемчуг, какой только найдется здесь, и парчовые юбки по вашему вкусу! Подумайте об этом, сударыня, и откажитесь от вашего любезного ради человека, который желаet вам добра и сумеет вернуть благорасположение ваших почтенных родителей».

В то же время генерал советовал Лакорбиньеру перевестись в какую-нибудь часть, воюющую в Германии,

твердя, что в Инсбруке он обретет *большие выгоды* — а ведь от Вероны до Инсбрука всего неделя пути, — и не преминет *отхватить* себе роту...

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Размышления. Воспоминания о Лиге.
Сильванекты и франки. Лига

Бродя по улицам, я обратил внимание на голубую афишу, оповещавшую, что в театре идет пьеса «Карл VII» с участием Бовале и мадемуазель Рамбло. Выбор пьесы удачен: в этом краю дорожат воспоминаниями о властителях времен средневековья и Возрождения — кто, как не они, возвели эти дивной красоты соборы, на которые мы заглядываемся, и дворцы, все еще великолепные, хотя время и гражданские войны обошлись с ними не столь бережно.

Ибо в пору Лиги здесь шли жестокие бои... здесь, где издавна гнездились протестанты, так и не сложившие оружия, а позднее гнездились католики, не менее яростно пытавшиеся свергнуть *безбожника*, именуемого Генрихом IV!

Как всегда при крупных политических схватках, ожесточению противников не было предела. Обитатели земель, входивших во владения Маргариты де Валуа и Екатерины Медичи — а они обе сделали тут немало добра, — питали прямо-таки *органическую* ненависть к тем, кто сменил их прежних государей. Сколько раз моя бабка повторяла при мне слышанные ею некогда слова о супруге Генриха II: «Великая наша государыня Екатерина Медичи!.. Они убили всех ее несчастных детей!»

Обычай, и по сей день бытующие в этой отмеченной особой печатью провинции, воскрешают и живописуют отгремевшие битвы. В иных местностях самым торжественным праздником считается *день св. Варфоломея*. Именно к этому дню приурочено вручение призов лучшим стрелкам из лука. Нынче лук — оружие несерьезное. Что ж, тем не менее он вызывает в памяти и символизирует эпоху, когда одним из самых опасных кельтских племен почиталось племя суровых *сильванектов*.

Друидические камни в Эрменовиле, каменные топоры, могилы, в которых скелеты всегда обращены лицом к востоку, не менее убедительно свидетельствуют о происхождении жителей этой области, то лесистой, то

болотистой — впрочем, болота уже давно превратились в озера.

Обособленность маленькой древней области, именуемой Франция, от провинции Валуа как бы подчеркивает племенные различия их обитателей. Франция вошла особым районом в провинцию Иль-де-Франс, и населяли ее, по утверждению ученых, первобытные франки, откочевавшие из Германии, — тут, как гласят хроники, было их первое *стойбище*. Теперь уже доказано, что они отнюдь не покорили Галлию: им случалось принимать участие в стычках между обитателями разных областей, только и всего. А привели их с собой римляне, которым нужно было заселять важные для них пункты и, главное, свести огромные леса и осушить почву вокруг Парижа. Эти пришельцы, принадлежавшие главным образом к кавказской расе, жили согласно патриархальным обычаям, храня полное равенство между собой. Крупные лены были созданы позднее, их породила необходимость защищать край от нашествия северян. Однако земледельцы по-прежнему оставались собственниками своих наделов, получивших название аллоидальных владений.

Вражда этих различных по происхождению народностей с полной очевидностью сказалась в междоусобных распрях времен Лиги. Судя по всему, потомки галло-римлян стояли за Беарнца, меж тем как их иноплеменные противники, по натуре более независимые, склонялись к Майенну, д'Эпернону, кардиналу Лотарингскому и парижанам. До сих пор в иных местностях, особенно в Монтепиллуа, находят груды человеческих останков — нестершиеся следы тех побоищ и битв, из которых решающим было санлисское сражение.

Пожалуй, даже сам граф де Лонгваль де Бюкуа — тот, что воевал в Богемии, — не стяжал бы себе столь громкой славы, которая принесла немало бед его потомку аббату де Бюкуа, когда бы во главе лигеров он не защищал так упорно Суассон, Аррас и Кале от наступающих войск Генриха IV. Отброшенный в глубину Фрисландии, он три года стойко держался во Фландрии и добился десятилетнего перемирия для этих краев, разоренных впоследствии Людовиком XIV.

Что ж удивляться преследованиям, которым министр Поншартрен подвергал аббата де Бюкуа!

Ну а про Анжелику де Лонгваль можно сказать, что она — олицетворение непокорства в накрахмаленной юбке! Это не мешает ей любить отца и, покидая его,

горевать. Но с той минуты, как она остановила выбор на достойном, по ее мнению, человеке, Анжелика, подобно дочери герцога Луи, избравшей своим рыцарем Лотрека, уже не отступает ни перед бегством из дому, ни перед тяжкими бедами; более того, выкрав со своим сообщником отцовское серебро, она восклицает: «Вот что сотворяет любовь!»

В средние века люди твердо верили в приворот. И впрямь, ее точно приворожил этот сын колбасника, красивый собою, если верить ее словам, но, судя по всему, не принесший ей счастья. Тем не менее, говоря о некоторых пагубных склонностях *того человека*, которого никогда не называет по имени, она и не думает его осуждать. Ограничивается изложением фактов, но неизменно полна любви, как и подобает идеальной, в духе Платона, жене, разумно принявшей свою судьбу.

Уговоры подполковника, который во что бы то ни стало хотел выдворить Лакорбиньера из Вероны, *помutilи ему глаза*. Он решает ехать на поиски счастья в Инсбрук, не беря покамест с собой жену, и без долгих размышлений продает свой патент на чин прапорщика.

«И когда он продал свой патент человеку, который меня любил, тот (подполковник) был очень доволен, полагая, что уж теперь-то я ему достанусь, но любовь, эта самодержица среди всех страстей, только посмеялась над его страданиями, потому что, увидев сборы моего мужа в отъезд, я и помыслить не могла о жизни в разлуке с ним».

И пока подполковник радовался успеху своей хитрости, отдававшей ему во власть одинокую женщину, Анжелика в последнюю минуту принимает решение сопроводить Лакорбиньера в Инсбрук. «И вот, — пишет она, — любовь *принесла нам пагубу* в Италии, как прежде во Франции, хотя на этот раз я была неповинна».

Они уехали из Вероны с неким Буайе, чьи путевые расходы до самых границ Германии Лакорбиньер взял на себя, так как у названного Буайе совсем не было денег. (Лакорбиньер тут немного пускает пыль в глаза.) Когда они отъехали миль двадцать пять от Вероны, у озера, по которому переправляются в Тренто, Анжелика, на короткий миг ослабев душой, попросила мужа вернуться в какой-нибудь городок благодатной венецианской провинции — ну хотя бы в Брешию. Поклонница Петрарки с тяжелой душой покидала сладостную Италию ради повитых

туманом гор, обступивших немецкую землю. «Я не могла не думать, — пишет она, — что нам ненадолго хватит последних наших пятидесяти пистолей, но моя любовь была сильнее всяких расчетов». Они провели неделю в Инсбруке, но герцог Ферма, как раз в это время заезжавший туда, сказал Лакорбиньеру, что должность он сможет получить, только если поедет дальше, в городок, который называется Фиш. Там у Анжелики случилось сильное кровотечение, пришлось обратиться к сведущей женщине, и та объяснила, что больная «осквернена ребенком»! Весьма христианские слова, но будем снисходительны к особенностям языка тех времен и той страны.

В глазах служителей церкви всегда была преисполнена скверны женщина — пусть ничего незаконного она не совершила, Анжелика ведь была обвенчана с Лакорбиньером, — которая готовится произвести на свет нового грешника. Таков ли дух Евангелия... Но лучше промолчим!

Едва оправившись, горемычная Анжелика принуждена была вновь сесть в седло на единственного иноходца, которым владела молодая чета. «Совсем ослабевшая, по правде сказать, полумертвая, — пишет Анжелика, — я все-таки села на коня и последовала за своим мужем в армию, и там, к немалому моему удивлению, женщин было не меньше, чем мужчин, и среди них очень много полковниц и капитанш».

Ее муж явился засвидетельствовать почтение командиру полка Гильдазу, который, будучи валлоном, слышал рассказы о графе Лонгвале де Бюкуа, защищавшем Фрисландию от войск Генриха IV. Он очень обласкал мужа Анжелики и обещал при первой возможности дать ему роту, а покамест произвести в поручики; что касается Анжелики, она может пользоваться каретой его сестры, которая замужем за командиром первой роты.

Меж тем напасти так и сыпались на Анжелику и Лакорбиньера. Он занемог горячкой, за ним нужен был уход. Но свет не без добрых людей, и Анжелика жалуется лишь на кочевую жизнь: по прихоти войны, «все время приходится переезжать с места на место», будто цыганам, а это ей отнюдь не по вкусу, притом, что другим женщинам приходится еще хуже: ведь только она одна устаивается совместных трапез с полковником и его сестрой... «И полковник выказывал еще слишком мно-

го доброты моему мужу и посылал ему лучшие куски со своего стола... потому что видел, как он болен».

Однажды на походе женщинам для ночлега смогли предоставить только конюшню, и спать им пришлось во всей одежде, ибо начальство опасалось внезапного вражеского нападения. «Я проснулась среди ночи, — пишет Анжелика, — и мне было так зябко, что я не удержалась и громко сказала: „Господи, до чего же я ззябла!“» И тогда немецкий полковник бросил ей свой плащ, а сам остался в одном мундире.

Затем следует весьма мудрое рассуждение:

«Подобные милости, — пишет Анжелика, — могли бы вселить бодрость в немку, но не во француженку, потому что французским женщинам война не по душе...»

Да, рассуждение как нельзя более справедливое. Немецкие женщины и поныне такие же, какими были во времена римлян. Туснельда сражалась бок о бок с Германом. В сражении, где Марий разбил кимвров, последние насчитывали в своем войске женщин не меньше, нежели мужчин.

Французские женщины выказывают мужество в семейной жизни, противостоят страданию, смерти. Во время гражданских смут они водружают знамя на баррикадах, восходят, не склоняя головы, на эшафот. На севере, в провинциях, пограничных с Германией, не перевелись еще Жанны д'Арк, Жанны Ашет. Но в большинстве своем француженки страшатся войн: слишком сильна их любовь к своим детям.

Воительниц произвело на свет племя франков. У этого племени, некогда откочевавшего из Азии, был обычай приводить женщин на поле боя, дабы посулом подобной награды подстегнуть храбрость мужчин. Такой же обычай и у арабов. Девственница, готовая принести себя в жертву, именуется *кадра*, она выступает в первых рядах воинов, окруженная теми, кто ради нее не пощадит жизни. Франки брали с собой в битву нескольких женщин.

Храбрость, а порою и жестокость этих женщин была такова, что из-за них-то и был принят салический закон. Тем не менее женщины, пусть и не воительницы, никогда не утрачивали во Франции своей власти и как королевы, и как фаворитки.

Болезнь подвигла Лакорбиньера на решение вернуться в Италию. Но он забыл выправить паспорт, только и всего. «Мы совсем растерялись, — пишет Анжелика, — когда нас задержали в крепости, которая называется Рейстр, и, несмотря на болезнь моего мужа, не позволили ехать дальше...» Так как саму Анжелику свободы не лишили, она поспешила в Инсбрук и бросилась к ногам эрцгерцогини Леопольдины, умоляя помиловать Лакорбиньера, который, судя по всему, попросту дезертировал из армии, хотя жена его об этом и не заикается.

Запасшись грамотой о помиловании, подписанной эрцгерцогиней, Анжелика вернулась в городок — его название Рейтц, — где был задержан ее муж. Она стала расспрашивать жителей, не знают ли они что-нибудь о пленном французском дворянине. Ей указали, где он содержится, она пошла к нему, увидела, что он лежит, прижавшись к печи, уже еле живой, и немедленно увезла его в Верону.

Там она встретила г-на де Латура (из Перигора) и горько упрекнула за то, что он, уговорив ее мужа продать патент на чин, обрек его на такие беды. «Не знаю, — добавляет она, — продолжал ли он меня любить или проникся жалостью, только он прислал мне двадцать пистолей и все домашнее обзаведение, но мой муж так неразумно распорядился деньгами, что очень скоро пустил их по ветру».

Немного оправившись от болезни, он вместе с друзьями, г-ном Лаперлем и г-ном Эскютом, стал вести разгульную жизнь. Но жена любит его по-прежнему. Она решает, «чтобы не терпеть еще большие неудобства, брать жильцов с полным содержанием», и это ей удается; но Лакорбиньеру не сиделось дома, он продолжал тратить весь прибыток, «и это, — пишет она, — прямо-таки убивало меня»; в конце концов он продал домашнюю обстановку, так что содержать жильцов стало невозможно.

«И все равно, — пишет несчастная женщина, — сердце мое было исполнено столь же нежными чувствами к нему, как в тот день, когда мы покинули Францию. Правда, стоило мне получить первое письмо от моей матери, и чувства эти разделились надвое... Но, должна признаться, любовь к этому человеку была сильнее приверженности к родителям».

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Новые подробности, впервые публикуемые.
Рукопись монаха-целестинца Гуссанкура. Последние приключения
Анжелики. Смерть Лакорбиньера. Письма

На этом обрываются записки Анжелики, хранящиеся в Государственном архиве.

Но в той же папке лежат заметки ее кузена, монаха-целестинца Гуссанкура. Пусть в них нет изящества, которым отмечено повествование Анжелики де Лонгваль, но и они несут печать достойного прямодушия.

Вот выдержка из этих заметок:

«Нужда заставила их открыть трактирное заведение, солдаты-французы приходили туда выпить и закусить и с таким почтением относились к ней, что не позволяли прислуживать им. Она шила полотняные воротники, но хорошо, если зарабатывала восемь су в день, и притом должна была беспрестанно спускаться в погреб за вином, а он только и знал, что пить вместе с солдатами, и от этого все лицо у него покрылось красными пятнами.

Однажды она стояла на пороге трактира, мимо шел какой-то капитан, он низко ей поклонился, она в ответ тоже поклонилась, и это увидел ее ревнивый муж. И вот он подзывает ее и хватает за горло. Ей все-таки удается громко крикнуть. Кто был в трактире, все сбегаются на крик и видят — она, полумертвая, лежит на земле, а он бьет ее сапогом по ребрам, да так, что у нее и голоса уже нет, а он в свое оправдание твердит, что запретил ей разговаривать с этим капитаном и, скажи она тому хоть слово, тут же проткнул бы ее шпагой».

От разгульной жизни у него сделалась сухотка. В ту пору она написала письмо своей матери, испрашивая у нее прощения. Г-жа д'Арокур ответила, что прощает, советует вернуться домой и не забудет ее в своем завещании.

По этому завещанию, хранившемуся в церкви в городке Невиль-ан-Эз, Анжелика должна была получить восемь тысяч ливров.

После бегства Анжелики де Лонгваль некая девица из Пикардии в надежде занять ее место стала выдавать себя за дочь графа д'Арокура. У самозванки даже хватило наглости явиться к г-же д'Арокур, матери Анже-

лики, но та сразу сказала, что она — не ее дочь. Тем не менее кое-кто из родичей поверил девице, так ловко она заговорила им зубы.

Двоюродный брат Анжелики, монах-целестинец, тоже написал ей, что пора возвратиться домой. Но Лакорбиньер и слышать об этом не хотел; он боялся, что во Франции его схватят и казнят. Возвращение и впрямь не сулило ему добра: гневаясь на Лакорбиньера из-за дочери, граф д'Арокур выгнал его мать и братьев из предместья Клермон-ан-Уаз, где они «для пропитания держали колбасную лавку».

Когда в декабре 1636 года г-жа д'Арокур скончалась в Невиль-ан-Эз, где она покоится и поныне (г-н д'Арокур умер в 1632 году), их дочь стала так умолять мужа вернуться во Францию, что тот наконец сдался.

В Ферраре их обоих сваливает недуг, и они проводят там двенадцать дней, потом едут в Ливорно, а оттуда морем добираются до Авиньона, по-прежнему больные. Там 5 августа 1642 года Лакорбиньер умирает, и его хоронят на кладбище св. Магдалины; перед смертью он горько кается в дурном обхождении с Анжеликой и говорит ей: «Чтобы утешиться, не терзай себя печалью, вспоминай, как я с тобой обходился».

«В Авиньоне она впала в такую нищету, — продолжает целестинец, — что умерла бы с голода, когда бы не помощь целестинских монахов: об этом она мне и говорила, и писала.

В Париж она приезжает на почтовых 19 октября и посылает за г-жой Булонь, близкой своей подругой, с просьбой взять ее к себе. Той не случилось дома, но явился ее управитель. Назавтра после обеда она навестила меня вместе с помянутой Булонь и своей свекровью, матерью Лакорбиньера, которой пришлось наняться судомойкой к г-ну Феррану после того, как по вине сына ее выгнали из Клермона.

Первым делом она бросилась передо мной на колени и с воздетыми руками стала просить прощения, и тогда женщины, что были с ней, стали плакать. Я сказал, что не могу простить (тут она начала вздыхать и, только дослушав до конца, перевела дух), потому что передо мной она ни в чем не грешна. И, взяв ее за руку, сказал: «Встань с колен», и посадил рядом с собою, и она повторила то, о чем не раз писала: что обязана жизнью господу богу, своей матери и мне».

Четыре года спустя она уехала в Нивилье, бесконечно несчастная, не имея чем прикрыть наготу, — об этом свидетельствует прилагаемое письмо.

**ПИСЬМО, КОТОРОЕ ОНА НАПИСАЛА ИЗ НИВИЛЬЕ
СВОЕМУ КУЗЕНУ, МОНАХУ-ЦЕЛЕСТИНЦУ, ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИЮ**

7 января 1646 г.

Многочтимый и добрый мой папенька (так она именует целестинца)!

На коленях умоляю вас не приписывать мое молчание бесчувственности, я ваши благодеяния буду помнить до скончания жизни, но меня мучит совесть, затем что проявить свои чувства я по-прежнему могу только на словах. И поверьте, жестокая судьба так меня преследует, что уже нечем и наготу прикрыть. Из-за этих невзгод я до сих пор не писала вам, а также госпоже Булонь, потому что, по моему разумению, вам обоим должно столько радостей от меня иметь, сколько вы положили на меня трудов. Судите же мое злосчастье, а не мою нерадивость, и сделайте мне честь, дорогой папенька, подайте о себе весточку.

Смиренная ваша служанка

А. де Лонгваль.

(Господину де Гуссанкуру, в целестинский монастырь, что в Париже.)

И больше сведений об Анжелике де Лонгваль у нас нет. А вот что думает по поводу ее любовной истории целестинец Гуссанкур: неспособный понять приверженность своей кузины к какому-то *колбаснику*, он в простоте душевной все приписывает волшебю; приводим его рассуждение:

«Они бежали в 1632 году, ночью первого великопостного воскресенья, вернулись в 1642 году на великий пост. Их любовные отношения начались за три года до бегства. Чтобы склонить ее к себе, он дарил ей сласти, которые делали по его заказу в Клермоне, начиная их шпанскими мухами, и они распалили девицу, но не рождали в ней любви; и тогда он накормил ее вареной айвой, и с той поры она прониклась к нему великой страстью».

Нет оснований думать, что брат Гуссанкур дал кузине чем прикрыть наготу. Анжелика была далеко не в почете у родни, и вот свидетельство этому; она даже не

упомянута в родословной, куда занесены имена Жака Аннибала де Лонгваля, правителя Клермон-ан-Бовуази, и Сюзанны д'Арканвилье, владелицы Сен-Римо. Они имели двух сыновей, и те тоже звались Аннибалами, причем младший, чье второе имя Александр, и есть тот самый мальчик, который не хотел, чтобы его сестра «обворовала папеньку с маменькой»; было у них еще два сына. О дочери не сказано ни слова.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Мой друг Сильвен. Замок де Лонгвалей
в окрестностях Суассона. Письма. Постскрипtum

В поездки по этим местам я всегда приглашаю моего друга, которого буду называть просто по имени — Сильвен.

Это одно из самых распространенных имен в здешних краях, и ему соответствует прелестное женское имя Сильвия, прославленное той рощей в Шантильи, где любил гулять, погружаясь в мечты, поэт Теофиль де Вио.

— Едем в Шантильи, — предложил я Сильвену.

— Нет, — сказал он. — Ты же сам говорил вчера, что нужно съездить в Эрменонвиль, потом в Суассон, а оттуда — на развалины замка Лонгвалей в его окрестности, у самой границы с Шампанью.

— Твоя правда, — согласился я. — Вчера у меня из головы не шла прелестная Анжелика де Лонгваль и очень хотелось увидеть замок, откуда ее похитил Лакорбиньер... переодетую мужчиной, верхом на коне.

— Но ты хотя бы уверен, что это замок тех самых Лонгвалей? Потому что у нас их не счесть — Лонгвалей, и Лонгвилей, да и Бюкуа тоже.

— Ну, насчет Бюкуа я не убежден... А ты, сделай милость, прочитай этот отрывок из рукописи Анжелики:

«Когда пришел назначенный день, я сказала конюшему по имени Брето: „Я хочу послать ночью слугу в Суассон купить мне тафты на нижнюю юбку, так что пусть заранее оседлают коня. Обещаю, он будет на месте раньше, чем проснется маменька...”»

— Выходит, можно считать доказанным, — сделал вывод Сильвен, — что этот замок Лонгвалей был непода-

леку от Суассона; зачем же нам сейчас возвращаться в Шантильи? Из-за такой перемены планов тебя уже чуть было не арестовали однажды, потому что люди, которые ни с того ни с сего меняют намерения, всегда кажутся подозрительными...

ПЕРЕПИСКА

Вы переслали мне два письма по поводу первых моих очерков об аббате де Бюкуа. В одном читатель утверждает, что, согласно какой-то сводной биографии, *Visquoi* и *Busquoy* — разные люди. Скажу на это, что в старину не существовало твердо установленного написания фамилий. О каком семействе идет речь, можно судить только по гербу, а мы про интересующий нас герб уже говорили (по полю перевязь, червлень, беличий мех). Он одинаков у всех ветвей рода Лонгвалей, где бы они ни жили — в Пикардии, в Иль-де-Франсе или в Шампани; к последним принадлежит и аббат де Бюкуа. Владения Лонгвалей, как уже известно, граничат с Шампанью. Не вижу смысла длить этот спор по вопросам геральдики.

А вот второе письмо, на этот раз из Бельгии:

«Искренне симпатизируя писаниям г-на Жерара де Нерваля и желая сделать ему приятное, прилагаю документ, который, быть может, окажется бесполезным в его столь забавных блужданиях по следам аббата де Бюкуа, этого неуловимого кузнечика, порожденного дополнением Риансе к закону о печати:

156. *Olivier de Wree, de vermoerde oorlogh-stucken van den wonderdadighen velt-heer Carel de Longueval, grave van Busquoy, baron de Vaux. Brugge, 1625. — Ej. mengheldichten: fyghes noeper; Bacchus-Cortryck. Ibid., 1625. — Ej. Venus-Ban. Ibid., 1625, in-12, oblong, vél.*

Книга редкая и заслуживающая внимания. Экземпляры в водяных пятнах».

Я не собираюсь переводить этот образец фламандской библиографии, отмечу только, что он назван в каталоге той библиотеки, которая пойдет с аукциона 5 декабря и в последующие дни, аукционист г-н Эберле, адрес: Брюссель, улица Паруасьен, 5.

Предпочитаю дожидаться распродажи у Тешнера, которая, надеюсь, все же состоится 20-го.

РАЗВАЛИНЫ. ПРОГУЛКИ. ШААЛИС. ЭРМЕНОНВИЛЬ.
МОГИЛА РУССО

В одном из писем, говоря о том, что *злоупотребление властью* вызывает *обратную реакцию*, я неправильно употребил слово «реакция».

На первый взгляд, ошибка из несущественных, но дело в том, что реакции бывают различные: в иных случаях речь идет о *действиях наперекор*, в других — о *приостановке* действий. Я хотел сказать, что насилие породило ответное насилие. Разумеется, нельзя не осуждать поджоги и разграбления чужой собственности — правда, в наши дни такие случаи не часты. В охваченную возмущением толпу легко замешаться личностям, ослепленным ненавистью, или чужакам, из-за них-то события и выходят за пределы здравого смысла, обычно присущего людям, притом что в конце концов он все же торжествует.

В качестве доказательства приведу лишь один анекдот о некоем библиофиле, поведенный мне также библиофилом, кстати весьма известным.

В тот самый день, когда вспыхнула февральская революция, восставшие сожгли несколько карет, которые числятся в так называемом *цивильном листе* — дело, что и говорить, непохвальное, нынче за него не устают жестоко попрекать пестрое скопище народа, где за спинами борцов укрывались негодяи...

Помянутый библиофил прибежал к концу того дня в Пале-Насьональ. Но не участь карет волновала его душу — он опасался за сохранность произведения в четырех томах *ин-фолио*, озаглавленного «Персефоре».

То был *руман* из цикла короля Артура — или Карла Великого, — куда входят эпические повествования о наших стародавних рыцарских распрах.

Проложив себе путь сквозь бушующую толпу, он вошел во двор. Худое лицо этого тщедушного человека в безукоризненном фраке морщила порою добродушная улыбка; перед ним несколько озадаченно расступились.

— Друзья мои, вы и «Персефоре» сожгли? — спросил он.

— Жгли только кареты.

— Вот и отлично, продолжайте ваше занятие...
А библиотека цела?

— Библиотеку никто не трогал... Но чего, собственно говоря, вы хотите?

— Хочу, чтобы с почтением отнеслись к четырехтому повествованию о Персефоре, герое давних времен... Это редчайшее издание, две страницы там переставлены местами и огромное чернильное пятно на третьем томе.

— Поднимитесь во второй этаж, — сказали библиофилу.

Во втором этаже какие-то люди начали ему объяснять:

— Нам очень жаль, что так получилось... Понимаете, в первый момент была такая сумятица... повредили несколько картин...

— Знаю, Ораса Верне, Гюдена... Это не в счет... Важно, что с «Персефоре»...

Все решили, что он не в своем уме. Тогда библиофил отправился на поиски дворцовой смотрительницы и нашел ее — она сидела у себя в каморке.

— Сударыня, если библиотека не тронута, проверьте, пожалуйста, на месте ли «Персефоре» — издание XVI века, пергаментный переплет. Остальные книги не в счет... Отвратительно подобраны... Ведь эти люди ничего не читают! Но «Персефоре» расценен в сорок тысяч франков.

Смотрительница вытаращила глаза.

— Я готов сегодня же выложить за него двадцать тысяч... хотя деньги так обесценились, что революция просто неминуема!

— Двадцать тысяч франков!

— У меня дома наберется такая сумма. Но, конечно, я куплю эти тома, чтобы вернуть их Франции — ведь это же памятник!

Вне себя от изумления, смотрительница мужественно согласилась пробраться в библиотеку по боковой лестнице. Волнение ученого заразило и ее.

Она обнаружила книгу на полке, где та и должна была стоять, судя по описанию ученого, и вернулась со следующим известием:

— Сударь, книга на месте. Только вы ошиблись, там три тома, а не четыре.

— Три тома!.. Какая утрата!.. Немедленно разыщу кого-нибудь из членов Временного правительства — хоть какое-то временное правительство всегда существует!.. Тома «Персефоре» разрознены!.. Поистине, революции несут чудовищные бедствия!

Библиофил помчался в ратушу. У членов правительства были заботы поважнее, нежели розыски библиогра-

фических редкостей. Тем не менее ученому удалось поговорить с г-ном Араго, тот понял всю серьезность его заявления и немедленно принял надлежащие меры.

«Персефоре» оказался разрозненным лишь потому, что один из томов кто-то взял читать.

Мы ликуем при мысли, что это издание сохранено для Франции.

Но такова ли будет участь «Истории аббата де Бюкуа», которая 20-го числа должна поступить в продажу?

А сейчас заранее прошу прощения за возможные ошибки в дальнейшем рассказе: поездка моя была так кратковременна, к тому же ее слишком часто прерывал то дождь, то туман...

Очень мне грустно расставаться с Санлисом, но этого требует мой друг, требует на основании довода, который я же сам имел неосторожность привести...

Так приятно было бродить по санлисским улочкам, повсюду натываясь на следы то эпохи Возрождения, то средневековья, то римского владычества — в угловом ли доме, в конюшне или погребе... Я уже говорил вам о «башнях римской крепости, увитых плющом». Их вечно-зеленый наряд словно укор изменчивой природе наших холодных краев. На Востоке леса неизменно одеты зеленью: все деревья меняют листву, но у каждой породы своя пора. Я сам видел, как в Каире знойным летом облетают сикоморы. Зато в январе они пышно зеленеют.

Аллеи вокруг Санлиса, сменившие древние римские укрепления — их восстанавливали во время долгого пребывания в этом краю каролингской династии, — являют взору лишь однообразно ржавую листву вязов и лип. Впрочем, вид в окрестностях Санлиса на закате безоблачного дня все еще прекрасен. Леса Шантильи, Компьена, Эрменонвиля, рощи Шаалиса и Понтарме четкими красно-бурыми пятнами выделяются на светлой зелени простертых между ними лугов. Вдали все еще вздымаются башни замков, прочно сложенные из санлисского камня — в наши дни они служат разве что голубятнями.

Остроконечные колокольни щетинятся безукоризненно правильными навершиями (их здесь, не знаю почему, именуют курганными) и все еще оглашают округу пере-

звоном, навевавшим когда-то сладостную меланхолию на душу Руссо...

Совершив же давно задуманное паломничество в Эрменонвиль, поклонимся если не останкам Руссо, которые покоятся в Пантеоне, то хотя бы его могиле на так называемом Тополевом острове.

Санлисский собор, церковь св. Петра, служащая нынче казармой кирасирам, замок Генриха IV, прислоненный к древним городским укреплениям, монастырские строения в византийском вкусе, свойственном Карлу Толстому и его преемникам, не столь примечательны, чтобы задерживаться возле них... Сейчас время прогулки по лесу, хотя утренний туман не желает рассеиваться.

Мы отправились из Санлиса пешком, шли по лесам, с наслаждением вдыхая пропитанный осенним туманом воздух.

Дорога привела нас к рощам и замку Мон-Левек. Сквозь багряную листву, оттененную темной зеленью сосен, поблескивали пруды. Сильвен спел мне старинную песню, сложенную в этом крае:

Не вешай голову, дружище!
Уже недалеко жилище,
Войдем в гостеприимный дом
И освежимся, отдохнем!

В деревне мы выпили слабого винца, довольно приятного на вкус после пешей прогулки.

— Вы, верно, художники... пришли осмотреть Шаалис? — спросила трактирщица, бросив взгляд на наши бороды.

Шаалис — это слово вернуло меня в давние времена... в те времена, когда раз в год меня водили послушать мессу в аббатстве и побродить по ближней ярмарке.

— Шаалис... — повторил я. — А разве он все еще существует?

Ла-Шапель-ан-Серваль, 20 ноября с. г.

Как в симфонии, даже пасторальной, стоит время от времени повторять лейтмотив, изящный, нежный или грозный, чтобы в финале он загремел нарастающей бурей звучания всех инструментов, так и в этих письмах

есть, пожалуй, смысл порою возвращаться к аббату де Бюкуа, не прерывая, однако, рассказа о поездке в замок, где жили его предки, потому что предпринята она с целью дать потом точное и подробное описание этих мест, без которого приключения аббата очень проиграли бы в занимательности.

А финал все еще далек, и опять не по моей вине, как вы сами сейчас убедитесь...

Но прежде всего повинимся в нашей несправедливости по отношению к г-ну Равенелю из Национальной библиотеки, этому превосходному человеку, который не только не пренебрег поисками книги, но, напротив того, заставил перерыть все фонды хранилища, то есть восемьсот тысяч томов. Я узнал об этом с опозданием, ну а он, не найдя того, чего там и не было, услужливо сообщил мне о распродаже у Тешнера, то есть поступил, как подобает истинному ученому.

Зная, что распродажа всякой большой библиотеки длится несколько дней, я навел справки, когда именно по расчетам пойдет с молотка нужная мне книга: если в первый же день, то мне следовало прийти сразу после дневного перерыва.

Оказалось, дело дойдет до нее только тридцатого.

Книга правильно помещена в разделе «История» под № 3684: «Происшествие поистине необычайное...» Вам этот заголовок уже известен.

Ему сопутствует следующее примечание: «„Редкость“ — так озаглавлена эта причудливая книга, на фронтисписе которой помещена гравюра, изображающая «преисподнюю для живых», то есть Бастилию. В книге описаны удивительные события.

Каталог библиотеки господ таких-то».

Чтобы вы заранее оценили, какой интерес представляет изложенная в книге история — кое-кто в этом сомневается, — приведу выдержки из «Жизнеописания» Мишо.

Вслед за очерком, посвященным Шарлю Бонавантюру, графу де Бюкуа, генералиссимусу и кавалеру ордена Золотого Руна, прославленному своими боевыми действиями во Франции, Богемии и Венгрии, деду того Шарля де Бюкуа, который получил титул имперского принца, идет жизнеописание аббата де Бюкуа, отпрыска *того же семейства*, что и предыдущий. Политическая карьера аббата началась с пятилетней военной службы. Чудом избежав грозившей ему смертельной опасности, он дал обет покинуть мирскую жизнь и удалился в монастырь

ордена траппистов. Аббат де Рансе, которому посвятил последнюю свою книгу Шатобриан, изгнал его оттуда как маловеера. Он снова надел расшитый мундир, но в скором времени предпочел обрядиться в лохмотья нищего.

Взяв за образец факиров и дервишей, наш герой скитался в миру, стараясь подавать пример смирения и воздержания. Он требовал, чтобы его именовали Мертвец, и одно время даже содержал под этим именем бесплатную школу в Руане.

Тут я ставлю точку, дабы мой сюжет не лишился девственности. Все же в доказательство особой серьезности этой истории добавлю, что аббат де Бюкуа предложил Соединенным провинциям Голландии «Прожект, цель коего дать Франции республиканский строй», уничтожив, как он выражается, «самовластный произвол». Он умер в Ганновере девяностолетним старцем, завещав всю свою обстановку и книги католической церкви, с которой никогда не порывал. Что же до его шестнадцатилетних странствий по Индии, я по-прежнему располагаю сведениями лишь из одной-единственной, да и то написанной по-голландски книги, хранящейся в Национальной библиотеке.

В Шаалис мы отправились, чтобы как следует осмотреть это поместье, прежде чем там начнутся восстановительные работы. Сперва вы видите длиннейшую ограду, в свою очередь окруженную вязами, потом по левую руку перед вами вырастает здание в стиле XVI века, но явно перестроенное позднее и тяжеловесной своей архитектурой напоминающее маленький дворец в Шантильи.

Осмотрев служебные помещения и кухни, мы по всякай лестнице времен Генриха IV поднялись в огромные, расположенные анфиладой залы второго этажа — эти парадные комнаты смотрят в лес. Мне запомнились там только несколько оправленных в рамы картин: конный портрет великого Конде и лесные пейзажи. В одном из нижних сводчатых залов висит портрет Генриха IV, написанный, когда ему было тридцать пять лет.

То была пора Габриели, и, возможно, как раз этот замок стал свидетелем их любви. Генрих IV, к которому, в общем, я не питаю особой симпатии, подолгу живал в Санлисе, особенно в начале осады, и над входом в мэрию, повыше девиза «Свобода, равенство, братство», красуется его бронзовое изваяние и выгравированы слова о том, что счастье впервые улыбнулось ему именно в

Санлисе, в 1590 году. Но Вольтер имел в виду не Санлис, когда, взяв себе за образец Ариосто, описывал место, где протекала любовь Генриха IV и Габриели д'Эстре.

Не кажется ли вам удивительным, что семейство д'Эстре находится в родстве с аббатом де Бюкуа? Между тем этот факт установлен генеалогией... Я ничего не выдумываю!

Замок — в нем давно уже никто не живет — показывал нам сын привратника. Про него не скажешь, что он человек образованный, но это не мешает ему понимать, с каким уважением должно относиться к памятникам старины. В одном из залов он под развалинами обнаружил *монаха*. Я глядел на скелет, на его выдолбленное в камне ложе, и мне чудилось, что не монах лежит передо мной в столь традиционной позе, обратившись лицом к востоку, а франкский или кельтский воин — недаром имена Эрман и Армин¹ так обычны во всей округе, не говоря уже о названии «Эрменонвиль», а до этого городка отсюда рукой подать; кстати, в народе его чаще называют на старинный лад Арм-Нонвиль или Нонваль.

Ядро развалин образует аббатство, возведенное при Карле VII в стиле пламенеющей готики; опорой ему служат грузные своды эпохи каролингов над рядами гробниц. От монастыря сохранилась лишь длинная стрельчатая галерея, соединяющая аббатство с одним из замковых строений; там все еще можно различить византийские колонны, вытесанные во времена Карла Толстого и утопленные потом в стены кладки XVI века.

— Чтобы открыть вид из замка на пруды, — сказал нам сын привратника, — монастырскую стену собираются снести. Так посоветовали госпоже.

— Посоветуйте вашей госпоже, — ответил я, — освободить заложенные кирпичом стрельчатые арки, тогда откроется вид на пруды из галереи, и не в пример более живописный.

Он обещал в точности передать мои слова.

Потом пришел черед осмотра башни и часовни. Мы взобрались на башню. Оттуда видна вся долина, изрезанная прудами и реками вперемежку с большими про-

¹ Герман, Арминий или, быть может, Гермес. (Примеч. Нерваля.)

лысынами, именуемыми Эрменонвильской Пустыней: сплошной серый песчаник, там и сям поросший чахлыми соснами и вереском.

Меж облетающих деревьев сквозили кое-где красно-бурые пятна еще уцелевших каменоломен, оживляя зеленоватый тон полей и роц; затканное плющом белоствольные березы в уборе пожелтевшей листвы четко рисовались на фоне красно-бурых лесов в голубой оправе небес.

Спустившись с башни, мы осмотрели часовню; это настоящее чудо архитектуры. Устремленные ввысь столпы и нервюры, строгость и изящество отделки свидетельствовали, что часовня была построена на скрещении эпох пламенеющей готики и Возрождения. А картины, которыми мы залюбовались, едва вошли в часовню, написаны, на мой взгляд, уже в расцвете последней из этих эпох.

— Сейчас вы увидите святых жен, у которых, можно сказать, все прелести наружу, — предупредил нас сын привратника. И впрямь, на стене сбоку от входной двери отлично сохранилась фреска, изображающая мадонну в славе, — она слегка выцвела, низ был замалеван живописью клеевыми красками, но восстановить все в первоизданном виде не составит труда.

Разумеется, шаалиским монахам хотелось бы прикрыть чересчур уж откровенную наготу этих изображений в стиле Медичи. Что и говорить, ангелы и святые жены весьма смахивали на гологрудых и голозадых амуров и нимф. Роспись апсиды в промежутках между нервюрами сохранилась еще лучше — аллегорические ее сюжеты указывают, что сделана она была уже после смерти Людовика XII. Уходя из часовни, мы обратили внимание на герб над дверьми — исходя из него, можно было бы точно датировать, к какой эпохе относятся самые поздние фрески.

Снизу трудно было во всех подробностях разглядеть, что изображено на четырех полях гербового щита, подцветенного в более позднее время голубой и белой краской. В первом и четвертом полях помещены птицы — сын привратника называл их лебедями, — причем в первом ряду их две, во втором одна; но это были не лебеди.

Может быть, орлы с распростертыми крыльями или птицы без клюва и лапок, скажем, орлята, или те же орлята со связками стрел?

Во втором и третьем полях — не то острия пик, не то лилии, что, в общем, сводится к одному и тому же. Герб

венчала кардинальская шляпа, осеняющая его треугольниками сетки с кистями по нижнему краю; впрочем, так как из-за трещин в стене мы не могли сосчитать, сколько там рядов этих кистей, вполне возможно, то был головной убор не кардинала, а аббата.

У меня нет под рукой нужных книг. Но мне кажется, это герб кого-то из дома герцогов Лотарингских, но разделенный, как герб французских королей. Может быть, герб того кардинала Лотарингского, который под именем Карла X был провозглашен королем в этом краю? Или другого кардинала, тоже поддержанного Лигой?.. Теряюсь в догадках, ведь я, нужно признаться, еще очень слаб по части истории.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Эрменонвильский замок. Иллюминаты. Прусский король.
Габриель и Руссо. Могилы. Шаалиские аббаты

Шаалис остался позади, еще несколько рощиц — и мы в Пустыне. Когда стоишь в ее центре, она и впрямь пустыня, потому что кругом видишь одну пустынность, но какая же это пустыня, если полчаса ходьбы — и вам открывается самый умиротворяющий, самый прелестный пейзаж на свете. Настоящая маленькая Швейцария посреди леса, а этого и добивался Рене де Жирарден, замысливший воссоздать здесь облик родины своих предков.

За несколько лет до революции замок Эрменонвиль стал местом встреч иллюминатов, втайне готовивших почву для грядущего. На знаменитых эрменонвильских *ужинах* побывали один за другим граф де Сен-Жермен, Месмер, Калиостро, во вдохновенных своих речах излагавшие мысли, порою парадоксальные, перенятые потом так называемой женеvской школой. Думаю, г-н де Робеспьер, сын основателя шотландской ложи в Аррасе, совсем еще юный, а позднее, возможно, и Сенанкур, Сен-Мартен, Дюпон де Немур и Казот, в этом ли замке или в замке Лепеллетье де Морфонтена, делились причудливыми замыслами преобразования одряхлевшего общества, которое даже своими модами — этими пудренными париками, накладывавшими печать мнимой старости на совсем юные лица, — говорило о необходимости коренных преобразований.

Сен-Жермен принадлежал к поколению, тогда уже сошедшему со сцены, но и он побывал здесь. Это он пока-

зал Людовику XV в стальном зеркале его обезглавленного внука, как Нострадамус показал Марии Медичи ее царственных потомков, из которых четвертый тоже был обезглавлен.

Все это побасенки. Но вот случай — о нем сообщает Бомарше, — который обнаруживает истинное значение мистиков: пруссаки, дойдя до Вердена, только потому так неожиданно повернули назад, что их королю было виденье, заставившее его воскликнуть: «Ни шагу дале!» — как в оны дни, бывало, восклицали рыцари.

Французские и немецкие иллюминаты находили общий язык, обмениваясь членами своих обществ. Доктрины Вейсгаупта и Якоба Бёме проникли прежде всего в наши провинции, некогда населенные франками и бургундами, а причина этому — исконные связи и симпатии между народами, у которых одни и те же корни. Иллюминатом был даже первый министр племянника Фридриха II. Бомарше предполагает, что в Вердене был устроен магнетический сеанс с той лишь целью, чтобы Фридриху Вильгельму явился его дядюшка и сказал: «Воротись» — как некогда сказал призрак Карлу VI.

Столь фантастические происшествия поражают воображение; впрочем, Бомарше, скептик по природе, утверждал, что для потрясающей сцены явления призрака специально привезли из Парижа актера Флери, который сыграл в театре «Комеди Франсез» роль Фридриха II и во время сеанса произвел такое впечатление на прусского короля, что тот, как известно, вышел в дальнейшем из *конфедерации* королей, направленной против Франции.

Но воспоминания, связанные с этими местами, очень угнетают меня, так что отправляю вам письмо, не слишком уверенный в том, какая его постигнет участь, хотя оно и основано на проверенных фактах. А вот подробность, безусловно заслуживающая внимания: когда прусскому генералу, который во время наших военных поражений при Реставрации занял эту провинцию, сообщили, что в Эрменонвиле похоронен Жан Жак Руссо, он освободил всю округу, начиная с Компьена, от тягот военной оккупации. Кажется, то был князь Ангальтский; при случае подобный штрих стоит упомянуть.

Руссо совсем недолго прожил в Эрменонвиле. А согласился он принять предложенный ему там кров лишь потому, что, благодаря пешим своим прогулкам из

«Эрмитажа» по Монморанси, давно уже знал, как разнообразна природа этого края и, значит, сколько интересных находок ожидает там собирателя растений.

Мы остановились в харчевне «Белый крест», где некогда, приехав сюда, поселился и он. Потом он перебрался в дом, расположенный по другую сторону замка, — теперь там живет какой-то бакалейщик. Рене де Жирарден предоставил в распоряжение Руссо пустовавший павильон в замковом парке, напротив домишка, отведенного привратнику. Там он и умер.

Утром мы сразу отправились побродить по рошам, еще окутанным осенним туманом, который, рассеиваясь, постепенно открывал нам лазурные зеркала прудов. Вот такими эффектами перспективы мне случалось любоваться на табакерках времен Руссо... Я вновь увидел за цепью этих водоемов Тополевый остров, деревья по-прежнему осеняют искусственный грот, весь в брызгах от водяных струй — когда они струятся... Описание такого пейзажа было бы вполне уместно в идиллиях Гесснера.

На больших камнях, которых немало в этих рошах, выбиты строки стихов. На одном читаешь:

Могучий сей гранит не одолеть векам.

На другом:

Здесь в яростном пылу любовных вожделений
Ведут сражения отважные олени.

На третьем, под барельефом, где изображены друиды, собирающие *омелу*:

То наши прадеды в лесах своих пустынных.

Эти высокопарные стихи написаны, по моему, Руссе... У Делиля они были бы менее тяжеловесны.

Рене де Жирарден тоже писал стихи. Но главное, он был истинно достойный человек. Мне кажется, это ему мы обязаны стихами, которые высечены на фонтане в соседнем поместье под статуями Нептуна и Амфитриды в довольно декольтированном одеянии на манер святых и ангелов в Шаалисе:

С цветущих берегов, что я кропила
Кристаллейшей струей своей,
Прохожий, я сюда спешила,
Дабы поить стада и радовать людей.
Так помни, черпая сокровища сей урны,
О тех, чей для тебя столь благотворен труд:

Да освежаются лишь те волной безбурной,
Что с целым миром в мире жизнь ведут.

Я не собираюсь разбирать поэтические достоинства этих стихов — меня восхищает мысль, заложенная в них благородным человеком. Следы его пребывания глубоко запечатлелись во всей округе: это и танцевальные залы, где поныне стоят *скамьи для старцев*, и тиры для стрелков из лука с помостами, откуда раздавали награды... На берегах прудов храмы-ротонды с мраморными колоннами, посвященные то Венере-прародительнице, то Гермесу-миротворцу. В те времена у этой мифологии был глубокий философский смысл.

Гробница Руссо сохранила первоначальный свой вид, она проста, как античные гробницы, и тополя, сейчас уже облетевшие, по-прежнему живописно толпятся у этого памятника, отраженного в сонных водах пруда. Вот только лодка, в которой возили посетителей, затонула... И лебеди, величаво плававшие вокруг острова, неведомо почему предпочитают теперь купаться в грязной канаве, что течет меж красно-бурого ивняка к сходимям для стирки белья у большой дороги.

Мы вернулись в замок. Перестроенный при Людовике XV, он был возведен все при том же Генрихе IV, возможно, на месте какого-то древнего сооружения — об этом свидетельствует зубчатая башня, по стилю идущая вразрез со всем остальным, и массивный фундамент с потернами и остатками висячих мостов, окруженный рвами, все еще полными водой.

Консьерж не впустил нас внутрь — в замке сейчас живут его хозяева. Художникам везет больше: им открыт доступ в княжеские резиденции, чьи владельцы понимают, что как-никак, а они в долгу перед своей страной.

Нам только и позволили, что обойти большое озеро, над которым высится башня — ее называют башней Габриели, — сохранившаяся от замка в прежнем его виде. Сопровождавший нас крестьянин сказал: «Вот башня, где жила взаперти красавица Габриель... Руссо, чуть смеркнет, приходил под ее окно брэнчать на гитаре, король частенько подглядывал за ним и до того ревновал, что под конец тайно извел...»

Так слагаются легенды. Пройдет несколько столетий — и все в это уверуют. Генрих IV, Габриель и Руссо — они не тускнеют в памяти местных жителей. А вот

время, разделявшее их, этот промежуток в два века, уже стерлось, и Руссо превратился в современника Генриха IV. А так как первый здесь всеми любим, то родилось предание, будто король ревновал свою возлюбленную, ибо она предпочитала властелину того, кто дорог угнетенным... Пожалуй, в этом предании больше здравого смысла, чем кажется на первый взгляд. Отказавшись принять сто луидоров от г-жи де Помпадур, Руссо потряс самые основы здания, заложенного Генрихом IV. И оно обвалилось. А над развалинами высится бессмертный образ философа.

Что касается его песен — с последними из написанных им мы познакомились в Компьене, — то, конечно, они посвящены отнюдь не Габриели. Но разве не так же неизбежно в веках мерило истинной красоты, как и мерило гениальности?

Выйдя из парка, мы взобрались на холм и осмотрели церковь. Она очень старинная, но большинство местных церквей куда примечательнее. Кладбище было не закрыто; наше внимание привлекла только гробница де Вика, бывшего соратника Генриха IV; король пожаловал ему поместье Эрменонвиль. Он покоится в семейной усыпальнице — перечень погребенных там де Виков обрывается на имени какого-то аббата, дальше следуют имена женщин, вышедших замуж за богатых горожан. Такова участь почти всех родовитых семейств. У террасы еще не совсем ушли в землю плоские надгробия двух аббатов, такие старые, что надписи на них почти стерлись, их уже не разобрать. На обочине одной из дорожек мы увидели простой камень, на котором высечено: «Здесь покоится Альмазор». Кто там похоронен? Шут? Или лакей? Или пес? Камень об этом молчит.

С кладбищенской террасы открывается вид на самое красивое место в округе. Сквозь багряную листву, сквозь зелень дубов и сосен искрятся пруды. По левую руку Пустыня и глыбы песчаника, в них мнится что-то друидическое. Направо четкий силуэт гробницы Руссо, за ней, на самом берегу, мраморный храм какой-то богини, чьей статуи там уже нет, скорее всего богини Истины.

Должно быть, небо было безоблачно в тот день, когда сюда явилась депутация от Национального собрания, дабы перенести останки Руссо в Пантеон... Бродя по городским улицам, невольно дивишься свежести и грации моло-

деньких девушек: в широкополых соломенных шляпках они ни дать ни взять юные швейцарки. Мысли автора «Эмиля» о воспитании, видимо, принесли здесь плоды: поощряемые многими благотворительными учреждениями занятия, требующие точности, пляски, упражнения в силе и ловкости укрепили здоровье этой молодежи, вселили в нее бодрость духа и вкус к тому, что идет на общую пользу.

Я очень люблю эту памятную мне с самого детства дорогу, которая проходит мимо замка и соединяет обе части городка; каждый ее конец отмечен двумя приземистыми башенками.

— Мы побывали на могиле Руссо, — сказал Сильвен, — а теперь пойдем в Даммартен, сядем там в почтовую карету, доберемся до Суассона, оттуда двинемся в Лонгваль. Видишь, перед замком прачки стирают белье, давай спросим у них дорогу.

— Сверните налево и шагайте все прямо и прямо, — сказали они. — А можете свернуть и направо... Придете в Вер либо в Эв, минуete Отис и часа за два пешочком доберетесь до Даммартена.

Эти коварные девицы нарочно сбили нас с пути; а дождь хлестал, как из ведра...

Дорога была отвратительная, из переполненных канав ее заливало водой, пришлось идти по траве. Высоченный репейник, нам по грудь, побитый холодом, но вполне бодрый, так вцеплялся в нас, что принуждал останавливаться.

Мы шли и шли, но впереди не видать было ни Вера, ни Эва, ни Отиса, ни вообще конца леса, и тогда стало ясно, что над нами подшутили.

И вдруг направо прогалина, одна из тех семенных лесосек, что так оживляют леса...

На прогалине стоял шалаш, сплетенный из ветвей, плотно залепленных землей, сверху накинута солома. У входа покуривал трубку дровосек.

— Далеко еще до Вера?

— Да не близко... По этой дороге вы придете в Монтаби.

— А нам нужно в Вер... или в Эв...

— Что ж, значит, поворачивайте назад. Пройдете поле — можно и в метры перевести, раз уж правительство такой закон издало, — увидите тир лучников и тогда

сверните направо. А выйдете из лесу в долину, там уже всякий встречный дорогу укажет.

Мы добрались до тира лучников, увидели помост, полукруглую скамью для семи старцев. Потом пошли по тропе, которая, вероятно, очень привлекательна, когда деревья стоят в зеленом уборе. Чтобы облегчить себе путь и скрасить безлюдье, мы распевали песни, сложенные в этом краю.

Дорога была длинная, как черт, — впрочем, какой длины черт, я понятия не имею... А вот это уже замечание истинного парижанина! Перед тем как выйти из лесу, Сильвен запел рондо времен Людовика XIV:

Из Фландрии домой
Спешил отважный рыцарь...

Что там было дальше, пересказу не поддается. Припев состоит из обращения к барабанщику:

До самого рассвета
Бей, барабанщик, сбор!

Когда Сильвен, человек от природы погруженный в себя, принимается петь, только и остается, что запастись терпением. Он спел мне песню про *красных монахов*, во время оно живших в Шаалисе. И какие то были монахи! Тамплиеры! Король и папа сговорились предать их огню.

Больше ни слова о красных монахах.

Сразу за лесом пошли вспаханные поля. Много родной нашей французской земли унесли мы в тот раз на подошвах, но в конце концов нам все же удалось передать ее в дар лугам... В общем, до Вера мы добрались. Изрядный городок.

Хозяйка харчевни была радушна, а ее дочь весьма приятна для глаз — густые каштановые волосы, приветливое лицо с правильными чертами, прелестный *говор*, присущий этим краям постоянных туманов и порою придающий даже девичьим голосам *контральтовое* звучание!

— Добро пожаловать, дети мои, — сказала хозяйка. — Что ж, подкинем хворосту в очаг.

— Накормите нас ужином и, пожалуйста, посытнее!

— Что вы скажете о луковом супе на первое? — спросила хозяйка.

— Для начала он не повредит, ну а дальше?

— А дальше зажарю вам *дичину*.

Мы поняли, что на этот раз нам повезло.

Сильвен очень даровит, он неизменно что-то обдумывает и, не имея основательного образования, старается довести до совершенства то, что за короткое время учения ему успели преподать в *несовершенном* виде.

У него на все свой взгляд. Сильвен может собрать часы... или, скажем, компас. При этом в часах его смущают зубцы — невозможность увеличить их число до бесконечности... А в компасе смущают стрелки — их всегда притягивает северный полюс, но вот почему так происходит и какую из этого можно извлечь пользу, тут все ученые объяснения очень несовершенны.

Харчевня, где мы нашли приют, стоит на отшибе; это прочное строение, а его внутренний двор окружают галереи точь-в-точь такие, как в Валахии... Сильвен поцеловал девушку, кстати, довольно статную, потом мы с удовольствием подсели к огню и стали греть ноги, лаская двух охотничьих собак, не спускавших глаз с вертела, ибо он вселял надежду на близкий ужин.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Господин Тулуз. Два библиофила. Сен-Медар
в окрестностях Суассона. Замок Лонгвалей де Бюкуа.
Размышления

Не моя вина, что вот уже десять дней я не дотрагиваюсь до обещанного вам исторического очерка. Книга, которая должна была лечь в основу этого очерка, то есть *официальная* история аббата де Бюкуа, поступила в распродажу не 20-го, как ожидалось, а только 30-го, то ли потому, что ее решили вообще не продавать (так мне объяснили), то ли потому, что нельзя было нарушить уже объявленный в каталоге распродажу торгов.

Книга вполне могла уплыть за границу, как многие и многие другие, меж тем, когда я запрашивал северных наших соседей, мне указывали только переводы на голландский язык, но не сообщали, где находится оригинал, напечатанный во Франкфурте на французском и немецком языках параллельно.

О том, что мои поиски книги в Париже оказались тщетными, вы уже знаете. В общественных библиотеках ее не было. Давно не появлялась она и у торговцев

старыми книгами. Мне сказали, что искать ее следует в одном-единственном месте — в лавке г-на Тулуза¹.

Специальность г-на Тулуза — богословские трактаты. Расспросив меня о содержании книги, он сказал:

— Сударь, у меня этой книги нет. Но даже если бы и была, с чего вы взяли, что я продал бы ее вам?

Я понял, что, имея постоянные дела со священнослужителями, г-н Тулуз отнюдь не жаждет поставлять книги *вольтерьянцу*.

Тогда я сказал, что обойдусь и без нее, так как у меня уже есть в общих чертах представление о ее герое.

— И вот так люди берутся писать историю! — воскликнул он.

Вы скажете, что я мог бы попросить «Повесть об аббате де Бюкуа» у какого-нибудь библиофила — ведь не вся эта порода вывелась, — например, у г-на де Монмерке и прочих. А я на это отвечаю, что настоящий библиофил книг на подержание не дает. Он так боится их истрепать, что и сам не читает.

У некоего весьма известного библиофила был друг, и этот друг пленился томиком Анакреона, лионское издание XVI века в шестнадцатую долю листа, с приложением стихов Биона, Мосха и Сафо. Владелец сего издания оборонял его так ревностно, как не оборонял бы собственную жену. Когда он приглашал помянутого друга к завтраку, тот обычно проходил через уставленный книгами кабинет с видом полного равнодушия, но при этом всякий раз искоса поглядывал на Анакреона.

— Зачем тебе это издание в шестнадцатую долю... отвратительно переплетенное и уже разрезанное? — сказал он однажды другу-библиофилу. — Я охотно дам тебе за него «Путешествие Полифила», издание первое, Альд, с гравюрами Белена... По чести говоря, Анакреон мне нужен только, чтобы укомплектовать мое собрание греческих поэтов.

Владелец книги только улыбнулся.

— Что ты хочешь вдобавок?

— Ничего не хочу. Я не обмениваю своих книг.

— А если я предложу тебе мой «Роман о розе», экземпляр с широкими полями и собственноручными пометками Маргариты де Валуа?

— Нет... и прекратим бесполезный разговор.

¹ Г-н Тулуз, ул. Фуен-Сен-Жак, напротив казармы драгун, (Примеч. Нерваля.)

— Деньгами, ты знаешь, я не богат, но тысячу франков все же наскребу.

— Прекратим этот разговор.

— Ну хорошо, полторы тысячи франков.

— Терпеть не могу денежные счета между друзьями!

Отказы лишь распаяли вождедение этого человека. Он все повышал цену, в ответ по-прежнему слышал отказы и тогда, уже в полном неистовстве, воскликнул:

— Ах так!.. Что ж, я куплю ее *на распродаже* твоей библиотеки!

— На распродаже?.. Но ведь ты старше меня!

— Старше... Но твой кашель ничего хорошего не сулит.

— А как насчет твоего ишиаса?

— Ну, с ишиасом до восьмидесяти лет доживают!

И тут я умолкаю. Этот спор мог бы прозвучать в комедии Мольера или послужить основой для одного из горестных рассуждений о человеческой глупости — весело писать о ней мог разве что Эразм... В общем, через несколько месяцев библиофил и впрямь умер, и его друг купил книгу за шестьсот франков.

— А ведь я предлагал ему полторы тысячи! — приговаривал он всякий раз, когда показывал ее кому-нибудь. Меж тем, пока речь не заходила об этой книге — единственном темном пятне на пятидесятилетней дружбе, глаза ее нынешнего обладателя увлажнялись слезами, стоило ему воскресить в памяти превосходного и столь дорогого ему человека.

Этот анекдот небесполезно вспомнить в наше время, когда интерес к собиранию книг, автографов и предметов искусства уже мало кому понятен во Франции. И все же он объясняет, почему мне было так трудно раздобыть книгу про аббата де Бюкуа.

Из Суассона, куда я ездил, рассчитывая найти там материалы о семействе де Бюкуа, я вернулся в семь утра в субботу, то есть к началу распродажи у Тешнера библиотеки г-на Мотле, распродажи, все еще не законченной, о которой позавчера появилась заметка в брюссельской газете «Индепанданс».

Для любителя распродажи старых книг и вообще всяческих редкостей все равно что для игрока стол, крытый зеленым сукном. Лопатка аукциониста, отодвигающая книги и придвигающая деньги, особенно подчеркивает точность сравнения.

На аукционе кипели страсти. Цена какого-то разрозненного тома подскочила до шестисот франков. Без четверти десять аукционист объявил, что с молотка идет книга «Повесть об аббате де Бюкуа», объявленная цена двадцать пять франков... Когда она дошла до пятидесяти пяти, постоянные покупатели, и даже сам г-н Тешнер, отступились; у меня остался один-единственный соперник.

Но и у него не хватило духа взять барьер в виде шестидесяти пяти франков.

Молоток аукциониста присудил мне книгу за шестьдесят шесть франков.

Еще три франка двадцать сантимов с меня взяли в возмещение расходов по устройству распродажи.

Уже потом я узнал, что последним моим конкурентом был уполномоченный Национальной библиотеки.

Итак, я стал обладателем этой книги и могу теперь снова засесть за свой труд.

Ваш и так далее...

От Вера до Даммартена не более полутора часов ходьбы. Мне посчастливилось: было безоблачное утро, когда, стоя на вершине холма у развалин старинного, некогда столь грозного замка, я любовался раскинувшейся на десять лье вокруг ширью. Высокие башни разрушены, но их основания все еще видны; теперь на этом возвышенном месте, как раз там, где были ворота и дворы, насажены липовые аллеи для прогулок. Заросли барбариса и белладонны надежно охраняют от падения в еще очень глубокие рвы. В одном из этих рвов, ближнем к городу, устроен тир для лучников.

Сильвен вернулся к себе домой, и я в одиночестве продолжал свой путь в Суассон по Вилье-Котретскому лесу, где среди совсем уже обнаженных лиственных деревьев особенно зелеными казались сосны, посаженные на *семенных лесосеках*, занимавших когда-то немалые пространства. К вечеру я добрался до Суассона, древней Augusta Suessonium, где в VI веке решалась судьба Франции.

Как известно, именно после победы при Суассоне Хлодвиг, вождь франков, претерпел глубокое унижение: ему не удалось присвоить золотой сосуд, составлявший часть награбленной в Реймсе добычи. Быть может, он уже подумывал о примирении с церковью, поэтому и хо-

тел вернуть кому следует столь дорогой и священный предмет. Но тут один из его воинов потребовал, чтобы и этот сосуд причислили к добру, которое подлежит делажу, ибо равенство было основополагающим законом франкских племен, чьи корни уходят в почву Азии. Золотой сосуд был разбит на куски, как, впрочем, спустя время и голова поборника равенства под ударами *франсиски*, то есть бердыша вождя. Таковы истоки нашей монархии.

В Суассоне, городе-крепости из второстепенных, немало примечательных древностей. С высокой башни нынешнего собора открывается вид на семь лье вокруг; великолепный запрестольный образ принадлежит кисти Рубенса. Но куда интереснее старинный собор с зубчатыми кружевными колокольнями. К несчастью, от него сохранились только башни и фасад. Есть там еще одна церковь, ее сейчас восстанавливают, пуская в дело тот очень красивый камень и римский бетон, которыми славится эта округа. Мне удалось побеседовать с каменотесами, когда они завтракали, сидя вокруг костра, в котором пылал вереск, и я убедился в их осведомленности по части истории искусства. Подобно мне, каменотесы сетовали на то, что восстанавливают не старинный собор св. Иоанна-на-виноградниках, а вот эту тяжеловесную церковь. Но она, сказали им, более *удобна* для прихожан. В наши времена умеренной религиозности верующих заманишь лишь в тот божий храм, который изящество очертаний сочетает с комфортом.

Мои собеседники посоветовали мне осмотреть аббатство Сен-Медар — оно находится на расстоянии ружейного выстрела от Суассона, за вокзалом и мостом через Эну. Самое новое здание там — прият для глухонемых. В Сен-Медаре меня ждали сюрпризы. Сперва я узнал, что в одной из башен, ныне уже наполовину разрушенной, был заточен Абельяр; еще не совсем стерлись латинские надписи, сделанные его рукой. Потом я побывал в огромных недавно расчищенных склепах, где обнаружили гробницу Людовика Благочестивого — она похожа на громадный каменный чан и привела мне на память египетские гробницы.

А рядом со склепами, состоящими из подземных келий, порою с нишами наподобие римских гробниц, я увидел тюрьму, куда сыновья заточили этого императора; там даже углубление, где спал на циновке узник, сохранилось в первоначальном виде, потому что известковая

земля и раскрошившиеся окаменелости, доверху забив подземелья, не пропускают ни капли влаги. Потомкам остается лишь откапывать да отчищать, работы еще не окончены, и каждый день приносит новые находки. Настоящие Помпеи времен Каролингов!

Осмотрев Сен-Медар, я вышел к Эне, которая течет меж красно-бурым ивняком и облетевшими тополями, и немного заплутался. День был безоблачный, я шагал по совсем еще зеленой траве и через два километра добрался до деревни Кюфи, откуда отлично видны зубчатые башни Суассона и его характерные фламандские крыши в обрамлении каменных лестниц.

В Кюфи приятно освежиться белым пенистым вином — на вкус оно словно разведенное шампанское.

Да и вся местность здесь очень напоминает Эперне, Эта обращенная к югу возвышенность — ответвление соседней Шампани, и ее белые и красные вина все еще довольно огнисты. Дома сложены из местного известняка, ноздреватого, как губка, — так его продырявили улитки и проросшие сквозь него растения. Церковь старая, но простоватая на вид. На вершине холма — стекольный завод.

Заблудиться по пути из Кюфи в Суассон при всем желании невозможно. Я вернулся в город и побывал в библиотеке и архиве. Библиотека могла предложить мне лишь те книги, которые нетрудно получить в Париже. Архив находится при супрефектуре и в нем должно быть немало интересного — город-то ведь очень древний. Секретарь мне сказал:

— Наш архив хранится на чердаке, но, сударь, он не разобран.

— Почему?

— Потому что городские власти не выделили на это денег. Почти все документы написаны либо готическим шрифтом, либо на латыни... Чтобы их прочитать, нужно пригласить кого-нибудь из Парижа.

Моя надежда быстро отыскать здесь сведения о семействе Бюкуа тут же улетучилась. Что касается положения дел с суассонским архивом, ограничусь призывом к палеографам, да обратят они внимание на него: если Франции окажется по средствам заплатить за разбор материалов, касающихся ее истории, я буду счастлив, что подал этот сигнал.

В следующем письме расскажу вам о нынешней большой городской ярмарке, о театре, где идет «Лукреция Борджиа», о местных нравах, хранящих печать старины из-за удаленности округа от железных дорог, — и даже о неудобствах, которым подвергает жителей эта удаленность. Они было понадеялись, что их соединят веткой с Северной железной дорогой; это принесло бы немалые выгоды... Но некая влиятельная персона добилась того, что линию на Страсбург проложили через леса, тем самым открыв им выход к рынкам... Впрочем, тут замешаны местные интересы и, возможно, подобные предположения несправедливы.

Итак, я достиг цели своей поездки. Дилижанс, что идет из Суассона в Реймс, доставил меня в Брен. Час ходьбы — и вот он, Лонгваль, колыбель семейства Бюкуа. Здесь жила прекрасная Анжелика, высылся главный замок ее отца, а у него этих замков, судя по всему, было столько, сколько успел захватить во время войн с Богемией предок де Лонгваля, великий граф де Бюкуа. Башни замка снесены до основания, как в Даммартене. Но подземелья все еще сохранились. Возвышенность, где стоял замок и откуда видна деревня, теснящаяся в продолговатой горловине, застроена уже лет восемь назад, когда были проданы развалины. Напитавшись воспоминаниями о прошлом этих мест — они, быть может, придали бы некоторую прелесть сочинению романтическому и небезопасны с точки зрения истории невымышленной, — я отправился в Шато-Тьерри, где так приятно поклониться задумчивой статуе доброго нашего Лафонтена, которая установлена на берегу Марны и хорошо видна из вагона, когда едешь страсбургской железной дорогой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

«К тому же...» (Так начинает одну из своих историй Дидро, скажет мне кто-нибудь.)

- Так, так, продолжайте!
- Вы подражаете самому Дидро!
- Который подражал Стерну...
- Который подражал Свифту...
- Который подражал Рабле...
- Который подражал Мерлину Коккаи...
- Который подражал Петронию...

— Который подражал Лукиану. А Лукиан, в свою очередь, подражал многим другим... Может быть, даже автору «Одиссеи», заставившему своего героя десять лет кружить по Средиземному морю для того лишь, чтобы в конце концов возвратить на пресловутую Итаку, к той царце, окруженной пятью десятками женихов, которая каждую ночь распускала все, что успевала наткать за день.

— Но Улисс все же обрел под конец свою Итаку!

— А я обрел аббата де Бюкуа!

— Расскажите же о нем!

— Но ведь я уже месяц только этим и занимаюсь! Читатели, должно быть, смертельно устали и от лигёра графа де Бюкуа, впоследствии генералиссимуса австрийской армии, и от г-на де Лонгваля де Бюкуа, и от его дочери Анжелики, похищенной Лакорбиньером, и от родового замка, по чьим развалинам я совсем недавно бродил...

Да и от аббата графа де Бюкуа, чью краткую биографию я здесь привел — того самого аббата, которого г-н д'Аржансон в своих донесениях именует *мнимым* аббатом де Бюкуа.

Книга, которую я приобрел на распродаже библиотеки Мотле, стоила бы куда дороже шестидесяти девяти франков двадцати сантимов, когда бы ее поля не были так жестоко обрезаны. Переплет как новый, на нем золотыми буквами вытеснена столь притягательная надпись: «Повесть о некоем аббате, он же граф де Бюкуа» и т. д. Своей ценой этот том в двенадцатую долю листа скорее всего обязан трем тощим тетрадкам, заполненным стихами и прозой самого автора и, поскольку их формат превышает формат книги, обрезанным до самого текста, что, однако, чтению не мешает.

Книга имеет все подзаголовки, отмеченные у Брюне, у Керара и в «Биографии» Мишо. На фронтиспise гравированное изображение Бастилии, над ним надпись: «Преисподняя для живых» и цитата: «Facilis descensus Averni»¹.

Историю аббата де Бюкуа можно прочитать в моей книге «Иллюминаты». Навести справки о нем можно также в труде в двенадцатую долю листа, который я подарил Императорской библиотеке.

¹ «В Аверн спуститься нетрудно» (лат.).

СИЛЬВИЯ

Глава первая ПОТЕРЯННЫЙ ВЕЧЕР

Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в ложе на авансцене, как и приличествует истинному воздыхателю. Порою зал был битком набит, порою почти пуст. Но меня ничуть не трогало, сидит ли в партере лишь горсточка деланно оживленных любителей, а в ложах красуются только чепцы да вышедшие из моды платья, или кругом теснится взволнованная, воодушевленная толпа, и все ярусы блистают цветистыми туалетами, драгоценными камнями, счастливыми лицами. Впрочем, зрелище на подмостках задевало меня не больше, пока во второй или третьей сцене какого-нибудь тогдашнего скучнейшего шедевра не появлялась та, чьи черты были мне так знакомы, и не озаряла пустыню, не вселяла жизнь в эти бесплотные до тех пор тени единым своим вздохом, единым взглядом.

Всеми фибрами я ощущал, что жизнь моя — в ней и что она живет для меня одного. Ее улыбка переполняла мне душу безграничным блаженством, переливы, голоса, такого нежного и вместе на удивление звучного, отзывались трепетом любви и радости. Она была для меня воплощением всех совершенств, отвечала моим самым высоким идеалам, самым прихотливым желаниям — прекрасная, как день, когда огни рампы снизу освещали ее лицо, сумрачная, как ночь, когда огни эти гасли и только лучи люстры лились на нее сверху, являя ее почти такой, какая она была в действительности — разгоняющей тьму лишь сиянием своей красоты, подобная божественным Горам, чье единственное украшение — звезда во лбу и чей силуэт так отчетливо рисуется на коричневом фоне фресок в Геркулануме!

За целый год я так и не удосужился разузнать о ее жизни вне сцены, я боялся замутить магическое зеркало, отражавшее ее облик, лишь изредка ловил обрывки разговоров о ней — о женщине, а не об актрисе. Они интересовали меня не больше чем слухи об элидской царевне или трапезундской царице. У меня был дякюшка, который в предпоследние десятилетия XVIII века вел жизнь, открывшую ему этот век до самых глубин, так вот, он еще в ранней моей юности внушил мне, что актрисы не

женщины, что природа забыла наделить их сердцем. Он, само собой, разумел своих современниц, но я, выслушав столько историй об иллюзиях и разочарованиях, пересмотрев столько портретов на слоновой кости — прелестных медальонов, украшавших потом дядюшкины табакерки и, — столько пожелтевших записок и выцветших лент, узнав все подробности о том, как эти истории начинались и к какому пришли концу, — я привык плохо думать обо всех актрисах вообще, забывая, что у каждого века своя особая печать.

В странное мы жили время: такое обычно следует за революциями или знаменует упадок некогда блистательных царствований. Не было в нем ни рыцарственности Фронды, ни элегантной и нарядной порочности Регентства, ни скептицизма и безудержного распутства Директории; вместо этого — смесь из порывов к деятельности, сомнений, лени, великолепных утопий, философских и религиозных исканий, неопределенной восторженности, окрашенной чаяниями возрождения, оскомины от былых междоусобиц, смутных надежд — короче говоря, некое подобие эпохи Перегрини и Апулея. Плотский человек жаждал букета роз, который вдохнул бы в него новую жизнь, ибо этих роз касались руки прекрасной Изиды; вечно юная и чистая богиня являлась нам в ночные часы, и тогда мы испытывали глубокий стыд за наши потерянные дни. Честолюбие, однако, не было свойственно моему поколению, алчная грызня из-за высоких постов и почетных должностей отвращала нас от тех сфер, где можно было бы приложить свои силы.

Так что единственным нашим прибежищем была та, принадлежащая поэтам, пресловутая башня из слоновой кости, на которую мы всходили все выше и выше, дабы оградить себя от черни. На высотах, куда наши учителя вели нас за собою, мы могли наконец надыхаться чистым воздухом одиночества, мы пили забвение из золотой чаши сказаний, мы опьянялись поэзией и любовью. Любовь — увы — смутные образы, розовые и голубые тона, метафизические призраки! Увиденная вблизи реальная женщина больно уязвляла наши наивные души; она мнилась нам лишь в облике царицы или богини, поэтому всего важнее было не подходить к ней слишком близко.

Впрочем, иные из нас не высоко ставили подобные парадоксы в духе Платона и вторгались в наши навеянные Александрией грезы, потрясая факелом подземных богов, на мгновение озаряющим тьму искристым своим

следом. Потому-то, выходя из театра с ощущением отдающей горечью грусти, а ее всегда оставляет по себе растаявшая мечта, я охотно присоединялся к обществу, где за многолюдными ужинами не было места меланхолии: ее изгонял нескудеющий блеск беседы тех избранных умов, живых, пронзительных, мятежных, порою возвышенных, которых неизменно порождают эпохи обновления или упадка; эти споры, случалось, достигали такого накала, что самые робкие из нас подходили к окнам поглядеть, не грядут ли уже полчища гуннов, татар или казаков, дабы навсегда положить предел этим тирадам софистов и риторов.

«Будем пить, будем любить, иной мудрости не существует!» — таков был девиз самых молодых.

— Я постоянно встречаю тебя в театре и всегда в одном и том же. Скажи, *ради которой* ты туда ходишь?

Ради которой? Но мне казалось, что *ради другой* никто бы и не пошел. Тем не менее я назвал имя.

— Ну что ж, — снисходительно сказал мой приятель, — взгляни, вон там играет в вист счастливец, который только что проводил ее домой, но, верный правилам нашего общества, навестит ее скорее всего лишь утром.

Без особого волнения я бросил взгляд на того, о ком шла речь. Что ж, молодой человек, весьма корректно одетый, приятные манеры, бледное, выразительное лицо, исполненные кротости и меланхолии глаза. Он бросал на игорный стол золотые монеты и проигрывал с полнейшим хладнокровием.

— Какая мне разница, он или любой другой? — ответил я. — Кто-то ведь должен быть, а этот, судя по всему, вполне достойный избранник.

— Ну а ты?

— Я? Я ищу лишь зримый образ, больше мне ничего не нужно.

Я решил уйти, но, проходя по читальной комнате, машинально заглянул в газету. Кажется, я хотел посмотреть курсовой бюллетень. В числе обломков бывшего моего богатства сохранились иноземные акции на довольно внушительную сумму. Прошел слух, что они, давно упавшие в цене, теперь, в результате смены министерства, снова начнут котироваться. Действительно, курс их стоял уже очень высоко. Я снова разбогател.

Эта новость отозвалась во мне лишь одной мыслью: захоти я сейчас — и женщина, так давно любимая, будет моею. Стоит протянуть руку — и я коснусь своего идеала.

Полно, не ошибка ли это, не ирония ли какой-то опечатки? Но и в других газетах были те же сведения. Деньги, свалившиеся на меня, как бы сплавилась в золотую статую Молоха. «Что сказал бы, — подумал я, — тот молодой человек, займи я его место возле женщины, которую он оставил в одиночестве?» От этой мысли я вздрогнул, гордость моя взбунтовалась.

Нет, нет, это невозможно, в моем возрасте любовь не убивают золотом; растлителем я не стану. Да и вообще, что за допотопные представления! С чего я взял, что эта женщина продажна? Глаза мои рассеянно скользили по страницам газеты, которую я все еще держал в руках, и вдруг остановились на строчках: «Праздник букета в провинции. Завтра лучники Санлиса должны вернуть букет лучникам Луази». Эти простые слова пробудили во мне чувства совсем иного рода: всплыло воспоминание о давно позабытой провинциальной жизни, далекое эхо немудреных празднеств моей юности. Звуки рога и барабана будили отзвук в дальних деревушках и лесах, молодые девушки плели гирлянды, составляли букеты и, распевая хором, украшали их лентами. Потом эти дары бросали в медленно ползущую мимо неуклюжую повозку, запряженную волами, а мы, дети местных жителей, вооруженные луками и стрелами и важно именующие себя рыцарями, — мы шествовали за повозкой, ничуть не подозревая, что из года в год лишь отправляем праздничный ритуал друидов, переживший и многие монархии, и многие новые верования.

Глава вторая АДРИЕННА

Дома я лег спать, но и в постели не обрел покоя. В полудремотном забытии я воскрешал в памяти всю мою юность. Вот такое состояние, когда рассудок еще сопротивляется причудливым узорам сновидений, позволяет иной раз вместить в немногие мгновения самые яркие картины, выхваченные из целого периода жизни.

Снова передо мной высился замок времен Генриха IV, я видел его островерхие шиферные крыши, бурый фасад, зубчатые углы стен из пожелтого камня, просторную зеленую площадь в раме лип и вязов, чью листву заходящее солнце пронизало огненными стрелами. Молоденькие девушки водили хоровод на лужайке, распевая старин-

ные песни, перенятые ими от матерей, песни, в которых французский язык еще столь первозданно чист, что слушатель весь проникается духом этой древней провинции Валуа, где более тысячи лет бьется сердце Франции.

Я, единственный мальчик в хороводе, кружился со своей подружкой Сильвией, девочкой из соседней деревни и, — черноглазая, с правильным тронутым загаром личиком, она была олицетворением жизнерадостности и свежести!.. Я любил, я видел ее одну — до этого дня! На высокую красивую блондинку по имени Адриенна, плясавшую вместе с нами, я и внимания не обратил. И вдруг, следуя фигурам танца, мы с Адриенной оказались посредине круга, вдвоем, лицом к лицу. Мы были одного с ней роста. Нам велели поцеловаться, темп песни и танца стал еще быстрее. Целуя Адриенну, я произвольно пожал ей руку. Длинные кольца ее золотистых локонов коснулись моих щек. И в то же мгновение я почувствовал какой-то неизведанный трепет... Красавица должна была спеть песню — выкуп за право вернуться в хоровод. Все уселись в кружок, и она запела один из тех старинных романсов, где любовь неотрывна от печали, где всегда повествуется о злоключениях принцессы, волею отца заключенной в башню за то, что дерзнула полюбить; голос у Адриенны был чистый и проникновенный, но словно подернутый дымкой, как голоса всех девушек в этом краю туманов. Каждый куплет кончался дрожащей трелью, которая придает особую прелесть молодым головам, когда они этими трепещущими переливами стараются передать неверные голоса своих бабок.

Она пела, а меж тем тени от высоких деревьев сгустились, сияние взошедшей луны озаряло лишь ее, одиноко сидевшую посреди нашего притихшего круга. Она допела песню, но никто не решался прервать молчания. На лужайке колыхался прозрачный туман, его клочья цеплялись за верхушки трав. Мы словно очутились в раю... Наконец я вскочил и бросился к цветнику у стены замка, где в фаянсовых вазах, расписанных в манере камайё, росли лавровые деревца. Я принес две ветки, девушки сделали из них венки, связали лентами. Я возложил его на голову Адриенны, и блестящие листья, озаренные бледным лунным светом, засверкали в ее белокурых волосах. Как она была похожа на дантовскую Беатриче, с улыбкой взирающую на поэта, который бродит у пределов райской обители!

Адриенна поднялась. Высокая и тонкая, она сделала нам изящный реверанс и побежала к замку. И тогда кто-то рассказал, что она — внучка одного из отпрысков семейства, связанного тесными узами с древними французскими королями; в ее жилах течет кровь рода Валуа. Ради сегодняшнего праздника ей позволили принять участие в наших играх, но больше мы ее не увидим, завтра она уезжает в монастырский пансион, где воспитывается с самого детства.

Вернувшись на свое место подле Сильвии, я увидел, что она плачет. А причина ее слез — венок, возложенный мною на голову прелестной певицы. Я хотел было сорвать лавровые ветки и для нее, но Сильвия наотрез отказалась — не нужен ей этот венок, она ведь его не заслужила! Тщетно я пытался оправдаться, провожая ее домой, Сильвия всю дорогу упорно молчала.

Пришло время и моего отъезда, я вернулся в Париж к своим занятиям, унося с собой два образа — образ нежной дружбы, так печально оборванной, и образ любви, невозможной, непонятной, источник горестных мыслей, от которых не давала исцеления философия студенческой братии.

Победила Адриенна — этот мираж, воплотивший в себе величие и красоту, который облегчал часы напряженных занятий или просто им сопутствовал. Через год во время каникул я узнал, что на миг явившаяся мне красавица волею семьи приняла монашеский постриг.

Глава третья РЕШЕНИЕ

Это всплывшее в полусне воспоминание сразу все прояснило. Любовь к актрисе, безнадежная и непонятная, каждый вечер сжимавшая мне сердце в ту минуту, когда начиналось театральное представление, и отпускаявшая лишь с приходом сна, коренилась в памяти об Адриенне — ночном цветке, раскрывшем лепестки в бледном сиянии луны, розовом и белокуром призраке, скользившем по зеленой траве, подернутой белой дымкой тумана. Сходство между актрисой и этим давно позабытым образом выступило сейчас с разительной четкостью; затушеванный временем карандашный рисунок превратился в написанную маслом картину — так бывает, когда мы узнаем в свер-

кающем красками полотне виденный когда-то в музее набросок замечательного художника.

Любить монахиню в облике комедиантки!.. А вдруг это одна и та же?.. Есть с чего сойти с ума! Какое-то роковое влечение к неведомому, которое манит вас к себе, подобно блуждающему огоньку, скользящему меж болотных тростников... Вернемся на землю!

А Сильвия, которую я так любил, почему я три года не вспоминал о ней? Она ведь была на диво хороша, красивее всех в Луази!

Она существует, все такая же добрая и чистосердечная! Я вижу ее окно, оплетенное виноградом и розами, вижу висящую слева клетку со славками, слышу звонкий перестук коклюшек и ее любимую песенку:

Красавица сидела
На бережку ручья...

Она все еще ждет меня... Да и кто возьмет ее, бесприданницу, замуж?

Крестьяне в ее деревне, во всей той округе, носят по старинке блузы, у них заскорузлые руки, впалые щеки, опаленная солнцем кожа. Сильвия любит меня одного, маленького парижанина, наезжавшего в имение близ Луази навестить дядюшку — его, бедняги, больше нет в живых. Уже три года я, словно важный барин, пускаю на ветер завещанное им скромное состояние, а его могло бы мне хватить до конца жизни. Будь рядом со мной Сильвия, оно бы у меня не растаяло. Волею случая я обрел часть растрченного. Еще не поздно.

Что она делает сейчас? Спит... Нет, разумеется, не спит: сегодня праздник лучников, единственный в году, когда пляшут всю ночь напролет. Она тоже пляшет...

Который это час?

У меня нет часов.

Среди обветшалой роскоши подержанных вещей, которыми в ту пору принято было убирать комнаты, дабы воссоздать в их подлинности старинные апартаменты, сверкали подновленным блеском черепаховые часы эпохи Ренессанса; позолоченный купол часов, увенчанный статуэткой Времени, опирался на кариатиды в стиле Медичи, а их, в свою очередь, поддерживали встающие на дыбы кони. Барельеф над циферблатом изображал знаменитую Диану, облокотившуюся на оленя, а на самом циферблате мерцали выведенные эмалью по черни цифры. Вот уже два века, как эти часы — с безупречным, несом-

ненно, ходом — бездействуют. Не для того я купил их в Турени, чтобы они отстукивали мне время.

Я спустился к консьержу. Его часы-кукушка показывали час пополудни. «К пяти и поспею на бал в Луази», — решил я. На площади Пале-Рояль все еще стояло несколько фиакров — кучера поджидали завсегдаев игорных домов и клубов.

— В Луази! — сказал я самому лихому на вид.

— А где это?

— В восьми лье от Санлиса.

— Довезу вас до санлисской почты, — заявил кучер, менее, чем я, снедаемый нетерпением.

Как уныло выглядит ночью эта столь характерная для Фландрии дорога, которая становится живописной, лишь достигнув лесной полосы. Два однообразных ряда деревьев пытаются изобразить нечто неопределенно-причудливое; за ними — квадратики рощ и возделанных полей, ограниченные слева цепью голубоватых холмов Монморанси, Экуэна, Люзарша. А вот и Гонес, заурядный городишко, хранящий воспоминания о Лиге и Фронде...

Дальше, за Лувром, есть дорога, окаймленная яблонями — сколько раз я видел, как по ночам их цветы мерцают, словно земные звезды: это самый близкий путь в Луази и окрестные деревушки. Пока фиакр взбирается на склоны холмов, воскресим в памяти время, когда я так часто наезжал в эти места.

Глава четвертая

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ КИФЕРУ

Минуло несколько лет; вечер, когда на лужайке перед замком я увидел Адриенну, стал уже не более чем детским воспоминанием. На этот раз я приехал в Луази в день храмового праздника. И опять я присоединился к лучникам, опять занял место в отряде, к которому некогда принадлежал. Устроителями праздника были молодые люди, отпрыски старинных семейств, которые все еще владеют в этом краю замками, затерянными в лесах и пострадавшими более от времени, чем от революции. Из Шантильи, из Компьена, из Санлиса прискакали вельселе кавалькады лучников, и отряд за отрядом построились в незамысловатую процессию. После долгого шествия по деревням и городишкам, после церковной мессы, состязаний и раздачи наград победителей пригласили к

трапезе на затененном тополями и липами островке посреди одного из тех прудов, которые питают водами Нонетта и Тева. Разукрашенные суденышки отвезли нас на остров, избранный потому, что там был овальный храм с колоннадой — он послужил пиришественным залом. В этой местности, как в Эрменонвиле, много таких вот легких строений конца восемнадцатого века, где философы-богачи обдумывали свои прожекты, навеянные духом времени. Храм, о котором идет речь, скорее всего был посвящен богине Урании. Три колонны уже обрушились и увлекли за собой часть архитрава, но обломки убрали, в зале между колоннами развесили цветочные гирлянды, навели глянец молодости на эту современную руину, отдающую скорее язычеством Буффлера и Шолье, нежели Горация.

Переправа на остров скорее всего была задумана как дань картине Ватто «Путешествие на остров Киферу». Иллюзию нарушали только наши современные костюмы. С праздничной повозки сняли грандиозную корзину цветов и водрузили на самую большую барку; девушки в белом, по обычаю сопровождавшие повозку, расселись на скамьях, и эта прелестная *депутация*, воскрешавшая античность, отражалась в недвижных водах, обступивших островок, меж тем как закат заливал румянцем и ближний его берег, заросший терновником, и колоннаду, и светлую листву деревьев. Вскоре уже все барки встали на причал. Корзину цветов торжественно внесли в храм и установили посреди стола, гости заняли свои места, счастливики — возле девушек: для этого только и требовалось, чтобы вас знали родственники девушки. Поэтому я оказался соседом Сильвии. Ее брат уже подходил ко мне, уже отчитывал за то, что я так давно не навещал его семейство. Я отговаривался учебными занятиями, — из-за них никак было не отлучиться из Парижа, заверял, что и приехал лишь затем, чтобы их всех поглядеть.

— Нот, он просто меня забыл, — сказала Сильвия. — Мы же деревенские, куда нам до парижан!

Я хотел закрыть ей рот поцелуем, но она все еще сердилась, и потребовалось вмешательство брата, чтобы Сильвия холодно подставила мне щеку. Никакой радости этот поцелуй мне не доставил — слишком многие могли рассчитывать на подобную милость в патриархальном краю, где здороваются с любым встречным и где поцелуй — простая учтивость добропорядочных людей.

Устроители праздника приготовили гостям сюрприз. Когда ужин подходил к концу, из огромной цветочной корзины вдруг вылетел дикий лебедь; взмахами сильных своих крыльев он сперва приподнял плетенье из венков и гирлянд, под которыми был скрыт, а потом разбросал их по всему столу. Лебедь радостно устремился к небосклону, где догорал закат, мы же бросились хватать без разбору венки и надевать их на головы соседок. Мне посчастливилось: мой венок оказался из самых красивых, и Сильвия, улыбаясь, подставила щеку для поцелуя куда охотнее, чем в первый раз. Я понял, что отчасти искупил тот давний свой проступок. Сейчас я восхищался Сильвией безраздельно, она так похорошела! Уже не деревенская девушка, которой я пренебрег ради соперницы более взрослой и более сведущей в искусстве светского обхождения. Все в ней стало пленительно: черные глаза под дугами бровей, чудесные и в детстве, были теперь неотразимы, а в улыбке, внезапно озарявшей точеные, безмятежно-спокойные черты, таилось нечто аттическое. Я восхищался этим достойным античных ваятелей лицом, таким непохожим на миловидные мордашки ее подруг. Изящно удлиненные пальцы, округлившись и еще более белые, чем прежде, руки, стройная талия совершенно преобразили ее столь знакомый мне облик. Я не преминул сказать ей, что вот гляжу на нее и просто не узнаю, надеясь этими словами загладить былую и неожиданную измену.

К тому же все благоприятствовало мне — дружба ее брата, праздничная настроенность, закатный час, даже это прелестное место, с таким вкусом выбранное и воскрешающее галантные торжества ушедших дней. Мы старались поменьше танцевать, предпочитая обмениваться общими нашими детскими воспоминаниями и мечтательно любоваться вдвоем отблесками заходящего солнца на тенистых кронах и водной глади. Мы так углубились в созерцание, что брату Сильвии пришлось напомнить нам — пора возвращаться домой: до деревни, где жили ее родители, дорога не близкая.

Глава пятая ДЕРЕВНЯ

В Луази — так называлась эта деревня — они занимали дом, где некогда жил сторож. Я проводил Сильвию и ее брата до самых дверей, потом отправился в Монтаньи,

к дядюшке, у которого всегда останавливался. Свернув с дороги к роще, что отделяет Луази от Сен-С, я заметил утоптанную тропину вдоль опушки эрменонвильского леса; по моим расчетам, она должна была вывести меня к стене монастыря, которой следовало держаться еще примерно с четверть лье. Луна то и дело скрывалась в облака, при ее тусклом свете я с трудом различал кусты вереска и глыбы темного песчаника, которые словно размножились у меня под ногами. Слева и справа — лесная чаща без единой прогалины, а передо мной — примета этого края — нескончаемые друидические камни, хранящие память о сынах Арминия, истребленных римлянами! Я взбирался на эти величественные нагромождения и глядел оттуда на далекие пруды; они, словно зеркала, лежали в повитой туманом долине, но тот, где проходило сегодняшнее празднество, различить не мог.

Теплый воздух был напоитан запахом цветов; я решил не идти дальше, дожидаться здесь рассвета и улечься на густо разросшийся вереск... Проснувшись, я мало-помалу начал узнавать места, где ночью совсем заблудился. Слева длинной полосой тянулась стена монастыря Сен-С, по другую сторону долины, на Ратном холме, видны были выщербленные развалины древней твердыни Каролингов. Неподалеку от нее, над кучами деревьев, рисовались на небосклоне высокие обветшалые строения Тьерского аббатства с узкими плоскостями стен в стрельчатых и крестообразных прорезях. Дальше — готический замок Понтарме в кольцо рвов, полных, как некогда, водой, где вскоре заиграли первые лучи солнца, а к югу вздымалась Турнельская башня и, на первых монмелианских взгорьях, — четыре Бертранфосские башни.

Эта ночь была мне отрадна, я думал только о Сильвии; все же вид монастыря невольно навел на мысль, что там, быть может, живет Адриенна. В ушах все еще отдавался утренний зов колоколов — он-то, вероятно, и разбудил меня. Мне даже взбрело в голову влезть на самый высокий камень и заглянуть в монастырский двор, но я тут же одернул себя — это было бы кошунством. День все разгорался, он прогнал бесплодное воспоминание, оставив в моем сердце лишь нежно-розовое лицо Сильвии. «А ну-ка, разбудим ее», — подумал я и зашагал назад, в Луази.

А вот и деревня — к ней привела меня тропина, бегущая вдоль леса: не больше двадцати домишек, увитых виноградом и ползучими розами. Прядильщицы, ранние

пташки, все в красных платках, трудятся, сидя перед какой-то фермой. Сильвии среди них нет: она, можно сказать, стала настоящей барышней с тех пор, как научилась плести тонкие кружева, ну а ее родители по-прежнему просто добропорядочные крестьяне... Я поднялся к ней в спальню, и никто не счел это зазорным. Сильвия давно уже встала, уже взялась за работу, коклюшки мелодично позвякивали над зеленой подушкой у нее на коленях.

— Ах вы ленивец! — такими словами она встретила меня, улыбаясь своей обворожительной улыбкой. — Только что изволили проснуться, так ведь?

Я рассказал, как ночь напролет блуждал по лесу, натываясь на камни. Сильвия даже снизошла до нескольких сочувственных слов.

— Но если вы не очень устали, я снова потащу вас на прогулку. Давайте навестим сестру моей бабушки в Отисе.

Не успел я ответить, как она уже вскочила, пригласила перед зеркалом волосы и надела простенькую соломенную шляпку. Глаза ее светились простодушной радостью. И мы отправились в Отис, шли берегом Тевы, лугами, где пестрели маргаритки и лютики, потом опушкой сен-лоранского леса, иногда, сокращая путь, переходили вброд ручьи, продирались сквозь заросли. На деревьях свистели дрозды, с веток, на ходу задетых нами, резво испархивали синицы.

Случалось, мы чуть не наступали на цветы барвинка, столь милые сердцу Руссо; их раскрытые чашечки синели меж удлиненных супротивных листьев, а ползучие стебли этих скромных лиан то и дело останавливали мою и без того осторожно шагавшую спутницу. Равнодушная к памяти женеvского философа, она искала в траве душистую землянику, а я тем временем рассказывал ей о «Новой Элоизе» и наизусть читал отрывки из нее.

— По-вашему, это красиво? — спросила она.

— Это выше всяких слов!

— Лучше, чем Август Лафонтен?

— Намного трогательнее.

— Правда? Ну, тогда я должна прочесть эту книгу. Скажу брату, когда он поедет в Санлис, чтобы купил мне ее.

И я продолжал цитировать Сильвии «Элоизу», а она — собирать землянику.

Глава шестая

ОПИС

Мы вышли из лесу на опушку, густо поросшую пурпурной наперстянкой; Сильвия составила из нее огромный букет.

— Это для тетушки, — сказала она. — Вот обрадуется: букет так украсит ее спальню.

Еще немного наискосок по долине — и мы будем в Отисе. Отливала голубизной гряда холмов, что тянется от Монмелиана к Даммартену, на одном из них виден был шпиль отисской колокольни. Мы снова слышали журчание Тевы, бегущей меж камней и глыб песчаника и совсем узкой здесь, вблизи своего истока, где она покоится, разлившись в луговине озерцом, обрамленным ирисами и шпажником. Мы быстро добрались до Отиса. Домишко тетушки был сложен из неровных кусков песчаника и сверху донизу увит плетями хмеля и дикого винограда; овдовев, она жила одна, ее владения сводились к клочку земли, которую помогали ей обрабатывать соседи. Что сделалось со старушкой при виде внучатой племянницы!

— Добрый день, тетушка, — сказала Сильвия. — Вот перед вами ваши дети. И они голодные, как волки. — Она нежно поцеловала ее, положила ей на руки сноп цветов и только потом вспомнила, что не представила меня. — Это мой ухажер.

Я тоже поцеловал тетушку, и она сказала:

— А он недурен! И блондин к тому же.

— У него красивые волосы и очень мягкие, — сказала Сильвия.

— Ну, это быстро проходит, но покамест у вас ость еще в ремя, — заметила тетушка. — И ты брюнетка, так что он тебе к лицу.

— Нужно покормить его завтраком, тетушка, — сказала Сильвия и принялась обшаривать шкапы, хлебный ларь, а потом в беспорядке ставить на стол молоко, черный хлеб, сахар, фаянсовые тарелки и блюда, разукрашенные крупным цветочным узором и пестрыми петухами. В центре она водрузила крейльского фарфора миску с молоком, в котором плавала земляника, потом, сделав нападение на сад, собрала дань в виде нескольких пригоршней вишен и смородины и закончила сервировку двумя цветочными вазами на концах стола. Но тут тетушка произнесла сладостные слова:

— Ну, все это только закуска. Теперь дай-ка займусь завтраком я. — И тут же сняла с гвоздя сковороду и сунула в высокий очаг охапку хвороста. — Не вздумай ни до чего дотрагиваться! — сказала она Сильвии, когда та попыталась ей помочь. — Портить такие рученьки, которые плетут кружева потоньше, чем Шантильи!.. Ты же мне подарила свое плетенье, а уж я понимаю толк в кружевах.

— Ох, кстати о кружевах, тетушка! Нет ли у вас каких-нибудь старинных, я срисовала бы узор.

— Пойди наверх, в спальню, — сказала тетушка, — поройся в комод.

— Тогда дайте мне ключи, — попросила Сильвия.

— Вот новости! — возразила старушка. — Ящики не заперты.

— А вот и неправда! Один ящик всегда у вас на запоре.

Прокалив сковородку, тетушка принялась ее мыть, а Сильвия сняла со связки, болтавшейся у той на поясе, ключик тонкой работы и с торжеством показала его мне.

В спальню вела деревянная лестница, вслед за Сильвией я взбежал по ней. О священная юность, священная старость! Кто дерзнул бы запятнать чистоту первой любви в этом святыхище верности прошлому? Над простой деревянной кроватью висел написанный в добрые старые времена и заключенный в позолоченную овальную раму портрет юноши с улыбчивыми черными глазами и алым ртом. Он был в егерском мундире дома Конде, и хотя постель скорее всего не блистала достоинствами, она все же передавала обаяние молодости и добросердечия, сквозившее в его позе с намеком на воинственность, в его розовом приветливом лице с чистым лбом под напудренными волосами. Какой-нибудь скромный живописец, приглашенный принять участие в вельможной охоте, вложил все свое старание и в этот портрет, и в висевший рядом парный овальный портрет молодой жены егеря — прелестной, лукавой, стройной в облегающем открытом корсаже, украшенном рядами бантов; вздернув курносое личико, она словно дразнила птицу, сидевшую у нее на пальце. Меж тем это была та самая добрая старушка, которая стряпала сейчас завтрак, сгорбившись над пылающим очагом. Я невольно вспомнил фей из парижского театра «Фюнанбюль», которые прячут прелестные свои лица под морщинистыми масками и открывают их лишь в конце представления, когда на подмостках вдруг появля-

ется храм Амура, увенчанный вращающимся солнцем, которое рассыпает кругом бенгальские огни.

— Тетушка, тетушка, как вы были хороши! — вырвалось у меня.

— А я разве хуже? — спросила Сильвия. Ей удалось наконец отпереть пресловутый ящик, и она вытащила оттуда пышное платье из поблекшей тафты, которое громко шуршало при попытках расправить складки. — Попробую, пойдет ли оно мне. Наверное, я буду похожа в нем на дряхлую фею, — добавила она.

«На вечно юную сказочную фею», — подумал я. И вот уже Сильвия растегнула ситцевое платьице, и оно упало к ее ногам. Убедившись, что наряд тетушки сидит на ее тоненькой фигуре как вылитый, она приказала мне застегнуть ей крючки.

— Ох, до чего же нелепо выглядят эти рукавички в обтяжку! — воскликнула она. На самом же деле, гофрированные и разубранные кружевами, они лишь подчеркивали красоту обнаженных рук Сильвии, а шею и плечи изящно оттеняли строгие линии корсажа, отделанного пожелтевшим тюлем и выцветшими бантами, — корсажа, так недолго облежавшего увядшие ныне прелести тетушки. — Ну, что вы так долго возитесь? Неужели не умеете платье застегнуть? — повторяла она. Вид у нее был при этом точь-в-точь как у сельской невесты с картины Греза.

— Надо бы волосы напудрить, — сказала я.

— За этим дело не станет!

И Сильвия снова начала рыться в комод. Сколько там было сокровищ, и как все это хорошо пахло, как переливалось яркими красками и скромным мишурным блеском! Два перламутровых надтреснутых веера, коробочки из фарфоровой пасты с рисунками в китайской манере, янтарное ожерелье, тысячи безделушек и среди них — пара белых дрогетовых туфелек с застежками в узорах из искусственных бриллиантов!

— Надену их, если найду вышитые чулки, — решила Сильвия.

Минуту спустя мы уже разворачивали шелковые чулки нежно-розового цвета с зелеными стрелками, но голос тетушки и шипенье какой-то снеди на сковородке вернули нас к действительности.

— Скорее идите вниз! — скомандовала Сильвия, не внемля моим настойчивым предложениям помочь ей обуться. Тетушка тем временем выложила на блюдо содержимое сковороды — большой кусок сала, зажаренного

в яйцах. Почти сразу Сильвия снова позвала меня наверх. — Быстренько переоденьтесь! — приказала она, кивая на комод, где был разложен свадебный костюм егеря; сама Сильвия была уже полностью одета.

В мгновение ока я превратился в новобрачного былых времен. Сильвия ждала меня на лестнице, и рука об руку мы спустились в кухню. Тетушка обернулась и, вскрикнув: «Дети мои!», заплакала, но тут же начала улыбаться сквозь слезы. Перед ней возникла ее молодость — какое жестокое и сладостное видение! Мы сели подле тетушки, растроганные, даже торжественные, однако очень быстро опять развеселились, ибо добрая старушка, справившись с нахлынувшими чувствами, уже целиком отдалась воспоминаниям о том, как пышно была отпразднована ее свадьба. Она припомнила и песни, — их куплеты, по обычаю того времени, перехватывали друг у друга гости, сидевшие на разных концах свадебного застолья, — и даже простодушную эпиталаму, провожавшую молодых, когда кончались танцы. Мы с Сильвией повторяли эти строфы с их несложным ритмом, с их придыханием и подобием рифм, полные страсти и столь же образные, как строфы Екклесиаста; в то безоблачное летнее утро мы были с нею мужем и женой.

Глава седьмая

ШААЛИС

Четыре часа утра; дорога ныряет в овраг, снова ползет вверх. Мы проедем Орри, потом Ла-Шапель. По левую руку должна быть дорога, огибающая Аллатский лес. Однажды брат Сильвии вез меня по ней в своей одноколке на какой-то местный праздник. Кажется, то был день св. Варфоломея. Уже стемнело, по лесным, едва различимым дорогам его лошадка мчалась, будто спешила на шабаш ведьм. Мы выбрались на Мон-Левекское шоссе и через несколько минут остановились перед домом привратника старинного аббатства в Шаалисе. Шаалис, еще одно воспоминание!

В этом старинном прибежище императоров уже нечем восхищаться, разве что руинами монастыря с аркадами в византийском стиле; их последний ряд выходит на заброшенные пруды — все, что осталось от того богоугодного дара аббатству, который именовался некогда мызой Карла Великого. Религия в этом краю, лежащем в сто-

роне от больших городов и дорог, до сих пор хранит отпечаток долгого пребывания в нем кардиналов дома Эсте во времена Медичи; ее особенности, ее обыкновения отмечены чертами галантности и поэтичности, а под арками часовен с изящными нервюрами, расписанных итальянскими художниками, и сейчас еще дышишь воздухом Возрождения. Фигуры святых и ангелов розовыми лепестками расходятся по бледно-голубым сводам, их языческая аллегоричность приводит на ум чувствительные излияния Петрарки и мистические иносказания Франческо Колонны.

Мы, то есть брат Сильвии и я, были чужаками на этом вечере для избранных. Некой весьма родовитой особе, владевшей тогда поместьем, вздумалось устроить представление аллегорической пиесы с участием пансионеров из ближнего монастыря и пригласить на него несколько местных именитых семейств. Сама пиеса отнюдь не напоминала трагедии, что когда-то шли в Сен-Сире, скорее то была попытка воскресить первые лирические опусы, занесенные во Францию еще в эпоху Валуа. Я увидел нечто вроде старинной мистерии. Длинные одеяния участниц различались только цветом — лазурным, гиацинтовым или розовым, как заря. Действующими лицами были ангелы, мостом действия — обломки разрушенного мира. Вступавшие друг за другом голоса воспевали блистательные достоинства оледенелой планеты, а ангел смерти повествовал о причинах ее гибели. Из бездны появлялся дух с огненным мечом в длани и призывал всех благоговейно восславить Христа — победителя преисподней. Этим духом была Адриенна, преображенная сейчас уже не только своим новым призванием, но и одеждой. Нимб из позолоченного картона вокруг ее головы — поистине головы ангела — казался нам сияющим ореолом, голос окреп, его диапазон стал шире, а бесконечные фиоритуры на итальянский манер словно вышивали узор из птичьих трелей по строгим фразам торжественного речитатива.

Я перебирал в памяти эти подробности и тут же спрашивал себя: а было ли все это в действительности или только пригрезилось мне? Брат Сильвии был в тот вечер под хмельком. Мы с ним задержались на несколько минут в доме привратника, где входную дверь украшало изображение лебедя с распростертыми крыльями — помню, как меня это поразило, — а в комнате, загроможденной высокими шкапами из резного ореха, висели огромные стенные часы в футляре и над зелено-красной мишенью

для стрельбы — трофеи из луков и стрел. Забавный карлик в китайской шапочке, сжимая одной рукой бутылку, а другой — перстень, словно внушал лучникам, что надобно метить прямо в цель. Этот карлик, по-моему, был вырезан из железного листа. Но явление Адриенны — было ли оно не менее реально, чем запомнившиеся мне подробности и неоспоримое существование Шаалиского аббатства? Так или иначе, я твердо уверен, что в зал, где давали представление, нас ввел сын привратника, и мы остановились у дверей, за спинами сидевших многочисленных и сдержанно-взволнованных зрителей. То был день св. Варфоломея, связанный столь несообразной связью с именем Медичи, чей герб, переплетенный с гербом дома Эсте, украшал древние стены аббатства... Есть в этом воспоминании что-то от наваждения!.. Но тут, на мое счастье, карета останавливается у дороги, ведущей в Плесси, и возвращает меня к действительности: еще четверть часа пути по еле заметным тропам — и я буду в Луази.

Глава восьмая БАЛ В ЛУАЗИ

Я добрался до Луази и вошел в балльный зал в тот исполненный меланхолии и все еще сладостный час, когда чем ближе утро, тем бледнее и тревожнее становится мерцание свечей. Поголубели вершины затененных внизу лип. Свирель уже не выдерживала состязания с соловьиными трелями. Лица гостей были бледны, я почти никого не узнавал в поредевшей толпе. Наконец я увидел долговязую Лизу, одну из подружек Сильвии. Она поцеловала меня.

— Давненько ты к нам не навещался, парижанин, — сказала она.

— Давненько, ты права.

— И приехал в такой поздний час?

— Да, на почтовых.

— Не очень ты спешил.

— Хочу поболтать с Сильвией. Она еще не ушла?

— Она раньше утра никогда не уходит. Смерть как любит танцевать.

Через минуту я уже отыскал ее. Лицо у нее было усталое, но в черных глазах сияла все та же аттическая улыбка. С ней был какой-то молодой человек. Она пока-

чала головой в знак того, что не станет танцевать следующую контрданс. Молодой человек, поклонившись, отошел.

Рассветало. Держась за руки, мы вышли из зала. Цветы в растрепавшихся волосах Сильвии поникли, букет на корсаже осыпал лепестками смятые кружева — изделие ее собственных искусных рук. Я попросил позволения проводить ее. Было уже утро, но погода хмурилась. По левую руку от нас глухо бормотала Тева, в болотцах у ее извивов цвели белые и желтые кувшинки, сплетались в изящные узоры водяные звездочки, похожие на маргаритки. На полях, куда ни глянь, видны были снопы сжатых хлебов, стога сена; их запах ударил мне в голову, но не опьянил, как пьянил когда-то свежий лесной дух и аромат цветущего терновника.

На этот раз нам не пришло в голову свернуть с дороги.

— Сильвия, — сказал я, — вы больше меня не любите. Она вздохнула, потом ответила:

— Друг мой, пора взяться за ум; в жизни все совсем не так, как нам хочется. Вы когда-то говорили мне про «Новую Элоизу», я решила ее прочитать, но меня пробрала дрожь, когда в самом начале я наткнулась на слова: «Всякая молодая девушка, которая прочитает эту книгу, уже погибла». И все-таки я положила на свой здравый смысл и дочитала до конца. Помните день, когда мы надели на себя свадебные наряды тетушки и ее жениха? На гравюрах в этой книге влюбленные были изображены в таких же старинных костюмах, так что вы для меня были Сен-Пре, а я узнавала себя в Юлии. Почему, почему вы не вернулись тогда? Но, говорят, вы уехали в Италию. Там вы видели девушек красивее, чем я.

— Ни у одной, Сильвия, не было таких глаз, такого точеного лица. Вы — античная нимфа, хотя ничего о нимфах не знаете. Да и леса в этом краю не менее прекрасны, чем римская Кампанья. Там тоже есть величественные каменные глыбы, там с утеса низвергается водопад, как здесь в Терни. Я ничего не видел в Италии такого, чего не доставало бы мне здесь...

— А в Париже?

— В Париже... — Я покачал головой и замолчал. И вдруг передо мной возник тот обманчивый образ, что так долго сбивал меня с пути. — Сильвия, — сказал я, — давайте постоим здесь немного, ладно? — И, обливаясь

горячими слезами, я бросился к ее ногам, я исповедался ей во всем — в моих колебаниях, в причудах, говорил о роковом призраке, который то и дело возникал на моем жизненном пути. — Спасите меня! — повторял я. — Я вернусь к вам навсегда.

Как растроганно она поглядела на меня!..

Но тут разговор наш был прерван взрывом хохота. Нас догнал брат Сильвии, из него прямо выплескивалась добродушная крестьянская веселость, которая неизменно следует за бессонной праздничной ночью и множеством стаканчиков горячительного. Он громко звал вчерашнего кавалера Сильвии — тот стоял поодаль в зарослях терновника, но немедля явился на зов. На ногах он держался не крепче брата Сильвии, а парижанин приводил его в еще большее смущение, чем сама Сильвия. Его простоватая физиономия, равно как застенчиво-почтительное обхождение, примирило меня с тем, что моя спутница так задержалась на балу ради удовольствия потанцевать с ним. Я счел его не опасным.

— Пора домой, — сказала Сильвия брату. — До скорой встречи, — попрощалась она со мной, подставляя щеку для поцелуя.

Ее поклонник принял это как должное.

Глава девятая ЭРМЕНОНВИЛЬ

Спать мне совершенно не хотелось. Я зашагал в Монтаньи — решил поглядеть на дом дядюшки. При виде желтого фасада с зелеными ставнями мною овладела несказанная грусть. Ничто как будто не изменилось, вот только за ключом пришлось идти к фермеру. Когда отворили ставни, я с умилением узнал все ту же старую мебель, она была в полной сохранности, с нее даже сметали пыль; вот высокий шкаф орехового дерева, вот две картины во фламандском духе кисти, как мне говорили, старого мастера, нашего предка, вот большие эстампы с полотен Буше и целая серия оправленных в рамы гравюр Моро — иллюстраций к «Эмилю» и «Новой Элоизе»; на столе по-прежнему стоит чучело пса — я его помню живым, он был постоянным моим спутником по лесным прогулкам, этот дог-карлин, последний, может быть, представитель вымершей породы.

— А попугай жив, — сказал мне фермер. — Я взял его к себе.

Сад предстал передо мной во всем великолепии диких зарослей. Но в одном углу еще можно было различить садик, распланированный моей детской рукой. С трепетом я вошел в кабинет, где стояли все те же немногочисленные полки, тесно заставленные книгами, избранными старинными друзьями того, кто уже ушел от нас; бюро украшали те же древние черепки, найденные в этом самом саду, вазы, римские медали — коллекция, собранная дядюшкой в родном краю и составлявшая истинное счастье его жизни.

— Пойдемте навестим попугая, — сказал я фермеру.

Попугай стал выпрашивать завтрак, как выпрашивал в дни своей юности, уставясь на меня круглым глазом, окаймленным морщинистой кожей, и я подумал, что точно такой взгляд бывает у умудренных жизнью стариков.

Запоздалое возвращение в дороге сердцу места навело на меня горестные мысли, и я чувствовал, что мне необходимо снова увидеть Сильвию, единственное юное и полное жизни существо, которое все еще связывало меня с этим краем. Я снова направился в Луази. Час был не ранний, но после вчерашнего утомительного праздника вся деревня еще спала. И тогда мне пришлось в голову развлечься прогулкой в Эрменонвиль — если идти лесом, до него не больше одного лье. Стоял погожий летний день. Вначале я наслаждался свежестью, овевавшей меня, пока я шагал по дороге, похожей на парковую аллею. Огромные однотонно-зеленые дубы перемежались только белоствольными березами с трепещущей листвой. Птицы молчали, лишь зеленый дятел стучал клювом по дереву — выдалбливал себе гнездо. Я чуть было не заблудился: надписи на указателях дорог кое-где совсем стерлись. Наконец Пустыня осталась по левую руку от меня, и я вышел к танцевальному кругу, где все еще стоит скамья для стариков. Воспоминания о тех давних философических временах, вызванные образом прежнего владельца поместья, нахлынули на меня, когда я увидел это живописное воплощение идей «Анахарсиса» и «Новой Элоизы».

Но вот сквозь ветви ивняка и лещины блеснуло озеро, и я до мелочей узнал это место, потому что дядюшка, гуляя, не раз приводил меня сюда, к Храму Философии — его основателю не выпало счастья увидеть его построенным. Храм скопирован с храма Тибуртинской сивиллы, стены его, осененные соснами, еще не рухнули, на

них по-прежнему начертаны имена великих мыслителей — этот список открывают Монтень и Декарт и завершает Руссо. Неоконченное строение теперь не более чем руина, плющ увил его изящным плетением, ежевика разрослась меж полуобвалившихся ступеней. В детстве я не раз присутствовал здесь на торжественном вручении наград за успехи и примерное поведение молоденьким девицам в белых платьях. Но где кусты роз, кольцом окружавшие холм? Шиповник и малина скрывают от глаз немногие уже одичавшие кусты... Ну а лавры, верно, срубили, как в той песне о девицах, которые не хотят больше идти в лес? Нет, эти деревца, уроженцы благодатной Италии, просто погибли под нашими туманными небесами. К счастью, все еще цветет бирючина, воспетая Вергилием, словно в подтверждение слов великого поэта, начертанных над входной дверью: «*Regum cognoscere causas!*»¹ Да, подобно стольким другим, разрушается и этот храм, забывчивые или просто утомленные люди будут обходить его стороной, равнодушная природа вновь завладеет клочком земли, на который притязало искусство, но вечно пребудет жажда знания, движитель любой усилія, любой деятельности.

А вот и остров, и тополя, и могила Руссо, уже не хранящая его останков. О мудрец! Ты пытался напиться насмлеком сильных, но мы были слишком слабы, оно не пошло нам впрок. Мы забыли твои уроки, усвоенные нашими отцами, мы не способны проникнуть в смысл твоих слов — последний отзвук античной мудрости. И все же не будем отчаиваться и, подобно тебе в твой предсмертный миг, обратим глаза к солнцу.

Я снова увидел замок, увидел неподвижные воды, которые его окружают, водопад, со стенами летящий с утеса на утес, большую дорогу, соединяющую обе части городка и отмеченную с каждого конца двумя голубятыми, огромный, как саванна, луг, окаймленный сумрачными холмами; вдали башня Габриели отражается в пруду, усеянном звездами недолговечных цветов; вскипает пена, жужжат насекомые... Прочь от предательских испарений, витающих над этим местом, скорее бы добраться до Пустыни с ее пыльным песчаником, до степного простора, где розовый вереск так красиво оттеняет зелень травы! Но до чего здесь одиноко и грустно! Волшебный взор Сильвии, ее самозабвенная беготня, ее радостные

¹ «Познайте природу вещей» (лат.).

вскрики придавали когда-то такое очарование каждой пяди земли, по которой я сейчас прошел. В те времена она была еще маленькой дикаркой, босая, загорелая, несмотря на соломенную шляпку с длинными лентами, которые, развеваясь, переплетались с черными прядями волос. Мы заходили выпить молока к фермеру-швейцарцу, и мне там говорили: «Какая же у тебя хорошенькая подружка, маленький парижанин!» Нет, в ту пору она не стала бы танцевать с крестьянским парнем! Только со мной она танцевала — один раз в году, в праздник лучников.

Глава десятая ДОЛГОВЯЗЫЙ КУДРЯШ

Я вернулся в Луизи; там все уже проснулись. Сильвия была одета как барышня, совсем по-городскому. С прежним своим простодушием она повела меня к себе в спальню во втором этаже. Глаза у нее все так же сияли и обворожительно улыбались, но четкие дуги бровей придавали порою лицу какую-то суровость. Обставлена спальня была просто, однако прежнюю мебель сменила новая: вместо старинного трюмо, украшенного идиллическим пастушком, который протягивал птичье гнездо розово-голубой пастушке, висело зеркало в позолоченной раме. Кровать с колонками, целомудренно задрапированная старинными кретоновыми занавесками в разводах, была заменена узкой кроватью из орехового дерева под балдахин, на окне по-прежнему висела клетка, но прыгали в пей не славки, а канарейки. Мне захотелось скорее уйти из этой комнаты, где от прошлого не осталось и следа.

— Вы сегодня не будете плести кружево, решили отдохнуть? — спросил я у Сильвии.

— А я вообще больше этим не занимаюсь, на кружево в наших местах совсем нет спроса, даже фабрика в Шантильи — и та закрылась.

— Чем же вы занимаетесь?

Она взяла стоявший в углу металлический инструмент, похожий на длинные щипцы и показала мне.

— Что это за штука?

— Она называется растяжкой, на ней растягивают кожу, когда сшивают перчатки.

— Значит, вы теперь перчаточница?

— Да, мы сбываем товар в Даммартене, сейчас это очень выгодно; но нынче я не собираюсь работать, куда захотите, туда и пойдем.

Я взглядом показал на дорогу, ведущую в Отис, но Сильвия покачала головой: я понял, что старой тетушки нет в живых.

Сильвия позвала какого-то мальчишку и велела ему оседлать осла.

— Я хоть еще и не отдохнула после вчерашнего, но прогулка будет мне на пользу. Поедем в Шаалис.

И мы отправились лесной дорогой в Шаалис; мальчик, вооруженный веткой, шагал сзади. Вскоре Сильвия решила сделать остановку: помогая ей усесться, я поцеловал ее. Говорить о том, что касалось нас обоих, мы уже не могли, пришлось мне рассказывать о жизни в Париже, о своих путешествиях...

— И зачем только люди ездят в такую даль!

— Я сам этому дивлюсь сейчас, когда снова свиделся с вами.

— Ну, это пустые слова!

— Но согласитесь, что вы стали еще красивее!

— Об этом судить не мне.

— А помните, в детстве вы были куда выше меня ростом?

— А вы куда разумнее.

— Ну что вы, Сильвия!

— И нас возили на осле в корзинах!

— И мы не говорили друг другу «вы»... Помнишь, ты учила меня, как ловить раков под мостами Тевы и Нонетты?

— А ты помнишь своего молочного брата, он еще вытащил тебя из воды, когда ты чуть не *утоп*?

Еще бы! *Долговязый Кудряш*... Ведь это он мне сказал, что можно пройти по воде и не *утопнуть*!

Я тут же перевел разговор на что-то другое. Случай, о котором вспомнила Сильвия, сразу вернул меня в те дни, когда я приезжал сюда, наряженный в английский костюмчик, и все крестьяне смеялись надо мной. Одна только Сильвия твердила, что я очень красиво одет, но я не смел напомнить ей о словах, так давно отзвучавших. Уж не знаю почему, но я вдруг подумал о свадебных нарядах, в которые мы облачились у ее старой тетушки в Отисе. Я спросил, у кого они сейчас.

— Ох, тетушка, тетушка, она была такая добрая, — сказала Сильвия, — даже дала мне свое подвенечное

платье для карнавального бала в Даммартене, это было два года назад, а через год она умерла, бедняжка...

Она так тяжело вздыхала, так плакала, что я не решился задать вопрос, — как это ей удалось попасть на костюмированный бал; впрочем, мне и без того было ясно, что благодаря умелым своим рукам она больше не считается крестьянкой. Ее родители продолжают пахать землю, а она, как прежде, живет с ними, но уже в роли искусницы феи, рассыпающей вокруг себя щедрые дары.

Глава одиннадцатая ВОЗВРАЩЕНИЕ

Стоило выйти из лесу, как перед нами распахнулся простор. Мы увидели всю цепь шаалисских прудов. На фоне темной зелени леса отчетливо выступали розовые в закатных лучах галереи монастыря, часовня со стрельчатыми арками, средневековая башня, маленький дворец — приют любви Генриха IV и Габриели.

— Вид совсем как в романах Вальтера Скотта, правда? — сказала Сильвия.

— А откуда вы знаете про Вальтера Скотта? — удивился я. — Значит, вы эти три года много читали... Ну а я стараюсь выбросить из головы все книги и бесконечно радуюсь тому, что снова вместе с вами смотрю на это старинное аббатство, где когда-то, маленькими детьми, мы прятались среди развалин. Помните, Сильвия, как вы дрожали от страха, когда сторож рассказывал нам о красных монахах?

— Ох, не напоминайте мне про них!

— Ну, в таком случае спойте мне песню о красавице, которую похитили из сада ее отца, когда она стояла под кустом белых роз.

— Этих песен у нас больше не поют.

— Уж не учились ли вы пению?

— Немножко.

— Ох, Сильвия, вы наверняка поете нынче оперные арии.

— А что в этом плохого?

— Только то, что я люблю старинные песни, а вы уже разучились их петь.

Сильвия пропела несколько тактов помпезной арии из современной оперы... Она спела их с выражением!

Мы обогнули ближние пруды. А вот и зеленая лужайка, окруженная липами и вязами, где мы так часто плясали. Поддавшись тщеславию, я рассказал об этих древних стенах, построенных при Каролингах, объяснил, что изображено на гербе дома Эсте.

— Ну, вы-то прочитали побольше, чем я! — сказала Сильвия. — Выходит, вы сделались ученым?

Меня задел упрек, прозвучавший в ее тоне. Я все искал укромный уголок, где наша беседа вновь обрела бы утреннюю задушевность, но какая могла быть задушевность в присутствии осла и мальчишки, ни на шаг не отступавшего от нас, так ему интересно было послушать, о чем говорит парижанин! И тут мне пришла в голову несчастная мысль рассказать Сильвии о видении, которое явилось мне в Шаалисе и до сих пор не изгладилось из памяти. Я повел ее в замок, в тот самый зал, где слушал пение Адриенны.

— Я так и слышу в а с , — сказал я ей , — слышу, как звенит под этими сводами ваш милый голосок и гонит прочь от меня мучительный призрак, все равно благодостный он или роковой.

Сильвия повторила за мной слова и мелодию:

О ангелы, ваш легион
Да снидет во глубь чистилища!

— Какая печальная песня! — сказала она.

— Какая изумительная!.. По-моему, музыку написал Порпора, а слова были переведены в шестнадцатом веке.

— Вот уже не з н а ю , — сказала Сильвия.

Мы пошли назад долиной по Шарлемостской дороге — крестьяне, не склонные к этимологическим изысканиям, именуют ее «Шалемостской». Сильвии надоело трястись верхом на осле, она шла, опираясь на мою руку. Кругом не было ни души; я попытался сказать ей о том, что лежало у меня на сердце, но, сам не знаю почему, с губ срывались все какие-то плоскости или вдруг, ни с того ни с сего, высокопарные фразы — совсем как в тех романах, которые, вероятно, читала Сильвия. И тогда я в самом что ни есть классическом вкусе прерывал свои излияния долгими паузами, и она порою удивленно на меня поглядывала. Мы дошли до стены монастыря Сен-С, тут уж надо было смотреть себе под ноги: то и дело попадались сырые луговины, по которым извивались ручейки.

— А что случилось с монахиней? — без всякого перехода спросил я.

— Вы просто невыносимы с вашей монахиней!.. В общем... В общем, это плохо кончилось.

Больше ничего Сильвия сказать не пожелала.

Чувствуют ли женщины, что иные слова произносятся только губы, меж тем как сердце молчит? Скорее всего нет, если судить по тому, как легко они даются в обман, если присмотреться, на ком большей частью останавливают свой выбор: мужчины частенько весьма искусно разыгрывают комедию любви! Я так и не научился этому, хотя и знал, что немало женщин сознательно закрывает глаза на ложь. К тому же в любви, зародившейся еще в детские годы, есть нечто священное... Сильвия росла на моих глазах, она была для меня почти сестрой. Мог ли я стать ее соблазнителем?.. И тут мои мысли приняли совсем другой оборот. «В этот час я был бы уже в театре. Какую роль играет нынче Аврелия (так звали актрису)? Разумеется, роль принцессы в новой драме. Как она трогательна в третьем действии... А в любовной сцене во втором! С этим морщинистым актером в роли первого любовника!..» — вот что пронеслось у меня в голове.

— О чем это вы так задумались! — сказала Сильвия и принялась напевать:

Три девицы живут в Даммартене,
Краше солнца одна из девиц...

— Злюка! — воскликнул я. — Значит, вы все-таки помните старинные песни!

— Приезжай вы к нам почаще, я и не забывала бы и х, — ответила Сильвия. — Но пора подумать о делах житейских. У вас свои занятия в Париже, у меня моя работа. Самое время вернуться домой, завтра мне вставать на заре.

Глава двенадцатая ПАПАША ПУЗАН

Я собирался ответить, броситься на колени, предложить Сильвии дядюшкин дом: его еще можно было выкупить, нас было несколько наследников, и это маленькое поместье пока что никому не отошло, — но тут оказалось, что мы уже в Луази. Нас ждали к ужину. Воздух был напоен патриархальным ароматом лукового супа. На эту

послепраздничную, «черствую» трапезу были приглашены и соседи. Я сразу узнал старого дровосека, папашу Пузана, который на вечерних сборищах рассказывал такие смешные или страшные истории. Папаша Пузан пас скот, развозил почту, был лесничим, рыбачил, занимался даже браконьерством, а когда выпадала свободная минута, мастерил вертела и стенные часы с кукушкой. Долгое время он был неизменным проводником приезжих англичан по Эрменонвиллю — показывал им уголки, где предавался раздумью Руссо, повествовал о последних его минутах. Это на него, совсем еще маленького мальчишку, философ возлагал обязанность сортировать собранные травы, это ему приказал нарвать цикуты, чей сок выжал потом в свою чашку кофе с молоком. Трактирщик из «Золотого Креста» оспаривал у него эту роль, отсюда пошла затянувшаяся на годы и годы вражда. Пузана долго обвиняли в ведовстве, впрочем, весьма невинного свойства, например, в умении лечить коров стишком, сказанным с конца к началу, или знаком креста, нарисованным слева направо, но он давным-давно отказался от подобных суеверий — по его словам, под влиянием воспоминаний о беседах с Жан Жаком.

— Ага, вот и ты, маленький парижанин! — сказал мне папаша Пузан. — Видать, приехал портить наших девушек?

— Я, папаша Пузан?

— Водишь их в лес, когда волк по делам отлучается?

— Папаша Пузан, так ведь волк это вы и есть!

— Был волком, пока ягнятком встречал, теперь мне одни козы попадают, а они здорово бодливые. Но вы, парижане, вы и бодливых перехитрите. Жан Жак не зря говорил: «В больших городах человек дышит гнилым воздухом и сам порченым становится».

— Папаша Пузан, вам ли не знать, что человек может испортиться где угодно.

Папаша Пузан грянул застольную; как ни просили его пропустить некий скабресный и всем давным-давно известный куплет — он был неумолим. Несмотря на уговоры, Сильвия петь отказалась, заявив, что теперь не принято петь за столом. Я отметил про себя, что по левую руку от нее сидит вчерашний кавалер; было что-то очень знакомое в его круглой физиономии и всклокоченных волосах. Он встал, подошел сзади к моему стулу и наклонился надо мной.

— Ты что ж, не узнаешь меня, парижанин?

И тут женщина, обносившая нас блюдами и присевшая возле меня, когда все принялись за сладкое, шепнула мне на ухо, добрая душа:

— Вы, видать, не узнаете своего молочного братца?

Как глупо я выглядел бы без этого предупреждения!

— Так вот ты какой стал, Долговязый Кудряш! — сказал я. — Тот самый Кудряш, который вытащил меня из воды, когда я совсем *утоп*!

При этих моих словах Сильвия покатила со смеху.

— Ты только не сказал, — заметил молодой человек, чмокнув меня, — что у тебя были красивые серебряные часы и потом, идучи домой, ты не из-за себя расстраивался, а из-за них, потому что они остановились, и все повторял: «Значит, *тварь там совсем утопла*, раз не делает больше тик-так!.. Что теперь скажет дядюшка!»

— Тварь в часах! — сказал папаша Пузан. — Вот чему они учат детей в Париже!

Сильвия заявила, что хочет спать; я решил, что много потерял в ее глазах. Она поднялась к себе в спальню и, когда я поцеловал ее на прощание, сказала:

— До свиданья, приходите к нам завтра.

Папаша Пузан продолжал сидеть за столом с Сильвеном и моим молочным братом; мы долго еще беседовали за бутылкой луврской *ратафии*.

— Все люди равны, — заявил папаша Пузан в передышке между двумя куплетами. — Мне что с этим пирожником, что с князем пить — разницы нет!

— О каком пирожнике вы говорите? — спросил я.

— А ты поверни голову, погляди на юнца, который взял себе в голову, что сможет выбиться в пирожники!

Мой молочный брат явно сконфузился. Я все понял.

— Ну не насмешка ли это судьбы — мой молочный брат родом из того самого края, который прославился благодаря Руссо, а ведь он, Руссо, требовал, чтобы кормилиц упразднили!

Папаша Пузан поведал мне, что это дело почти решенное — помолвка Сильвии с Кудряшом, который собирается открыть в Даммартене пирожное заведение. О чем тут было еще спрашивать? На следующий день почтовая карета из Нантейль-ле-Одуэна увезла меня в Париж.

Глава тринадцатая АВРЕЛИЯ

В Париж!.. Карета проделывает этот путь за пять часов. Мне было все равно, лишь бы не опоздать к началу спектакля. В восемь вечера я уже сидел на своем привычном месте; вдохновение и прелесть Аврелии вливали жизнь в стихи модного тогда поэта, весьма слабо вдохновленные Шиллером. Сцену в саду она провела изумительно. В четвертом действии Аврелия была не занята, и я отправился за цветами в магазин г-жи Прево. К букету я присовокупил очень нежное послание и подписался: «Неизвестный». «Ну вот, наконец какое-то решение принято», — подумал я и на следующий день укатил в Германию.

Что я собирался там делать? Хотя бы немного разобратся в своих чувствах. Возьмись я писать роман, никогда не удалось бы мне придать правдоподобие истории о человеке, чье сердце отдано двум женщинам одновременно. Сильвию я потерял по собственной вине, но довольно было снова встретиться с нею — и душа моя обрела свободу: теперь я взирал на нее как на улыбающуюся статую в храме Благоразумия. Ее взгляд оставил меня на краю пропасти. Но еще больше претила мне мысль свести знакомство с Аврелией и на краткий миг вступить в борьбу с множеством пошлых поклонников, вьющихся вокруг нее, чтобы на столь же краткий миг проблистать, а затем пасть со сломанными крыльями... «Когда-нибудь узнаем, — повторил я себе, — есть ли у этой женщины сердце».

Однажды утром я прочел в газете, что Аврелия заболела. Я написал ей из горной местности близ Зальцбурга. Письмо было так пропитано немецким мистицизмом, что вряд ли могло принести мне особый успех, но ведь я и не ожидал ответа. Правда, немного надеялся на случай — и *неизвестно на что*.

Так шли месяцы. Я то разъезжал, то давал себе отдых, и все это время писал пьесу в стихах о любви живописца Колонны к прекрасной Лауре, постриженной волею родных в монахини и любимой им до последнего часа жизни. Было в этой теме нечто созвучное одолевавшим меня мыслям. Дописав последний стих, я уже мечтал только об одном: поскорее вернуться во Францию.

Можно ли добавить к этому хоть что-то отличное от множества подобных историй? Я прошел все круги испы-

таний в том чистилище, что именуется театром. «Я напился барабаном и упился цимбалами» — все сказано этими будто бы лишенными смысла словами посвященных в элевсинские таинства. Для меня их значение очевидно: есть обстоятельства, когда следует дойти до пределов бессмыслицы и абсурда. То есть — в моем случае — добиться своего идеала, ограничить его.

Аврелия согласилась играть главную роль в драме, привезенной мною из Германии. Никогда не забуду дня, когда она позволила мне прочесть ей пьесу. Любовные сцены были написаны с расчетом на нее. Кажется, я прочитал их с чувством и уж, во всяком случае, с пафосом. В разговоре, последовавшем за чтением, мне пришлось признаться в авторстве двух писем, подписанных «Неизвестным».

— Вы, конечно, безумец, но все равно приходите... До сих пор мне не посчастливилось встретить человека, который умел бы меня любить.

О женщина! Тебе нужна любовь!.. Ну а я?

Я стал писать ей — ручаюсь, таких нежных, возвышенных писем она не получала во всю свою жизнь. Ее ответы были воплощением трезвости. Впрочем, однажды, растрогавшись, она пригласила меня к себе и призналась, что ей трудно порвать некую давнюю связь.

— Если вы любите меня *для меня*, — сказала она, — то поймете, что я не могу одновременно принадлежать двоим.

Прошло еще два месяца, и я получил от Аврелии письмо, полное пылких излияний. Я немедленно помчался к ней... Перед этим кто-то сообщил мне бесценную подробность: красивый молодой человек, которого я встретил однажды в клубе, поступил в полк спаги.

Следующим летом в Шантильи происходили скачки. Труппа, в которой играла Аврелия, дала в этом городе один спектакль. Сыграв его, труппа еще три дня была в полном распоряжении антрепренера. Я свел знакомство с этим добрым малым: некогда он играл Доранта в комедиях Мариво, долгое время подвизался в амплуа первого любовника, а под конец срывал аплодисменты, исполняя роль влюбленного в той подделке под Шиллера, в которой показался мне таким морщинистым, когда я направил на него бинокль. Вблизи он выглядел моложе, сохранил былую сухощавость и в провинции все еще пользовался успехом. Играл он с подъемом. Я сопровождал труппу в качестве *придворного поэта*, и мне удалось

уговорить антрепренера дать представления в Санлисе и Даммартене. Он вначале склонялся в пользу Компьена, но Аврелия поддержала меня. Утром, пока шли переговоры с властями и владельцами театральных помещений, я взял напрокат верховых лошадей, и мы поскакали дорогой, огибавшей коммельские пруды, к замку королевы Бланш, где решили позавтракать. Аврелия была в амазонке, ее белокурые волосы развевались, она ехала по лесу, словно королева былых времен, и встречные крестьяне восхищенно застывали на месте. С такой величественной грацией могла бы отвечать на их приветствия только госпожа де Ф... После завтрака мы спустились вниз и начали объезжать окрестные деревни, где все так напоминает Швейцарию — вплоть до водяных лесопилен на берегах Нонетты. Эти дорожки моему сердцу пейзажи привлекали внимание Аврелии лишь на короткие минуты. Я заранее решил поглядеть вместе с ней на замок вблизи Орри, на ту самую зеленую лужайку, где впервые мне предстала Адриенна... На лице Аврелии не отразилось ни малейшего волнения. Тогда я рассказал ей все, поведал, где и когда зародилась любовь, которая потом являла мне свой образ из вечера в вечер, грезилась по ночам, — любовь, воплотившаяся в ней. Она сосредоточенно слушала меня, затем сказала:

— Вы не любите меня! Вам нужно, чтобы я сказала: «Комедиантка и монахиня — одна и та же женщина». Все это — просто сюжет для драмы, конец которой от вас ускользает. Нет, я больше вам не верю!

Ее слова были как откровение! Эти непонятные порывы, так долго мною владевшие, эти мечты, эти слезы, эти взрывы отчаяния, эти приступы нежности... Значит, все это не любовь? Но где же тогда ее искать?

Вечером Аврелия играла в Санлисе. Мне показалось, что она питает слабость к антрепренеру — морщинистому первому любовнику. У него был превосходный нрав, к тому же он оказал ей немало услуг.

— Вот человек, который меня любит, — сказала мне однажды Аврелия.

Глава четырнадцатая ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ

Такие вот химеры чаруют и сбивают нас с пути на утре жизни. Я попытался сделать с них набросок, он не очень отчетлив, но все же найдет отклик во многих серд-

цах. Иллюзии лопаются, точно кожура на зрелом плоде, а плод — это опытность. Она горчит, но в самой ее терпкости сокрыта целительная сила — да простят мне столь старомодный стиль! Руссо говорит, что созерцание природы утешает нас во всех горестях. Случается, я пытаюсь отыскать мои кларанские боскеты, затерянные в туманах к северу от Парижа. Но все так переменялось!

Эрменонвиль, край, где еще цвела античная идиллия — цвела вторым своим цветением, переведенная Гес-ером! — нет у тебя больше той единственной звезды, что ласкала меня своим переливчатым двуцветным сиянием. То голубая, то розовая, как изменчивый Альдебаран, она поочередно воплощалась в Адриенне и в Сильвии — двух половинах единой любви. Одна — возвышенный идеал, другая — сладостная действительность. Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени, что мне даже до твоей Пустыни? Отис, Монтаньи, Луази, бедные деревеньки-соседки, Шаалис — его теперь восстанавливают — в вас ничего не осталось от прошедшего! Порою я испытываю потребность вновь увидеть эти места, созданные для уединенных мечтаний. С грустью я восстанавливаю в памяти летучие следы эпохи, когда искусственной была даже естественность, а иной раз улыбаюсь, читая на гранитной плите стихи Руше, прежде казавшиеся мне возвышенными, или добродетельные изречения над каким-нибудь фонтаном или гротом, посвященным Пану. Пруды, устроенные ценою огромных затрат, тщетно расстилают безжизненные воды, к которым больше не снисходят лебеди. Она прошла, пора охотничьих забав принца Конде, горделивых амазонок и далеко разносившихся, умножаемых эхом призывов рога!.. Теперь в Эрменонвиль нет прямого пути. Иногда я еду туда через Крейль и Санлис, иногда — через Дамартен.

До Даммартена раньше вечера не добраться. Ночевать я отправляюсь в гостиницу «Образ св. Иоанна». Обычно мне отводят затянутую тканями обоями довольно опрятную комнату с большим зеркалом-трюмо. Это, кажется, последняя комната, где запечатлен вкус к подержанным вещам — сам я давно от них отказался. Там уютно спится под пуховым одеялом: других одеял в этом краю не признают. По утрам, стоит мне растворить окно, увитое виноградом и розами, и моим восхищенным глазам открывается зеленая ширь — она простирается на добрый десяток лье, тополя стоят стройными рядами,

словно солдаты. Городишки жмутся к своим островерхим «курганным», как здесь выражаются, колокольням. Ближе других Отис, потом Эв, потом Вер; можно было бы определить, где за лесом раскинулся Эрменонвиль, будь там колокольня, но сей проникнутый философским духом городок пренебрег церковью. Наполнив легкие чистейшим воздухом этой холмистой местности, я бодро сбегаю в нижнюю часть города и отправляюсь к местному пирожнику.

— Вот и свиделись, Долговязый Кудряш!

— Вот и свиделись, маленький парижанин!

Мы обмениваемся дружескими тумачами, совсем как в детстве, потом я поднимаюсь по знакомой лестнице, и двое ребятишек радостными воплями приветствуют мое появление. Аттическая улыбка озаряет лицо Сильвии, на нем написана радость. У меня мелькает мысль: «Может быть, тут оно и крылось, счастье. И все же...»

Иногда я называю ее Лолоттой, а она находит во мне сходство с Вертером, за вычетом, разумеется, пистолетов, которые сейчас не в моде. Пока Долговязый Кудряш стряпает завтрак, мы с детишками гуляем по липовым аллеям, опоясывающим древние развалины кирпичных замковых башен. Потом малыши упражняются в тире лучников, посылая куда попало отцовские стрелы, а мы с Сильвией читаем стихи или одну-две странички из тех коротеньких историй, которые теперь никто уже не пишет.

Я забыл сказать, что повел Сильвию на тот спектакль, который дала в Даммартене труппа Аврелии, и спросил свою спутницу, не видит ли она сходства между актрисой в одной знакомой ей особой?

— О ком вы говорите?

— Помните Адриенну?

Сильвия громко расхохоталась.

— Что только вам не приходит в голову! — сказала она. Затем вздохнула, словно укоряя себя за смех, и добавила: — Бедная Адриенна! Она умерла в монастыре Сен-С. в тысяча восемьсот тридцать втором году.

ОКТАВИЯ

Весной 1835 года мною овладело вдруг страстное желание увидеть Италию. По утрам, просыпаясь, я мысленно уже вдыхал терпкий аромат альпийских каштанов; по

вечерам между кулисами маленького театрера мне то и дело чудились водопад Тер и пенящиеся струи Тевеpone... Чей-то сладостный напев, подобный зову сирен, звучал в моих ушах, как если бы внезапно обрели голос камыши Тразименского озера... Мне необходимо было уехать, оставив в Париже свою несчастную любовь, которой я хотел бежать, от которой хотел отвлечься.

Сначала я остановился в Марселе. Каждое утро я ходил купаться к Зеленому замку и, плавая, любовался видневшимися вдаль, в заливе, островами. И каждый день я встречался в лазурной бухте с юной англичанкой, и гибкое ее тело разрезало рядом с моим зеленоватую гладь воды. Однажды эта морская дева, которую звали Октавия, подошла ко мне, очень гордая своим неожиданным уловом: в ее белых руках трепетала пойманная ею рыбка, она протянула ее мне. Я не мог не улыбнуться такому подарку.

В городе между тем начиналась холера, и дабы избежать карантинных, я решил пуститься в путь посуху. Я побывал в Ницце, в Генуе и во Флоренции; я любовался Собором и Баптистерием, шедеврами Микеланджело, а в Пизе — падающей башней и Кампо-Санто. Затем, взяв путь на Сполето, я остановился в Риме и провел там десять дней; собор св. Петра, Ватикан, Колизей — все это прошло предо мной, как сновидение. Я поспешил в Чивитавеккью, где должен был сесть на пароход, но три дня подряд бушевало море, и пароход задерживался. Я ходил по пустынному пляжу, погруженный в свои мысли, однажды меня чуть не разорвали там собаки. За день до отъезда в местном театре давали французский водевиль. Внимание мое привлекла миловидная белокурая головка в ложе на авансцене. Это была та самая юная англичанка. Она была со своим отцом, выглядел он очень болезненным, врачи рекомендовали ему неаполитанский климат.

На другое утро я с великой радостью получил наконец билет на пароход; юная англичанка была уже на палубе и большими шагами ходила взад и вперед; она посоветовала, что пароход движется слишком медленно и возила свои белоснежные зубы в шкурку лимона.

— Бедняжка, — шуточно сказал я ей, — вам это вовсе не так полезно, я ведь знаю — у вас грудная болезнь.

Она пристально взглянула на меня и спросила:

— Кто вам сказал это?

— Тибуртинская сивилла, — ответил я тем же тоном.

— Да будет в а м , — сказала о н а , — не верю я ни единому вашему слову. — Говоря это, она так нежно смотрела на меня, что я невольно поцеловал ей руку.

— Будь у меня больше с и л , — сказала о н а , — я бы показала вам, как сочинять небылицы!..

И смеясь, погрозила мне хлыстиком с золотым набалдашником, который держала в руке.

Наш пароход уже вошел в неаполитанскую гавань, мы плыли между Искией и Низидой, озаренными пламенеющим рассветом.

— Если вы любите м е н я , — промолвила о н а , — ждите меня завтра утром в Портичи. Я не каждому назначаю такие свидания.

Они с отцом высадились на площади у мола, ибо должны были остановиться в гостинице «Рим», незадолго до того там выстроенной. Что до меня, то я нашел себе квартиру позади театра Флорентийцев. День я провел, гуляя по улице Толедо и набережной, посетил Музей рукописей, затем вечером пошел смотреть балет в театре Сан-Карло. Там я встретил маркиза Гаргалло, знакомого мне еще по Парижу, и он повел меня после спектакля к своим сестрам на чашку чая.

Никогда не забуду этого прелестного вечера. Маркиза принимала в большой гостиной, было множество иностранцев. Разговоры, которые велись, немного напоминали разговор смешных жеманниц; я чувствовал себя совсем как в голубом салоне госпожи де Рамбуе. Сестры маркизы, прекрасные, словно Грации, возрождали передо мной все очарование древней Эллады. Шел долгий спор о форме элевсинского камня, был ли он треугольным или квадратным. Маркиза и сама могла бы дать ответ на этот вопрос; она выглядела красивой и горделивой, словно сама Веста. Я вышел из их особняка совершенно ошалевший от этого философического спора и никак не мог отыскать дом, в котором остановился. Я так долго бродил по городу, что мне рано или поздно суждено было стать героем какого-нибудь приключения. Встреча, случившаяся у меня в ту ночь, является предметом нижеследующего письма, посланного мною впоследствии женщине, роковой любви к которой я надеялся бежать, оставляя тогда Париж.

«...Я места себе не нахожу. Уже четыре дня, как я не вижу вас, или вижу только на людях. Тяжкое предчувствие снедает меня. Что вы были со мной искренни —

в это я верю; что вы изменились ко мне последнее время — этого я не знаю, но я это чувствую... Боже милостивый! Сжальтесь надо мной, избавьте от этих сомнений, не то вы навлечете на нас какую-нибудь беду. И однако я стал бы тогда обвинять только себя самого. Я был слишком робок, я слишком выказывал вам свою преданность — больше, чем это подобает мужчине. В своей любви я был столь сдержан, я так боялся оскорбить вас ею — однажды я уже так наказан был за это, — что, быть может, переусердствовал в своей деликатности, и вы могли подумать, будто я охладел. Что ж, однажды ради вас, в очень важный для вас день, я сдержал терзавшую меня душевную муку, я скрыл свое лицо под улыбающейся маской, между тем как сердце мое пылало и разрывалось. Никто другой не стал бы так щадить вас, но и никто другой, быть может, не доказал вам в такой мере всей силы своей привязанности и не способен был бы так понимать вас, как я, и так оценить все ваше совершенство.

Поговорим откровенно. Я знаю, бывают узы, разорвать которые женщине нелегко, тягостные отношения, которые невозможно прекратить сразу. Разве требую я от вас невыполнимых жертв? Откройте мне свои горести, я все пойму. Ваши страхи, ваши любовные капризы, трудности вашего положения — ничто, ничто не может поколебать огромную мою любовь к вам, не может даже смутить чистоту моих чувств. Давайте же вместе подумаем, с чем возможно примириться, а что необходимо побороть, и если существует нечто, чего нельзя распутать, а надо сразу же разрубить, положитесь в этом на меня. Не быть откровенной в такую минуту — это бесчеловечно с вашей стороны, ибо я уже говорил вам: жизнь моя вся подчинена лишь одной вашей воле, и вы знаете, что нет у меня большего желания, как ради вас умереть.

Умереть... Боже правый! Почему эта мысль то и дело, по всякому поводу приходит мне на ум? Словно одна только смерть может быть равноценной платой за счастье, которое вы сулите мне. Смерть! А ведь нет для меня в этом слове никакого мрачного смысла. Она рисуется мне в венке из увядающих роз, словно в конце некоего праздника. Мне чудилось порой, будто она ждет меня у ложа моей возлюбленной после упоительных минут счастья и говорит мне с улыбкой: «Что ж, юноша, ты получил свою долю радости в этом мире. Теперь пойдем со мной, усни в моих объятиях. Я не хороша собой, но я

добра, я милосердна и дарую не наслаждение, а вечный покой».

Но где этот образ смерти уже являлся мне? Ах да, я уже однажды рассказывал об этом, это было в Неаполе, три года назад. Тогда, ночью, неподалеку от виллы Реале я встретил молодую женщину, премилое существо; она была золотошвейкой и зарабатывала тем, что по заказу церковей вышивала золотом по шелку и бархату. Она показалась мне немного странной; я проводил ее к ней домой, хотя по дороге она и болтала о каком-то своем любовнике, служившем в швейцарской гвардия и прихода которого она почему-то боялась. Впрочем, она тут же, не задумываясь, призналась, что я нравлюсь ей больше, чем он... Что мне сказать вам? Мне пришла фантазия забыть — на один этот вечер, вообразить себе, будто эта женщина, чью речь я едва понимал, — это вы, внезапно ниспосланная мне каким-то волшебством. Зачем мне скрывать от вас это приключение и ту странную иллюзию, которую душа моя приняла безо всякого усилия, особенно после нескольких стаканов пенистого лакримакристи, которое подливали мне за ужином? В комнате, куда она меня привела, было что-то мистическое — то ли случайно, то ли благодаря вещам, которые в ней находились. На комод, стоявшем рядом с постелью, задернутой зелеными саржевыми занавесками, возвышалась черная мадонна, на ней висели нити золотой мишуры, с помощью которых моей хозяйке предстояло обновить ее обветшавший наряд; далее фигура святой Розалии в венке из лиловатых роз, казалось, охраняла колыбель, в которой спал ребенок. Беленые известью стены украшены были старинными картинками, изображающими четыре стихии в виде мифологических божеств. Прибавьте еще к этому живописный беспорядок: яркие ткани, искусственные цветы, этрусские вазы; зеркала в рамах из сусального серебра, ярко отражавшие свет зажженной медной лампы; на столе — руководство по гаданию и сонник, из чего я сделал вывод, что моя новая знакомая немного колдунья, или, по крайней мере, цыганка.

Какая-то славная старуха с крупным благообразным лицом сновала взад и вперед по комнате, подавая нам ужин; вероятно, это была ее мать! А я молчал и, не отрываясь, смотрел на ту, которая так разительно напоминала мне вас.

Женщина то и дело спрашивала:
— Вам грустно?

И я сказал ей:

— Не разговаривайте со мной, я плохо вас понимаю, я устаю, когда слушаю итальянскую речь и мне трудно произносить итальянские слова.

— О, — сказала она, — а я умею говорить еще и по-другому.

И она неожиданно заговорила на каком-то языке, которого я никогда не слышал. Это была звучная гортанная речь, лепет, полный очарования, должно быть, какой-нибудь первобытный язык — может быть, еврейский или сирийский, не знаю. Заметив мое удивление, она улыбнулась и, отойдя к комоду, вытащила оттуда всякие украшения из поддельных камней — ожерелья, браслеты, диадему. Надев их на себя, она вернулась к столу, степенная, сосредоточенная, и очень долго сохраняла этот облик. Вошла старуха и разразилась смехом, кажется, она сказала, что вот, мол, всегда она так наряжается по праздникам. В эту минуту проснулся ребенок и начал плакать. Обе женщины бросились к его колыбели, и молодая скоро вернулась ко мне, с гордостью держа на руках своего сразу же затихшего *bambino*¹.

Она разговаривала с ним на том самом языке, который привел меня в восхищение, она развлекала его всякими милыми ужимками, а я, непривычный к хмельным винам Везувия, чувствовал, как все кружится перед моими глазами; и эта женщина со странными повадками, в этом царственном убранстве, гордая и капризная, казалась мне одной из фессалийских волшебниц, которым в обмен за сновидение отдают душу. О! Почему я не побоялся рассказать вам об этом? Потому что вы ведь знаете, что и это тоже было лишь сновидением, в котором царили вы одна!

Я бежал от этого призрака, который и манил меня, и страшил. Я бродил по пустынному городу до тех пор, пока не начали звонить колокола; затем, уже под утро, я переулками прошел мимо набережной Киаи и начал подниматься на Позилиппо со стороны пещеры. Добравшись до самого верха, я стал там расхаживать, глядя вниз на уже синее море, на город, откуда доносился утренний шум, на залив, на далекие острова с их белыми виллами, крыши которых уже слегка золотило солнце. Я не испытывал отчаяния — я ходил взад и вперед

¹ Мальчика (*ит.*).

большими шагами, валялся на росистой траве; но мысль о смерти ни на минуту не покидала меня.

О боги! Не знаю, как назвать ту глубокую печаль, что овладела моим сердцем, но это было не что иное, как мучительное сознание, что я не любим. Только что я видел как бы призрак счастья, я наслаждался всеми благами, ниспосланными богом, я был под самым прекрасным небом в мире, я лицезрел совершеннейшую природу, я любовался самым величественным зрелищем, которое дано увидеть человеку, — но я был за сорок тысяч лье от единственной женщины, которая для меня существует и которая даже не помнит о моем существовании. Не быть любимым и знать, что не будешь им никогда! Вот тогда и пришло ко мне искушение потребовать у бога отчета за нелепую мою жизнь... Для этого нужно было сделать всего один шаг: в том месте, на котором я стоял, гора спускалась крутым обрывом, внизу kloкотало море, синее и чистое. Одна только минута — и я перестану страдать. О! То была страшная, ошеломляющая мысль! Дважды устремлялся я вперед, и оба раза какая-то непонятная сила отбрасывала меня назад и, упав на землю, я целовал ее. Нет, о боже мой! Не для вечного страдания создал ты меня. Не хочу я оскорбить тебя своей смертью; но дай же мне сил, а главное, дай мне ту веру в себя, которая одним помогает добиваться трона, другим — славы, третьим — любви!»

В ту странную ночь произошло явление, довольно редко встречающееся в природе. Перед самым рассветом двери и окна дома, в котором я находился, внезапно озаарились ярким светом; от наполнившей комнату удушливой, горячей, пропахшей серой пыли трудно стало дышать, и я, оставив спящей на террасе свою легко доставшуюся мне добычу, устремился в улочки, ведущие к замку Сент-Эльм; по мере того как я взбирался в гору, чистый утренний воздух вновь заполнял мои легкие; время от времени я останавливался у какой-нибудь виллы, увитой диким виноградом, и наслаждался ощущением покоя, безо всякого страха взирая на Везувий, над которым куполом все еще нависали клубы дыма.

Вот тогда и охватило меня острое смятение, о котором я говорил. Но потом я вдруг вспомнил о свидании, назначенном мне юной англичанкой, и это отвлекло меня от губительных мыслей. Освежившись огромной кистью ви-

нограда, купленной у торговки на рынке, я направился в сторону Портичи и пошел осматривать развалины Геркуланума. Все улицы были покрыты каким-то свинцовым пеплом. Дойдя до развалин, я спустился в подземный город и долго ходил там от здания к зданию, мысленно вопрошая эти памятники о тайнах былого. Храмы Венеры и Меркурия решительно ничего не говорили моему воображению, мне хотелось, чтобы все это заполнено было живыми людьми. Я вернулся обратно в Портичи и остановился в раздумье у обвитой виноградом беседки, ожидая свою незнакомку.

Вскоре появилась и она, поддерживая своего отца, который шел с большим трудом. Она крепко пожала мне руку и сказала: «Вот и хорошо».

Мы наняли местного извозчика и отправились осматривать Помпеи. Каким счастливым чувствовал я себя, идя рядом с ней по молчаливым улицам древней римской колонии. Я еще заранее изучил по плану самые потайные переходы. Мы дошли до маленького храма Изиды, я был счастлив возможности подробно рассказать ей о культе и церемониях, о которых прочитал у Апулея. Ей захотелось самой сыграть роль богини, и я вынужден был взять на себя роль Озириса, чьи божественные тайны я ей объяснял.

На обратном пути я был под впечатлением тех возвышенных представлений, с которыми мы только что соприкасались, и так и не посмел заговорить с ней о любви... Она попеняла мне, что я так холоден. Тогда я признался, что уже не чувствую себя достойным ее. Я рассказал ей о таинственном сходстве, разбудившем во мне прежнюю любовь, и об острой печали, охватившей меня после этой роковой ночи, когда иллюзия счастья обернулась для меня горьким сознанием своей измены.

Увы! Как все это теперь далеко! Десять лет назад, возвращаясь с Востока, я вновь оказался в Неаполе. Остановился я в гостинице «Рим» и там снова встретил молодую англичанку. Она была теперь замужем за знаменитым художником, которого вскоре после женитьбы разбил паралич; он распростерт был на своем ложе, и на неподвижном лице его продолжали жить одни только огромные черные глаза. Он был еще молод, но никакая перемена климата не могла помочь ему, не было никаких надежд на его излечение. Бедная женщина посвятила всю себя своему отцу и своему супругу, ведя печальное существование между ними двумя, и ни нежность ее, ни

мягкость, ни девственная чистота не способны были усыпить исступленную ревность, жившую в душе художника. Ничто никогда не могло заставить его отпустить жену на прогулку, и он напоминал мне того мрачного сказочного гиганта, вечно бодрствующего в пещере духов, что заставлял жену бить его, чтобы не давать ему забыться сном. О тайна человеческого сердца! Не свидетельствует ли подобная картина о жестокости и мстительности богов!

Я не в силах был выдержать больше одного дня зрелище этих страданий. Я сел на пароход, идущий в Марсель, увозя с собой уже казавшееся мне далеким сном воспоминание о дорогом образе, что мелькнул предо мной тогда, и думал о том, что, быть может, это и было счастье.

Тайну этого счастья я доверил Октавии, она сохранила ее.

ЭМИЛИЯ

...Никто, в общем, не знал, что предшествовало гибели поручика Дероша, около года назад принявшего смерть в бою при Гамбергене спустя два месяца после своей свадьбы. Если это и впрямь было самоубийство, да простит ему бог! Но можно ли назвать самоубийцей человека, который умирает, защищая отчизну, каковы бы ни были тайные его побуждения?

— И вот опять перед нами извечный вопрос о сделках с совестью, — сказал доктор. — Дорош просто-напросто философ, который твердо решил покончить с жизнью, но при том хотел принести пользу своей смертью, вот он и бросился в гущу схватки, изрубил, сколько смог, немцев, говоря себе: «Лучшего выхода у меня нет, теперь я умру спокойно!» — и, когда его настиг сокрушительный удар сабли, крикнул: «Да здравствует император!» Вам подтвердит это добрый десяток солдат его роты.

— И тем не менее это было самоубийство, — возразил Артур. — Но, по-моему, было бы несправедливо отказывать ему в христианском погребении.

— Так рассуждая, вы порочите подвиг Курция. Кто знает, быть может, этот благородный юноша-римлянин проигрался, или был несчастлив в любви, или устал от жизни. И все равно, как прекрасно, решившись покинуть

этот мир, смертью своей принести пользу ближним! Потому ее и нельзя назвать самоубийством, что самоубийство — предел эгоизма: только из-за этого люди так его порочат. О чем вы задумались, Артур?

— О том, что, по вашим словам, Дерош перед смертью убил, сколько мог, немцев.

— Ну и что же?

— А то, что свидетельство этих бедняг перед престолом господ было отнюдь не в пользу прекрасной смерти поручика; вы уж простите, но как тут не сказать, что это весьма *убийственное самоубийство*.

— Ну, знаете, об этом в таких случаях не думают! Ведь немцы — враги!

— Враги у человека, который решился *умереть*? В такую минуту ему не до национальной розни, все его мысли обращены только к одному миру — к загробному, только к одному владыке — к всевышнему. Но аббат слушает нас и помалкивает, хотя, надеюсь, я выразил и его убеждения. Скажите же, что думаете об этом вы, — может быть, вам удастся разрешить наш спор; ведь тут бездна доводов за и против, притом что история Дероша, вернее, наши с доктором домыслы о ней так же расплывчатые, как и вызванные ею глубокомысленные рассуждения.

— Да, — сказал доктор, — я не раз слышал, что Дерош очень страдал из-за своей последней раны, которая так его изуродовала; возможно, он заметил, что его молодая жена скорчила гримасу или подслушал ее недобрую шутку, а ведь философы — народ щекотливый. Так или иначе, он погиб, и погиб добровольно.

— Добровольно лишь потому, что вы настаиваете на этом слове, хотя смерть человека в сражении никак нельзя называть самоубийством: само сочетание этих слов подчеркивает, как нелогично ваше рассуждение. На поле боя умирает тот, кого настигает орудие убийства, а не тот, кто ищет смерти.

— Так что же, по-вашему, это была роковая случайность?

— Теперь мой черед, — прервал его аббат, сосредоточенно о чем-то размышлявший во время этого спора, — и пусть вам покажется странным, что я не согласен ни с вашими парадоксами, ни с предположениями...

— Говорите, говорите же! Вам и карты в руки: вы старожил в Битше, Дерош, я слышал, был хорошо знаком с вами, может быть, даже исповедовался у вас...

— Будь оно так, мой долг был бы молчать, но, к несчастью, Дерош не обратился ко мне; тем не менее, поверьте, он умер как христианин, и я расскажу вам причины и обстоятельства его смерти, дабы вы сохранили в памяти образ благородного человека и храброго воина, умершего в свой срок на благо людям, на благо самому себе и согласно господнему произволению.

Дерош вступил в армию четырнадцати лет от роду — к тому времени большая часть наших солдат уже полегла в пограничных сражениях, и в республиканскую армию набирали подростков. Был он слабосилен, тонок, словно тростинка, бледен, и товарищи не могли без боли смотреть, как он весь изгибается под тяжестью ружья. Наверное, и вы слышали, что однополчане выпросили у капитана позволение укоротить его ружье на шесть дюймов. И это приспособленное к мальчишеским силам оружие творило чудеса в боях за Фландрию; потом Дероша перевели в Гагенау, в те места, где мы, вернее вы, вели такую изнурительную кампанию.

В ту пору, о которой пойдет речь, Дерош, уже в расцвете лет, был не столько рядовым или прапорщиком, сколько знаменем полка, потому что чуть ли не единственный остался в живых из двух пополнений; не успели привести его в поручики — а было это года два с половиной назад, — как под Берггеймом, где он возглавил штыковую атаку, прусская сабля полоснула его по лицу. Рана была ужасная; хирурги из полевого госпиталя, которые не раз подтрунивали над ним, после тридцати сражений сохранившим девственную нетронутость, угрюмо насупились, когда к ним принесли Дероша. Если несчастный и выживет, он либо помешается в рассудке, либо упадет в слабоумие, говорили они.

На лечение его отправили в мецский госпиталь. Несколькое лье его тащили на носилках, но поручик так и не пришел в сознание. Около полугода пролежал он в удобной постели под неусыпным присмотром, прежде чем у него достало сил сесть на кровати, и понадобилось еще сто дней, чтобы он открыл один глаз и начал различать предметы вокруг себя. Ему прописали укрепляющие лекарства, выносили на солнце, потом позволили двигаться, потом — немного прогуливаться, и наконец, подхваченный под руки товарищами, нетвердый на ногах, оглушенный, он однажды утром дотащился до Сен-Венсенской набережной — а до нее от военного госпиталя рукой подать — и солнечным полуднем уселся на эспланаде под

липами общественного сада; бедняге казалось, что он заново родился на свет.

Постепенно он научился ходить без посторонней помощи и каждое утро садился на одну и ту же скамью в облюбованном им уголке эспланады; голова у него была замотана слоями черной тафты, открытым оставался лишь краешек лица, и когда Дерош проходил мимо гуляющих, он заранее знал, что мужчины отвесят ему низкий поклон, а у женщин невольно вырвется жест соболезнования, отнюдь не даривший утешения раненому.

Но стоило Дерошу сесть на скамью, и он тут же забывал о своем несчастье, думал только о том, какой прекрасной становится жизнь после такого потрясения и как приятно глядеть на все, что его сейчас окружает. Прямо перед ним выставляла напоказ жалкие остатки своих валов старинная цитадель, разрушенная при Людовике XVI; над головой простирались, отбрасывая густую тень, ветви цветущих лип; у ног, под эспланадой, зеленели луга Сен-Сенфорьена, обхваченные рукавами Мозеля, животворящего их в пору половодья; вдали виднелся островок Соси, этот мирный оазис в центре порохового склада, испещренный купами тенистых деревьев и домишками; еще дальше — Мозельский водопад, его белопенные воды, его сверкающие на солнце изгибы, а на горизонте — голубоватая и в ярком дневном свете словно сквозная цепь Вогезских гор, — Дерош смотрел на все это и не мог насмотреться, и думал, что вот она, его родина, не отобранная у неприятеля край, а исконная французская земля, меж тем как вновь обретенные богатые провинции, где он воевал, хотя и красивы, но есть в их красоте нечто мимолетное, ускользающее, подобное красоте женщины, которой мы завладели вчера, а завтра уже утратим.

Начало июня выдалось знойное, и на любимую скамью Дероша, укрытую в прохладной тени, сели две женщины. Он равнодушно поклонился им и продолжал смотреть вдаль, но его облик вызывал всегда такой интерес, что женщины не устояли против желания расспросить раненого и выразить ему сочувствие.

Одна из них, уже очень немолодая, приходилась тетужкой Эмилии, второй собеседнице Дероша, золотошвейке по ремеслу. Он последовал примеру, поданному незнакомками, начал их расспрашивать, и тетужка рассказала, что ее молоденькая племянница приехала из Гагенау разделить с нею одиночество, что она расширяет золотом

шелковые и бархатные покровы для церковного убранства и что давно уже осиротела.

Назавтра они сели на ту же скамью, а через неделю владельцы этой скамьи-избранницы заключили тройственный союз, и Дорош, как ни был он слаб и притом уязвлен знаками внимания, которые ему, словно бессильному старцу, расточала девица, — так вот, Дорош воспрял духом, начал сыпать шутками и не только не опечалился, напротив, обрадовался неожиданно привалившей удаче.

Но, вернувшись в госпиталь, он вспомнил о своей ране, об этом уродстве, которое прежде так сокрушало его, а потом, когда привычка и вернувшееся здоровье взяли свое, перестало казаться непоправимым несчастьем.

Правда, Дорош еще ни разу не снимал с лица уже ненужную повязку и не видел себя в зеркале. Теперь думать об этом было особенно страшно. Том не менее он решился сдвинуть краешек спасительной тафты — под ней был рубец, все еще красноватый, но не такой уж отталкивающий. Продолжая сдвигать тафту, Дорош постепенно убедился, что кожа на лице выглядит вполне пристойно, а глаз ничуть не поврежден и ясен, как в былые дни. Бровь, правда, немного поредела, но вот уж пустяк! Ну а косая полоса на щеке от лба к уху!.. Что ж, ее провела сабля во время атаки на вражеские передовые части под Берггеймом, а на свете нет ничего краше такой отметины, недаром об этом поется во всех песнях.

Итак, после долгой разлуки с собственным обликом Дорош сделал удивительное открытие: ничего страшного в нем нет. Волосы, поседевшие с той стороны, где прошлась сабля, он искусно убрал под густые черные пряди левой стороны, расправил усы так, что они отчасти скрыли рубец и, в мундире с иголки, на следующий день бравой походкой отправился на эспланаду.

И впрямь, вид у него был такой лихой и подтянутый, шпага так изящно подрагивала на бедре, шако он так воинственно надвинул на лоб, что от госпиталя до сада Дерош прошел никем не узнанный; на скамью под липами он явился первый и сел, внешне сохраняя спокойствие, но втайне до того волнуясь, что, несмотря на благосклонность зеркала, в лице у него не было ни кровинки.

Вскоре появились и обе его знакомки, но, увидев на привычной своей скамье щеголеватого офицера, тут же повернули назад. Дерош был потрясен.

«Вы что ж, не узнали меня?» — крикнул он им вслед,

Не думай, читатель, что подобное начало сулит одну из тех историй, в которых, как в модных тогда операх, жалость оборачивается под занавес любовью. Поручик был теперь настроен куда более серьезно. Обрадованный тем, что отнюдь не произвел отталкивающего впечатления, он поспешил заверить дам, что его преобразование не должно стать преградой начавшемуся сближению, к чему, видимо, склонялись и они. Прямодушие признаний Дероша растопило их сдержанность. Брачный союз между ним и Эмилией представлялся удачным со всех точек зрения: у Дероша было небольшое родовое поместье близ Эпиналя, а ей в наследство достался домик в Гагенау, арендованный городскими властями под кафе и приносящий пятьсот-шестьсот франков дохода. Правда, половина этой суммы шла брату Эмили, письмоводителю местной конторы шенбергского нотариуса.

Когда между ними все было окончательно слажено, они решили свадьбу сыграть в Гагенау, где, собственно, и жила Эмилия, приехавшая в Мец только чтобы не оставлять тетушку в одиночестве. Но после свадьбы новобрачные собирались снова вернуться в Мец. Эмилия радовалась, предвкушая встречу с братом. Дерош не раз выражал удивление, что в наши времена молодой человек не служит в армии, как все его сверстники. В ответ он слышал, что тот освобожден от военной службы по слабости здоровья. Поручик искренне соболезновал ему.

И вот обрученные вместе с тетушкой уже едут в Гагенау почтовой каретой — в ту пору это была обыкновенная колымага из ивовых прутьев и кожи; в Битше у них остановка для смены лошадей. Вы знаете, какая это красивая дорога. Дерош не раз проделывал ее, но всегда в мундире, с саблей в руке да еще окруженный тремя-четырьмя тысячами солдат, и теперь он восхищался безлюдьем пейзажа, причудливостью скал, зубчатой каймой одетых темной зеленью гор на горизонте, лишь изредка прорезанных впадинами долин. Цветущие возвышенности Сент-Авольда, фабрики Саргемина, тенистые рощицы Лемблинга, где густая листва ясеней, тополей и сосен являет взору три оттенка зеленого цвета — от сероватого до почти черного, — вам ли не знать, что это за пленительное и великолепное зрелище!

В Битше путники остановились в маленьком трактире под вывеской «Дракон», и Дерош сразу послал мне в форт приглашение навестить его. Я немедленно откликнулся на этот зов, познакомился с его новой семьей, поздравил

юнюю невесту — она была очень хороша, обходительна и, казалось, без ума от своего будущего мужа. Мы вместе позавтракали в этом самом трактире, где я сейчас сижу с вами. Офицеры, товарищи Дероша, прослышав о приезде поручика, тоже явились сюда и пригласили отобедать с ними в редуте у трактирщика, который держал офицерский стол. Порешили, однако, на том, что дамы рано удалятся на покой, а Дерош устроит товарищам мальчишник.

Застолье было оживленное: каждому досталась частица веселья и счастья, переполнявших Дероша. Ему с восторгом рассказывали об Италии, о Египте, горько сетуя при этом на злокозненную судьбу, вынуждавшую стольких превосходных воинов нести службу в пограничных крепостях.

«Мы же просто задыхаемся здесь, — ворчали иные офицеры, — жизнь до того скучна и однообразна, что лучше уж плавать на корабле, чем вот так сидеть на одном месте, где ни тебе схваток с неприятелем, ни развлечений, ни надежды на повышение. «Этот форт неприступен», — сказал Бонапарт, побывав у нас проездом в Германии, где воюет сейчас наша армия, так что смерть нам грозит разве что от скуки».

«Увы, друзья мои, — ответил Дерош, — и в мое время было отнюдь не веселее: я ведь тоже служил здесь и тоже, как вы, роптал. Начал я простым солдатом и износил не одну пару казенных подметок на всех дорогах мира, пока не дослужился до офицерских погон; к тому времени я только и выучился что ходьбе в строю, умению определять направление ветра да начаткам грамматики. Поэтому, когда меня произвели в подпоручики и вместе с сорок вторым Шерским батальоном направили в Битш, я решил, что могу наконец серьезно и систематически пополнять образование. И, взяв себе это в голову, накопил кучу книг, карт и планов. Я погрузился в теорию и с налету выучил немецкий язык, потому что в этом французском, истинно французском краю все говорят лишь по-немецки. Оттого и время, такое тягучее для вас, людей более ученых, чем я, летело для меня слишком быстро, и по вечерам я забирался в каменную клетушку под спиралью главной лестницы, наглухо затыкал все бойницы, зажигал светильник и брался за учение. Однажды, поздним вечером... — Дерош секунду помолчал, провел рукой по глазам, залпом допил вино и, не кончив фразы, продолжал: — Все вы знаете горную тропинку, которая ведет

из долины в наш форт: теперь ее сделали непроходимой — взорвали там большой утес, и на его месте зияет нынче пропасть. Так вот, эта тропа всегда оказывалась гибельной для врагов, когда они пытались идти по ней на штурм форта: стоило бедолагам ступить на нее, как их накрывал огонь четырех двадцатичетырехфунтовых орудий, и от него не было спасения на всем склоне; на-верное, эти пушки и сейчас там стоят...»

«Должно быть, вы отличились во время такого штурма? И были произведены в поручики?» — спросил полковник.

«Да, господни полковник, и в первый и последний раз собственноручно убил человека, которого видел лицом к лицу. Потому мне всегда тягостно бывать в этом форту».

«Что вы такое рассказываете! — запротестовали его слушатели. — Двадцать лет воевали, у вас на счету по меньшей мере пятнадцать крупных боев, не говоря уже о десятках схваток, и при этом вы заявляете, что убили одного-единственного неприятеля?»

«Нет, господа, я сказал другое. За это время я сделал тысяч десять выстрелов и, может быть, пять тысяч пуль угодило в ту самую мишень, в которую метит каждый солдат. Но я утверждаю, что в Битше рука моя впервые обогрилась кровью неприятеля, что только здесь я извдал это страшное ощущение, когда изо всех сил вонзаешь острие сабли в грудь человека и оно, вздрагивая, застревает в ней».

«Вы п р а в ы, — прервал его какой-то о ф и ц е р. — Солдат многих убивает, но убил он или нет, ему неизвестно. Скажем так: в бою стреляют с намерением убить, и все-таки это не расстрел. Даже в самых жестоких сражениях дело редко доходит до штыковых атак: stalkиваются не люди, а две армии, одной удается удержать свои позиции, другая отходит, не вступая в рукопашную, ружья стреляют, но как только сопротивление сломлено, их опять вскидывают на плечо. А вот в кавалерии иначе: там рубят по живому...»

«И как навсегда запоминается, — продолжал Д е р о ш, — последний взгляд противника, убитого на дуэли, его предсмертный хрип, грузное падение тела, вот так передо мной, словно угрызение совести — что ж, смейтесь, если вам смешно, — стоит бледное угрюмое лицо прусского сержанта, которого я убил в маленьком пороховом погребе форта».

Все хранили молчание, и Дерош начал свой рассказ.

«Как я уже говорил, по ночам я занимался; так было и в ту ночь. К двум часам всем, кроме часовых, полагаются спать. Патрули делают обход постов беззвучно, всякий шум возбраняется. И вдруг мне послышался в галерее под моей каморкой гул шагов, потом будто кто-то открыл дверь, и она заскрипела. Я бросился к галерее, прислушался к тому, что там происходит, и негромко позвал часового. В ответ молчание. Немедля разбудив канониров, я кое-как натянул мундир, выхватил саблю из ножен и побежал в галерею. Когда мы, человек тридцать, добежали до круглой площадки в самом ее центре, наши фонари осветили пруссаков — нашелся предатель, который отпер им потерну. Они шли беспорядочной толпой и, увидев нас, успели сделать несколько выстрелов, которые отдались чудовищным грохотом под этими нависшими сводами.

Теперь мы оказались лицом к лицу — нападающие, которые все прибывали, и защитники, тоже продолжавшие сбегаться в галерею, где было уже не повернуться; правда, противников покамест еще разделяла узкая полоса, шагов в восемь, не больше, но никто и не думал ступить на нее — так потрясены были застигнутые врасплох французы и ошеломлены не ожидавшие отпора пруссаки.

Но замешательство длилось недолго. Площадку озарял свет нескольких факелов и фонарей, повешенных канонирами на стезы, и вот завязалось некое подобие древней битвы. Я стоял напротив высоченного прусского сержанта, на его мундире красовалось множество шевронов и медалей, за плечами висело ружье, но в такой давке он и пошевелить им не мог — эти подробности, увы, врезались мне в память. Быть может, сержант не помышлял о сопротивлении, но я бросился на него и вонзил саблю в это мужественное сердце; глаза его вылезли из орбит, кулаки судорожно сжались, и моя жертва рухнула на руки стоявших сзади солдат.

Больше я ничего не помню, знаю только, что был весь в крови, когда очутился на первом дворе; пруссаков вытеснили из потерны и пушечным огнем отогнали на прежние позиции».

Дерош кончил, все долго молчали, потом заговорили о чем-то другом. Какое горестное и вместе поучительное зрелище для человека, склонного к размышлению, являя собой лица этих воинов, омраченные рассказом о столь как будто непримечательном происшествии! И тут всякому стало бы ясно, какова она, цена жизни человека, даже если он — немец... об этом, доктор, красноречиво свиде-

тельствовали смятенные взоры тех, чье ремесло — убийство.

— Не спорю, — ответил несколько смущенный доктор, — кровь человека громко вопиет, где бы ее ни пролили, и все-таки Дерош не совершил ничего дурного, он просто защищался.

— Как знать?... — негромко произнес Артур.

— Вот вы, доктор, говорили о сделках с совестью, ну а не кажется ли вам, что гибель сержанта смахивает на убийство? Разве так уж несомненно, что пруссак убил бы Дероша?

— Но ведь на войне всегда так!

— Что ж, вы правы, на войне всегда так. Вы убиваете человека, до него шагов триста, кругом тьма, он вас не видит, не знает; или он стоит перед вами, вы его закалываете, в глазах у вас ярость, хотя никакой ненависти вы к нему не питаете, но такая вот мыслишка насчет войны не только утешает, она вас возвеличивает! И все это творят народы, исповедующие веру Христову!

Итак, слушатели по-разному отнеслись к тому, что приключилось с Дерошем. А потом все отправились спать. И первый позабыл об этой зловещей истории наш поручик, потому что из отведенной ему комнатухи видел в просвете между купами деревьев некое окно в трактире «Дракон», озаренное мерцанием ночника. Там спала та, что стала его судьбой. Когда среди ночи его будили шаги патрулей или переключка часовых, Дерош всякий раз думал, что, случись сейчас тревога, он уже не сможет так самозабвенно броситься навстречу опасности, в его душе будет место и сожалению, и боязни. Наутро еще не сыграли зорю, а дежурный капитан уже отворил ему ворота, и Дерош присоединился к дорогим своим спутникам, которые, поджидая его, прогуливались вдоль наружных рвов. Я проводил их до Нейгоффена, потому что гражданскую церемонию брака они хотели совершить в Гагенау, а уж потом вернуться в Мец и там обвенчаться в церкви.

Брат Эмилии, Вильгельм, встретил Дероша довольно приветливо. Порою будущие свойственники вглядывались друг в друга с каким-то неослабным вниманием. Вильгельм был невысок ростом, но хорошо сложен. Его белокурые волосы уже сильно поредели, словно молодой человек изнурял себя усердными занятиями или невеселыми думами; он носил синие очки, ссылаясь на слабость зрения и на то, что свет, даже и тусклый, режет ему

глаза. Дерош привез с собою связку документов, молодой юрист изучил каждый в отдельности, потом, в свою очередь, достал кипу семейных бумаг и стал настаивать, чтобы Дерош их прочитал, но тот был доверчив, влюблен и бескорыстен и не пожелал ни во что вникать. Такое поведение пришлось, видимо, по душе Вильгельму, он начал брать Дероша под руку, предлагал лучшую свою трубку, водил по друзьям.

Все они в Гагенау курили и накачивались пивом. После десятка таких визитов Дерош запросил пощады, и ему дозволили проводить вечера у невесты.

Вскоре влюбленных с мецской эспланады должным образом сочетал браком мэр города, почтенный чиновник, который до французской революции, вероятно, был там бургомистром и частенько сажал себе на колени маленькую Эмилию; вполне возможно, что именно он и записал в акты гражданского состояния дату ее рождения — недаром накануне свадьбы он шепнул ей:

«Ну, почему вы не выбрали себе в мужа добропорядочного немца!»

Эмилию, судя по всему, мало трогали национальные различия. В общем, примирился с усами поручика и Вильгельм, потому что, надо признать, вначале эти двое относились друг к другу настороженно; но так как Дерош очень старался преодолеть себя, Вильгельм ради сестры тоже проявлял добрую волю, а тетушка, со своей стороны, вносила в каждую встречу тепло и умиротворение, то под конец между ними установились самые дружественные отношения. Когда брачный контракт был подписан, Вильгельм сердечно обнял зятя. Церемония закончилась около девяти утра, и все четверо в тот же день отбыли в Мец. В шесть вечера карета остановилась в Битше у трактира с громким названием «Дракон».

Нелегкое дело путешествовать в этом краю, где что ни шаг, то либо ручей, либо роща; на каждую милю приходится с десяток косогоров, и почтовая карета, можно сказать, вытряхивает душу из пассажиров. Должно быть, из-за этой тряски новобрачная и почувствовала себя плохо к тому времени, когда они подъехали к трактиру. Тетушка и Дерош не отходили от нее, а Вильгельм, зверски голодный, спустился в небольшой зал, где в восемь вечера подавали ужин офицерам форта.

О приезде Дероша еще никто не знал. В этот день весь гарнизон был занят осмотром Гусполетденских зарослей. Не желая отлучаться от жены, Дерош запретил

трактирщице даже упоминать его имя. Все трое — Эмилия с тетушкой и он — сидели у оконца и наблюдали, как возвращаются в форт отряды, как с наступлением сумерек на гласис высыпают солдаты в расстегнутых мундирах, с аппетитом жующие хлеб из своего рациона с козым сыром, купленным в войсковой лавке.

Меж тем Вильгельм, чтобы занять время и заглушить голод, раскурил трубку и, стоя на пороге, вдыхал табачный дым пополам с кухонными ароматами — двойную усладу для незанятой головы и пустого желудка. При виде приезжего в нахлобученной по самые уши каскетке и синих очках, нацеленных на дверь кухни, офицеры поняли, что у них будет сотрапезник, и решили свести с ним знакомство: если он из дальних краев, неглуп и осведомлен о последних событиях, значит, им повезло, а если из ближних мест и способен только тупо молчать, что ж, над дураком и посмеяться не грех.

К Вильгельму подошел подпоручик и с преувеличенной учтивостью, граничащей с издевкой, спросил:

— Добрый вечер, сударь, не знаете ли вы, что нового в Париже?

— Нет, сударь, не знаю, а вы? — невозмутимо ответил Вильгельм.

— Откуда нам знать новости, сударь, мы же безвылазно сидим в Битше.

— А я, сударь, безвылазно сижу у себя в кабинете.

— Ах так! Значит, вы служите в инженерных войсках?

Эта стрела по адресу синих очков всех очень повеселила.

— Сударь, я служу письмоводителем у нотариуса.

— Что вы говорите! В ваши-то лета? Это просто поразительно!

— Сударь, — сказал Вильгельм, — может быть, вам угодно, чтобы я предъявил вам свидетельство о рождении?

— Ну что вы, зачем!

— В таком случае извольте сперва заверить меня, что это не насмешка надо мной, и уж тогда я дам ответ на все интересующие вас вопросы.

Все кругом сразу примолкли.

— Право, я без всякого злого умысла спросил, не в инженерных ли вы войсках: все дело в ваших синих очках. Кто ж не знает, что носить очки дозволяется только офицерам этого рода войск.

— Да с чего вы взяли, что я вообще военный?

— В наше время все мужчины военные. Вам нет и двадцати пяти, значит, вы служите в армии, ну, разве что очень богаты, у вас рента в пятнадцать или двадцать тысяч франков, ваши родители не поскупились... Но тогда вы не стали бы обедать за общим столом в трактире!

— Сударь, — сказал Вильгельм, выколачивая трубку у, — возможно, у вас есть право подвергать меня допросу, в таком случае я должен ответить вам без околичностей: у меня нет никакой ренты, я же говорил вам, что работаю писмоводителем у нотариуса. От военной службы освобожден из-за плохого зрения, я близорук.

Ответом на эти слова был взрыв хохота.

— Ох, молодой человек, молодой человек! — воскликнул капитан Валье, хлопнув его по плечу. — Вы, конечно, правы, когда взяли девизом пословицу: трус себя бережет, до ста лет доживет!

Вильгельм вспыхнул до корней волос.

— Господин капитан, я не трус и в любую минуту готов доказать вам это. А если ваша должность — рекрутировать новобранцев, могу предъявить свои бумаги, они у меня в полном порядке.

— Хватит, хватит! — раздались голоса. — Оставьте этого штафирку в покое, Валье. Он мирный обыватель и вправе поужинать здесь.

— Что верно, то верно, — согласился капитан. — Давайте сядем за стол, а вы не держите на меня зла, молодой человек. Я не полковой хирург, а трактир не призывной пункт, где осматривают новобранцев. И в доказательство моего миролюбия я сейчас отрежу вам крылышко вот этого древнего пернатого, которого здесь именуют цыпленком.

— Благодарю вас, — сказал Вильгельм, начисто расхотевший есть. — На том конце стола я вижу блюдо с форелью, больше мне ничего не нужно.

И он сделал служанке знак принести ему блюдо.

— А это и впрямь форель? — снова обратился капитан к Вильгельму, который, прежде чем сесть за стол, снял очки. — Ну, сударь, зрение у вас получше, чем даже у меня, вы отлично попадали бы в цель... Но у вас была протекция, вы ею воспользовались, вот и отлично! Вам нравится мирная жизнь, что ж, о вкусах не спорят. Что до меня, то я на вашем месте просто не мог бы сохранить хладнокровие, читая сводки о военных действиях нашей великой армии и думая о молодых людях, моих сверстниках, которых немцы убивают в Германии. Выходит, вы не француз?

— Нет, — с трудом и вместе с удовлетворением произнес Вильгельм. — Я родился в Гагенау, я немец, а не француз.

— Немец? Но Гагенау стоит по сю сторону Рейна, в департаменте Нижний Рейн, он самый что ни есть верно-подданный городок Французской империи! Взгляните на карту!

— Повторяю, я родом из Гагенау; десять лет назад это был немецкий город, теперь он отошел к Франции, но я-то остался немцем, как вы до самой своей смерти останетесь французом, даже если ваш родной край завоюет Германия.

— Это опасные речи, молодой человек, подумайте, что вы такое говорите!

— Должно быть, это неразумно, — пылко продолжал Вильгельм, — должно быть, подобные чувства, если уж не можешь их изменить, следует хотя бы держать про себя. Но ведь вы сами довели меня до того, что мне остается либо сказать правду, либо расписаться в трусости. Именно по этой причине я считаю себя вправе, не кривя душой, воспользоваться недостатком, не выдуманном, разумеется, но все же не таким уж страшным, чтобы остановить человека, наделенного мужеством. Да, говорю прямо, у меня нет ненависти к народу, с которым вы сегодня воюете. И я помню о том, что если бы злосчастный жребий вынудил меня выступить против этого народа, мне тоже пришлось бы разорять немецкие деревни, жечь немецкие города, нести смерть соотечественникам — ну хорошо, бывшим соотечественникам, — и, сражаясь с так называемыми врагами, убивать своих же, быть может, родственников или старых друзей отца... Так неужели вы не понимаете, что наилучший выход для меня — корпеть над списками судебных дел в нотариальной конторе? И вообще, довольно уже крови пролилось в нашей семье: мой отец, да будет вам известно, отдал ее до последней капли, так что я...

— Ваш отец был военный? — перебил его капитан Валье.

— Мой отец был сержантом прусской армии и долго защищал эту самую землю, которая нынче захвачена вами. Он был убит во время последнего штурма форта Битш.

Эти слова прозвучали в напряженной тишине; у всех сразу пропала охота высмеивать парадоксы Вильгельма насчет особого положения людей его национальности.

— Значит, в девяносто третьем году?

— Семнадцатого ноября девяносто третьего года, в канун дня поминовения усопших, мой отец отправился из дому в полк. Я знаю это от матери — он сказал ей, что какая-то дерзкая уловка дает им возможность без единого выстрела овладеть крепостью. Через сутки его принесли к нам уже умирающего; он испустил дух на пороге родного дома, но успел взять с меня слово, что я останусь с матерью. Она пережила его на две недели. Мне потом рассказали, что во время ночного штурма ему вонзил саблю в грудь какой-то молодой солдат — этим ударом он оборвал жизнь одного из храбрейших гренадеров принца Гогенлое.

— Но мы уже слышали эту историю, — сказал майор.

— Ну да, — подхватил капитан Валье, — это же тот самый прусский сержант, которого убил Дерош!

— Дерош! — воскликнул Вильгельм. — Вы говорите о поручике Дероше?

— Нет, нет, что вы! — поспешно вмешался один из офицеров, почуяв, что тут кроется что-то зловещее. — Мы говорим о Дероше из гарнизонной егерской части — ему этот первый подвиг не пошел впрок, четыре года назад он был убит.

— Ах так, он у б и т, — проговорил Вильгельм, вытирая крупные капли пота со лба.

Несколько минут спустя офицеры откланялись, оставив Вильгельма в одиночестве. Дерош увидел из окна их удаляющиеся фигуры и спустился в обеденный зал; его шурин сидел, облокотившись о длинный стол и спрятав лицо в ладони.

— Ага, нас уже сморил сон! Ну, а я голоден, как волк. Моя жена наконец уснула, и я хочу поужинать... Давайте выпьем по стаканчику, это нас сразу взбодрит, и вы составите мне компанию.

— Нет, у меня голова разболелась, я поднимусь в свой номер, — сказал Вильгельм. — Кстати, господа офицеры порассказали мне всяких чудес про этот форт. Вы не поводите меня по нему завтра?

— С удовольствием, мой друг.

— Значит, завтра утром я вас разбужу.

Дерош вздохнул, потом отправился в комнату Вильгельма, где поставили кровать и ему — церковь еще не освятила его брак с Эмилией, и он должен был спать врозь с женой. Вильгельм во всю ночь не сомкнул глаз и то безмолвно плакал, то яростно вглядывался в лицо спящего зятя, который улыбался во сне.

То, что мы именуем предчувствием, можно уподобить рыбе-лоцману: она остерегает огромных и полуслепых китов то от острого гребня скалы, едва выступающего над водой, то от песчаной отмели. Мы шагаем по жизни до того бездумно, что иные из нас, по натуре особенно беспечные, расшиблись бы или сломали себе голову, так и не обратившись мыслью к богу, когда бы поверхность их благополучия порою не замутилась тиной. Одни мрачнеют при виде летящего ворона, другие — без видимой причины, третьи, пробудившись утром, продолжают лежать, полные тревоги, потому что им приснился злоеющий сон. Все это и есть предчувствие. «Тебя подстерегает опасность», — говорит сновидение; «будь осторожен», — кричит ворон; «веселье не к месту», — шепчет чем-то отягощенный мозг.

Дерошу под утро привиделся непонятный сон. Он шел по подземелью, за ним двигалась какая-то тень, вся в белом, и ее одежды касались на ходу его ног; он обернулся, тень начала отступать все дальше и дальше, пока не превратилась в белую точку; но вот точка стала расти, лучиться, залила светом все подземелье, потом угасла. Раздался негромкий шум — это в комнату вошел Вильгельм, уже в шляпе и длинном синем плаще.

Дерош, вздрогнув, проснулся.

— Что за чертовщина! — воскликнул он. — Вы уже куда-то уходили сегодня?

— Вставайте, пор а, — сказал Вильгельм.

— Но откроют ли нам форт в такую рань?

— Откроют. Все на учениях, на месте только охрана.

— Уже на учениях? Ну что ж, я к вашим услугам... Вот только наведаюсь к жене.

— Она здорова, я был у нее; о ней не заботьтесь.

Дероша удивил такой ответ, но он приписал его несдержанности характера и еще раз покорился братнему деспотизму, благо терпеть оставалось недолго.

На площади, перед тем как свернуть в форт, Дерош обернулся и взглянул на окна трактира. «Эмилия, конечно, еще спит», — подумал он. Но занавеска на одном окне шевельнулась, потом ее задернули, и поручику показалось, будто кто-то, не желая быть замеченным, отошел в глубину комнаты.

Они беспрепятственно миновали все сторожевые посты: командовавший охраной капитан из инвалидов на вечерней трапезе не присутствовал. Дерош взял фонарь и

стал показывать своему безмолвному спутнику помещения форта.

Ничто покамест не привлекало внимания Вильгельма, и немного погодя он сказал зятю:

— Покажите же мне подземелье!

— Пожалуйста, но, смею вас заверить, прогулка будет не из приятных: там очень сыро. В левом крыле пороховые погреба, без особого позволения нас туда не пропустят, в правом — запасные водоводы и склады селитры, в середине — контрмины и галереи... Знаете вы, что такое сводчатый подземный ход?

— Какая разница!.. Главное — увидеть собственными глазами места, где произошло столько страшных событий... где и вы, судя по рассказам, подвергались немалой опасности.

«Он заставит меня облазить все углы и закоулки», — подумал Дорош, а вслух сказал:

— Идите за мной по этой галерее, брат, она ведет к обитой железом потерне.

Фонарь тускло освещал заплесневелые стены, иногда лучи его вздрагивали и дробились то на лезвии сабли, то на ружейном стволе, изъеденном ржавчиной.

— Откуда здесь это оружие? — спросил Вильгельм.

— Оно осталось от пруссаков, убитых во время их последней попытки захватить форт; мои товарищи подобрали его и хранят в качестве трофеев.

— Значит, тут было убито несколько прусских воинов?

— На этой круглой площадке было убито много пруссаков.

— Это не вы убили сержанта, высокого такого старика с рыжими усами?

— Было такое дело... Разве я вам не рассказывал?

— Вы нет... но другие поведали мне вчера за ужином об этом вашем подвиге... который вы скромно от нас утаили.

— Брат, что с вами, почему вы так побледнели?

— Я вам не брат, а враг! — громовым голосом ответил Вильгельм. — Посмотрите на меня, я пруссак! Сын того сержанта, которого вы зарезали!

— Зарезал?

— Убили, какая разница! Смотрите, вот след вашей сабли!

Вильгельм распахнул плащ и ткнул пальцем в дыру на зеленом мундире отца, который он благоговейно хранил, а сегодня надел на себя.

— Сын того сержанта? О господи! Вы что, дурачите меня?

— Дурачу? Но кто дерзнул бы на такую чудовищную шутку? Вот здесь был убит мой отец, вот эти плиты обогрела его благородная кровь, вот эта сабля, быть может, принадлежала ему! Возьмите же другую, вы должны дать мне за это реванш! Нет, мы не на дуэли будем драться, это немец схватится с французом! Защищайтесь!

— Вильгельм, дорогой, вы сошли с ума! Бросьте эту ржавую саблю! Вы хотите меня убить, но разве я виноват?

— Еще неизвестно, кто кого убьет, у вас шансов больше, чем у меня. Говорю вам, защищайтесь!

— Хотите убить — убейте, я защищаться не стану, у меня голова идет кругом, я, кажется, тоже теряю рассудок... Вильгельм, я просто исполнял свой долг, я же солдат, подумайте об этом! И я муж вашей сестры, она любит меня! Нет, нет, между нами не может быть поединка!

— Моя сестра!.. Из-за нее-то один из нас и должен исчезнуть с лица земли! Моя сестра все знает, она никогда больше не увидит того, кто сделал ее сиротой! Вчера вы навеки распростились с нею!

С каким-то диким воплем Дерош бросился на Вильгельма, попытался его обезоружить, но борьба была не из легких — брат Эмилии сопротивлялся с упорством, какое рождают только ярость и отчаянье.

— Отдай саблю, безумец! — кричал Дерош. — Отдай немедленно! Ты непустишь ее в ход против меня, шут несчастный!.. Одержимый фантазер!..

— Правильно!.. — хрипел в ответ Вильгельм. — Убейте и сына в этой галерее!.. Сын тоже немец!.. Немец!..

И тут Дерош разжал руки — он услышал чьи-то шаги. Вильгельм рухнул на землю и больше не шевелился.

— То были мои шаги, господа, — продолжал аббат. — Эмилия прибежала ко мне домой, все рассказала, бедняжка, и попросила, чтобы церковь взяла ее под свое крыло. Я подавил жалость, надрывавшую мне сердце, и на ее вопрос, смеет ли она по-прежнему любить убийцу своего отца, ничего не ответил. Эмилия поняла, сжала мне руку и в слезах ушла. Какое-то предчувствие заставило меня пойти вслед за ней, и когда в трактире сказали, что ее брат и муж ушли осматривать форт, я сразу заподозрил

страшную истину... К счастью, я не опоздал, я успел предотвратить новую смертоубийственную схватку между этими людьми, потерявшими голову от гнева и горя.

Вильгельм, хотя и обезоруженный, был по-прежнему глух к мольбам Дероша; чувствовалось, что он глубоко подавлен, но глаза его все еще горели яростью.

— Упрямый гордец! — обратился я к нему — Вы нарушаете сон умерших, осмеливаетесь приподнимать завесу над роковыми тайнами! Именуя себя христианином, присваиваете себе право вершить господень суд! Вы, что ж, хотите стать здесь единственным преступником, единственным убийцей? Поймите, никто не уйдет от возмездия, но не нам предвидеть сроки, не нам их ускорять!

Дерош сжал мне руку и проговорил:

— Эмилия все знает. Мне больше ее не видать. Но я знаю, как поступить, чтобы вернуть ей свободу.

— Что вы замыслили? — вскричал я. — Самоубийство?

Услышав мои слова, Вильгельм встал и схватил Дероша за руку.

— Нет, — сказал он, — это я был не прав. Вся вина лежит на мне, потому что и моя тайна, и мое отчаянье должны были умереть вместе со мною.

Не стану описывать, как мы исстрадались за этот мучительный час; я истощил все доводы, какие только мог почерпнуть и в своей вере, и в своей жизненной философии, но спасительного выхода из этого мрачного тупика так и не указал: что и говорить, развод был неизбежен, но какие основания для него привести суду? Разглашение роковых обстоятельств повлекло бы за собой не только тягостное их обсуждение, но и опасные политические последствия.

Больше всего усилий я приложил к тому, чтобы отвлечь Дероша от его пагубного намерения, чтобы внушить ему истинно христианское понимание того, сколь преступно самоубийство. Но вы ведь знаете, что Дерош, на свою беду, был воспитан в духе материалистов восемнадцатого века. Все же после ранения взгляды его сильно изменились. Он стал одним из тех полухристиан-полускептиков, которыми у нас хоть пруд пруди, — они считают, что толика религиозности, в общем, не повредит, и готовы даже прибегнуть к помощи священника, *на случай* если бог все-таки существует! Благодаря вот такой смутной вере он и выслушивал мои увещания. Прошло несколько дней, а Вильгельм и его сестра по-прежнему жи-

ли в трактире: после перенесенного потрясения Эмилия тяжело захворала. Дерош поселился у меня и целыми днями читал религиозные книги, подобранные мною для него. Однажды он отправился в форт, провел там несколько часов, а вернувшись, показал мне бумагу, выправленную на его имя: то было назначение капитаном в полк, выступавший на соединение с дивизией Партуно.

Через месяц мы получили известие о его смерти, столь же славной, сколь загадочной. Говорите, что хотите, об иступленном отчаянье, которое бросило Дероша в гущу схватки, но его пример — и с этим никто не станет спорить — одушевил весь батальон, понесший немалые потери в первой атаке...

Все молчали — рассказ о такой жизни и такой смерти заронил в каждого какую-то неподдающуюся выражению мысль. Аббат встал со словами:

— А теперь, господа, если вы согласны изменить направление нашей ежевечерней прогулки, пойдемте по этой позолоченной закатом аллее, я поведу вас на Плющиный холм — оттуда виден крест монастыря, где приняла постриг госпожа Дерош.

ЗАКОЛДОВАННАЯ РУКА

Глава первая ПЛОЩАДЬ ДОФИНА

Нет ничего прекраснее, чем все эти дома XVII века, чье величественное собрание являет нам Королевская площадь. В час заката, когда их кирпичные фасады, окаймленные по углам серым камнем и украшенные такими же каменными карнизами, освещены солнцем, а высокие окна в багряных лучах его кажутся объатыми пламенем, испытываешь такое чувство почтения, как если бы то было заседание представителей судебных палат в их красных мантиях с горностаевыми отворотами; и — да не покажется подобное сравнение слишком уж детским — можно бы, пожалуй, сказать, что тянущиеся вдоль домов широкие ряды лип, правильным четырехугольником окаймляющие Королевскую площадь, завершая собою строгую гармонию ее очертаний, слегка смахивают на длинный зеленый стол, с четырех сторон которого восседают сии грозные магистраты.

Есть в Париже другая площадь, созерцание которой доставляет не меньшее удовольствие и которая соразмерностью своих частей являет в треугольной своей форме почти такую же гармонию, какую и та, первая, являет в квадратной. Она была построена в царствование Генриха Великого, который назвал ее площадью Дофина, и все тогда были поражены, как мало времени понадобилось на то, чтобы покрыть домами весь пустырь на острове Ла-Гурден. Внезапное вторжение на этот незаселенный участок чрезвычайно опечалило младших клерков, приходивших туда в часы досуга пошуметь и порезвиться, а также адвокатов, охотно уединявшихся там, чтобы обдумать защитительную речь, — так славно было очутиться среди зелени и цветов после вонючих задворков Дворца правосудия.

Едва все три ряда домов водрузили на громоздкие портики, обременили камнем, изукрасили выступами, исчертили пазами, одели кирпичом, продырявили окнами с балясинами и придавили тяжелыми крышами, как тотчас же площадью завладело племя служителей правосудия. Каждый захватывал себе жилье в соответствии со своей должностью и достатком, то есть в порядке, обратном расположению этажей. На свет явилось нечто вроде Двора чудес высокого ранга, пристанище привилегированных мошенников, *сутяжной* братии, подобно тому как Двор чудес был убежищем братии воровской, с той только разницей, что здесь дома были из кирпича и камня, а там — из дерева и всякого мусора.

В одном из этих домов, выходявших на площадь Дофина, жил в последние годы царствования Генриха Великого довольно любопытный персонаж по имени Годино Шевассю, исполнявший обязанности помощника верховного судьи Парижа, должности весьма прибыльной, но и весьма нелегкой в ту эпоху, когда мошенников было куда больше, чем в наши дни (насколько же с тех пор поубавилось в нашей милой Франции честности!), и число девиц, торгующих своим телом, намного превышало теперешнее их количество (насколько же испортились за это время нравы!). Человечество нисколько не меняется, и можно утверждать вслед за одним старинным автором, что чем меньше плутов на галерах, тем больше их гуляет по белу свету.

Надобно сказать к тому же, что мошенники тех времен были куда менее бесчестны, чем нынешние, и презренное это ремесло было в ту пору своего рода искусством, которым отнюдь не гнушались молодые люди из порядочных семейств. Выброшенные на дно, за пределы этого общества препон и привилегий, они получали широкую возможность для развития своих талантов в упомянутом роде деятельности. Сии нарушители закона представляли собой куда большую опасность для частных лиц, нежели для правительства, ибо государственная машина, быть может, давно бы уже взорвалась, не будь подобного оттока сил. Именно поэтому, вероятно, тогдашнее правосудие весьма мягко обходилось с мошенниками из благородного сословия, и никто не выказывал к ним большей терпимости, чем наш помощник верховного судьи о площади Дофина, по причинам, о которых вы скоро узнаете. Зато никто не бывал и так строг к преступникам заурядным, и

уж те отдувались за всех, украшая собой виселицы, чьи тени нависали над Парижем, по выражению д'Обинье, к великому удовольствию состоятельных горожан, которых от этого нисколько не меньше грабили. Немало способствовали виселицы и совершенствованию искусства нищенства.

Господин Шевассю был низенький, толстый человечек, уже начинавший сесть, чем, не в пример другим старикам, он был весьма доволен, ибо, по мере того как волосы его белели, они неизбежно утрачивали свою природную несколько излишне яркую окраску, которой судья обязан был неприятным прозвищем *Рыжий*, каким обозначали его все знакомые под тем предлогом, будто оно легче произносится и запоминается, чем собственное его имя. Глаза у него косили, но были весьма смысленные, хотя всегда полуприкрытые нависшими над ними густыми бровями, рот до самых ушей, как у человека, любящего пошутить. И однако, хотя выражение лица его почти всегда было насмешливым, никто никогда не слышал, чтобы он громко или, как говаривали наши отцы, до упаду смеялся; но всякий раз, когда ему случалось произнести что-либо забавное, он завершал свою фразу громогласным «ха» или «хо», извергая его из самых глубин своих легких, но всего один раз и притом весьма выразительно. А случалось это довольно часто, ибо магистрат наш любил уснастить свою речь острым словцом и всякого рода похабщиной, от которых не мог удержаться даже во время заседаний суда. Впрочем, в то времена сие вообще свойственно было судейскому сословию, — в наши дни обычай этот сохранился только в провинции.

Чтобы завершить его портрет, следовало бы еще изобразить в соответствующих местах длинный утиный нос и маленькие уши без мочек, но до того чуткие, что они способны были различить звон монеты в четверть эю на расстоянии четверти лье, а звон пистоли еще и на более далеком расстоянии. Рассказывали, что когда некто, затеявший тяжбу, спросил, нет ли у господина помощника верховного судьи каких-нибудь друзей, через которых можно перед ним ходатайствовать, ему ответили, что у *Рыжего* в самом деле есть весьма близкие друзья, и среди них монсеньор Дублон, мессир Дукат и даже господин Эю, и что вернее всего действовать через всех троих сразу — тогда можно не сомневаться, что к просителю отнесутся с самым горячим участием.

Глава вторая

ОБ ОДНОМ ЗАВЕТНЕЙШЕМ УБЕЖДЕНИИ МАГИСТРАТА

Есть люди, у которых наибольшее восхищение вызывает то или иное высокое человеческое качество, та или иная особая добродетель. Один ценит благородство чувств и военную доблесть, и его хлебом не корми, а дай послушать о всяких бранных подвигах; другой превыше всего ставит талант в области словесности, всяких художеств или науки; иных более всего трогают великодушные поступки, всякие добродетельные деяния, коими люди приходят на помощь ближним своим, посвящая себя их благу, каждый в меру своей природной склонности. Но точка зрения, которой придерживался в этом вопросе Годино Шевассю, полностью совпадала с мнением зело ученого короля Карла IX, а именно, что нет и не может быть ничего превыше человеческой сообразительности и ловкости и что одни лишь люди, обладающие этими качествами, достойны в этом мире восхищения и заслуживают признанья и почестей; и нигде не встречал он таких блестящих носителей этих качеств, как среди многочисленного племени карманников, домушников, форточников и цыган, чья «достославная жизнь» и неутомимая ловкость рук каждый день разворачивались перед ним во всем своем неисчерпаемом многообразии.

Любимым его героем был Франсуа Вийон, парижанин, прославившийся в поэтическом искусстве не меньше, чем в искусстве кражи и грабежа; посему он охотно отдал бы «Илиаду» вкупе с «Энеидой» да в придачу еще не менее великолепный роман «Гюон Бордосский» за одну только Вийонову «Жратву на дармовщинку» и даже за «Легенду о Пьере Поджигателе» — сии стихотворные эпопеи бродячего племени! «Защита...» Дю Белле, «Peripoliticon» Аристотеля и «Symbalum mundi» казались ему весьма слабыми рядом с книгой «Жаргон с приложением Генеральных штатов королевства Арго, а также диалогов распутника с хляком, неким обожателем бутылки и потрошителем льняной лавки, в граде Туре сочиненных и с соизволения короля Пятифранковика и легавого извозчика фиакра напечатанных», изданной в Туре в 1603 году. И поскольку вполне естественно, что тот, кто превыше всего ценит какую-нибудь особую добродетель, всегда будет считать пороком качество противоположное, ни к кому не чувствовал он большего отвращения, чем к людям заурядным, с незатейливым, недогадливым умом. Эта

ненависть до того доходила, что, будь его воля, он в корне изменил бы весь порядок судебного производства, ибо считал, что, когда разбирается дело о крупном грабеже, вешать следует не вора, а того, кого обворовали. Такова была его точка зрения, его символ веры, так сказать. Он видел в этом единственное средство ускорить умственное развитие народа и споспешествовать людям своего века в достижении той широты ума, той ловкости и изобретательности, которые считал высшим проявлением человеческой природы и добродетелью, наиболее угодной богу.

Так объяснял он это с точки зрения морали. Что же до политики, то у него было достаточно случаев убедиться, что воровство в крупных масштабах более чем что-либо другое благоприятствует раздроблению больших состояний и циркуляции мелких и уже вследствие этого сулит низшим классам освобождение и благоденствие.

Вы, конечно, понимаете, что восторгался он лишь заправским, добротным плутовством, разными тонкими хитростями и лукавыми уловками истинных подопечных святого Николая, всякими достопамятными проделками мэтра Гонена, в течение двух столетий сохранявшимися в шутках и остротах, и что, почитая родственной душой Вийона со всеми его вийонизмами, он ни в коей мере не одобрял разбойников с большой дороги вроде каких-нибудь Гийери или капитана Карфура. Разумеется, злодей, который на большой дороге грабит безоружного путника, внушал ему не меньший ужас, чем любому здравомыслящему человеку, так же как и те лишенные всякого воображения воры, что совершают кражу со взломом, тайно проникнув в какой-нибудь уединенный дом, да еще в придачу убивают хозяев. Но вот если бы ему рассказали о воре утонченном, который, пробивая стену дома с целью ограбления, позаботился о том, чтобы сделать отверстие в форме готического трехлистника, дабы назавтра люди сразу же могли увидеть, что обворовал их не кто-нибудь, а человек со вкусом, ценящий свое искусство, — такой вор в глазах Гоудино Шевассю оказался бы выше Бертрана де Класкена или самого императора Цезаря. И это еще слабо сказано...

Глава третья ШТАНЫ МАГИСТРАТА

После всего вышеизложенного наступило, я полагаю, время поднять наконец занавес и, как это водится в

наших старинных комедиях, дать хорошего пинка в зад г-ну Прологу, который становится просто возмутительно многословен, так что нам уже пришлось трижды снимать нагар со свечей с тех пор, как он начал свое вступление. Пускай же он скорее заканчивает его, как это делает Брюскамбиль, умоляя зрителей «смахнуть пыль недостатков его речей метелкой своего человеколюбия и покорнейше позволить ему поставить клистир извинений потрохам их нетерпения». И вот теперь все сказано, и мы начинаем свой рассказ.

Дело происходит в довольно большой темной комнате, отделанной деревянными панелями. Старый судья, сидя на широком, украшенном резьбой кресле с изогнутыми ножками, на спинке которого висит его манишка из узорчатого штофа с бахромой, примеряет новые штаны, только что принесенные ему Эсташем Бутру, учеником и приказчиком г-на Губара, торговца сукнами и чулками. Мэтр Шевассю, затянув шнурки на поясе своих штанов, встает, снова садится и снова встает, в промежутках ведя разговор с молодым приказчиком, неподвижно, подобно каменной статуе святого, сидящим на краешке табуретки, на которую указал ему заказчик, и боязливо, с опаской глядящим на него.

— Гм... ну уж эти, точно, отжили свой век, — говорит судья, отпихивая ногой только что скинутые с себя старые штаны. — Они уже до дыр протерлись, что твое запретительное постановление, вконец разодрались, одна штанина другой «прощай» кричит, душераздирающе кричит!

Балагур судья все же поднимает брошенные наземь *невывразимые*, чтобы вынуть оттуда кошелек, из которого он высыпает себе на ладонь несколько монет.

— Не иначе, — продолжает он, — мы, судейские, потому так редко и шьем себе портки, что носим их под судейской мантией до тех пор, пока материя совсем не прохудится, а швы не разойдутся. Ну так вот, поскольку каждый хочет жить, и даже воры, а в том числе и суконщики-чулочники, я, так и быть, заплачу сполна те шесть эю, что просит у меня мэтр Губар; и еще, великодушия ради, прибавлю к ним одно обрубленное эю для приказчика, но с условием, чтобы он не вздумал менять его себе в убыток, а подсунул бы как полноценную монету какому-нибудь паршивому буржуа и выказал бы при этом побольше находчивости и соображения; а не то я

лучше оставлю его себе: завтра как раз воскресенье, сбор пожертвований в соборе Парижской богоматери.

Эташ Бутру взял и шесть эю, и обрубленную монету и низко поклонился.

— Ну как, паренек, начинаешь уже смекать понемногу в суконном-то деле? Научился уже небось выгадывать и при обмере, и при кройке и покупателю подсунуть старое сукно вместо нового и бурое вместо черного? Словом, можешь уже поддерживать добрую славу торговцев Крытого рынка?

Эташ с некоторым ужасом поднял глаза на судью; затем, решив, что тот шутит, рассмеялся; однако судья и не думал шутить.

— Не люблю, — продолжал он, — мошенничества торговцев; вор, тот хоть и ворует, но при этом не обманывает. Торговец и ворует, и обманывает. Придет к нему, скажем, купить пару штанов какой-нибудь из тех, у кого и язык подвешен, и пальца ему в рот не клади, он долго будет торговаться и в конце концов заплатит шесть эю. После него придет этакий честный христианин, которого одни называют *святой простотой*, а другие *хорошим клиентом*, и, поверив суконщику, который будет ему клясться в своей честности пресвятой девой и всеми святыми, за такие же точно штаны заплатит восемь эю; жалеть я его не стану, потому что он просто дурак. Но вот в то самое время, когда торговец, пересчитав обе полученные им суммы, с довольным видом взвешивает на ладони то два эю, что составляют разницу между первой и второй, проходит мимо его лавки какой-нибудь бедняга, которого волокут на галеры за то, что он вытащил у кого-то из кармана драный носовой платок... «Вот мерзавец! — скажет торговец. — Да будь у нас справедливое правосудие, этого негодяя заживо бы колесовали, и я пошел бы любоваться на его казнь». При этом он держит в руке те самые два эю. А как ты полагаешь, Эташ, что было бы, если бы сбылось желание торговца и суд стал вершить все дела по справедливости?

Эташ Бутру уже не смеялся. Парадокс, высказанный судьей, был слишком чудовищен, чтобы он мог осмелиться что-либо на это ответить, а уста, из которых исходил вопрос, тем более внушали ему тревогу. Судья, видя, что юноша стоит растерянный, словно волк, упавший в капкан, рассмеялся своим особым смехом, легонько потрепал его по щеке и с миром отпустил. Спускаясь по лестнице с каменной балюстрадой, Эташ так был погружен в свои

мысли, что даже звуки трубы, доносившиеся издалека, со стороны двора Дворца правосудия, не могли отвлечь его. То была труба шута Галинетта ла Галин, которой он сзывал желающих послушать его побасенки и купить лекарственных снадобий у его хозяина, знаменитого лекаря-шарлатана Джеронимо. На этот раз Эсташ оказался глух к ее призывам и поспешил к Новому мосту, чтобы поскорее попасть в квартал Крытого рынка.

Глава четвертая НОВЫЙ МОСТ

Новый мост, законченный при Генрихе IV, является главным памятником этого царствования. Невозможно описать, какой восторг вызвал он у парижан, когда после долгих лет строительства окончательно лег через Сену всеми своими двенадцатью пролетами, более тесно связав между собой три части великого города.

Поэтому очень скоро он превратился в место свидания всех празднующихся парижан, число которых весьма велико, а значит, и всяких жонглеров, продавцов мазей и разного рода жуликов, чьи промыслы всегда приводит в движение людское скопище, подобно тому как под воздействием водяного тока начинает вертеться мельничное колесо.

Когда Эсташ вышел из треугольника площади Дофина, солнце стояло высоко, и горячие его лучи отвесно падали прямо на мост, который уже кишмя кишел народом, ибо излюбленными местами прогулок парижан всегда были те, где взоры радуют не цветы, а товары в окнах лавок, где под ногами не земля, а мостовая, и тень дают одни лишь дома да стены.

Эсташ с трудом пробирался сквозь этот медленно текущий людской поток, который, сталкиваясь с другим, встречным, неторопливо двигался от одного конца моста к другому, то и дело останавливаясь без особой на то причины, подобно льдинам, гонимым полой водой, образуя то здесь, то там множество водоворотов вокруг отдельных фокусников, певцов или торговцев, выхваляющих свои товары. Многие останавливались у парпетов, глядя на проходящие под мостовыми арками плоты и проплывающие лодки или же любуясь на великолепный вид, который открывался отсюда на Сену, по правому берегу которой выстроились длинные здания Лувра, а по левому тянулся

пересеченный прекрасными липовыми аллеями огромный луг Пре-о-Клер со своими пушистыми вербами и зелеными ивами, склоняющимися над самой водой; а дальше, словно часовые у ворот Парижа, высились друг против друга Нельская башня и башня Буа — ни дать ни взять два великана из старинных романов.

Внезапно оглушительный треск разрывающихся петард заставил всех этих людей — и гуляющих по мосту, и стоящих у парапетов — обратить свои взоры к одной точке — туда, откуда доносился этот шум, предвещавший некое зрелище, достойное внимания. Это была одна из тех площадок, слегка приподнятых над каждым мостовым быком, стоящих в стороне от проезжей части, над которыми в те времена еще возвышались каменные лавчонки. На этой площадке расположился какой-то фокусник; он поставил здесь столик, и по этому столу расхаживала весьма живописная обезьяна, одетая в красно-черный костюм дьявола, из-под которого вылезал натуральный ее хвост, — она-то и пускала, нисколько не робея, один за другим все эти петарды и фейерверки, причиняя немалый ущерб бородам и брыжам тех сбежавшихся зрителей, которые недостаточно быстро успевали расширить свой круг.

Что касается ее хозяина, то у него было одно из тех цыганских лиц, весьма распространенных за сто лет до этого, но в ту пору уже встречавшихся редко, а ныне и вовсе затерявшихся среди уродливых, невыразительных физиономий наших горожан: профиль, напоминающий лезвие топора, довольно высокий, но узкий лоб, очень длинный и очень горбатый нос, однако не нависающий над верхней губой, подобно римским носам, а, напротив, так сильно вздернутый, что кончик его находился почти на уровне выпяченных тонких губ; скошенный подбородок, продолговатые быстрые глаза под бровями, напоминающими своей формой букву V, и длинные черные волосы завершали картину. Во всей его гибкой фигуре, в его движениях, в каждом жесте чувствовался ловкий и хитрый малый, прекрасно владеющий своим телом, испробовавший в жизни немало ремесел и всяких других промыслов и рано обманувшийся в своих ожиданиях.

Одет он был в старый костюм шута, который носил с большим достоинством; на голове его красовалась войлочная шляпа с широкими полями, совершенно измятая и расплюснутая. Мэтр Гонен — таково было имя, которым все называли его, то ли за его ловкость, то ли за фокусы, а может, он и в самом деле был потомком того зна-

менитого жонглера, что основал при Карле VI театр «Беззаботных ребят» и первым носил титул Короля шутов, каковой в ту пору, когда происходит эта история, уже перешел к сеньору д'Ангулевану, отстаивающему свои королевские prerogatives даже перед судебными палатами.

Глава пятая ПРЕДСКАЗАНИЕ

Увидев, что зрителей собралось достаточно, мэтр Гонен начал с того, что показал несколько фокусов, вызвавших бурный восторг; следует, правда, заметить, что хитрец не случайно выбрал для своего представления эту площадку в форме полумесяца: сделал он это не только ради того, чтобы быть в стороне от людского потока, как могло показаться, а затем, что, благодаря такому расположению, зрители оказывались у него только спереди, но не сзади.

Дело в том, что искусство это в самом деле еще не достигло в те времена такого совершенства, как в наши дни, когда фокусник работает, со всех сторон окруженный публикой. После того, как фокусы кончились, обезьяна обошла толпу и собрала немало монет, учтиво всякий раз раскланиваясь в знак благодарности и сопровождая свои поклоны звуком, напоминающим стрекотание сверчка. Но фокусы были не более как прелюдией, и вслед за тем, обратившись к публике с весьма неплохо скомпонованной речью, новоявленный мэтр Гонен объявил, что обладает еще и даром предсказывать судьбу с помощью хиромантии, пифагорейских чисел и гаданья на картах; оплате это не подлежит, но за одно су он, в виде одолжения, может погадать тем, кто этого пожелает. Говоря это, он уже раскидывая большую колоду карт, а его обезьяна, которую он называл Паколе, с большим разумением оделяла ими всех тех, кто протягивал руку.

Когда все карты были розданы, фокусник стал вызывать добродетей одного за другим к себе на площадку, выкликая карту, которую тот взял, и каждому предсказал его судьбу, кому счастливую, а кому и нет, между тем как обезьяна, получившая от него луковичку в награду за свою службу, до колик смешила толпу всякими рожками, которые она корчила, лакомясь ею, выражая одновременно и удовольствие, и страдание, ибо рот ее смеялся, в то время как глаза плакали, и каждый свой глоток

она сопровождала то стоном наслаждения, то жалобной гримасой.

Эташ Бутру, который тоже взял карту, был вызван последним. Гонен внимательно оглядел его длинную фигуру, простодушную физиономию и торжественно провозгласил:

— Ваше прошлое: вы сирота. Вот уже шесть лет, как вы живете в учениках у суконщика, который держит лавку в рядах Крытого рынка. Ваше настоящее: хозяин обещал выдать за вас единственную свою дочь. Он собирается удалиться от дел и передать вам свою торговлю. А что до будущего — покажите-ка мне свою руку.

Эташ, чрезвычайно удивленный, протянул ему руку; фокусник внимательно стал рассматривать ладонь, потом нахмурил брови, как бы сомневаясь в чем-то, и подозвал обезьяну, словно для того, чтобы посоветоваться с ней. Та тоже взяла руку, посмотрела на ладонь, затем, взобравшись на плечо хозяина, казалось, что-то ему зашептала; на самом деле она просто быстро двигала губами, как обычно делают животные, когда бывают недовольны.

— Удивительное дело, — воскликнул наконец мэтр Гонен, — такая, казалось бы, поначалу обыкновенная жизнь заурядного торговца — и вдруг такое влечение ввысь, к такой возвышенной цели!.. Ай, ай, мой петушок, пробейте вы свою скорлупку; вы подниметесь высоко, очень высоко... Вы умрете в куда более высоком положении, чем сейчас.

«А, ладно, — подумал Эташ, — все предсказатели обещают что-нибудь подобное. Но откуда ему может быть известно то, что он сказал мне вначале? Вот чудо! Впрочем, он мог просто от кого-то слышать обо мне...»

Между тем он вытащил из своего кошелька обрубленное эю судьи и подал его фокуснику, прося дать ему сдачу. Возможно, он попросил об этом слишком тихо и тот его, очевидно, не услышал, ибо продолжал говорить, вертя в пальцах это эю:

— Теперь я вижу, что жить вы умеете, а посему позволю себе присовокупить к тому совершенно правдивому, но несколько неопределенному пророчеству, которое вы от меня услышали, кое-какие подробности. Да, дружище, хоть вы и заплатили мне не су, как все другие, и эю ваше весит на добрую четверть меньше обычного, так уж и быть, пусть послужит вам эта светленькая монетка тем ясным зеркалом, в котором отразится чистая правда.

— Так значит, — заметил Эсташ, — то, что вы давеча говорили насчет моего возвышения, — это неправда?

— Вы просили предсказать вам судьбу, я вам ее предсказал, только не полностью растолковал свое предсказание... Так вот, как вы поняли мои слова о высокой цели, к которой влечетесь согласно моему предсказанию?

— Понял так, что я могу стать синдиком суконщиков и чулочников, или церковным старостой, или эшевенном...

— Да у вас, я вижу, губа не дура!.. А почему бы не великим турецким султаном, не Аморабакеном?.. Ну нет, милый друг, все это следует понимать совсем иначе; и ежели вам угодно, чтобы я объяснил вам сие пророчество сивиллы, то знайте, что на нашем языке *подняться высоко* говорится о тех, кого посылают стеречь овец в подлунном царстве, а *отправиться далеко* — о тех, кого отправляют в океан писать свою историю перьями в пятнадцать футов длиной.

— Ну хорошо, если вы объясните мне еще и это ваше объяснение, я несомненно пойму.

— Это попросту два учтивых выражения, которыми принято заменять слова «виселица» и «галеры». Вы подниметесь высоко, а я отправлюсь далеко. На моей руке это в точности обозначено вот этой средней линией, пересекающей под прямым углом с другими линиями, менее глубокими. На вашей — линией, которая перпендикулярна средней, не продолжаясь ниже, и другой, которая обе их пересекает...

— Виселица! — воскликнул Эсташ.

— А вам что, непременно хочется умереть в горизонтальном положении? — заметил Гонен. — Это ребячество; теперь вы хоть можете быть уверенным, что избежите всех других кончин, кои подстерегают всякого смертного. Кроме того, вполне возможно, что, когда ее высочество Виселица, словно легкую пушинку, взденет вас вверх, вы будете уже стариком и вам к тому времени опротивеет весь белый свет... Однако бьет полдень, а согласно приказу парижского прево в полдень нашего брата выдворяют с Нового моста вплоть до самого вечера. Так вот, ежели вам когда-нибудь понадобится совет, колдовство, чародейство или приворотное зелье на случай какой-либо опасности, несчастной любви или надобности кому-то отомстить, знайте, я живу вон там, в конце моста, в Шато-Гайар. Видите ту башенку с коньком?

— Еще одно только слово, прошу вас, — весь дрожа произнес Эсташ, — буду ли я счастлив в браке?

— Приведите мне свою жену, и я скажу вам это... Паколе, поклонись этому господину, пошли ему воздушный поцелуй.

Фокусник взял под мышку свой складной столик, посадил обезьяну себе на плечо и направился в Шато-Гайар, напевая сквозь зубы какую-то старинную песенку.

Глава шестая УДАЧИ И НЕУДАЧИ

То, что Эташ Бутру собирался в скором времени сочетаться браком с дочерью суконщика, было чистой правдой. Он был малый разумный, понимал толк в торговых делах и никогда не проводил своих досугов за игрой в шары или мяч, а время это употреблял на то, что проверял счета, читал «Лес шести корпораций» и понемногу изучал испанский язык, который полезно было тогда знать всякому торговцу (так же как в наши дни английский), поскольку немало лиц этой нации жительствоваало в то время в Париже. Господин Губар, который за шесть лет имел возможность убедиться в безупречной честности и превосходном характере своего приказчика, заметил к тому же взаимную склонность между ним и своей дочерью, проявлявшуюся с обеих сторон весьма сдержанно и пристойно, и принял решение поженить их на Иванов день, после чего удалиться к себе в Пикардию, где у него в Лаоне было небольшое наследственное владение.

У Эташа, правда, не было никакого состояния, но в те времена еще не вошло в обычай сочетать браком один денежный мешок с другим. Родители нередко считались со вкусами и склонностями будущих супругов и давали себе труд подолгу изучать характер, поведение и способности лиц, коих прочили в мужья своим дочерям; этим они весьма отличались от нынешних отцов семейств, для которых иной раз куда важнее порядочность нанимаемого слуги, чем нравственные качества будущего зятя.

Предсказание фокусника произвело такое смятение в уме молодого суконщика, и без того не слишком поворотливым, что он как стоял посредине полумесяца, так и остался там в полной растерянности, не слыша даже серебристых голосов, лепетавших с колоколенок Самаритянки: «Пол-день! Пол-день!» Но в Париже бьет полдень добрый час: вскоре в разговор торжественным басом вступили башенные часы Лувра, затем Больших Августинцев, а там и Шатле; так что в конце концов Эташ опомнился и,

испугавшись, что опоздал, со всех ног бросился бежать; в несколько минут он пробежал Монетную улицу, улицу Бореля и Тиршап и только тут позволил себе немного замедлить шаг, а когда повернул на улицу Бушери-де-Буве и увидел красные навесы над мостовой Крытого рынка, подмостки театра «Беззаботных ребят», лестницу и крест, красивый фонарь вертящегося позорного столба под свинцовым куполом, лицо его просветлело. Здесь, под одним из этих навесов, ожидала Эсташа его суженая — Жавотта Губар. Большинство торговцев Крытого рынка таким образом создавали под открытым небом как бы отделения своих темных лавок, расставляя и вывешивая товары прямо на мостовой, где они охранялись кем-нибудь из членов семьи. Жавотта каждое утро заменяла здесь своего отца, то сидя с вышиванием среди товаров, то расхаживая и зазывая прохожих, которых она крепко хватала за руку и не отпускала до тех пор, пока они что-нибудь не покупали. Это не мешало ей быть весьма кроткой и несмелой девицей, уже достигшей положенного возраста; была она очень мила, изящна, высокого роста и немного клонилась вперед, как это часто бывает с хрупкими, стройными девушками, причастными к торговле; при этом она краснела, как вишенка, от любого слова, которое произносили ее уста, если только говорила не с покупателями, ибо на этом поприще могла заткнуть за пояс любую торговку Крытого рынка по части «болтанья языком» и «втиранья очков» (таков был лексикон тогдашних торговцев).

Обычно в полдень ее сменял здесь Эсташ на то время, что она ходила обедать в лавку со своим отцом. Именно для этой цели спешил он сюда, сильно опасаясь, что Жавотта станет выговаривать ему за опоздание; но, еще только издали увидев ее, он понял, что страхи его напрасны: она была совершенно спокойна и, опершись локтем на штуку сукна, с большим интересом внимала какому-то военному, который, опершись на ту же самую штуку сукна, о чем-то оживленно и шумно ей рассказывал и меньше всего был похож на покупателя.

— А вот и мой будущий супруг, — сказала Жавотта, улыбаясь незнакомцу, который, не меняя своей позы, а только слегка повернув голову, смерил приказчика взглядом с ног до головы с тем видом пренебрежения, который обычно выказывают военные к людям из буржуазного социума, чья внешность не кажется им достаточно внушительной.

— Он немного смахивает на нашего полкового трубача, — задумчиво произнес он. — Только у того ноги будут помясистее; но знаешь, Жавотта, трубач в эскадроне — это не на много меньше, чем лошадь, и не на много больше, чем собака...

— Это мой племянник, — сказала Жавотта, подняв на жениха свои большие голубые глаза и радостно улыбаясь, — он получил отпуск, чтобы быть на нашей свадьбе. Вот как удачно вышло, правда? Он конный стрелок. Вы посмотрите, какой красавец-то. Вот если бы вы, Эсташ, были одеты так же... Да нет, вы не такой высокий и не такой сильный...

— Сколько же времени, сударь, позволят вам пробыть в Париже? — робко спросил суконщик.

— А это смотря как получится, — сказал солдат, выпрямившись и немного помедлив с ответом. — Нас послали в Берри, чтобы мы покончили с кроканами, и если они на какое-то время угомонятся, я смогу пробыть у вас добрый месяц; но все равно, так или иначе, ко дню святого Мартина наш полк должны перевести в Париж на смену полка господина д'Юмьера, и тогда я стану бывать у вас каждый день, и уж это будет надолго.

Эсташ внимательно рассматривал конного стрелка в те минуты, когда ему удавалось не встречаться с ним взглядом, и все больше находил, что и ростом своим, и всей своей статью он решительно не подходит для роли племянника.

— Я сказал «каждый день», — продолжал тот, — правда, это не совсем так, потому что по средам у нас большой парад. Но ничего, в нашем распоряжении будет оставаться вечер, и в эти дни я смогу с вами ужинать.

«Уж не собирается ли он все остальные дни у нас обедать?» — подумал Эсташ.

— Но вы никогда не говорили мне, мадемуазель Губар, что ваш племянник такой...

— Такой красивый мужчина? О да, он так вырос! Подумать только, уже целых семь лет мы его не видели, нашего бедненького Жозефа. Столько за это время воды утекло...

«И столько в него вина втекло, — думал приказчик, с изумлением глядя на багровую физиономию своего будущего племянника, — от подкрашенной вином водички такого румянца небось не бывает! Ну и попляшут же теперь бутылки в винном погребе господина Губара до самой нашей свадьбы, а может, еще и после нее...»

— Пойдем же обедать, отец, должно быть, заждались я, — сказала Жавотта, вставая. — Ах, я возьму тебя под руку, хорошо, Жозеф? Подумать только, когда мне было двенадцать, а тебе десять, я была выше тебя и меня тогда называли твоей мамой. Ах, как мне лестно идти под ручку со стрелком! Ты ведь будешь гулять со мной, правда? Мне так мало приходится выходить из дому — не могу же я гулять одна, — а по воскресеньям я хожу к вечерне, я принадлежу к обществу пресвятой девы в церкви Невинно убиенных, у меня есть ленточка от их малого знамени...

Это девичье щебетание, сопровождаемое мерным стуком мужских шагов, постепенно удаляясь, становилось все глуше, легкий девичий силуэт, тесно прильнувший к другому, массивному и плотному, постепенно растворялся в густой тени столбов, окаймляющих Бочарную улицу, а перед глазами Эсташа все стоял какой-то туман, и в ушах у него гудело.

Глава седьмая НЕУДАЧИ И УДАЧИ

До сих пор мы подробно, шаг за шагом, излагали все перипетии этой истории из городской жизни, не тратя на изложение оной больше времени, чем понадобилось для свершения только что описанных событий; но теперь, при всем нашем почтительном отношении, более того, глубочайшем уважении к соблюдению правила трех единств даже в романе, мы вынуждены нарушить одно из них и совершить прыжок на несколько дней вперед. Может быть, было бы и небезынтересно рассказать о нравственных мучениях Эсташа в связи с появлением будущего племянника, но они оказались куда менее горькими, чем можно было ожидать, судя по начальной сцене. Эсташ скоро успокоился касательно своей невесты: Жавотта вначале просто поддалась обаянию детских воспоминаний, которым в своей небогатой событиями жизни придавала несколько преувеличенное значение. Вначале она видела в конном стрелке лишь того шумного, веселого мальчугана, который был некогда товарищем ее младенческих игр; однако очень скоро она поняла, что мальчуган этот вырос, весьма переменялся во всех своих повадках, и стала вести себя с ним более сдержанно.

Что касается стрелка, то, если не считать несколько вольного тона на правах родственника, он не выказывал

по отношению к своей юной тетушке никаких предосудительных намерений; к тому же он принадлежал к тому довольно распространенному типу мужчин, которым честные женщины не внушают любовных желаний, а в данное время и вообще мог сказать, подобно Табарену, что «единственная его любушка — бутылочка». Первые три дня после своего появления он ни на шаг не отходил от Жавотты, и даже как-то вечером, к великому неудовольствию Эсташа, повел ее гулять на Кур-ла-Рен в сопровождении одной только толстой служанки. Но это длилось недолго; вскоре ему наскучило ее общество, и он взял привычку на целый день уходить из дома один, возвращаясь, однако, всякий раз неукоснительно в часы трапезы.

Так что единственное, что беспокоило теперь будущего супруга, было то, что родственник этот, казалось, слишком уж прочно обосновался в доме, хозяином которого должен был стать Эсташ после свадьбы, и он уже предвидел, что выдворить его окажется не так-то просто, ибо с каждым днем он все больше укоренялся в нем. А между тем он даже не был родным племянником Жавотты, а только сводным, будучи сыном дочери покойной супруги г-на Губара от первого ее брака.

Но как было заставить сего племянника уразуметь, что он переоценивает значение родственных уз, придерживаясь на сей счет каких-то, можно сказать, излишние патриархальных взглядов, и слишком уж широко понимает свои права и преимущества в этом доме? И все же была надежда, что он в конце концов сам почувствует нескромность своего поведения, и потому Эсташ терпеливо выжидал, «подобно дамам в Фонтенебло, пока двор в Париже», как гласит пословица.

Но миновала и свадьба, а в поведении и привычках конного стрелка ничего не изменилось; он даже выражал надежду, что поскольку с *кроканами* все пока обстоит благополучно, ему удастся получить разрешение оставаться в Париже до самого прибытия туда его полка. Эсташ позволил себе несколько насмешливых намеков на то, что-де некоторые принимают суконную лавку за гостиницу, и всякие другие шуточки, но то ли они были недостаточно ясно выражены, то ли мало доходчивы; а заговорить об этом прямо с женой и тестем он еще не смел, не желая с первых же дней после свадьбы выглядывать мелочным в глазах людей, которым был весьма обязан.

При всем том, общество солдата отнюдь не было столь уж приятным: он без устали болтал о славе, кото-

рую якобы стяжали ему его подвиги то в каких-то небывалых сражениях, где он прослыл грозой неприятельских войск, то в борьбе с кроканами, несчастными французскими крестьянами, с которыми вели войну солдаты Генриха IV за то, что им нечем было уплатить талью, и которые, судя по всему, отнюдь не услаждали себя по воскресениям пресловутой «курицей в супе».

Такое чрезмерное бахвальство было в ту пору явлением довольно обычным, судя по таким типам, как Тайедр и капитан Матамор, постоянно повторяющимся в комических пьесах той эпохи, и явилось, я полагаю, следствием победоносного вторжения в Париж Гаскони вслед за Наваррцем. Порок этот вскоре становится уже не столь ярко выраженным, но более распространенным; несколькими годами позже в «Бароне де Фенест» тип бахвала рисуется уже более мягко и с большей степенью комического искусства, и наконец в комедии «Лжец» в 1662 году он сведен к почти обычным пропорциям.

Но что более всего в поведении солдата оскорбляло бедного Эсташа, это его постоянное стремление обращаться с ним как с мальчишкой, подчеркивать все невыгодные стороны его внешности, при всяком удобном случае выставлять его перед Жавоттой в самом смешном виде — а это весьма опасно в первые дни семейной жизни, когда супругу так важно заставить себя уважать и укрепить свои позиции на будущее. Прибавьте к этому щекотливое самолюбие человека, еще не привыкшего к своему новому положению узаконенного по всей форме хозяина суконной лавки.

Окончательно переполнил чашу терпения Эсташа следующий прискорбный случай: в соответствии с новыми своими обстоятельствами, он должен был участвовать в цеховых дозорах, и так как ему не хотелось, подобно г-ну Губару, выполнять сей долг в обычном своем платье и с алебардой, взятой на время у квартального надзирателя, он купил себе где-то старую шпагу с обломанной чашкой на рукояти, шлем и короткую медную кольчугу, чуть было не угодившую под молоток жестянщика, и целых три дня усердно их оттирал и полировал, пока они не обрели хоть какой-то блеск; но когда он во все это облачился и стал горделиво расхаживать по лавке, спрашивая, хорошо ли он выглядит в этой броне, стрелок начал *ржать, как табун лошадей*, и сказал, что у него такой вид, будто он нацепил на себя крышки от кухонных кастрюль.

Так обстояли дела, когда однажды вечером — было это не то 12-го числа, не то 13-го, но, в общем, в четверг — Эсташ решил запереть лавку пораньше. Он бы не позволил себе этого, будь дома г-н Губар, но тот двумя днями раньше отправился в Пикардию навестить свои владения, ибо собирался спустя три месяца, убедившись, что его преемник уже твердо стоит на ногах и ему доверяют и покупатели, и другие торговцы, переселиться туда уже насовсем.

И вот, вернувшись в этот вечер в обычный час, наш стрелок нашел дверь запертой и все огни потушенными. Это чрезвычайно его удивило, ибо в Шатле еще не играли зорю, и так как он всегда возвращался домой несколько навеселе, то стал выражать свое неудовольствие грубой бранью, от которой Эсташ так и подпрыгнул в своей спальне на антресолях — напуганный собственной решимостью, он еще не успел лечь в постель.

— Эй, эй! — заорал солдат, что есть мочи ударяя ногой в дверь. — Праздник у вас нынче, что ли? Уж не святого ли Михаила, покровителя суконщиков, воров и мошенников?

И он принялся молотить кулаками по стене лавки; однако это не возымело никакого действия — дом словно вымер.

— Эй, вы там, дядюшка с тетушкой! Вы что, хотите, чтобы я ночевал под открытым небом и меня оскверняли собаки и другие животные? С вас, пожалуй, станет, милые родственнички, дьявол вас поberi! Эй, вы там! Разве поступают так с родней? Эй вы, невежи! Спускайся сию же минуту, ты, жалкий торгаш! Слышишь, эй ты, тебе деньги принесли, прах тебя возьми, скупердяй ты этакий, чтоб тебе ни дна ни покрышки!

Эта убедительная речь бедного племянника не произвела на закрытую дверь никакого впечатления, и он только втуне тратил свое красноречие, подобно Бедо Достопочтенному, проповедующему груде камней.

Но если глухи двери, то не слепы окна, и есть весьма простой способ прояснить их взор; сразу же смекнув это, солдат вышел из образованной подпорами рынка темной галереи, дошел до середины Бочарной улицы и, подняв с земли какой-то черепок, запустил им в одно из окошек антресолей так ловко, что сразу же заставил его окриветь.

Этот прискорбный поступок, явившийся для Эсташа полной неожиданностью, служил как бы огромным вопросительным знаком, которым солдат завершал вопрос, резюмировавший весь его монолог: «Какого черта не открывают дверь?»

И тут Эсташ внезапно принял решение; ибо охваченный гневом трус подобен скряге, пустившемуся в большие расходы: он не знает удержу; кроме того, ему никак нельзя было ударить лицом в грязь перед молодой женой, которая, как ему казалось, имела основание относиться к нему с недостаточным почтением, видя, как он все последние дни служит постоянной мишенью для насмешек и напоминает куклу, на коей упражняются в нанесении ударов копьем, с той только разницей, что кукла иной раз все же на наносимые ей затрещины отвечает крепким ударом палки. Поэтому он наскоро нахлобучил свою войлочную шляпу и, прежде чем Жавотта успела что-нибудь сообразить, скатился по узкой лестнице антресолей. Пробегая через заднюю комнату лавки, он по пути сдернул с гвоздя свою шпагу и, почувствовав в горячей своей руке холодную медь рукоятки, вдруг отрезвел, на мгновение остановился и уже не столь решительно направился к двери, ключ от которой держал в другой руке. Но тут звон второго разбитого окна и приближающиеся шаги жены вновь разожгли его воинственный пыл; он настезь распахнул тяжелую дверь и встал на пороге с обнаженной шпагой, подобно архангелу у входа в земной рай.

— Что нужно здесь этому потаскуну, этому гнусному пьянице, этому дебоширу?! — завопил он голосом, который, возьми он на два тона ниже, показался бы, пожалуй, немного дрожащим. — Разве ведут себя так с порядочными людьми? А ну-ка немедленно убирайтесь отсюда, ступайте дрыхнуть на задворки кладбища с такими же пьяницами, как вы! А не то созову сейчас всех соседей и стражу, дабы вас забрали в узилище!

— Ах, вот ты как теперь запел, петушок? Тебя что, нынче вечером через трубу накачали? Что ж, это совсем другое дело... а мне, ей-богу, даже нравится, когда ты выражаешься так торжественно, как в трагедии, словно Траншмонталь — смелых я люблю... Иди, иди сюда, дай я тебя обниму, ты, хиляк несчастный...

— Убирайся отсюда, прощельга! Слышишь, уже все соседи проснулись, сейчас тебя отведут на ближайшую гауптвахту как вора и нарушителя спокойствия! Убирайся

вон отсюда! Перестань сейчас же бесчинствовать я чтоб я тебя здесь больше не видел!

Однако, несмотря на эти вопли, солдат, пробираясь между столбами галереи, подходил все ближе и ближе, что заставило Эсташа под конец немного понизить тон.

— Славно поговорили, — сказал ему стрелок, — что ж, по заслугам и честь. А я в долгу не останусь!

И не успел Эсташ глазом моргнуть, как солдат оказался совсем рядом и вдруг шелкнул молодого суконщика по носу, да так, что он мгновенно вздулся и стал багрового цвета.

— Получи-ка сполна, сдачи не надо, — крикнул он. — До скорого свидания, милый дядюшка!

Подобного оскорбления, более унижительного, чем если бы то была пощечина, Эсташ уже стерпеть не мог, тем более на глазах молодой супруги, и, несмотря на все ее усилия удержать его, бросился на своего противника и нанес ему такой удар шпагой, которым мог бы гордиться отважный Роже, будь эта шпага *бализардой*, но она успела затупеть еще во времена религиозных войн и не причинила этому негодяю солдату ни малейшего вреда; и более того, он тотчас же схватил обе руки Эсташа в свои руки и так их сжал, что шпага в одно мгновение очутилась на земле, а вслед за тем несчастный стал орать не своим голосом, бешено пиная ногами мягкие сапоги своего *мучителя*.

К счастью, в дело вмешалась Жавотта, ибо соседи, смотревшие во все глаза изо всех окон на этот поединок, отнюдь не собирались спуститься вниз, чтобы прекратить его, и Эсташ, вырвав наконец из сжимавших их тисков свои посиневшие и помертвевшие пальцы, вынужден был долго тереть их, дабы вернуть им естественную форму.

— Не боюсь я тебя! — крикнул он в бешенстве. — И мы с тобой еще встретимся! Завтра же утром, если только ты не трус, жду тебя в Пре-о-Клер! В шесть утра, шатун несчастный, и там посмотрим — кто кого, головорез ты такой!

— Место ты выбрал неплохое, храбрый мой вояка, будем драться по всем правилам, что твои дворяне! Итак, до завтра, и, кланюсь святым Георгием, ночь покажется тебе короткой!

Стрелок произнес эти слова уже несколько более уважительным тоном, чем прежде. Эсташ гордо повернул-

ся к жене: после своего вызова он сразу почувствовал себя выше ростом. Он подобрал шпагу и с грохотом захлопнул дверь.

Глава девятая ШАТО-ГАЙАР

Проснувшись рано утром, молодой суконщик почувствовал, что от вчерашнего его воинственного пыла не осталось и следа; он вынужден был себе признаться, что, с его стороны, было нелепо вызывать стрелка на поединок, ибо, кроме разве портновского аршина, которым в годы ученичества он, случалось, фехтовал с товарищами во дворе картезианского монастыря, он никогда не держал в руках никакого оружия. Поэтому он решил никуда не ходить, пусть тот молокосос останется в дураках и вышагивает себе сколько душе угодно взад и вперед по аллеям Пре-о-Клер.

Когда пришел назначенный час, он вылез из своей постели, открыл лавку, ни словом не обмолвившись о вчерашней сцене с женой, которая, со своей стороны, тоже о ней не вспоминала. Они в молчании позавтракали, после чего Жавотта, как обычно, отправилась под красный навес, оставив мужа и служанку осматривать новую штуку сукна, чтобы определить ее качество. Нужно все же сказать, что Эсташ то и дело бросал беспокойные взгляды на дверь, со страхом ожидая появления грозного своего родственника, который станет упрекать его в том, что он трус и не верен своему слову. И вот, около половины девятого, вдали, под столбами галереи, показался мундир конного стрелка, еще окутанный тенью, наподобие рейтара с полотна Рембрандта, на котором различаешь всего три светлых пятна — каску, кольчугу и нос. Это зловещее видение, быстро увеличиваясь в размере, становилось все отчетливее, по мере того как солдат приближался, звонко чеканя шаг, словно отбивая минуты последнего часа суконщика.

Но хоть мундир был тот же, надет он был совсем на другом, говоря же попросту, это был не сам стрелок, а его товарищ, который остановился подле лавки Эсташа, с трудом приходившего в себя после пережитого страха, и обратился к нему с весьма спокойной и учтивой речью.

Прежде всего он сообщил, что его противник, тщетно прождав в назначенном месте два часа и, полагая, что

какие-то непредвиденные обстоятельства помешали ему явиться на место встречи, поручил уведомить одного противника, что будет ждать его завтра в тот же час, в том же месте, в течение такого же времени, а если и на сей раз не дожидается, сам явится сюда в лавку, отрежет противнику оба уха и засунет их ему в карман, как поступил в 1605 году знаменитый Брюске с конюшим герцога де Шеврез в таком же точно случае, что было признано тогда свидетельством его хорошего вкуса и снискало высокое одобрение двора.

На это Эсташ ответил, что напрасно противник усомнился в его мужестве и позволяет себе подобные угрозы, за которые ему придется ответить вдвойне. К этому он добавил, что не явился на место встречи лишь потому, что у него не было достаточно времени, чтобы найти человека, который согласился бы быть его секундантом.

Тот, казалось, вполне удовлетворился этим объяснением и любезно посоветовал торговцу поискать секунданта на Новом мосту перед Самаритянкой, где они обычно гуляют, — люди эти не имеют других занятий и охотно берутся за одно экю в любой ссоре принять любую сторону и даже приносят шпаги. После всех этих разъяснений он отвесил глубокий поклон и удалился.

Оставшись один, Эсташ стал раздумывать, как ему теперь быть, и долго терзался сомнениями, к какому из трех выходов лучше прибегнуть — сначала он хотел тотчас же отправиться к помощнику верховного судьи сообщить ему о поведении солдата и испросить позволения в целях самозащиты пустить в ход оружие; но в этом случае ему все равно не миновать было поединка. Потом он подумал, что разумнее все же явиться на поединок, заблаговременно предупредив о нем сержантов, чтобы те могли успеть как раз к его началу; но ведь сержанты могли и опоздать, и прийти, когда все уже будет кончено. Наконец ему пришло в голову, что стоит, быть может, обратиться за советом к цыгану с Нового моста, и решил, что это, пожалуй, самое лучшее.

В полдень служанка заменила Жавотту под красным навесом, и та пришла обедать с мужем; во время трапезы он ничего не сказал об утреннем посетителе, но после обеда попросил посидеть в лавке, пока он сходит к одному приезжему дворянину, который собрался заказывать себе платье. И взяв с собой мешок с образчиками, он направился к Новому мосту.

Шато-Гайар, расположенный на самом берегу у юж-

ного конца моста, представлял собой небольшое здание с круглой башней, служившей в былые времена тюрьмой, но которое начало уже разрушаться, давать трещины и могло служить жилищем лишь тем, у кого не было никакого другого приюта. Побродив вокруг, то и дело спотыкаясь о камни, которыми усеяна была здесь земля, Эсташ наконец заметил маленькую дверь, к которой прибитая была высохшая летучая мышь. Он потихоньку постучал, и ему тотчас же открыла обезьяна мэтра Гонена, отодвинувшая изнутри щеколду, как она приучена была это делать, подобно некоторым домашним кошкам.

Фокусник сидел за столом и читал. Он поднял голову и с важным видом сделал гостю знак, чтобы тот сел на табуретку. Эсташ рассказал обо всем, что с ним случилось, и цыган, выслушав его, заявил, что страшного здесь ничего нет, бывают вещи и похуже, но он хорошо сделал, что обратился к нему.

— Так вы хотите, чтобы я дал вам *чародейственное* средство, которое поможет вам одержать верх над вашим противником, — сказал он, — вы ведь этого хотите, не так ли?

— Да, конечно, если только это возможно.

— В наши дни всякий, кому не лень, берется изготавливать такие средства, но более верных, чем мои, вы ни у кого не найдете. Я готовлю эти зелья не с помощью нечистого, как иные, а следуя предписаниям белой магии, и они ни в коей мере не могут воспрепятствовать спасению души.

— Вот это хорошо, — сказал Эсташ, — а то я боялся бы им воспользоваться. Но сколько стоит это ваше чудодейственное средство? Я прежде должен знать, будет ли мне это по карману?

— А вы подумайте сами, ведь это вы себе не что-нибудь, а жизнь покупаете, да еще и славу победителя в придачу. Как, по-вашему, можно за две таких превосходных вещи потребовать меньше ста эку?

— Чтобы сто чертей тебя взяли, — пробормотал Эсташ, и лицо его омрачилось. — Нет у меня таких денег. А на что мне жизнь, если у меня не будет куска хлеба, и к чему мне слава, если нечего будет надеть на себя. И потом, может быть, все это одно шарлатанство, лживое обещание, какими вы заманиваете доверчивых дураков.

— Вы заплатите, только потом.

— Если так, то пожалуй... Ну хорошо, что я должен буду дать вам в залог?

— Только вашу руку.

— Но, погодите... Нет, я положительно дурак, что слушаю ваши басни! Не вы ли мне давеча предсказали, что я кончу свою жизнь в петле?

— Да, предсказал, не отрицаю.

— Но если так, чем может мне грозить этот поединок?

— Да ничем, разве что колотой или рваной раной, чтобы душе вашей легче было выйти на волю. А после этого вас поднимут и без лишних слов вздернут на *перекладине* мертвым или живым, как того требует указ; и таким образом все случится, как я предсказал. Понимаете вы это?

Суконщик так хорошо на этот раз понял, что тут же протянул фокуснику руку в знак согласия; он только попросил дать ему десять дней срока, чтобы раздобыть требуемую сумму, и тот согласился, записав на стене число, к которому Эсташ обязывался принести деньги. Засим он взял книгу Альберта Великого с комментариями Корнелия Агриппы и аббата Тритемия, открыл ее на разделе «Особые поединки» и, чтобы окончательно убедить своего пациента, что не станет прибегать к помощи нечистой силы, сказал, что тот может, если ему угодно, читать в течение всей операции молитвы, не опасаясь, что они помешают чародейству. Потом он сдвинул крышку с какого-то ларя, вытащил оттуда простой глиняный горшок и стал смешивать в нем разные ингредиенты, видимо, указанные в книге, бормоча себе под нос нечто напоминающее песнопение. Кончив, он взял правую руку Эсташа, который левой непрерывно осенял себя крестным знамением, и натер руку до кисти тем зельем, которое только что составил.

Затем из того же самого ларя он вынул очень старый и очень грязный флакон и, медленно его опрокидывая, вылил несколько капель на тыльную сторону ладони, шепча при этом какие-то латинские слова, напоминающие те, что произносят священники при обряде крещения.

И только тогда Эсташ вдруг ощутил, будто руку его от самого плеча внезапно пронзило электричеством, и очень испугался; вся рука словно онемела, и вместе с тем ее странным образом вдруг скрючилось, потом она несколько раз вытянулась, как проснувшийся зверь, так что хрустнули все суставы, затем все эти ощущения

прекратились, ток крови, казалось, восстановился, и мэтр Гонен торжественно воскликнул, что все готово, дело сделано и теперь Эсташ может драться на шпагах с самыми *отъявленными дуэлянтами*, как придворными, так и военными, и продырявливать на них петли для всех тех бесполезных пуговиц, которыми обременила их мода.

Глава десятая ПРЕ-О-КЛЕР

На следующее утро по зеленым аллеям Пре-о-Клер шли четыре человека; они искали какие-нибудь уединенное место, где можно было бы скрестить шпаги. Дойдя до невысокого холма, который с юга ограничивает этот уголок Парижа, они остановились на небольшой площадке, предназначенной для игры в шары, которая показалась им наиболее подходящим местом. Здесь Эсташ и его противник сбросили с себя верхнее платье, а секунданты, как это тогда полагалось, обшарили обоих *под рубашкой и под штанами*. Суконщик, разумеется, был немного взволнован, но он твердо верил в колдовское зелье цыгана; ибо известно, что вера во всякого рода чары, магические заклинания, приворотные зелья и порчу посредством колдовства никогда не была так сильна, как в ту эпоху, и породила множество судебных процессов, которыми заполнены судебные книги тех времен и в которых сами судьи разделяли эту веру.

Секундант Эсташа, которого он нанял на Новом мосту за одно эю, отвесил глубокий поклон секунданту стрелка и спросил его, не собирается ли и он драться, и когда тот ответил, что не собирается, спокойно отошел в сторонку, чтобы лучше видеть дуэлянтов.

Все же у суконщика засосало под ложечкой, когда его противник отсалютовал ему шпагой. В ответ он даже не шелохнулся. Он стоял неподвижно, держа прямо перед собой шпагу, словно свечку, и выглядел до того испуганным, что стрелку, который в душе был неплохим малым, стало его жаль, и он решил нанести ему лишь легкую царапину и этим ограничиться. Но едва только их шпаги соприкоснулись, как Эсташ заметил, что кисть его руки с неудержимой силой увлекает вперед всю руку вместе с плечом и словно неистовствует, уже против его воли. Вернее сказать, свою кисть он ощущал только по тому мощному воздействию, которое она оказы-

вала на мускулы всей руки; движения ее имели такую сокрушительную силу и гибкость, которую можно было сравнить лишь с развернувшейся стальной пружиной. Одно движение — и солдату, только еще собравшемуся отразить удар противника в положении терца, в одно мгновение разmozжило запястье; следующий удар из положения кварта отшвырнул его шпагу на десять шагов, в то время как шпага Эсташа, ни на мгновение не останавливаясь, тем же движением пронзила несчастного насквозь с такой неистовой силой, что вошла в него целиком по самую рукоять. Эсташ не успел даже сделать выпада — рука увлекла его вперед столь неожиданно, что он растянулся во всю длину и сломал бы себе голову, если бы не свалился прямо на тело противника.

— Черт подери, ну и ручища! — вскричал секундант солдата. — Да этот малый заткнул бы за пояс самого Дуболома! А на вид-то ни кожи ни рожи. Но твердость руки — просто небывалая! Это будет пострашнее Уэльского стрелка...

Между тем Эсташ с помощью своего секунданта поднялся на ноги и стоял совершенно оторопелый, не понимая, что же произошло; но когда он пришел в себя и явственно увидел у своих ног мертвого стрелка, пригвожденного его шпагой к земле, подобно жабе в магическом круге, он бросился бежать со всех ног, позабыв на траве свою праздничную куртку, обшитую шелковым позументом.

И так как стрелок был бесповоротно мертв, обоим секундантам не было никакого резона оставаться дальше на поле боя, и они тоже поспешили удалиться.

Однако, не пройдя и ста шагов, секундант с Нового моста остановился и сказал, хлопнув себя по лбу:

— Пстой, совсем забыл, там ведь еще шпага осталась, которую я ему одолжил.

Спутник его пошел дальше, а он вернулся на место сражения и принялся обшаривать карманы мертвеца, однако ровно ничего не нашел, кроме игральных костей, обрывка веревки да колоды карт с загнутыми уголками.

— *Ни шиша...* и тут тоже ни ш и ш а, — бормотал он, — еще один голодранец, у которого ни денжат, ни тикалки! Прах тебя поberi, чертов *пицальник!*

Энциклопедическая осведомленность нашего века избавляет нас от необходимости разъяснять в этой фразе

какое-либо слово, кроме разве последнего, которое намекает на ремесло покойного.

Не осмеливаясь взять что-либо из военного платья, продавая которое он мог бы попасться, секундонт стащил со стрелка сапоги, связал их в один узел с курткой Эсташа и, спрятав под своим плащом, удалился, недовольно ворча.

Глава одиннадцатая НАВАЖДЕНИЕ

Несколько дней суконщик не выходил из дома, глубоко опечаленный трагической смертью, виновником которой он был, сокрушаясь, что убил человека не за столь уж тяжкие провинности, да еще при помощи средства, достойного осуждения и наказания как на этом, так и на том свете. Минутами ему начинало казаться, что все это был просто сон, и, когда бы не неопровержимое свидетельство — *блистающая своим отсутствием* куртка, оставленная им на траве, он готов был бы усомниться в твердости собственной памяти.

Наконец как-то вечером его охватило желание воочию увидеть то место, где все это произошло, и он под предлогом прогулки отправился на Пре-о-Клер. Когда он увидел знакомую площадку для игры в мяч, где состоялся поединок, все поплыло у него перед глазами и он вынужден был сесть; на площадке, как обычно перед ужином, играли партию в шары прокуроры, и когда туман, заволокший ему глаза, рассеялся, он отчетливо увидел на утопанной земле между ногами одного из игроков широкую полосу крови.

Содрогнувшись, он вскочил и поспешил прочь от этого места, но перед глазами его неотступно стояло багровое пятно, которое, не меняя своих очертаний, вырисовывалось на всем, на чем по пути останавливался его взгляд, подобно тем серо-желтым пятнам, которые еще долго маячат перед нашим взором после того, как мы пристально посмотрим на солнце.

Когда он возвращался домой, ему показалось, что кто-то идет за ним следом; и тут только он подумал, что люди из особняка королевы Маргариты, мимо которого он проходил и в то самое утро, и сейчас, вечером, могли его заметить; и хотя указы о поединках в то время не слишком строго исполнялись, он подумал, что им

ничего не будет стоить повесить какого-то жалкого торговца для острастки придворных дуэлянтов, которых тогда не так за это преследовали, как стали делать это позднее.

Обуреваемый этой мыслью и еще многими другими, он провел весьма тревожную ночь; стоило ему закрыть глаза, как перед ним одна за другой проплывали ужасные виселицы, на веревках которых болтались то корчащийся от хохота мертвец, то скелет, все кости которого четко обрисовывались на широком лике полной луны. И вдруг ему пришла счастливая мысль, которая сразу прогнала страшные видения. Эсташ вспомнил о помощнике верховного судьи, старом клиенте его тестя, который и ему однажды оказал довольно благожелательный прием. И он решил завтра же отправиться к нему и рассказать ему все, что было, уверенный, что тот захочет защитить его, хотя бы ради Жавотты, которую когда-то, когда она была маленькой, гладил по головке, да и ради самого мэтра Губара, к которому относился с уважением. Успокоенный этой надеждой, бедный торговец наконец уснул и спокойно проспал до утра.

На следующий день около девяти часов Эсташ уже стучал в дверь дома на площади Дофина. Слуга, полагая, что он явился снять мерку или предложить новый товар, тотчас же препроводил его к своему хозяину, который, развалясь в большом кресле, услаждал себя чтением. Он держал в руках старинную поэму Мерлина Коккаи, упиваясь рассказом о проделках Балда, доблестного прототипа Пантагрюэля, но еще больше восхищаясь беспримерной изворотливостью и остроумными выходками Сингара, этого забавника, по образцу которого так удачно выкроен наш Панург.

Мэтр Шевассю только что дошел до истории с баранами, от которых Сингар освобождает судно, бросив в море купленного им барана, вслед за которым прыгают в море и все остальные; но заметив посетителя, он положил книгу на стол и повернулся к своему поставщику в самом лучшем расположении духа.

Он стал расспрашивать Эсташа о здоровье его супруги и тестя, пересыпая свои вопросы обычными солеными шуточками, касающимися его нового положения новобрачного. Молодой человек воспользовался этим, чтобы заговорить о цели своего прихода — он рассказал о ссоре со стрелком и, ободренный отеческим видом, с которым слушал его судья, сознался в печальном финале этой ссоры. Судья воззрился на него с таким изумлением, как

если бы стоящий перед ним человек был не Эсташ Бутру, торговец с Крытого рынка, а добрый великан Фракас из его книги. Хотя ему уже донесли, в чем подозревают вышеупомянутого Бутру, он не придал этим донесениям никакой веры, ибо представить себе не мог, что удар шпаги, пригвоздивший к земле королевского стрелка, мог быть нанесен каким-то жалким торговцем ростом с Грибуяй или Трибуле.

Однако теперь, когда у него не было никаких сомнений в его виновности, он стал успокаивать бедного суконщика: он пообещал, что сделает все возможное, чтобы эту историю замять, отвести от него подозрения судейских, и уверил его, что в скором времени, если только не донесут свидетели, тот сможет жить спокойно, не опасаясь веревочного ошейника.

Мэтр Шевассю даже проводил его до двери, повторяя ему свои обещания, как вдруг, смиренно прощаясь с ним, Эсташ неожиданно для себя отвесил судье такую зубодробительную пощечину, что у того лицо стало подобным гербу Парижа — наполовину красным, наполовину синим, и он, совершенно оглушенный, разинув в изумлении рот, подобно рыбе, выброшенной на сушу, не в состоянии был произнести ни слова.

Несчастный Эсташ пришел в такой ужас от своего поступка, что бросился к ногам судьи, умоляя в самых жалостных словах и трогательных выражениях простить его непочтительность и клянясь, что это было следствием какой-то неожиданной и непровольной судороги, в которой он неповинен, и прося его о милосердии, как просил бы самого бога. Старик поднялся, не столько даже возмущенный, сколько изумленный, но едва встал он на ноги, как рука Эсташа снова ударила его наотмашь на этот раз уже по другой щеке с такой силой, что вся пятерня его запечатлелась на ней, в виде глубокой *вмятины*, которая могла бы служить ей формой.

На этот раз это было уже невыносимо, и мэтр Шевассю бросился к звонку, чтобы позвать слуг; но суконщик устремился вслед за ним, продолжая осыпать его оплеухами, что являло собой престранное зрелище, потому что вслед за оглушительной пощечиной, которой он награждал своего благодетеля, несчастный всякий раз, задыхаясь и обливаясь слезами, молил о прощении, и это составляло поистине забавный контраст с его действиями; но напрасно пытался бедняга противиться тем порывистым движениям, к которым понуждала его рука.

Он напоминал ребенка, держащего за веревку привязанную за ногу большую птицу. Птица тащит перепуганного малыша во все углы комнаты, а он и не смеет отпустить ее, и не в силах ее удержать. Так и рука несчастного Эсташа тянула его вслед за помощником верховного судьи, который бегал вокруг столов и стульев и звонил, и кричал, и звал, изнемогая от боли и ярости. Наконец вбежавшие слуги схватили Эсташа Бутру и повалили наземь, измученного и задыхающегося. Ни в какую белую магию мэтр Шевассю не верил и не мог объяснить все происшедшее чем-либо иным, кроме как желанием молодого человека по непонятным причинам подшутить и поиздеваться над ним. Посему он немедленно велел вызвать сержантов, которым и передал нашего героя по двойному обвинению — в убийстве человека на поединке и в нанесении оскорблений действием, причиненных судье в собственном его жилище. Эсташ пришел в себя, только услышав лязг ключей, которыми открывали для него тюремную камеру.

— Я не виноват! — закричал он стражнику, который втолкнул его туда.

— Еще бы, черт возьми, — спокойно отозвался тот, — куда же, вы думаете, попали? Здесь других и не бывает — все невиновны.

Глава двенадцатая ОБ АЛЬБЕРТЕ ВЕЛИКОМ И О СМЕРТИ

Эсташа посадили в одну из тех камер тюрьмы Шатле, о которой когда-то говорил Сирано, что, сидя здесь, он сам себе напоминает свечу под кровососной банкой.

— Если мне дадут эту оболочку в качестве одежды, — сказал он, сделав в ней пируэт, — то она слишком широка, а если в качестве гроба — слишком узка. У здешних клопов зубы длиннее их тел, и меня все время мучают колики, хотя камень и не внутри, а снаружи.

Оказавшись здесь, наш герой без конца размышлял о несчастной своей доле и без конца проклинал роковое зелье фокусника, по вине которого его рука утратила естественную связь с головой, невольным следствием чего и явились все произведенные ею бесчинства. Поэтому он чрезвычайно удивился, когда в камере его неожиданно появился цыган и спокойным тоном спросил, как он себя чувствует.

— Черт бы повесил тебя вместе с твоими потрохами и, — отвечал Эсташ, — за твои трижды проклятые чары, окаянный колдун, бахвал проклятый!

— А в чем, собственно, дело, — отвечал тот, — разве это я виноват, что вы не пришли на десятый день принести условленную сумму, чтобы я мог снять с вас эти чары?

— Ха! Откуда же мне было знать, что деньги понадобятся вам так скоро, — сказал Эсташ уже менее сердитым тоном. — Вы ведь можете делать золото, когда вам вздумается, подобно писателю Фламелью.

— О нет! — отвечал тот. — Совсем напротив; несомненно, в конце концов мне удастся совершить это великое открытие, я уже на верном пути, но пока мне только еще удастся превращать тонкое золото в очень хорошее и чистое железо — сей секрет открыт был великим Раймундом Луллием уже на самом исходе его дней.

— Великая вещь — наука, — произнес суконщик, — ну так что же? Все-таки, значит, вы пришли вызволить меня отсюда! Вот и хорошо! У меня, признаться, уже не было надежды...

— Вот здесь-то как раз и загвоздка, друг мой! У меня-то есть надежда — надежда в самом скором времени обрести средство открывать все двери без ключей и входить и выходить, куда и как мне вздумается, и я сейчас открою вам, с помощью какой операции я сумею этого достигнуть.

С этими словами цыган вытащил из кармана уже известную нам книгу Альберта Великого и, приблизив к ней фонарик, который принес с собой, прочел вслух параграф «Сильнодействующее средство, коим пользуются злодеи, дабы проникать в дома»: «Взять руку, отрезанную у повешенного и купленную у него до его смерти, поместить оную руку в медный тигель с цимагом и селитрой, смешанными с жиром spondillis, поставить на сильный огонь, разведенный на папоротнике и вербене, продержать там четверть часа, после чего рука будет совершенно высохшей и может долго сохраняться. Затем, отлив свечу из тюленьего жира и лапландского кунжута, вставить зажженную свечу в сию руку, как в подсвечник. И всюду, куда вы пойдете, держа ее перед собой, будут рушиться все преграды, разверзаться все замки, и встреченные люди будут стоять недвижимо.

Приготовленная таким образом рука нарекается рукой славы».

— Какое прекрасное изобретение! — воскликнул Эшташ Бутру.

— Одну минуту; хоть вы мне свою руку не продали, тем не менее она принадлежит мне, поскольку вы не выкупили ее в назначенный срок и доказательством чего является то обстоятельство, что, как только означенный срок миновал, рука, послушная силе, которой была одержима, повела себя так, чтобы я как можно скорее мог воспользоваться ею. Завтра вы будете присуждены к повешению. Послезавтра приговор будет приведен в исполнение, и в тот же вечер я сорву сей вожделенный плод и использую, как нужно.

— Ну уж дудки! — воскликнул Эшташ. — Я завтра же открою господам судьям эту тайну.

— Что ж, прекрасно, откройте... Только тогда вас сожгут заживо за то, что вы имели дело с белой магией, и это заранее причит вас к той сковородке, на которой станет поджаривать вас господин дьявол. Впрочем, нет, все равно этого не случится, ибо ваш гороскоп предвещает вам виселицу. Этого уже ничто не может теперь предотвратить!

Тут несчастный Эшташ начал так громко стенать и так горько плакать, что на него просто жалко было смотреть.

— Ну-ну, дорогой друг, — ласково сказал ему мэтр Гонен, — зачем же так противиться судьбе?

— Святая дева! Хорошо вам говорить, — всхлипывал Эшташ, — когда смерть уже тут, совсем рядом!..

— Э, полно! Что такое в конце концов смерть, чтобы так ее страшиться? «Никто не умирает раньше назначенного срока», — говорит Сенека-трагик. Разве один вы стоите в вассалах у этой курносой дамы? И я тоже, и этот, и тот, и третий, и Мартин, и Филипп! Смерть ни с кем не считается. Она так бесстрашна, что приговаривает, убивает и хватает подряд всех — пап, императоров и королей, прево, сержантов и прочий подобный сброд. Так не печальтесь же, что вам придется сделать то, что предстоит сделать и другим, но только попозже; они куда более достойны сожаления, ибо если смерть — это несчастье, то лишь для того, кто ее ожидает. А вам осталось терпеть всего один день — другим придется терпеть двадцать или тридцать лет, а то и побольше.

«Тот час, когда дана была тебе жизнь, уже укоротил ее», — сказал один древний. Живя, человек умирает, ибо

когда он перестает жить — он уже мертв. Или, если выразить эту мысль вернее и уж закончить ее, «жив ты или мертв — смерть не имеет к тебе отношения, потому что когда ты жив, ты есть, а когда мертв — тебя нет».

Удовольствуйтесь же этими рассуждениями, мой друг, да придадут они вам мужество испить сию горькую чашу без особых гримас, и поразмышляйте на досуге над прекрасным стихом Лукреция, смысл которого таков: «На волос даже нельзя продлением жизни уменьшить длительность смерти и добиться ее сокращения».

После всех этих прекрасных афоризмов, извлеченных из древних и из новых авторов, разжиженных и подделанных под вкус своего времени, мэтр Гонен поднял фонарик, постучал в дверь камеры, которую стражник тут же открыл ему, и мрак вновь окутал узника своей свинцовой ризой.

Глава тринадцатая, В КОТОРОЙ БЕРЕТ СЛОВО АВТОР

Лица, коим угодно будет познакомиться со всеми подробностями процесса Эсташа Бутру, найдут их в «Памятных постановлениях Парижского суда», хранящихся в библиотеке рукописей, и отыскать которые вам со свойственной ему всегдашней любезностью поможет г-н Парис. Материалы этого судебного процесса стоят по алфавиту перед судебным процессом барона де Бутвиля, тоже весьма любопытным, благодаря необычным обстоятельствам его поединка с маркизом де Бюсси, ради которого он, пренебрегая всеми постановлениями о дуэлях, нарочно приехал из Лотарингии в Париж и дрался там прямо на Королевской площади в три часа пополудни и в первый день пасхи (1627). Но не об этом хотим мы сказать. В судебном процессе Эсташа Бутру говорится лишь о поединке и об оскорблении действием, нанесенном помощнику верховного судьи, но ничего не сказано о колдовских чарах, явившихся причиной всех этих беспорядков. Зато в одном примечании к другим документам имеется ссылка на «Собрание трагических историй» Бельфоре (гаагское издание, поскольку руанское является неполным), и именно здесь нашли мы подробности, которые нам остается изложить, чтобы закончить эту историю, которую Бельфоре довольно удачно озаглавил «Одержимая рука».

Глава четырнадцатая ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утром в день казни к Эсташу, которого перевели ради этого в немного лучше освещенную камеру, явился проповедник и пробормotal несколько слов утешения, столь же отвлеченных и столь же хорошего вкуса, как и те, кои расточал ему цыган и которые на него так же мало подействовали. Этот священник по происхождению своему принадлежал к тем дворянским семьям, в которых один из сыновей непременно бывает аббатом; у него был вышитый нагрудник, выхоленная остроконечная бородка и весьма изящно закрученные кверху усы; волосы у него были завиты, и он слегка шепелявил, стараясь придавать своей речи как можно более жеманный характер. Эсташ не смел признаться этому легкомысленному щеголю в своем «грехе» и понадеялся на собственные молитвы, дабы вымолить за него прощение.

Священник отпустил ему грехи и, чтобы как-то провести это время, поскольку ему полагалось оставаться подле приговоренного не менее двух часов, дал ему книгу под названием «Слезы раскаявшейся души, или Возвращение грешника к господу богу своему». Эсташ открыл книгу как раз на той главе, где говорилось о преимущественном праве короля, и начал читать ее с превеликим душевным сокрушением начиная со слов: «Мы, Генрих, король французский и наваррский сим возвещаем любезным друзьям и вассалам нашим...» и до фразы: «...по сим причинам споспешествовать желая благу вышеназванного истца...» Тут он невольно разрыдался и вернул священнику книгу, говоря, что это слишком уж умирительно и он боится совсем растрогаться, если станет читать дальше. Тогда духовник вытащил из кармана колоду весьма красиво расписанных карт и предложил Эсташу сыграть две-три партии, в ходе которых выиграл у него ту небольшую сумму, которую переслала ему Жавотта, чтобы хоть чем-нибудь облегчить его участь. Бедняга играл весьма рассеянно, и, надо сознаться, проигрыш не слишком его огорчил.

В два часа дня он вышел из Шатле, дрожа как осинный лист и бормоча молитвы; его отвели на площадь Августинцев, где между двумя арками, одна из которых вела на улицу Дофина, а другая — к Новому мосту, стояла каменная виселица, коей его удостоили. Он довольно твердо поднялся по лестнице, ибо кругом толпи-

лось множество людей, поскольку это было одно из наиболее посещаемых мест казни. Но так как, готовясь совершить этот «большой прыжок в никуда», каждый старается оттянуть время, в ту самую минуту, когда палач уже приготовился накинуть на шею приговоренному веревку с таким торжественным видом, словно у него в руках было золотое руно, ибо люди этого рода занятий, выполняющие свои обязанности на виду у публики, выказывают в каждом своем движении большую ловкость и даже изящество, Эсташ стал просить его повременить еще минуту, пока он помолится св. Игнатию и св. Людовику де Гонзаг, которых, молясь всем другим святым, он оставил на конец, поскольку к лику святых их причислили лишь в этом, 1609 году. Однако палач ответил на это, что у собравшихся здесь людей есть свои дела и неучтиво заставляя их ждать так долго столь незначительного зрелища, как обыкновенное повешение; и, натянув веревку, он столкнул Эсташа с лестницы, прервав на полуслове его возражение.

Говорят, будто, когда все было уже кончено и палач собрался уходить, в амбразуре одного из окон Шато-Гайар, выходящего на площадь, показалась фигура мэтра Гонена. И тотчас же, хотя тело суконщика было уже совершенно вялым и безжизненным, плечо его вдруг зашевелилось и рука радостно встрепенулась и задвигалась, словно хвост собаки, увидевшей своего хозяина. Общий крик удивления пронесся по толпе, и те, что стали уже уходить с площади, поскорее вернулись обратно, подобно зрителям, считавшим пьесу уже конченной, между тем как еще остался целый акт.

Палач вновь приставил к виселице свою лестницу и пощупал ноги повешенного у лодыжек — пульса уже не было; он перерезал артерию — не было и крови. А рука между тем все продолжала свои судорожные движения.

Человека в красном трудно было удивить; он счел своим долгом еще влезть повешенному на плечи, вызвав насмешливые возгласы публики; но рука обошлась с его прыщавой физиономией с той же непочтительностью, какую она проявила по отношению к мэтру Шевассю, и тогда палач с громким проклятием вытащил широкий нож, который всегда носил под своей одеждой, и двумя ударами отрубил «одержимую» руку.

Она стремительно подпрыгнула и, сделав огромный скачок, упала, вся окровавленная, в самую гущу толпы, которая в ужасе отпрянула, разделившись надвое; тогда,

опираясь на гибкие свои пальцы, она сделала еще несколько гигантских прыжков и, так как все расступались перед ней, скоро оказалась у подножья башенки Шато-Гайар; и здесь, подобная крабу, цепляясь пальцами за шероховатости и выбоины стены, она доползла до амбразуры того окна, за которым ждал ее цыган.

Этим странным концом Бельфоре обрывает свой рассказ и завершает его следующими словами: «Эта история, записанная, сопровождаемая комментарием, снабженная различными примечаниями, в течение долгого времени служила предметом всяких толков как в компаниях приличных людей, так и среди народа, который всегда падок до рассказов о необычных и сверхъестественных событиях. Но очень возможно, что это лишь одна из тех занимательных историй, которыми забавляют детей, сидя у камелька, и которым люди положительные и здравомыслящие не должны придавать особенной веры».

ЗЕЛЕНОЕ ЧУДОВИЩЕ

I

Я расскажу вам сейчас об одном из самых древних обитателей Парижа; когда-то его называли «зеленым бесом», «бесом Вовером». Отсюда и поговорки: «Это у беса Вовера», «А поди-ка ты к бесу Воверу!»

Другими словами: «А поди-ка ты к... сам знаешь куда!»

Привратники, те обычно говорят: «Да это у самого беса Вовера в трубе», когда хотят дать вам понять, что место, куда вы посылаете их с поручением, где-то у черта на куличках. И это означает, что надобно хорошенько уплатить им за услугу. Но это, кроме того, еще весьма дерзкое и неприличное выражение, как и некоторые другие, коими охотно пользуются парижские простолюдины.

Бес Вовер — исконный житель Парижа и живет он в нем, если верить историкам, уже много-много веков. Соваль, Фелибьен, Сент-Фуа и Дюлор подробно рассказали нам о его похождениях.

Судя по всему, он квартировал сперва в замке Вовер, который расположен был на том самом месте, где в наши дни находится танцевальный зал «Шартрез», по ту

сторону Люксембургского сада и насупротив аллей Обсерватории, что на улице Ада.

Этот замок, пользовавшийся недоброй славой, частично был разрушен, а его развалины использованы для служебной пристройки картезианского монастыря, в каковой пристройке в 1414 году скончался Жан де ла Люн, племянник антипапы Бенедикта XIII. Жана де ла Люна заподозрили в сношениях с неким бесом, который, возможно, был постоянным домовым разрушенного замка Вовер, поскольку каждое здание подобного рода, как известно, имело своего собственного домового.

Историки не оставили нам никаких точных сведений об этом интересном периоде.

Снова о бесе Вовере заговорили уже в эпоху Людовика XIII. Долгое время каждый вечер в одном из домов, построенных из обломков бывшего монастыря, владельцы которого давно уже там не жили, слышался какой-то дикий грохот.

И это очень пугало соседей.

Они пожаловались на это начальнику полиции, и тот послал туда несколько вооруженных солдат.

Каково же было удивление прибывших воинов, когда в этом грохоте они явственно услышали взрывы хохота перемешку со звоном стекла.

Сперва они подумали, что там пируют какие-нибудь фальшивомонетки, а так как, судя по производимому шуму, их собралось там немало, решено было отправиться за подмогой.

Однако, когда подмога прибыла, стало очевидно, что ее недостаточно: ни один сержант не брался вести своих людей в этот вертеп, где, казалось, бесчинствует целая армия.

Наконец, уже поближе к утру, прибыл большой отряд полицейских; они ворвались в дом. И никого не нашли.

Взошло солнце и рассеяло ночную тьму.

Целый день продолжались поиски, потом кто-то высказал предположение, что шум доносится из винных погребов, которые, как известно, расположены под этим кварталом.

Начали готовиться к новой вылазке; но, пока полиция судила да рядила о плане действий, опять наступил вечер, и поднялся шум пуще прежнего.

На этот раз уже никто не осмеливался спускаться туда, ибо было совершенно очевидно, что в погребе нет

ничего, кроме бутылок, а стало быть, не иначе как это сам черт играет ими в лапту.

Поэтому полицейские удовольствовались тем, что заняли все подходы к улице и обратились к священникам с требованием, чтобы те усерднее молились.

Священники целый день возносили молитвы и даже окропили погреб святой водой, проведя ее туда через отдушину с помощью клистирных трубок.

А шум все не умолкал.

II СЕРЖАНТ

Целую неделю толпа парижан осаждала улицы предместья, пересказывая друг другу всякие ужасы и оживляя новости.

Наконец один сержант, более отважный, чем остальные, предложил спуститься в этот окаянный погреб, при одном, однако, условии, чтобы за это ему назначена была пенсия, которую в случае, если он оттуда не вернется, получит некая белошвейка по имени Марго.

Это был человек весьма храбрый, но не то чтобы слишком доверчивый, а попросту очень уж влюбленный. Он души не чаял в этой белошвейке, которая была изрядной шеголихой и при этом особой весьма расчетливой, можно даже сказать скуповатой: она не желала выходить замуж за простого сержанта, не имеющего ни гроша за душой.

Между тем, получив пенсию, наш сержант стал бы совершенно другим человеком.

Обнадеженный такой возможностью, он воскликнул, что не верует ни в бога, ни в черта и уж как-нибудь совладает с этим шумом.

— Во что же ты веруешь? — спросил его один из товарищей.

— А верую я, — отвечивал он, — только в господина начальника полиции и в господина парижского прево. Умри, лучше не скажешь.

Держа в зубах свою саблю и в каждой руке по пистолету, он осторожно стал спускаться по лестнице.

Поразительно зрелище представилось его глазам, когда он достиг дна погреба.

Все бутылки с увлечением отплясывали сарабанду, образуя собой изящнейшие фигуры.

Те бутылки, что запечатаны были зеленым сургучом, танцевали за кавалеров, а те, что красным, — за дам.

Был здесь даже оркестр — он разместился на полках, предназначенных для хранения бутылок.

Пустые изображали собой духовые инструменты, разбитые тренькали, как цимбалы и стальные треугольники, а надтреснутые издавали звуки, в коих слышалось нечто близкое к проникновенной гармонии скрипок. Сержант, который прежде чем пуститься в это предприятие, успел опрокинуть не один стаканчик для храбрости, при виде пляшущих бутылок совершенно успокоился, развеселился и вслед за ними пошел танцевать.

И, все более подбадриваемый этим веселым и увлекательным зрелищем, открывшимся его взору, он схватил очаровательную бутылку с длинным горлышком, судя по всему с бордосским вином, и любовно прижал ее к своей груди.

Неистовый смех грянул тут со всех сторон; от неожиданности сержант выронил из рук бутылку, которая упала и вдребезги разбилась на тысячу кусков.

Пляска тотчас же остановилась; изо всех углов погреба послышались крики ужаса, и сержант почувствовал, что волосы шевелятся на его голове: пролитое вино, растекаясь, казалось, становится лужей крови.

У его ног было распростерто тело нагой женщины, и ее разметавшиеся белокурые волосы тонули в этой крови.

Явись перед ним сам черт собственной персоной, сержант и то бы не испугался, но это зрелище наполнило его ужасом; однако, сообразив, что, как бы там ни было, а придется же ему отдавать отчет о порученном деле, он схватил бутылку с зеленой головкой, которая словно бы строила ему рожи, и воскликнул: «Хоть эта по крайней мере достанется мне!»

Громовой хохот был ответом на эти слова.

А он тем временем бросился по лестнице наверх и, показывая бутылку товарищам, крикнул им:

«Вон он, домовый-то! А вы все трусливые бабы (он произнес здесь словечко почище), раз боитесь туда спускаться!»

Слова эти были исполнены столь едкой насмешки, что все тут же гурьбой ринулись в погреб. Однако ничего там не обнаружили, кроме одной разбитой бутылки из-под бордо. Остальные бутылки смиренхонько стояла на полках.

Солдаты весьма сокрушались по поводу разлитого вина. Но ничего более не опасаясь, каждый схватил себе по бутылке, и они поспешили наверх.

И каждому позволено было выпить свою.

Сержант сказал:

— А я свою сохраню до дня свадьбы.

Невозможно было отказать ему в обещанной пенсии, он ее получил, женился на своей белошвейке и...

И они народили кучу детей, думаете вы?

Всего лишь одного.

III

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

Во время свадебного пира, который устроен был в Рапэ, сержант поставил пресловутую бутылку с зеленой головкой меж собою и своей молодой женой, строго следя за тем, чтобы никому из нее не наливали, кроме как им двоим.

Бутылка была зеленая, что твоя петрушка, вино было красное, словно кровь.

Прошло девять месяцев и белошвейка произвела на свет маленькое чудовище сплошь зеленого цвета и с красными рожками на лбу.

А вы, юные девицы, ходите-ка, почаще ходите на танцы в бальную залу «Шартрез»... что стоит на месте замка Вовер!

Ребенок меж тем рос себе да рос, прибавляя если не в добронравии, то, во всяком случае, в весе. Две вещи крайне огорчали его родителей: его зеленый цвет и хвостовой отросток, который поначалу казался лишь удлинением копчика, но мало-помалу становился самым настоящим хвостом.

Обратились за советом к ученым; те заявили, что хирургическим путем удалить его невозможно, поскольку это угрожает жизни ребенка. Еще они добавили, что случай этот довольно редкий, но что примеры подобного явления отмечены у Геродота и Плиния Младшего. В ту пору никто еще не предвидел теории Фурье.

Что касается окраски, то ее приписали избытку желчи в организме. И было испробовано великое множество всяких средств и снадобий, дабы хоть немного смягчить слишком уж пронзительно-зеленый цвет кожи маленького чудовища, и путем всяческих втираний и омовений

порой удавалось доводить его то до бутылочного, то до светло-зеленого, а то и до желтоватого. Случалось даже, что кожа становилась почти совсем белой, но к вечеру она принимала свой обычный вид.

Маленькое чудовище причиняло своим родителям беспрерывные огорчения, становясь что ни день все более ехидным, упрямым и злобным.

Печаль, которую испытывали по этому поводу сержант и белошвейка, была столь велика, что, будучи не в силах ей противиться, они постепенно поддались пороку, весьма распространенному среди людей этого сословия и я, — они начали пить.

Но при этом сержант никогда не желал пить никакого вина, кроме как из бутылок с красной головкой, а его супруга пила вино только из бутылок с зеленой.

И каждый раз, когда сержант допивался до бесчувствия, во сне ему являлась та окровавленная женщина, чье появление так испугало его тогда в погребке, после того как он разбил бутылку.

И женщина эта говорила ему: «О, зачем прижимал ты меня к своему, сердцу, а потом убил... А я так тебя любила!»

И каждый раз, когда жена сержанта слишком долго прикладывалась к бутылке с зеленой головкой, во сне ей являлся огромный бес самого отталкивающего вида. И бес говорил ей: «Ты удивляешься, что я пришел к тебе? Разве не пила ты из той бутылки?.. Разве не я отец твоего ребенка?»

О, неразгаданная тайна!

Дожив до тринадцати лет, ребенок исчез.

Безутешные родители продолжали пьянствовать. Однако страшные видения, что тревожили до того их сон, никогда больше не повторялись.

IV МОРАЛЬ

Так был наказан сержант за богохульство, а белошвейка — за расчетливость.

V ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЗЕЛЕНЫМ ЧУДОВИЩЕМ

Этого никто никогда не узнал.

КОРОЛЕВА РЫБ

В провинции Валуа среди виллер-котретских лесов жили-были мальчик и девочка, и они то и дело встречались на берегах окрестных речушек, потому что мальчика прогонял туда собирать хворост его дядя-дровосек по прозвищу Дуболом, а девочку посылали мать с отцом ловить небольших угрей: в пору мелководья их удавалось кое-как разглядеть на илистом дне. Ну а на худой конец ей велено было вытаскивать из-под камней раков, которые в иных местах там кишмя кишат.

Бедняжка часами простаивала в воде, согнувшись в три погибели, и все равно она так сострадала мучениям живых тварей, что, поглядев, как извиваются вытащенные из воды рыбы, чаще всего бросала их назад в речку и приносила домой одних раков, потому что раки, слушалось, до крови прокусывали ей пальцы, и девочка не очень их жалела.

А мальчику, таскавшему вязанки хвороста и охапки вереска, нередко доставалось от Дуболома — то он хворосту принес недостаточно, то заболтался с маленькой рыбачкой.

Но был такой особенный день в неделе, когда мальчик с девочкой не встречались. Что же это был за день? Да тот самый, разумеется, когда фея Мелузина превращается в рыбу, а королевны из Эдды становятся лебедями.

И вот назавтра после такого дня маленький дровосек сказал рыбачке:

— А ты помнишь, я видел вчера, как ты плыла по реке Шальпон и за тобой вся твоя свита — все речные рыбы... даже карпы, даже щуки! И сама ты была очень красивая рыба — красная-красная, а на боках сверкали золотые чешуйки!

— Как же мне не помнить, — сказала девочка, — ведь и я тебя видела, ты стоял на берегу и был похож на *каменный дуб* с золотыми ветками на вершине, и все лесные деревья приветствовали тебя, склоняясь до земли.

— Да, — сказал мальчик, — мне тоже все это снилось.

— И мне снилось то, о чем ты рассказал... Но вот как это нам с тобой удалось встретиться во сне?

И тут, откуда ни возьмись, прибежал Дуболом, он сразу обрушил на мальчика тяжелую дубину и стал бранить за то, что хворост до сих пор так и лежит невязанный.

— И я же приказал тебе, — не унимался Дуболом, — надрать зеленых ветвей, которые послабее, и добавить к сушняку!

— Но стражник посадит меня в тюрьму, — сказал мальчик, — если найдет в вязанках живые ветки... К тому же, когда я начал их ломать, как вы приказали, дерево громко застонало.

— Вот и я, — сказала девочка, — когда собираюсь отнести корзину с рыбами домой, они начинают так жалостно петь, что я бросаю их назад в воду... А мать с отцом бьют меня за это.

— Замолчи, гаденыш! — крикнул Дуболом, который, видно, хватил лишнего. — Ты мешаешь моему племяннику делом заниматься. Но меня не проведешь, знаю я, почему у тебя зубы вроде острых жемчужин... Ты — королева рыб! И есть такой день в неделе, когда тебе не удастся увильнуть и ты попадешь ко мне в вершу! Да, да, в вершу!

И угроза пьяного Дуболома очень быстро сбылась. Он выловил девочку в том обличье красной рыбы, которое раз в неделю, волею судьбы, она должна была принимать. К счастью, когда дровосек начал с помощью племянника вытаскивать вершу из воды, мальчик узнал в красивой красной рыбе с золотыми чешуйками маленькую рыбачку, потому что в этом временном своем образе она ему однажды приснилась.

Он осмелился вступить за нее и даже ударил дядю башмаком на деревянной подошве. Разъяренный дровосек схватил племянника за волосы и попытался повалить на землю, но, к великому его удивлению, это оказалось не так-то просто: он только гнул его во все стороны, но ни повалить, ни приподнять не мог, до того прочно тот стоял на земле.

А когда мальчик ослабел и почти перестал сопротивляться, по лесу прокатился глухой гул, все ветви закачались, разбудили своим свистом ветры, началась буря и прогнала дровосека Дуболома в его хижину.

Но почти сразу он выбежал из нее, грозный, наводящий ужас, уже в облике сына *Одина*; в руке у него сверкал тот скандинавский топор, который так же губителен для деревьев, как для утесов — дробящий молот *Тора*.

Юный лесной король, жертва собственного дяди, захватчика Дуболома, уже знал к тому времени о своем державном сане, хотя от него это тщательно скрывали.

Деревья старались его защитить, но единственным их оружием была недвижимая сплоченность...

Тщетно все теснее переплетаются меж собой кусты и молодая поросль, пытаясь преградить дорогу Дуболому, тот кличет на подмогу своих дровосеков и прорубает путь сквозь этот заслон. И вот уже падают под топорами и секирами деревья, почитавшиеся священными со времен друидов...

К счастью, королева рыб не теряла времени даром. Она бросилась к ногам Марны, Уазы и Эны, трех соседних больших рек, умоляя их помешать замыслам Дуболома и его дровосеков, потому что поредевшие леса уже не смогут задерживать испарения, которые проливаются потом дождем и полнят водою ручьи, реки и озера; даже родники иссякнут и перестанут питать реки своими струями, не говоря о том, что вскорости погибнут не только все рыбы, но и звери и птицы.

И эти большие реки сделали так, что в тех местах, где сокрушал деревья Дуболом со своими свирепыми дровосеками — но до юного властителя лесов они покамест еще не добрались, — началось огромное наводнение, вся земля была затоплена, и только тогда схлынули воды, когда ни единого врага не осталось в живых.

И после этого король лесов и королева рыб смогли возобновить свои невинные свидания.

Но он уже был сильфом, а не маленьким дровосеком, а она была ундиной, а не маленькой рыбачкой, и со временем они стали законными мужем и женой.

СОНАТА ДЬЯВОЛА

Когда-то, давным-давно, жил в Аугсбурге музыкант по имени Ньезер, который с одинаковым искусством умел делать музыкальные инструменты, сочинять мелодии и их же исполнять. За это почитали его не только в родном городе, но и по всей Швабии. Правда, был он при этом несметно богат, а это обстоятельство никогда не вредит художникам, даже самым искусным. Иные его собратья по ремеслу, менее удачливые, чем он, поговаривали, будто состояние свое он приобрел не слишком почтенными средствами; но у него были друзья, которые всегда умели им ответить, что все это сплетни, распространяемые завистниками. Единственной наследницей

Ньезера была его дочь, чья красота и невинная прелесть уже сами по себе могли служить достаточным приданым, не будь даже заманчивых надежд на щедрость ее отца. Своими ласковыми голубыми глазами, кроткой улыбкой и множеством отменных душевных качеств Эстер стяжала себе не меньшую славу, чем Ньезер своими богатствами, совершенством своих струнных инструментов и чудодейственным талантом. Однако, несмотря на все свое благосостояние и на всеобщее уважение, которое оно ему снискало, несмотря на свою славу музыканта, старый Ньезер был во власти глубокой печали. Эстер, единственное его дитя, последний отпрыск многих поколений музыкантов, едва способна была отличить одну ноту от другой, и это являлось для него источником горестных размышлений; с грустью думал он о том, что не оставит после себя никого, кто унаследует его музыкальный дар, который ценил он не меньше, чем свои богатства. Однако, по мере того как Эстер становилась старше, он стал утешаться мыслью, что, уж ежели не суждено ему быть отцом дочери-музыкантши, он сможет по крайней мере стать дедушкой музыканта в следующем поколении. И как только Эстер достигла надлежащего возраста, он принял необыкновенное решение — отдать ее руку вместе с двумястами тысячами флоринов приданого тому, кто сочинит самую лучшую сонату и лучше всех сыграет ее. Об этом его решении немедленно было объявлено по городу, и тут же назначен был день состязания музыкантов. Ходили слухи, будто Ньезер поклялся при этом, что сдержит свое обещание даже в том случае, если соната окажется сочиненной самим дьяволом и им же будет исполнена. Возможно, это была не более как шутка, но лучше бы старому Ньезеру никогда не произносить этих слов. Так оно или не так, говорили люди, только ясно теперь, что он дурной человек, да к тому же еще и богохульник.

Как только в Аугсбурге стало известно о решении Ньезера, весь город пришел в сильнейшее волнение. Немало музыкантов, которые до этого и помыслить бы не смели о подобной чести, не колеблясь, объявили себя претендентами на руку Эстер; ибо, независимо от ее девичьих прелестей и флоринов ее отца, тут речь шла уже об их репутации музыкантов, а у кого недоставало таланта, в тех говорило тщеславие. Одним словом, не было в Аугсбурге музыканта, который не возжелал бы

по той или другой причине выступить на этом ристалище, где наградой победителю объявлена была красота.

Утром, в полдень, даже ночью оглашались улицы Аугсбурга благозвучными аккордами. Из каждого окна неслись звуки сочиняемой сонаты; в городе только и было разговоров, что о приближающемся состязании и о возможных победителях. Какая-то музыкальная лихорадка охватила жителей города. В каждом доме Аугсбурга игрались или напевались полюбившиеся мелодии. Часовые, стоя в карауле, мурлыкали себе под нос сонаты, лавочники отбивали такт, стуча аршинами по прилавку, а их покупатели, забыв о цели своего прихода, начинали им вторить. Говорили, будто даже священники бормотали нечто в темпе аллегро, выходя из исповедальни, а на обратной стороне одного листка, на котором епископ набросал свою проповедь, будто бы обнаружены были несколько записанных тактов, и тоже в довольно оживленном темпе.

Среди этого всеобщего волнения один только человек оставался в стороне от бушевавших вокруг него страстей. То был Франц Гортлинген. Столь же мало способный к музыке, как и Эстер, он отличался в высшей степени великодушным характером и слыл одним из самых благо нравных юношей во всей Швабии. Франц любил дочь музыканта, но предпочитал ее всем девушкам на свете, а та, со своей стороны, предпочла бы голос Франца, произносящий ее имя с добавлением ласковых слов, всем самым распрекрасным сонатам, когда-либо написанным между Рейном и Одером.

Наступил канун открытия музыкального состязания, а Франц так ничего и не пытался предпринять ради осуществления своих желаний. Да и что мог он сделать? За всю свою жизнь он не сочинил ни одной музыкальной фразы. Напеть под аккомпанемент клавесина какой-нибудь простенький мотив было не *plus ultra*¹ его музыкальных возможностей. Уже под вечер вышел он из дома и побрел по городу. Все лавки были закрыты, и на улицах не было ни души. Однако кое-где за окнами еще виднелся свет свечи, и доносившиеся отовсюду звуки инструментов, настраиваемых для завтрашнего состязания, которому суждено было навеки отнять у Франца его любимую, время от времени достигали его слуха. Порой он останавливался у какого-нибудь окна, чтобы

¹ Пределом (*лат.*).

послушать, и ему даже случалось различить сквозь стекла лица музыкантов, выражавшие удовлетворение плодами своих усилий и воодушевленные ожиданием успеха.

Долго бродил так Гортлинген по городу из одного его конца в другой, как вдруг заметил, что находится в квартале, совсем ему неизвестном, хотя он прожил в Аугсбурге всю свою жизнь. Здесь не слышно было уже ничего, кроме шума реки. Но внезапно аккорды какой-то неземной музыки, доносящейся откуда-то издалека, вновь вернули юношу к его тревожным мыслям. Освещенное окно какого-то одиноко стоявшего в стороне домика свидетельствовало, что и здесь тоже кто-то бодрствует, и, поняв, что именно оттуда доносятся звуки, Франц предположил, что это какой-нибудь музыкант все еще готовится к завтрашнему дню. Он направился в ту сторону, откуда раздавались эти звуки, и по мере того, как он приближался к освещенному окну, навстречу ему все громче неслись аккорды, исполненные столь дивной гармонии, что его с каждой минутой охватывало все большее любопытство. Быстро и бесшумно приблизился он к окну. Оно было распахнуто, а в глубине комнаты за клавишным сидел какой-то старик, перед которым лежала раскрытая рукописная нотная тетрадь; он сидел спиной к окну, однако старинное зеркало, висевшее над клавишным, позволяло Гортлингену видеть и лицо музыканта, и каждое его движение. Черты его были исполнены кротости и беспредельной доброты; никогда еще Гортлингену не случалось видеть подобного лица — оно вызвало желание созерцать его вновь и вновь. Старик играл с необыкновенной выразительностью; время от времени он останавливался, чтобы внести в рукопись какое-нибудь изменение, а затем, проверив, как оно звучит, выражал свое удовольствие несколькими словами, которые отчетливо были слышны и напоминали слова благодарственного молебна, но на неизвестном языке.

В первую минуту Гортлинген не мог сдержать негодования при мысли, что этот старик завтра осмелится предстать на конкурсе в качестве одного из претендентов на руку Эстер; но по мере того, как Гортлинген смотрел на него и слушал его игру, юноша чувствовал, как постепенно примиряется с этой мыслью под воздействием несказанно ласкового выражения его лица и неповторимо прекрасного звучания музыки.

Наконец, доиграв один из блестящих своих пассажей, артист заметил, что он не один, ибо Гортлинген, который не в силах был долее сдерживать свои восторги, разразился аплодисментами, заглушая слова, которые вполголоса произносил старик. Музыкант тотчас же встал и распахнул перед Гортлингеном дверь.

— Добрый вечер, господин Франц, — сказал он, — садитесь и скажите, нравится ли вам моя соната и может ли она, на ваш взгляд, рассчитывать на первое место в завтрашнем состязании?

Было столько благожелательности в каждом движении этого старика, голос его звучал так мягко и дружелюбно, и Гортлинген почувствовал, что в нем не остается уже ни малейшего чувства ревности. Он сел и стал слушать.

— Так, значит, соната моя вам нравится? — спросил старик, закончив игру.

— У в ы , — отвечал ему Гортлинген, — почему не дано мне создать что-либо подобное!

— Послушайте м е н я , — сказал старик. — Ньезер совершил великое преступление, поклявшись отдать свою дочь тому, кто сочинит лучшую сонату, даже если она будет сочинена и сыграна самим дьяволом. Кошунственные слова его были услышаны, их повторяло лесное эхо, их подхватили ночные ветры и донесли на крылах своих до слуха того, кто обитает в долине тьмы. И долина огласилась радостным хохотом дьявола. Но не дремал и гений добра, и, хотя к Ньезеру жалости у него нет, участь Гортлингена и Эстер вызвала его сострадание. Возьмите же эту нотную тетрадь: вам надобно будет завтра войти с ней в залу Ньезера. Там появится некий незнакомец, чтобы принять участие в состязании, его будут сопровождать двое других. Соната эта та самая, которую станут играть они, только моя обладает особым свойством; вы должны улучшить подходящий момент и заменить их ноты этими.

Закончив эту удивительную речь, старик взял Гортлингена за руку, незнакомыми улицами вывел его к городским воротам и там оставил.

Возвращаясь домой с нотным свертком в руках, Гортлинген терялся в догадках по поводу этого странного происшествия и с недоумением думал о событиях завтрашнего дня. Было в лице старика нечто такое, что невозможно было не поверить ему и, вместе с тем, никак не мог он постигнуть, какой толк для него, Франца,

может быть в замене одной сонаты другой, раз все равно сам он даже не числится среди претендентов на руку Эстер. Он вернулся к себе, и всю ночь витал пред ним образ Эстер, а в ушах раздавались звуки сонаты старика.

Назавтра, на закате дня, двери дома Ньезера открылись для соискателей. Все музыканты города Аугсбурга устремились туда; множество людей столпились у входа в дом, чтобы поглазеть на них. В назначенный час взял свою тетрадь и Франц и тоже поспешил к дверям Ньезера. Все собравшиеся смотрели на него с жалостью, ибо всем известно было о его любви к дочери музыканта; они тихо говорили друг другу: «Что делает здесь Франц с этой тетрадкой в руке? Уж не думает ли он, бедняга, принять участие в состязании?»

Когда Гортлинген вошел, зала была уже полна претендентов и любителей музыки, которых Ньезер пригласил присутствовать на состязании. И в то время как он проходил по зале со своей нотной тетрадкой в руке, на лицах всех музыкантов возникала улыбка — все они были знакомы между собой, и им хорошо было известно, что он едва способен сыграть обыкновенный марш, не то что сонату, даже если бы как-то исхитрился сочинить ее. И Ньезер тоже улыбнулся, увидев его. Но Эстер, как многие это заметили, встретившись с ним глазами, тайком утерла слезу.

Ньезер объявил, что соперники могут подходить к нему и записывать свои имена и что всем им предстоит тянуть жребий, дабы определить порядок выступлений. Последним подошел какой-то чужестранец. И сразу все, словно подчиняясь некоей неведомой силе, расступились, пропуская его. Никто доселе не видел его, никто не знал, откуда он явился. Лицо его было столь отталкивающим, а взгляд столь страшным, что сам Ньезер не мог удержаться и шепнул дочери: «Надеюсь, что не его соната окажется самой лучшей».

— Начнем состязание, — промолвил Ньезер. — И я клянусь, что отдам дочь свою, которую все вы видите здесь, рядом со мной, вместе с приданым в двести тысяч флоринов тому из вас, кто сочинил лучшую сонату и сумеет лучше всех сыграть ее.

— И вы сдержите свою клятву? — спросил чужестранец, подойдя вплотную к Ньезеру и глядя ему прямо в лицо.

— Я сдержу ее, — отвечал аугсбургский музыкант, — даже если соната эта окажется сочиненной самим дьяволом во плоти и будет им же сыграна.

Все молча содрогнулись. Один лишь чужестранец улыбнулся. Первый жребий выпал ему. Он сразу сел за клавесин и развернул ноты. Какие-то два человека, которых никто до этой минуты не видел, тотчас же стали подле него со своими инструментами. Все глаза устремились на них. Подали знак, и когда музыканты откинули головы, чтобы взять первый аккорд, все с ужасом увидели, что у всех троих одно и то же лицо. Трепет прошел по всему собранию. Никто не осмеливался даже слова шепнуть соседу, но каждый, закрывшись плащом, поторопился выскользнуть из зала, и вскоре в ней никого уже не оставалось, кроме троих музыкантов, продолжавших играть свою сонату, да Гортлингена, который не позабыл совета, данного ему стариком. Старый Ньезер все так же сидел в своем кресле, но и он теперь дрожал от страха, вспоминая о роковой своей клятве.

Гортлинген стоял рядом с музыкантами, и как только те доиграли до конца страницу, он ловким движением смело заменил ее своими нотами. Адская гримаса искривила черты всех троих, и, словно эхо, издалека донесся чей-то стон.

Рассказывают, будто после того, как пробило полночь, добрый старик вывел из зала Гортлингена и Эстер, но соната все продолжала звучать. И прошли годы. Эстер и Гортлинген стали мужем и женой и состарились, и дошли до предела своих жизней. А странные музыканты все играют и играют, и старый Ньезер, как уверяют некоторые, до сих пор еще сидит в своем кресле, отбивая им такт.

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ

Однажды холодным декабрьским вечером я гулял по городу без какой-либо особой цели, просто так, ради моциона. Свернув на Черинг-Кросс, я при свете газового фонаря заметил молодого человека, которого сразу узнал в лицо. Это был неизвестный художник.

— О, какая приятная встреча! — воскликнул я.

— Да, весьма приятная, — отвечал художник, — я как раз собирался навестить вас.

— Но что с вами, дорогой мой? Вы очень скверно выглядите.

— Да так, ничего... просто холодно... мало бываю на воздухе...

— Хоть мы с вами и не так давно знакомы, но меня весьма трогает все, что до вас касается, и почему-то мне кажется, будто с вами что-то случилось.

— Неужто! — громко воскликнул он, и в тоне его прозвучало такое отчаяние, что я вздрогнул. Стоявший рядом мальчуган даже вскрикнул от испуга, и на нас сразу же оглянулся сторож, а за ним — две ученицы из модной лавки.

— Нет, вы мне положительно не нравитесь... Может быть, вы сочтете, что я веду себя неучтиво, говоря с вами подобным образом... Однако симпатия, которую я к вам испытываю, должна служить мне оправданием. Пойдемте-ка ко мне, проведем вместе вечер; эта небольшая прогулка пойдет вам на пользу, а ежели беседа наша затянется за полночь, у меня есть диван, который всегда к вашим услугам.

— Я нигде никогда не ночую, кроме как дома, Шарль, а сплю я очень редко, — вторую половину фразы он произнес так тихо, что я едва ее услышал. Но он прибавил тут же, уже громко: — О, да! Я с превеликим удовольствием пойду к вам.

Пока мы шли, спутник мой вел себя весьма оживленно. Меня это не удивило: мне известно было, сколь непостоянен он в изъявлениях своих чувств. И все же я решил воспользоваться случаем и выспросить у него его историю.

Как только мы вошли в дом, я закрыл дверь на засов, подложил дров в камин и, освободив стол от своих бумаг, водрузил на него два стакана и бутылку доброго винца.

— Первый тост за вас, Эжен, — сказал я.

— Бросьте вы этот нелепый ритуал, — ответил художник, — и выпьем лучше за что-нибудь такое, что более соответствует чувствам и склонностям нашего времени.

— Черт побери, — сказал я, — выпьем за все то, что вам только будет угодно, этим вы меня не испугаете.

— Вы в этом уверены? — сказал Эжен, вперив в меня пристальный взгляд, и мне показалось, что он весь дрожит.

— Думаю, что да.

— Ну так вот, я пью за портрет дьявола!

— Я тоже готов за него выпить, — воскликнул я, — но, надеюсь, вы все же объясните мне этот странный гост.

— Да, я должен это сделать, и незамедлительно. Я расскажу вам все...

— Однако если это вам сейчас трудно... может быть, тягостное воспоминание...

— Ха-ха, тягостное воспоминание... Что вы! Самое распрекрасное... Да разве это убийственное, чудовищное воспоминание не пылает вот здесь огненными письменами? — он прижал руку ко лбу своему, прерывисто дыша.

— Во имя неба, что с вами, Эжен? Не дать ли вам воды?

— Ба! О чем вы говорите! Я расскажу вам свою историю. Выслушайте меня, если можете. Вы, вероятно, знаете, что отец мой был известный врач, который дал мне, как принято сие называть, чудовищно искажая самый смысл этих слов, хорошее воспитание.

— Уверяю вас, вы не даете ни малейшего основания осуждать за это вашего родителя.

— Я был восьмилетним ребенком, когда меня отдали в пансион, куда принимают лишь весьма ограниченное число детей. Там пробыл я до пятнадцати лет. Меня без конца пичкали там греческим и латынью; научился я также писать и говорить на довольно скверном французском языке; еще я получил там некоторые познания из математики, и когда пришло время вступить в жизнь, я не имел о ней ни малейшего понятия; я не знал самого себя, и мне не совершенно были чужды те общепринятые правила, коими должно руководствоваться в делах житейских.

— И у вас нет желания поразмыслить над всем тем, чему вас учили?

— Я говорю лишь о том, чему меня не научили. Когда я вышел из пансиона, отец высказал желание, чтобы я унаследовал его профессию. Я подчинился этому желанию, нисколько не думая об обязательствах, кои беру на себя, и только выговорил себе право несколько часов в неделю заниматься живописью. Нужно вам сказать, что занятия рисованием всю жизнь были главным моим удовольствием, хотя систематически никто никогда меня ему не обучал. Отец мой не воспротивился моей просьбе, но лучше бы он не соглашался на нее так легко, ибо с помощью денег, которые он мне давал, я стал обучаться рисованию и живописи, пренебрегая скальпе-

лем ради кисти, и анатомическим залам больниц предпочитал живых натурщиц Альмака.

— Но мне казалось, что эти штудии в вашем излюбленном искусстве могли бы оказаться на пользу той профессии, к которой предназначал вас отец?

— Отец мой, когда представился ему первый случай проверить мои успехи в занятиях медициной, убедился, что они далеко не удовлетворяют тем требованиям, которые он считал себя вправе к ним предъявлять. Он разбил меня, он даже пригрозил мне; однако меня не слишком заботили проявления его недовольства, и как-то, выбрав подходящую минуту, я сознался ему, что предпочитал бы стать автором хорошей картины на историческую тему, нежели помощником самого знаменитого врача. Мой достойный отец был несколько этим поражен; и однако в конце концов он согласился, чтобы я продолжал свои занятия искусством, и даже более того, взялся обеспечить мне возможность свободно посещать картинные галереи Лондона и обещал в дальнейшем, как только мне это понадобится, снабдить меня средствами для путешествия в Италию. Я воспользовался добрым расположением своего отца, согласившегося поддержать мою склонность к искусству; я работал день и ночь, стремясь добиться высокого мастерства, и вскоре имя мое стало уже упоминаться в числе лучших учеников академии, в которой я учился. Добившись этого, я решил пробивать себе дорогу в искусстве, подобно тому как делали это до меня Микеланджело и Рафаэль.

Именно в эту пору мой отец представил меня семейству сэра Томаса Уилкинсона, удалившегося от дел савонника, занимавшего прекрасный особняк в одном из фешенебельных кварталов Лондона. Ему нравилось слыть тонким ценителем живописи, и, чтобы доказать свой изысканный вкус, он дал весьма высокую оценку одному моему пейзажу, который я показал ему. Пейзаж этот, в который я постарался вложить все искусство, на какое был способен, с самого начала был мною предназначен в дар моему отцу, но сэр Томас высказал свое одобрение в столь лестных для меня выражениях, что мне показалось неприличным не предложить свою работу ему. И он благосклонно принял мой подарок.

— Я усматриваю в этом явное доказательство его просвещенной любви к искусству.

— Мне следовало с самого начала рассказать вам о дочери сэра Томаса; вероятно, я потому не сделал этого

сразу, что мне трудно найти слова, которыми можно ее описать. К тому же я до безумия ее любил и должен сказать вам об этом заранее, дабы вы имели в виду, что я не беспристрастен, описывая ее. Более того, я буду говорить о ее внешности просто с точки зрения художника. Лицом своим и станом Лаура Уилкинсон удивительно напоминала прекраснейшие образцы женской красоты, рожденные некогда Грецией. Крупные кудри ее черных волос оттеняли сверкающую белизну кожи и... одним словом, она была само совершенство, и с первой же минуты, как я увидел ее, она завладела моим сердцем и душой.

— И, вероятно, она отвечала на это внезапно вспыхнувшее чувство?

— Не то чтобы отвечала, но и не отвергала моего внимания, улыбалась выражениям моего восторга, хвалила мои картины, и я забросил живопись, отвернулся от всех знакомых и друзей, чтобы благоговейно предаться одной ей.

— А что же ее отец?

— Прежде я должен сказать о своем отце. Не прошло и месяца с того дня, как я начал бывать в доме Уилкинсонов, когда меня постигло тяжкое горе — я имел несчастье потерять этого превосходного человека. Он оставил мне ренту, составлявшую лишь треть того содержания, которое он так легко давал мне при своей жизни. Надо полагать, что мои расходы он покрывал из тех денег, которые зарабатывал своим ремеслом. Это резкое изменение денежных моих обстоятельств несколько не поколебало тех надежд, которые питал я в отношении Лауры.

После нескольких дней уединения, связанного с этой горестной утратой, я вновь начал посещать семейство Уилкинсонов, и однажды, в минуту сердечных излияний, рассказал Лауре о переменах в своем положении и предложил ей стать моей женой. Она, как подобает благовоспитанной девице, сказала, чтобы я переговорил об этом с ее отцом, не преминув, однако, как потом оказалось, своевременно пересказать ему мои чистосердечные признания.

— И вы в конце концов обратились к самому отцу по поводу этого столь важного для вас вопроса?

— Да, я обратился к нему. Мне, скромному художнику, имевшему всего 25 фунтов стерлингов ренты, нужно было поистине обладать большим душевным

мужеством, чтобы просить руки дочери столь высоко-рожденной особы, столь богатого и гордого вельможи.

— И он довольно грубо спустил вас со всех лестниц?

— Что вы! Вы плохо представляете себе нравы большого света! Нет, Шарль, он слишком благовоспитан, чтобы позволить себе столь неучтивый поступок. Он удво-вольствовался тем, что отверг мое предложение, заявив, что вследствие некоторых обстоятельств вынужден отка-заться от этой чести. Затем он позвонил. И едва только я отвернулся, как он уже взял в руки газету.

— И вы так никогда больше и не видели мадемуазель Лауру?

— О, если бы это было так! — со страстью в голосе воскликнул художник. — Но сэр Томас и его семейство на той же неделе отправились в Париж, а я поехал туда вслед за ними. Зачем? Я не в состоянии был бы это объяснить, ибо мог ли я после всего происшедшего пи-тать хоть какую-то надежду на то, что мне представится случай поговорить с Лаурой? Я уехал так стремительно, что даже не позаботился узнать их парижский адрес. И вот я, безумец, целыми днями бегал по улицам Парижа в поисках людей, которые не отказались бы впустить меня к себе в дом. Меня можно было увидеть по ночам, в каком-то уюпомешательстве бродящими вдоль экипажей, ожидающих у здания театра «Буфф» или у подъезда какого-нибудь особняка, где в тот вечер да-вался блестящий бал. Изнуренный этими бессмысленными прогулками, я возвращался в свое грустное холодное жилище и, изнемогая от невыразимой тоски, бросался на постель и горько плакал.

— Налейте себе еще вина.

— Так провел я в Париже месяц, а может быть, и два, но был столь же далек от осуществления своих надежд, как и в первый день приезда. И тогда я решил добиться цели другим путем: я задумал написать картину, воспроизведя в ней по памяти наше последнее свидание с Лаурой, и выставить ее в какой-нибудь картинной галерее, часто посещаемой иностранцами; я смутно надеялся, что Лаура обратит на нее внимание и пожелает осведомиться об имени написавшего ее художника. Увлеченный своим замыслом, я принялся за работу, и вскоре мне удалось добиться той степени совер-шенства, к которой я стремился. Когда картина была закончена, мне посчастливилось поместить ее в картинную

галерею, которую весьма часто посещали англичане, жительствовавшие в Париже.

Несколько дней провел я в напряженном, тоскливом ожидании; и вот, когда я потерял уже всякую надежду, однажды, после полудня, я вдруг увидел Лауру, входившую в галерею в сопровождении знаменитого барона д'Артенвиля, на руку которого она опиралась.

О да, то была она, то был ее волшебный взгляд, воспоминание о котором беспрестанно преследовало меня днем и ночью, ее воздушная походка, легкую непринужденность которой мне стоило такого труда воспроизвести. Она повернула головку в мою сторону, прошла мимо меня и улыбнулась... я решил, что улыбка эта предназначена мне, сделал к ней шаг, хотел схватить ее руку, но этот мой жест был встречен ледяным холодом... И она прошла мимо, словно не узнавая меня. Не помню, что было со мной после этого, но, придя в чувство, я увидел подле себя двух жандармов, а у ног своих — разорванную на мелкие клочки мою прекрасную картину, на которой я изобразил наше последнее свидание. Впрочем, меня отпустили, сочтя, очевидно, что я помешался в уме. Я вернулся в свою гостиницу и в тот же день покинул Париж.

— Вы вернулись в Англию?

— О нет; я так же не в состоянии был увидеть вновь страну, где началось мое счастье, как и оставаться в той, где я это счастье потерял. Я отправился в Венецию. Не понимаю, почему путешественники прозвали этот город прекрасным; я содрогаюсь от ужаса, вспоминая о нем. А теперь я дошел до той части своей истории, которую, быть может, не стоит вам рассказывать, если вы не чувствуете в себе достаточно мужества, чтобы выслушать ее.

— У меня достанет мужества.

— Еще раз предупреждаю, история эта очень страшная.

— Пусть так, я готов выслушать ее, какова бы она ни была.

— Приходилось ли вам когда-нибудь слышать толки о существующей в Венеции картине, сюжет которой связан с одной ужасной историей?

— Что-то в этом роде, кажется, припоминаю.

— Художник, который писал эту картину, не закончил ее; он задумал изобразить на ней невесту Сатаны, но, пристально вглядываясь в выходившее из-под его

кисти странное творение, в конце концов потерял разум и наложил на себя руки.

— Где-то я читал или слышал нечто подобное, но у меня осталось об этом весьма смутное воспоминание. Кажется, картину забрала церковь и распорядилась укрыть ее в каком-то подземелье, дабы никогда ни один человеческий взгляд не мог бы увидеть ее.

— Да, именно так. С тех пор прошло уже две сотни лет. Об истории этой ныне говорят скорее как о легенде, нежели о чем-то действительно происшедшем. И однако все еще ходят слухи о некоем подземелье, где хранится это богомерзкое изображение.

— Теперь я более ясно вспоминаю эту историю.

— И вот когда я услышал об этом портрете, мне в голову запала странная фантазия. Не могу даже выразить словами, до какой степени она завладела мною. Я твердо решил увидеть этот портрет. Я чувствовал, что мне не будет покоя, пока я не обнаружу подземелья, где запрятана картина. И вскоре мне удалось узнать, что оно расположено под одной старой, почти совсем уже разрушенной церковью, где, по слухам, водятся привидения и вокруг день и ночь толпятся нищие и бродяги. Позаимствовав у одного из них его отрепья, я замешался в эту толпу и дознался наконец у какого-то нищего, где находится вход в подземелье, куда я так жаждал проникнуть. Вооружившись киркой и потайным фонариком, я прокрался однажды ночью к развалинам церкви Санто-Джоржо. Без особого труда отыскал я потайную дверцу люка, возвышавшегося на несколько дюймов над уровнем пола. Я приподнял ее, но не обнаружил под ней ни ступеней, ни лестницы, с помощью которых туда можно было бы спуститься. Глубокая тьма окружала меня. Привязав свой фонарик к веревке, я спустил его внутрь подземелья, и вскоре понял, что нахожусь от его дна на расстоянии пяти или шести футов.

Я прыгнул вниз и медленно начал продвигаться вперед; в течение нескольких минут я ровно ничего не видел. И вдруг, подняв свой фонарик повыше, я заметил на степе какой-то темный занавес. Сердце мое бурно забилося: я почувствовал, что сейчас увижу наконец предмет столь страстных моих поисков. Я бросился к занавесу, я ухватился за него, я отдернул его — и Невеста дьявола устремила на меня пронзительный свой взгляд; но... но... портрет этот... портрет этот был... это был...

— Да говорите же е , — вскричал я нетерпеливо.

— О боже! Это был портрет Лауры!

— Как!

— Не знаю, сколько времени простоял я неподвижно, глядя на него... Краски его были так яркие, так свежи, словно этот портрет только что сняли с мольберта. Я видел перед собой ад, если ад представлял когда-либо взору смертного. Потом чары рассеялись: начинало светать, я устремился обратно к люку, и одним прыжком взлетел наверх, на каменный пол церкви; и я бросился бежать прочь. Но с этой страшной ночи портрет этот завладел всеми моими помыслами. Он преследует меня даже в снах моих... он стоит у меня перед глазами и тогда, когда я бодрствую, и... и... (тут голос его зазвучал громче и пронзительнее) вот он! Вот он!

Я следил взглядом за всеми движениями его руки, но не видел ничего, что могло бы хоть в какой-то мере оправдать эти странные его слова. Вслед за тем он вскочил и, схватив свою шляпу, с искаженным лицом, с блуждающими глазами выбежал вон.

Спустя несколько дней после этого разговора я встретил его на улице; он пожаловался, что портрет-призрак безжалостно преследует его и он потерял уже надежду обрести покой на этом свете. Я послал к нему своего врача, но художник отказался принять его; я пошел к нему сам — он не пожелал говорить и со мной. И все же я отправился к нему вновь. Найдя дверь в его квартиру открытой, я решил пренебречь правилами учтивости и вошел, надеясь хоть каким-нибудь способом развеять его мрачную тоску. Я нашел его сидящим за столом; припав к нему головой, он, казалось, даже не заметил моего прихода. Прошло несколько минут, он не шевелился, и мною овладел вдруг страх — я его окликнул. Он не ответил. Я хотел приподнять его со стула, обнял за плечи, но в это самое мгновение к ногам моим скатился стеклянный пузырек, на котором прочел я надпись: «Опий».

Бедный художник был мертв.

ВЕНСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ

Ты взял с меня обещание, что я буду время от времени посылать тебе из своего путешествия *сентиментальные* заметки, которые, как ты уверяешь, интересуют тебя

больше, нежели любые красочные описания. Итак, я начинаю, и да помогут мне Стерн и Казанова позабавить тебя. У меня, правда, большое желание посоветовать тебе просто перечитать их, ибо, говоря по правде, друг твой не обладает ни стилем одного, ни многочисленными достоинствами другого, и весьма рискует, идя по их стопам, поколебать твое доброе мнение о нем. Но так уж и быть, поскольку речь идет главным образом о том, чтобы поставлять тебе наблюдения, из которых ты станешь извлекать свои философические максимы, постараюсь записывать наобум все, что будет со мной случаться, независимо от того, интересно это или нет, и делать это, по возможности, каждый день, на манер капитана Кука, который пишет, что такого-то числа видел чайку или пингвина, а такого-то — качающуюся на волнах корягу, что здесь море было прозрачным, а там — взбаламученным. Но сквозь эти незначительные подробности, за этой переменчивой волной виделись ему в мечтах неведомые благоуханные острова, и в конце концов однажды вечером он приставал к одному из этих тихих приютов чистой любви и вечной красоты.

21 [ноября]. Я выходил из театра Леопольдштадта. Должен прежде всего сказать тебе, что я из рук вон плохо понимаю наречие, на котором изъясняются здесь, в Вене. Так что мне просто необходимо было пуститься на поиски какой-нибудь привлекательной горожанки, которая согласилась бы содействовать моему знакомству со здешним разговорным языком. Именно это советовал путешественникам Байрон. И потому я уже целых три дня всюду — в театрах, в казино, в танцевальных залах, называемых здесь «Шперль», гоняюсь за разными *брюнетками* и *блондинками* (впрочем, здесь сплошь одни блондинки) и всё без всякого толка. И вот вчера, отметив себе место в театре Леопольдштадта, выхожу из него и в дверях сталкиваюсь с прелестной блондинкой, которая спрашивает меня, начался ли уже спектакль. Из разговора с ней выясняю, что она служанка и что ее госпожа, желая провести ее в зрительный зал, велела подождать себя у входа в театр. Я тут же рассыпаюсь мелким бесом, предлагаю взять ложу в первом ярусе или на авансцене, обещаю роскошный ужин и — получаю оскорбительный отказ. У здешних женщин против нахалов всегда имеются наготове в высшей степени презрительные формулы негодования, которых, впрочем, не следует слишком пугаться.

Девушка, судя по всему, очень встревожена тем, что хозяйки до сих пор нет. И вот она бросается бежать по бульвару, а я бегу рядом с ней, взяв ее под локоток, весьма соблазнительный. По пути она на ходу бросает мне отдельные фразы на разных языках, вследствие чего я понимаю ее с пятого на десятое. Вот ее история: она уроженка Венеции, в Вену ее привезла госпожа, а та — француженка; так что, как она сама очень мило мне это объяснила, девушка не знает толком ни одного языка, но немножко говорит на трех. Поистине, такое встречается только в комедиях Макьявелли и Мольера. Имя ее Катарина Коласса. Я объясняю ей на хорошем немецком языке (понимает она его хорошо, но говорит на нем плохо), что уже не в силах с ней расстаться, и тут же на ходу сочиняю ей этаким довольно миленьким мадригал. К этому времени мы уже стоим перед ее домом; она просит меня обождать, уходит, но тут же возвращается: оказывается, госпожа уже в театре, и ей надобно скорей туда воротиться.

Вернувшись к дверям театра, я вновь предлагаю ей место в ложе авансцены, но она вновь отказывается и покупает себе билет во второй ярус, куда вынужден последовать за ней и я, к вящему удивлению капельдинера, поскольку у меня был билет в первый. Здесь моя девушка приходит в неистовый восторг, обнаружив свою госпожу сидящей в ложе с каким-то усатым господином, и тут же спускается вниз, чтобы с ней поговорить. Придя обратно, она заявляет, что спектакль скучный и лучше нам пойти погулять. А между тем давалась пьеса госпожи Бирх-Пфайфер («Робер-Тигр»), которая, впрочем, и в самом деле не стоила доброго слова. Итак, мы отправляемся с ней в сторону Пратера, и уж тут я, как ты понимаешь, пускаю в ход все ухищрения соблазнителя.

Друг мой, представь себе красавицу, именно такую, о которой мы столько раз мечтали, идеальную женщину с картин итальянских мастеров, этакую венецианку Гоцци — *bionda e grassota*¹ — живую, во плоти! Мне жаль, что я не владею языком живописцев, чтобы точнее описать ее черты. Вообрази себе очаровательную белокурую головку, белое личико с кожей гладкой, словно атлас, так что кажется, будто ее сохраняли под стеклом; благородные черты, римский нос, высокий лоб, губки, словно вишенки, пониже — голубиную шейку, полную,

¹ Белокурая и пышная (*ит.*).

пухлую, схваченную бисерным ожерельем, еще пониже — белые крепкие плечи, в которых угадывается одновременно и сила Геркулеса, и слабость двухлетнего ребенка. Я объяснил красотке, что она мне нравится особенно еще и тем, что является, если можно так выразиться, «австро-венецианкой» и тем самым воплощает в себе «Священную Римскую империю» — аргумент этот, судя по всему, не произвел на нее особенного впечатления.

Я проводил ее домой через целый лабиринт довольно запутанных улиц. Так как я не очень понимал, каким образом смогу вновь найти ее, она снизошла до того, что записала мне свой адрес, остановившись для этого под уличным фонарем, — посылаю тебе этот клочок бумаги, чтобы ты мог убедиться, что почерк ее так же трудно разобрать, как и ее речь. Боюсь, что эти каракули написаны ни на каком языке, поэтому на полях записки ты увидишь начертанный моей рукой маршрут, который должен был придать мне уверенности, что я сумею узнать ее дом.

А теперь вот тебе и продолжение сего приключения. Она назначила мне свидание на улице нынче в полдень. Я пришел пораньше и встал на часах перед ее домом под благословенным номером 189. Так как она не появилась, я, подождав, сам отправился вверх. На площадке лестницы я обнаружил какую-то старуху, которая хлопотала у большой плиты, а так как «где старушка, там рядом и молодушка», я обратился к ней, и она, улыбувшись, велела мне подождать. Пять минут спустя в дверях появилась моя очаровательная блондинка и пригласила меня войти. Вхожу в большую комнату, где она вместе со своей госпожой сидит за завтраком; мне она предлагает сесть позади ее стула. Дама — длинная и костлявая особа — оборачивается ко мне, по-французски осведомляется о моем имени и начинает подробно расспрашивать меня о моих обстоятельствах и намерениях. Выслушав меня, она говорит:

— Ну хорошо. Только сегодня до пяти часов мадемуазель мне нужна. После пяти могу отпустить ее на весь вечер.

Блондиночка провожает меня до дверей и говорит с улыбкой:

— Так, значит, в пять.

Вот чего я пока достиг. Пишу тебе, сидя в кофейне в ожидании назначенного часа. Но все это представляется мне уже достаточно обнадеживающим...

22-е. Вот тебе и раз! Впрочем, вернемся к прерванному повествованию. Вчера в пять часов Катарина, или, как ее называют дома, Катти, явилась в Kaffehaus¹, где я ее ожидал. Она была очаровательна в своем миленьком шелковом чепчике, прикрывавшем ее чудесные волосы; шляпки здесь носят одни лишь светские дамы. Мы должны были отправиться в театр у Кертнертор, где давали оперу «Велизарий», но едва мы пришли туда, как Катти внезапно пожелала вернуться в Леопольдштадт, — ей-де необходимо пораньше воротиться домой. Кертнертор находятся на противоположном конце города... Ладно! Вернулись в театр Леопольдштадта, она настояла на том, что сама заплатит за свой билет, заявив, что она не какая-нибудь там гризетка (французский перевод) и либо заплатит сама, либо вовсе в театр не пойдет. О боже! Если бы все дамы проявляли столь тонкую деликатность в подобного рода вопросах!.. По-видимому, это черта издавна и крепко укоренившаяся в здешних нравах.

Увы, друг мой! Мы ни к черту не годные донжуаны. Я пускал в ход самые что ни на есть коварные методы оболщения — ничто не действовало. Мне пришлось позволить ей уйти, и притом одной! Во всяком случае, позволить себя она позволила только до поворота на ее улицу. И однако назначила мне новое свидание на пять часов вечера завтрашнего дня, то бишь на сегодня.

И вот моя илиада нынче начинает оборачиваться одиссеей. В пять часов я уже прохаживаюсь перед номером 189, гордо стуча каблуками по плитам мостовой. Катаринины нет как нет. Мне надоедает ждать (да хранит тебя национальная гвардия от подобного несения караула в дурную погоду!), я вхожу в дом, стучу. Выходит какая-то молоденькая девушка, берет меня за руку и вместе со мной спускается вниз. Это бы еще куда ни шло. На улице она объясняет мне, что мне надо уйти; госпожа в бешенстве, Катарина ходила ко мне днем, чтобы предупредить меня. И тут я, как на грех, теряю смысл произнесенной ею немецкой фразы и, приняв один глагол за другой, воображаю, будто она означает, что Катарина сейчас выйти не может и просит меня обождать. Отвечаю: «Хорошо», и продолжаю прохаживаться перед домом. Девушка вновь спускается ко мне и, уразумев наконец, что я неверно ее понял, возвращается в дом и

¹ Кофейню (нем.).

выходит оттуда с листочком бумаги, на котором эта фраза написана. Из этих строк узнаю, что Катарина ходила ко мне в гостиницу «Черный орел», в которой я остановился. Бегу в «Черный орел». Портье подтверждает, что да, действительно, днем меня спрашивала какая-то девушка. Испускаю орлиный клекот и мчусь обратно к дому № 189. Стучу. Девушка, что давеча говорила со мной, снова спускается ко мне; она стоит со мной на улице и с ангельским терпением меня слушает. Объясняю ей свое положение; из-за одного незнакомого мне слова мы опять не понимаем друг друга; и снова она возвращается в дом и приносит написанный ею ответ. Катарина, оказывается, вовсе не живет в этом доме. Она приходит сюда только днем, сейчас ее здесь нет. Может быть, она придет вечером? Неизвестно; но при этом я получаю еще дополнительные сведения. Девушка, поистине олицетворение кротости и доброты (представляешь себе эту девушку, терпеливо присыпающую золой пламень моей страсти?), говорит, что та дама, ее госпожа, очень сердится, и весьма выразительными жестами изображает мне ее гнев.

— Да почему же?

— А потому, что оказалось, что у Катарини в городе есть еще один дыхатель.

— Черт побери, — отвечаю я на это (как ты догадываешься, я менее всего рассчитывал на «нетронутое сердце»), — ну что ж, теперь я все знаю, очень хорошо, постараюсь больше ее не компрометировать.

— Да нет, — отвечает молоденькая служанка (я немного редактирую для тебя весь этот диалог, вернее, сокращаю его), — госпожа на то рассердилась, что этот молодой человек вчера вечером пришел за Катариной, которая наврала ему, будто она нужна будет госпоже до самого вечера, а сама ушла с вами; вот они с госпожой очень долго и объяснялись.

Теперь посуди сам, друг мой, в каком я оказываюсь положении: я собирался пойти с ней вечером на спектакль, а затем в «Конверсасьон», где играет музыка и поют, а вместо этого сижу здесь в Gasthof¹ за стаканом розолио, ожидая, чтобы открыли театр. Но какова бедняжка Катарина! Увижу я ее теперь только завтра, буду ожидать на той улице, по которой она идет к своей госпоже, и все тогда узнаю!

¹ Гостиница (нем.).

23-е. Я только что спохватился, что ведь ни словом еще не обмолвился о городе. А нужен же какой-то фон, на котором развертываются мои романтические приключения, иначе ты недостаточно ясно будешь все это себе представлять.

На первый взгляд город кажется весьма заурядным. Сначала тянутся бесконечные предместья с однообразными домами, затем долго едешь по широким аллеям, кольцом огибающим крепостные стены, и наконец за городским валом, опоясанный стенами и рвами, открывается сам город, по величине своей не превышающий величины одного парижского квартала. Вообрази себе на мгновение, что квартал Пале-Рояль отторгнут от Парижа, обнесен городскими стенами, окружен бульварами в четверть лье шириной, а вокруг остаются все предместья во всей их протяженности — и у тебя будет полное представление о расположении Вены, о ее благосостоянии и оживленности. Тебе, конечно, сразу же придет в голову, что при таком устройстве города роскошь и нищета не соприкасаются между собой, и этот центральный квартал, исполненный блеска и великолепия, действительно нуждается в ограждающих его рвах и бастионах, дабы держать на почтительном расстоянии бедных и трудолюбивых обитателей предместий.

Я почувствовал смертельную грусть в тот день, когда прибыл в эту столицу. Было это туманным осенним днем, около трех часов пополудни; по широким аллеям, отделяющим город от предместий, разгуливали элегантные мужчины и разряженные женщины; ожидавшие их кареты вереницей выстроились вдоль бульвара. Дальше, под темнеющими воротами крепостной стены, теснилась пестрая толпа, и, смешавшись с ней, я миновал укрепления и вдруг оказался в самом центре большого города. Но горе тому, кто на этой прекрасной гранитной мостовой не катит в карете, горе бедняку, мечтателю, горе безвестному прохожему! Здесь есть место для одних лишь богачей и их лакеев, для банкиров и для торговцев. С грохотом катятся навстречу друг другу кареты среди все сгущающихся сумерек, которые так быстро наступают на этих узких улочках меж высокими домами. Сверкают огнями витрины лавок, освещая выставленные там предметы роскоши. Зажигают свет в больших передних особняков, и огромные швейцары в богатых ливреях в каждом подъезде ждут карет своих господ, постепенно возвращающихся домой. Безумная роскошь во внутрен-

нем городе и нищета в окружающих его кварталах — вот впечатление, которое производит Вена на первый взгляд.

И нет ничего печальнее, как быть вынужденным по вечерам покидать ярко освещенный центр и возвращаться в предместье. Бредешь этими длинными аллеями с их бесконечными рядами фонарей, тянущихся чуть ли не до горизонта; тополя трепещут под порывами ветра; приходится перебираться через какую-то речку, через какой-то канал с темнеющей внизу водой, и только доносящийся со всех сторон унылый бой башенных часов напоминает, что находишься внутри города. Но вот приходишь до предместий и вдруг чувствуешь себя в каком-то совсем другом мире, где легче дышится и живут веселые, разумные, добрые горожане; если и встретишь еще какую-нибудь карету, то направляется она в сторону балов и театров; на каждом шагу слышится музыка и шарканье танцующих, навстречу попадают группки весельчаков, распеваящих хоры из опер. Погребки и таверны соперничают друг с другом ярко освещенными вывесками и причудливыми транспарантами, здесь выступают певицы из Штирии, там — итальянские импровизаторы, обезьяний театр, акробаты, примадонна парижской оперы; какой-то моравский Вам-Амбур со своими зверями, какие-то фокусники, — словом, все то, что у нас в Париже можно увидеть лишь в дни больших праздников, здесь щедро преподносится завсегдатаям таверн, и притом совершенно бесплатно. Немного дальше объявление о «Шперле», заключенное в рамку из цветных стеклышек, вызывает одновременно и к высшему сословию, и к господам военным, и к любезной публике; балы-маскарады, балы «обыкновенные», балы в ознаменование дня какой-либо святой — таков уж здешний вкус.

Но мы с тобой давай войдем в весьма посещаемый публикой театр Леопольдштадта, где дают презабавные местные фарсы (*local posse*) и где я очень часто бываю, поскольку живу в предместье, носящем это и м я , — единственном предместье, граничащем с центром, от которого его отделяет только рукав Дуная.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА

23-е. Вчера вечером, слоняясь по этому театру, где я был чуть ли не единственный представитель так называемых цивилизованных зрителей, ибо остальную публику

составляли венгры, богемцы, турки, тирольцы, римляне и трансильванцы, я попытался вернуться к роли Казановы, которую небезуспешно начал играть еще позавчера. Роль эта куда более совместима со здешними обычаями, чем это может показаться. Я садился поочередно то рядом с одной, то рядом с другой женщиной, пришедшей в театр без провожатого, и с одной из них, изыскавшейся на более или менее понятном мне наречии, мне удалось завязать разговор. После спектакля я пошел ее провожать, но она только и позволила мне, что на минуту прикоснуться к своей ручке (очень даже соблазнительной!), которую я с трудом нащупал под накидкой среди шелка и меха, не то кошачьего, не то настоящего. Мы очень долго гуляли, потом я довел свою даму до ее дверей, но впустить меня к себе она не пожелала; однако назначила мне свидание На сегодня в шесть часов вечера.

Вот и вторая! Эта, если говорить о внешности, не так хороша собой, как первая, но, по-видимому, принадлежит к более высокому сословию. Узнаю это нынче вечером. Но не кажется ли тебе удивительным, что иностранец в течение трех дней завязывает такое близкое знакомство с двумя женщинами, что одна прибегает к нему, а ко второй он отправляется сам. И что все это отнюдь не считается предосудительным. Меня предупреждали об этом, но я не верил; вот так вершатся в Вене любовные дела! Ну, и это прелестно! В Париже женщина заставит тебя страдать три месяца, таков уж установленный срок, потому-то мало у кого хватает терпения дожидаться. Здесь дело слаживается в течение трех дней, и чувствуешь с первого же дня, что женщина уступила бы и раньше, когда бы не побоялась произвести впечатление «гризетки»; ибо именно этого, судя по всему, они более всего боятся. Кстати, нет ничего более увлекательного, чем такое невинное ухаживание на спектаклях, на балах, в казино; это до такой степени здесь принято, что самым высоконравственным и в голову не придет этому удивиться; по меньшей мере три четверти женщин являются в общественные места без провожатых или ходят одни по улицам. Если вы случайно попадете на добродетельную, ваши домогательства ничуть ее не оскорбят, она станет болтать с вами, сколько душе вашей будет угодно. Всякая женщина, к которой вы подойдете, позволит взять себя под руку, проводить до дому; затем, оказавшись у дверей, в которые вы надеетесь войти, она очень мило, очень лукаво попросается с вами, поблагодарит, что вы

проводили ее, и заявит, что дома ее ждет отец либо муж. Если вы выскажете желание снова увидеть ее, она охотно сообщит вам, что завтра или послезавтра собирается быть там-то на балу или в таком-то театре. Если в театре, в самый разгар вашей беседы с женщиной, которую вы застали в одиночестве, внезапно вернется муж или любовник, ходивший проветриться в галереи или спускавшийся в кофейню, он ни капельки не удивится тому, что вы так непринужденно с ней болтаете. Он любезно вам поклонится и станет смотреть в другую сторону, очевидно, очень довольный тем, что вы на какое-то время освободили его от обязанности развлекать жену.

Я пишу тебе об этом уже и на основании собственного опыта, но более всего на основании опыта других; чем можно все это объяснить? Ведь, право же, ничего подобного я не видел даже в Италии. Все дело, думаю я, в том, что очень уж много в этом городе красивых женщин, а мужчин, которые были бы им под стать, гораздо меньше. В Париже красивые женщины — такая редкость, что они очень дорого ценятся; их лелеют, их холят, их охраняют, и вот они и начинают понимать цену своей красоте. Тут женщины не придают большого значения своей внешности, они не сознают собственного очарования, ибо здесь это такая же обыденная вещь, как красивые цветы, красивые животные, красивые птицы, в которых действительно нет ничего из ряда выходящего, если заботливо их выращивать и хорошо кормить. А благодаря плодородию этого края, жизнь здесь так легка и благополучна, что худосочных женщин просто не бывает, а следовательно, нет среди них тех уродливых созданий, каких видим мы среди наших работниц и крестьянок. Ты и представить себе не можешь, как это чудесно — на каждом шагу встречать на улицах великолепно сложенных девушек, блистающих своими свежими красками, которые даже удивляются, если обращаешь на них внимание.

Есть в этой атмосфере любви, грации, красоты нечто пьянящее — теряешь голову, выпускаешь вздохи, чувствуешь себя безумно влюбленным, и притом не в одну, а во всех женщин зараз. Воздух напоен l'odor di femina¹, его вдыхаешь, чувствуешь на расстоянии, подобно Дон Жуану. Как жаль, что сейчас не весна! Недостает соответствующего пейзажа, чтобы ощущения эти стали еще

¹ Ароматом женщины (*ит.*).

более полными. И однако в этом времени года есть свои прелести. Нынче утром я зашел в большой императорский сад, расположенный в конце города, — в нем не было ни одной живой души. Длинные аллеи заканчивались где-то вдалеке, упираясь в пленительные сероголубые горизонты. Там, дальше, простирается огромный холмистый, перерезанный прудами парк, где полно птиц. Непогода так разворотила клумбы, что сломленные розовые кусты лежали на земле, окуная в грязь свои цветы. Вдали виднелись Пратер и Дунай; это было поистине очаровательное зрелище, несмотря на холод. Ах, понимаешь, мы ведь еще все же чертовски молоды, моложе, чем нам это кажется. Но Париж до того уродливый город и населен такими тупыми людьми, что невольно приходишь в отчаяние и перестаешь верить в мироздание, в женщин, в поэзию...

7 декабря. Я переписываю последние пять строк на другой лист бумаги. Протекло уже немало дней с тех пор, как были написаны предшествующие четыре странички. За это время ты получал от меня письма, мог судить о приятной стороне моего здешнего существования, и вот уже почти месяц отделяет меня от первых моих впечатлений о жизни в Вене. И все же есть непосредственная связь между тем, что я собираюсь тебе написать, и тем, что я писал тебе прежде. Все дело в том, что развязка, которой ты, вероятно, ожидал, читая первые мои письма, так за это время и не наступила. А ты ведь меня знаешь — способен ли я выдумывать истории только ради того, чтобы позабавить тебя, и изливаться в чувствах по поводу событий, которых на самом деле не было? Ну так вот, если мои первые венские похождения вызывают у тебя какой-то интерес, узнай, что...

13 декабря. Столько событий произошло после тех четырех дней, описанию которых посвящено было начало этого письма, что не знаю даже, как связать их с тем, что случилось со мной сегодня. Не могу сказать, чтобы моя донжуанская карьера продолжалась все время с одинаковым успехом. Катти сейчас находится в Брюнне подле больной матери; я собрался было отправиться к ней по той прекрасной железной дороге в тридцать лье длиной, которая находится у въезда в Пратер, но этот род путешествия совершенно ужасно действует мне на нервы. А пока — вот тебе еще одно намечающееся приключение, первые подробности которого я честно сообщаю тебе.

Для начала скажу, что в этом городе, по моим наблюдениям, нет ни одной женщины, которая ходила бы по городу обычной поступью. Замечаешь какую-нибудь красотку, идешь за ней, и тут она начинает кружить, переходя с одной улицы на другую, делая самые неожиданные петли и причудливые зигзаги. Выберите более или менее безлюдное место, подойдите, и заговорите с ней — она непременно вам ответит. Всякий это знает. Жительница Вены никогда никого не станет отваживать. Если она принадлежит кому-нибудь (я имею в виду не мужа, тот никогда в счет не идет), если она слишком занята в эту минуту всякого рода другими делами, она прямо скажет вам об этом и предложит либо встретиться на будущей неделе, либо вообще запастись терпением, не обозначая срока. Отсрочка эта никогда не длится долго, а предшествовавшие вам любовники становятся вашими закадычными друзьями.

Итак, я пошел за одной красавицей, которую заметил на Пратере, в том месте, где вечно толкутся люди, пришедшие полюбоваться катанием на санках, и шел за ней до самой ее двери, не заговаривая с ней, потому что дело происходило днем. Такого рода приключения бесконечно меня забавляют. На мое счастье, почти напротив ее дома оказалась кофейня. И вот уже под вечер я вернулся сюда и расположился у окна. Как я и предвидел, означенная особа не преминула выйти из своего дома. Бегу за ней, заговариваю, и она весьма благодушно предлагает взять ее под руку, чтобы не обращать на себя внимания прохожих. И вот таким манером она начинает таскать меня в разные концы Вены: сначала к торговцу в «Кольмаркте», где покупает себе митенки; потом к кондитеру, где отламывает мне половинку своего пирожного; наконец она приводит меня обратно к тому дому, из которого вышла, битый час стоит со мной на пороге и в заключение говорит, чтобы я пришел сюда завтра вечером. Назавтра прихожу в назначенный час, стучу в дверь и вдруг неожиданно оказываюсь в компании еще двух девушек и трех мужчин, одетых в овечьи шкуры с какими-то колпаками на головах на манер валашских. Вся эта компания очень сердечно меня встретила, и я уже собрался было сесть, но не тут-то было. Они погасили свечи, и все гурьбой отправились куда-то в конец предместья. Никто и не думал оспаривать у меня моей красотки, хотя один из этих субъектов оставался без дамы; наконец мы пришли в какую-то насквозь

прокуренную таверну. Казалось, будто все не то семь, не то восемь народностей, что делят меж собой славный город Вену, собрались в этот день сюда, чтобы предаться каким-то общим увеселениям. Первое, что бросалось в глаза, было то, что все эти люди много пили, мешая легкое красное вино с более крепким белым. Мы заказали несколько графинов этой смеси, оказавшейся довольно вкусной. В глубине залы находилось что-то вроде подмостков, на которых исполнялись какие-то песенки на непонятном мне языке, судя по всему, очень забавлявшие тех, кто их понимал. Тот молодой человек, что остался без дамы, сел рядом со мной, и так как он хорошо говорил по-немецки — случай не такой уж частый в Вене, — я рад был поговорить с ним. Что до женщины, с которой я пришел, то она была вся поглощена спектаклем, который игрался в нескольких шагах от нас, на пространстве, отделенном прилавком. Там шли настоящие комедии. Участвовало в этом пять или шесть певцов. Они выходили, разыгрывали сценку, затем уходили и появлялись снова уже в других костюмах. Это были целые пьесы с хорами и куплетами. В антрактах молдаване, венгры, богемцы и прочие уписывали телятину и зайчатину. Моя красotka сидела со мной рядом и, благодаря красному вину, а заодно и белому становилась все оживленнее. Она разругалась и была прелестна, ибо обычно слишком уж бледна. Это настоящая славянская красавица — крупные черты лица говорят о чистой породе, не смешанной ни с какой другой.

Должен еще заметить, что самые красивые женщины здесь — это женщины из народа и женщины из высшего света. Пишу тебе из кофейни, где сижу и жду начала спектакля в театре; но больно уж скверные здесь чернила, лучше я в другой раз поделюсь с тобой своими наблюдениями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА

31 декабря, день св. Сильвестра. «Черт бы побрал марципанового тайного советника!» — как говорил Гофман в этот самый день. Сейчас ты поймешь, по какому поводу это восклицание!

Пишу я тебе не о той прокуренной таверне, не о том фантастическом погребке, ступеньки которого так были истерты подошвами, что стоило только ступить на верхнюю, как вы тут же скатывались вниз и оказывались

сидящим за столом между кувшином старого и кувшином нового вина, а напротив вас, на другом конце стола, вели между собой серьезный спор «человек, потерявший свою тень», и «человек, утративший свое отражение». Я расскажу тебе сейчас о погребке, как и тот, насквозь прокуренном, но куда более великолепном, чем бременский «Ратскеллер» или Лейпцигский «Ауэрбах»; я обнаружил этот погребок возле Красных ворот, и, право, он стоит того, чтобы тебе его описать, ибо это тот самый, о котором я упоминал уже в предыдущем моем письме... Здесь разыгралось начало моей любовной истории.

Это и в самом деле погребок — довольно глубокое подвальное помещение; направо от двери находится конторка хозяина, окруженная высокой балюстрадой, на которой расставлены оловянные кувшины; именно отсюда льется рекой имперское пиво — баварское и богемское, а также красные и белые венгерские вина, носящие различные странные названия. Налево от двери — большой буфет, на котором громоздятся тарелки с жареным мясом, кондитерскими изделиями, разного рода сласти и дымчатся würschell¹, эта излюбленная еда всех венцев. Проворные служанки быстро расставляют по столам блюда, в то время как кельнеры выполняют более утомительную обязанность — обносить посетителей пивом и вином. Здесь каждый таким образом ужинает, употребляя вместо хлеба пирожки с анисом или глазированные солью лепешки, которые сильно возбуждают жажду. Не будем, однако, останавливаться в этой первой зале, служащей для хозяина заведения буфетной, а для актеров — кулисами. Тут встретишь лишь танцовщицу, натягивающую свои туфельки, примадонну, накладывающую на лицо свое румяна, какого-нибудь участвующего в представлении солдата, переодевающегося в театральный костюм; здесь оставляют верхнюю одежду танцующие вальс, здесь прячутся собаки, не выносящие музыки и танцев, здесь отдыхают торговцы-евреи, которые в перерывах между пьесами, вальсами и песнями снуют среди посетителей, предлагая им свою парфюмерию, восточные плоды и бесчисленное множество билетов большой лотереи Мидлинга.

Нужно подняться на несколько ступенек вверх и пробраться сквозь толпу, чтобы проникнуть наконец в главную залу. Это, как обычно, длинное, закрытое со всех сторон помещение со сводчатым потолком. Вдоль

¹ Сосиски (нем. в австр. произношении).

стен теснятся столы, середина залы освобождена для танцев. Стены отделаны мелким камнем и ракушками, в глубине, за помостом, на котором играют музыканты и выступают актеры, устроено нечто вроде арки, увитой диким виноградом. Что до публики, то общество весьма смешанное; впрочем, в этих людях нет ничего, что выходило бы за рамки приличия, ибо одеты они не столько бедно, сколько необычно. На венграх большей частью полувоенное платье с яркими шелковыми нашивками и крупными серебряными пуговицами; на богемских крестьянах — длинные белые плащи и маленькие круглые шапочки, украшенные лентами или цветами. Жителей Штирии сразу можно узнать по зеленым шляпам с пером и тирольским охотничьим костюмам; сербы и турки реже всего попадают в этом причудливом собрании, где представлено столько наций, входящих в состав Австрии, и среди которых наиболее малочисленными, быть может, являются подлинные австрийцы.

Что касается женщин, то, за исключением нескольких венгерок в полугреческих одеяниях, они обычно одеты весьма просто, почти все красивы, стройны, прекрасно сложены, чаще всего белокуры, с великолепным цветом лица, и все они с упоением танцуют вальс. Едва зазвучит оркестр, как они уже вскакивают из-за столов, оставляя недопитый стакан или недоконченный ужин, и тогда среди шума голосов и топота ног, в облаках табачного дыма возникает настоящий вихрь вальсов и галопов, подобного которому я никогда еще не видел. Это совсем не похоже на наши танцульки у городских застав, эти робкие вакханалии парижских гуляк под недреманным оком блюдущих общественное Целомудрие муниципальных стражей, суровыми атлантами стоящих поодаль. Здесь никакого муниципалитета нет и в помине, во всяком случае ничего того, что заменяет в Вене это учреждение. Вальс — единственный танец, который танцует здесь народ, но этот вальс их не иначе как тот самый, что танцевался во время языческих оргий или древнего шабаша. Гёте, несомненно, взял его за образец, когда описывал Вальпургиеву ночь и заставил Фауста кружиться в объятиях той бешеной ведьмы, из очаровательного ротика которой от упоения выскакивали красные мышки.

И однако — ничего нарочито непристойного, никаких двусмысленных жестов в самозабвенных этих плясках, от которых покраснели бы наши развращенные жители предместий; все просто, все естественно, как природа,

как любовь; в вальсе этом есть сладострастие, но нет похотливости — он достоин пылкого и простодушного народа, никогда не читавшего Вольтера и не распевającego песенок Беранже. Поражает здесь и выносливость мужчин, и спокойная грация этих неутомимых женщин, ухитряющихся неизменно сохранять свою свежесть — им нечего опасаться того, что под утро у них окажутся усталые, поблекшие лица. К тому же следует прибавить, что их кавалеры им как будто совсем безразличны: они вальсируют с партнером, а не с определенным мужчиной; я еще, быть может, объясню тебе, до какого предела, по-видимому, простирают они эту свою внешнюю доступность, холодность и непринужденность.

Когда вальс кончается, все возвращаются к еде и питью, и тогда в глубине залы, позади некоего подобия прилавка, прикрытого скатертью и освещенного стоящими на нем свечами, появляются певцы либо фокусники; или — и это чаще всего — начинается представление драмы или комедии, которые играютя безо всяких предварительных приготовлений. Есть в этом нечто и от театра, и от военного парада; но пьесы почти всегда очень забавные и исполняются весьма живо и естественно. Иногда здесь можно услышать маленькие оперы-буфф на итальянский манер *con Pantalalone e Pulcinella*¹. Иной раз узкой сцены оказывается недостаточно, чтобы развернуть действие, и тогда актеры перекликаются между собой из различных концов залы; в середине ее даже происходят сражения между фигурантами, одетыми в соответствующие костюмы; прилавок превращается в осажденный город или судно, на которые напали корсары. Этими костюмами и обстановкой все и ограничивается, декорации здесь также отсутствуют, как в лондонских театрах времен Шекспира, нет даже дощечек с надписями, которые сообщали тогда зрителям, что тут находится город, а там — лес. По окончании пьесы, независимо от того, комедия это или фарс, каждый участник обращается к публике с куплетами на популярный здесь мотив, всегда один и тот же, который, по-видимому, очень нравится венцам; после этого артисты разбредаются по зале и, переходя от стола к столу, собирают комплименты и крейцеры. Актрисы и певички почти все прехорошенькие, они без стеснения присаживаются к столам, и нет такого ремесленника, студента или солдата,

¹ С Панталоне и Пульчинеллой (*ит.*).

который не предложил бы им выпить из своего стакана; эти бедняжки лишь слегка пригубливают из него, но это учтивость, в которой они не могут отказать. Потом появляется еще какой-нибудь импровизатор или сочинитель, читающий стихи.

Однажды мой слух был поражен именем Наполеона, оглушительно, как показалось мне, прозвучавшим под этими сводами, среди этого сборища, где было столько полувелицизованных людей. Читали великолепную балладу Цедлица «Ночной смотр». Высокое это стихотворение снискало восторженные рукоплескания, ибо Германия ныне помнит лишь Наполеона-победителя. Однако это никому не помешало сразу же после сей элегии, воскрешающей в памяти — будь то в Германии, будь то во Франции — столько священных теней, самозабвенно вновь отдаться вальсу.

Таковы, друг мой, духовные радости этого народа. Вовсе он не прозябает, как принято считать, отупев от табака и пива; он остроумен, поэтичен и любознателен, как итальянский, но в нем больше добродушия и серьезности; обращает на себя внимание, очевидно, в высшей степени свойственная ему потребность одновременно удовлетворять все свои пять чувств и стараться сочетать еду, музыку, табак, танцы и театр.

При выходе из этих таверн с удивлением всякий раз обнаруживаешь над входной дверью большое распятие, и тут же где-нибудь на углу восковую фигурку той или иной святой, покрытую сусальным золотом. Дело в том, что религия здесь, так же как и в Италии, несколько не враждебна веселью и развлечениям. Есть некая торжественность и в таверне, так же как церковь нередко рождает в нас чувство праздничности и любви. Я особенно отчетливо понял эту недоступную нам связь между ними неделю назад, в рождественскую ночь. Праздничная толпа, выходявшая из церкви, направлялась прямо на бал, причем ей почти не приходилось при этом как-то менять свое настроение. Улицы были полны детей, они несли освященные елочки, украшенные свечами, пирожными, всякими сладостями. То были рождественские елки, и было их так много, что они напомнили мне тот движущийся лес, который шел навстречу Макбету. Внутри все церкви, в особенности собор св. Стефана, поражали своим великолепием и сияли огнями. Но не только вид этой огромной толпы в праздничных платьях, этого серебряного алтаря, сверкающего среди клироса,

этих сотен музыкантов, свисающих гроздьями, если можно так выразиться, с хрупких перил над головами молящихся, вызывали у меня чувство восторга, но и та искренняя, глубокая вера, которая сливала все эти звенящие голоса в единый гимн. Эти тысячеголосые хоры поистине ошеломляют нас, французов, привыкших к монотонному гудению басов наших певчих или пронзительному фальцету наших богомолок. И потом, эти трубы, эти скрипки, эти несущиеся с хоров голоса певиц, вся эта театральная торжественность богослужения показалась бы нашему скептическому народу весьма мало совместимой с религией. Но ведь это только у нас одних католицизм представляется таким безрадостным, таким ревнивым, таким насыщенным мыслями о смерти и лишениях — потому-то лишь немногие чувствуют себя достойными исповедовать его и соблюдать его обряды. В Австрии, равно как и в Испании, религия сохраняет свою власть потому, что она легка и доброжелательна и больше требует веры, нежели жертв.

Итак, вся эта шумная толпа, пришедшая, подобно первым христианам перед лицо господя, дабы возрадоваться рождению Христову, собиралась закончить праздничную ночь пирушками и танцами под аккорды все тех же инструментов. Я рад был, что мне привелось еще раз присутствовать при прекрасных этих торжествах, которые наша церковь запрещает и которые, право же, необходимы в этих странах, где люди веруют всерьез.

Хорошо понимаю, что тебе хотелось бы узнать конец последнего моего приключения. Быть может, я и напрасно описывал тебе все предшествующее. Я, очевидно, произвожу на тебя впечатление препустого малого, такого легковесного путешественника, представляющего свою страну лишь в винных погребках и, вследствие умеренного потребления пива и своего взбалмошного характера, склонного искать легких любовных связей. Посему в недалеком будущем я перейду к более серьезным своим приключениям... А что касается того, о котором я только что упомянул, то весьма сожалею, что не писал о нем по ходу действия — теперь уже поздно. Я очень много дней пропустил в своем дневнике, и все эти мелкие события, которые ничего не стоило бы мне тогда описать, сегодня не могу уже даже припомнить во всех подробностях. Могу рассказать тебе лишь о том, как однажды, когда я довольно поздно провозжал свою даму домой, в наш роман неожиданно затесался какой-то

шальной пес, который увязался за нами, подобно пуделю Фауста. Я сразу же смекнул, что это не к добру. Красотка моя принялась его гладить, хотя он был совершенно мокрый, после чего заявила, что не иначе как песик потерял своих хозяев и она хочет взять его домой; я попросился тоже войти, но на это она отвечала: «Nicht!» или, если хочешь, «Nix!»¹, таким решительным тоном, что я вспомнил о вторжении 1814 года.

— Этот проклятый черный пес приносит мне несчастье, — сказал я себе, — не будь его, она бы, конечно, меня впустила.

Ну так вот, никто из нас не вошел к ней — ни пес, ни я. В ту самую минуту, когда открылась дверь, он вдруг умчался, как причудливое видение, каковым он и был, а мне красотка назначила свидание на следующий день.

Назавтра я был в отвратительном расположении духа; было очень холодно; у меня были дела в городе. Я пришел не в назначенный мне час, а позже, уже днем. Меня встречает некое существо мужского пола и, открыв мне дверь, спрашивает, как верблюжья голова у Казота: «Che vuoi?»² Так как он был все же менее страшен, чем Казотов верблюд, я уже готов был ответить: «Мне нужно видеть мадемуазель...», — но — о ужас! — вдруг обнаруживаю, что не знаю, как зовут мою возлюбленную. А между тем, как я тебе писал, знакомы мы с ней уже целых три дня. И вот бормочу нечто нечленораздельное; мужчина смотрит на меня как на какого-то проходимца; я удаляюсь. Превосходно.

Вечером брожу вокруг ее дома; она возвращается к себе, ловлю ее, прошу извинения и спрашиваю весьма нежным голосом:

— Мадемуазель, не сочтете ли вы нескромным, если я спрошу у вас ваше имя?

— Вхахби.

— Простите, как?

— Вхахби.

— О, умоляю! Напишите мне его. Так вы, выходит, цыганка или венгерка?

Она родилась в Ольмюце, моя голубушка... Вхахби, в самом деле, имя совершенно цыганское, а между тем

¹ Нет! (в немецком литературном и диалектном произношении.)

² Чего ты хочешь? (ит.).

это милое белокурое существо и имя свое произносит так трогательно, что похожа на ягненокка, изъясняющегося на своем родном языке. И вот дело затягивается; и я уже понимаю, что предстоит длительное ухаживание. Однажды утром прихожу к ней, и она говорит мне очень взволнованно:

— Ах, боже мой, он заболел.

— Кто он?

Тогда она произносит имя, которое тоже звучит весьма по-цыгански, и говорит:

— Да входите же.

Вхожу во вторую комнату и нахожу там лежащего на постели огромного детину, который был с нами в тот вечер в таверне и одет был тогда в костюм охотника из комической оперы. Этот малый всячески показывает мне, что очень рад меня видеть; рядом с ним на постели растянулась длинная борзая. Не зная, что сказать, я говорю: «Какая прекрасная собака», глажу ее, что-то приговаривая, это продолжается довольно долго. Над постелью висит ружье лежащего господина, но, судя по сердечности, с которой он меня встретил, оснований для беспокойства у меня нет никаких. Он объясняет, что у него лихорадка, и это чрезвычайно досадно, потому что сейчас как раз самый сезон охоты. Я наивно спрашиваю у него, охотится ли он на серн; тогда он указывает мне на дохлых куропаток, с которыми возятся в углу какие-то дети.

— А, это прекрасно, сударь.

Тогда, чтобы как-то поддержать разговор, ибо моя красotka не возвращается, я, как истый буржуа, спрашиваю:

— Ну а как эти детки учатся? Почему они не в школе?

Охотник отвечает:

— Они еще слишком малы.

Я говорю, что в моей стране детей отдают в школы взаимного обучения с младых ногтей, и долго распространяюсь об этом методе. В это время входит Вхахби с чашкой в руках. Я спрашиваю охотника, имея в виду его лихорадку:

— Должно быть, это хинная настойка?

Он отвечает:

— Да.

Но, видимо, он меня не понял, ибо через минуту я увидел, что он крошит в эту чашку хлеб: никогда не слышал, чтобы хинную настойку употребляли как суп; и

в самом деле, это оказался бульон. Лицемерие сего длинного малого, поглощающего суп, было столь же малоувлекательным, как этот мой рассказ о нем. Хорошенькое любовное свидание, нечего сказать... Прощаюсь с охотником, желаю ему скорейшего выздоровления и возвращаюсь в первую комнату.

— Послушайте, — говорю я молодой цыганке, — этот больной господин — кто он? Ваш муж?

— Нет.

— Ваш брат?

— Нет.

— Возлюбленный?

— Нет.

— Так кто же он такой?

— А никто. Просто охотник.

Следует тебе сказать, чтобы ты понял смысл моих вопросов, что в этой второй комнате стояло три кровати, и она объяснила мне, что одна из них принадлежит ей и что именно это мешает ей принять меня у себя. В общем, я так и не мог уразуметь роли этого персонажа. Она тем не менее сказала, чтобы я завтра приходил снова; но я подумал, что если приходиться для того, чтобы наслаждаться беседой с охотником, то лучше уж дожидаться его выздоровления. Увидел я Вхахби только неделю спустя; она так же мало удивилась моему появлению, как и тому, что я так долго не приходил. Охотник, очевидно, уже успел поправиться, в доме его не было... Я никак не мог понять, чем же теперь объясняется ее неуступчивость; она сказала, что дети в соседней комнате.

— Это что, ваши дети?

— Да.

— Черт возьми!

Их было трое — с волосами цвета спелой пшеницы, такие же белокурые, как и мать. Я нашел все это столь патриархальным, что лучше уж приду как-нибудь в другой раз. Трое малюток, охотник и красotka никуда от меня не денутся — вернусь сюда, когда позволит время.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА

Вот как проходит здесь мой день: вставши утрам, обмениваясь приветствиями с несколькими итальянцами, проживающими, как и я, в «Черном орле», закуриваю сигару и спускаюсь по длинной улице предместья Леопольдштадта. По обе стороны здания, что выходит на

набережную небольшой речушки Вены, отделяющей нас от центрального города, расположены две кофейни, где всегда роится множество востроносых евреев, по выражению Генриха Гейне, устроивших здесь нечто вроде биржи, некоторые прямо на улице, другие, более богатые, — в помещении кофейни. Вот где еще можно увидеть великолепные бороды, длинные лапсердаки из черного шелка, у кого более, у кого менее засаленные, и услышать непрерывное гудение, которое оправдывает выражение, употребленное поэтом. Это в самом деле целый рой, в котором есть и пчелы, и трутни.

Как приятно пропустить утром стаканчик *Kirschenwasser*¹ в одной из этих кофеен; затем уже можно отважиться ступить на Красный мост, ведущий к Ротентор — городским укрепленным воротам. Но прежде остановимся на спуске у стены и почитаем на ее углу театральные афиши. Их здесь почти столько же, сколько в Париже. «Бургтеатр», который является местной «Комеди Франсез», объявляет о постановке какой-нибудь пьесы Гёте или Шиллера, этих Корнеля и Расина немецкого классического театра; далее следует *Koertnerthor-Theater*, то есть театр у Кертнертор, в котором идет либо Мейербер, либо Беллини, либо Доницетти; есть еще театр *an der Wien* (венский), где даются мелодрамы и водевили, обычно переведенные с французского. Существуют еще театры Леопольдштадта, Йозефштадта и т. д., не считая множества театральных кофеен, о которых я давеча писал тебе.

Окончательно решив, где я проведу сегодняшней вечер, прохожу через Красные ворота под крепостным валом и сворачиваю налево к некоему *Gasthof*, где имеется выбор венгерских вин довольно изрядного качества. *Tokaier-Wein* (токайское) продается там по шести крейцеров за бокал и превосходно сочетается с бараньей либо свиной отбивной котлетой, которые подают здесь с четвертушкой лимона.

Здесь очаровательная манера расплачиваться: никто кошелек с собой не носит, имеют хождение только крейцеры — маленькие монетки из скверного металла, что-то около семнадцати французских с у, — служат они только в качестве разменной монеты, во всех остальных случаях платят кредитными билетами. Красивые ассигнации ценою от франка и до самых головокружительных

¹ Вишневая настойка (нем.).

сумм, украшенные в высшей степени искусно выполненными гравюрами, вы держите в своем бумажнике. Очаровательный женский профиль, под которым красуется надпись: «Austria» (Австрия), внушает вам живейшее сожаление всякий раз, когда приходится с этими картинками расставаться, и большое желание приобрести новые. Необходимо заметить, что есть два рода этих кредитных билетов: они бывают либо в условной монете, представляющей только половину их стоимости, либо в реальной, которая более или менее постоянна и зависит от политических обстоятельств.

Обычно после завтрака я иду по Ротентурмштрассе, торговой улице, весьма оживленной благодаря соседству с рынками, до тех пор пока не дохожу до площади перед собором св. Стефана, знаменитого венского собора, шпиль которого считается самым высоким во всей Европе. Верхушка его чуть-чуть накренилась вперед — след задевшего его во время оно пушечного ядра, пущенного французской артиллерией. Крыша этого здания покрыта мозаикой из отлакированных черепиц, которая видна уже издали, когда на ней играют солнечные лучи. Собор этот, построенный из серо-бурого камня, являет собой всю поистине фантастическую утонченность готической архитектуры. Оставив это знаменитое сооружение слева, доходим до перекрестка двух улиц, из которых одна ведет к Кертнертор, а другая — к Мальмаркту. Есть еще третья, по которой можно дойти до Грабена. На этом перекрестке возвышается нечто вроде столба очень странного назначения. Называется это «Шток-им-Эйзен». Это просто ствол дерева, росшего, как говорят, в том лесу, на месте которого была потом построена Вена. Этот почтенный пень бережно сохранили и вделали в наружную стену лавки золотых дел мастера. Каждый прибывающий в Вену подмастерье слесаря или кузнеца должен вбить в это дерево гвоздь. Но сюда вбито столько гвоздей, что уже много лет, как это никому не удастся сделать, по этому поводу с приезжающими заключаются пари. Счастливый народ, который способен еще предаваться подобным забавам!.. Иногда я спрашиваю себя: будет ли когда-нибудь в Вене революция? Гранитные плиты мостовой, великомерно обточенные, так надежно склеены, если можно так выразиться, горной смолой, так плотно прилегают друг к другу, что невольно думаешь: неужели же их когда-нибудь решатся выламывать для того, чтобы строить баррикады? Каждая плита обходится правительству в один

Zwanziger¹. Удастся ли ценой таких расходов избежать революции?

Вот мы и на Грабене — это центральная площадь Вены. Как и все другие площади, она представляет собой продолговатый четырехугольник. Дома построены еще в XVIII веке и почти все отделаны мелким камнем и ракушками. В середине площади возвышается огромная колонна формой своей напоминающая бильбоке, шариком которому служат изваянные облака, на коих восседают позолоченные ангелы. Сама колонна напоминает витые колонны соломонова ордера, ее сверху донизу покрывает лентообразный орнамент — всякие гирлянды и доспехи. А теперь представь себе на минуту, что сюда переселились все модные лавки самых богатых кварталов Парижа — предположение это имеет тем больше оснований, что подавляющую часть здешних лавок занимают шляпницы и торговцы модными товарами, составляющие часть здешней так называемой французской колонии. В середине площади есть магазин, посвященный эрцгерцогине Софии, которая, судя по ее изображению, красующемуся на вывеске, была, как видно, весьма недурна собой.

Теперь нам остается пройти лишь небольшую улочку, и мы оказываемся в главной кофейне Кольмаркта, в которой твой друг имеет обыкновение предаваться двойному, так сказать, удовольствию — пить кофе с молоком (его подают здесь в стеклянных бокалах), одновременно читая французские журналы, разрешенные здешней цензурой.

11 января. Пришлось прервать повествование обо всех этих удовольствиях нынешней моей жизни, чтобы поделиться с тобой куда менее приятным приключением, внезапно нарушившим мое спокойствие.

Да будет тебе известно, что иностранцу не так-то легко продлить свое пребывание в столице Австрии свыше нескольких недель. В ней нельзя оставаться и более суток, если заблаговременно не заpastись рекомендацией от какого-нибудь банкира, который пожелает взять на себя ответственность за возможные ваши долги. Затем, есть ведь еще и вопросы политические. У меня создалось впечатление, что с первого же дня за каждым моим шагом зорко следят... Тебе известно, с какой быстротой и страстным любопытством бегаю я по улицам всякого незнако-

¹ Двадцать крейцеров (нем.).

мого мне города. Так что вряд ли можно позавидовать тому шпиону, которому я поручен.

В конце концов я заметил некоего довольно бесцветного на вид блондина, который весьма усердно все время следует по тем же самым улицам, что и я. И тотчас принимаю свои меры: прохожу несколько шагов, внезапно останавливаюсь, резко оборачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с господином, изображающим мою тень. Он изрядно запыхался.

— Вам нет никакого смысла так выбиваться из сил, — сказал я ему. — Я обычно хожу очень быстро, но, если хотите, могу приспособиться к вашему шагу и таким образом насладиться беседой с вами. — Бедняга был явно весьма смущен; я успокоил его, сказав, что мне известно, к каким предосторожностям приходится прибегать венской полиции в отношении иностранцев, и в частности французов. — Завтра, — прибавил я, — я буду у вашего начальника и успокою его относительно моих намерений.

Сыщик промямлил что-то в ответ и тут же дал стрекача, притворившись, будто не понимает моей скверной немецкой речи.

Чтобы ты не удивлялся, открою тебе, что некий мой друг, журналист, дал мне превосходное рекомендательное письмо к одному из начальников венской полиции. Я собирался воспользоваться им только в случае серьезной необходимости. И вот на следующий день я отправился в полицейское управление.

Принят я был там превосходно: господин, о котором идет речь и чье имя барон фон Ц., некогда лирический поэт, член Тугендбунда и тайных обществ ныне, войдя в возраст и распроставшись с безумствами молодости, оступился и пошел служить в полицию. Немало немецких поэтов оказались в таком положении. К тому же есть в венской полиции даже нечто патриархальное, и это лучше, чем где-либо, объясняет подобного рода превращения.

Мы побеседовали о литературе, и господин фон Ц., убедившись в моей благонамеренности, понемногу стал удаивать меня некоторой откровенностью.

— Знаете, — сказал он мне, — ваши приключения доставляют мне истинное удовольствие.

— Какие приключения?

— А те, о которых вы так мило рассказываете вашему другу в письмах, отправляемых здешней почтой в Париж.

— Вот как! Вы все это читаете?

— О, можете не беспокоиться; в том, что вы пишете, нет ничего, что бы вас скомпрометировало. Больше того, наше правительство весьма благоволит к тем иностранцам, которые не только не занимаются каким-либо подстрекательством, а напротив, в полной мере пользуются всеми удовольствиями, какие предоставляет им славный город Вена.

Открытие это ничуть меня не удивило. Я превосходно знал, что не только в Австрии, но и в большинстве немецких стран все письма проходят через «черный кабинет». Я обратил все это в шутку; мне даже удалось еще больше войти в доверие к господину фон Ц., и кто знает, быть может, он еще и сам подскажет мне немало предметов наблюдения — разве не являемся и мы, сочинители, агентами своего рода моральной полиции?

Он проникся ко мне таким доверием, что предложил запросто заходить к нему в любое время просматривать оппозиционные газеты, поскольку полиция — самое свободное место во всей империи... Здесь без опаски можно говорить обо всем.

14 января. Вчера барон фон Ц. призвал меня к себе и сказал: «хотите поразвлечься? Прочтите-ка это письмо». Я был крайне удивлен, обнаружив, что адресовано оно в Перигор моему дядюшке и что это копия письма моего кузена Анри, дипломата, несколько дней тому назад покинувшего Вену.

Вот оно, это послание.

«Дорогой дядюшка!

С той минуты, как господин министр иностранных дел, вследствие вашей убедительной рекомендации, со благоволил открыть мне путь на дипломатическое поприще, направив на службу при шведском посольстве, для меня, можно сказать, занялась новая заря! Мой разум, развившийся под воздействием ваших советов, ныне жаждет деятельности в сфере, где некогда вы одерживали столь блестящие победы. Хотя, согласно этим советам, я должен до поры до времени лишь разборчиво писать те депеши, записки, меморандумы, протоколы и проч., с которых мне поручено будет снимать копии, давать справки и официальные свидетельства в отсутствие хранителя печати, резюмировать доклады, а главным образом заклеивать конверты и накладывать восковые печати необходимой формы, я чувствую, что не всегда буду заниматься этими начатками дипломатического искусства, которыми,

разумеется, не следует пренебрегать, но которые, словно густой вуалью, прикрывают глубокие политические тайны, быть причастным к которым я страстно желаю.

И поскольку вы позволили мне посылать на ваш суд со всеми возможными предосторожностями мои собственные наблюдения, пользуясь специальным курьером, чтобы отправить вам это письмо, которое, таким образом, не будет прочитано на почте, как это может случиться с теми, которые я буду отправлять вам обычным путем во время своего путешествия.

Должно быть, вы немало удивитесь, получив это письмо из Вены, столицы Австрии, между тем как я должен был, как вы знаете, отправиться в холодную Швецию. Я и сам все еще этому удивляюсь и могу объяснить то, что со мной случилось, лишь внезапно возникшими новыми осложнениями в восточном вопросе.

Ровно неделю тому назад я собрался распрощаться со своими начальниками, дабы в тот же вечер отправиться к месту своего назначения; решил я ехать посуху, ввиду того что время года уже позднее, и рассчитывал сначала напрямик отправиться во Франкфурт, затем в Гамбург с недолгими остановками в каждом из этих городов, а затем уже из Гамбурга отплыть в Стокгольм. Я доскональнейшим образом изучил карту, ожидая аудиенции у министра, но последний перевернул все мои планы. В тот вечер его превосходительство был явно чем-то озабочен, меня он принял второпях, не сразу, после долгого ожидания. «А, это вы, господин де Н.? Как ваш дядюшка? По-прежнему в добром здравии?» — «Да, господин министр, хотя он немного недомогает... вернее, считает себя нездоровым». — «Какой это превосходный ум, сударь! Вот таких-то людей нам теперь и нужно; он именно из тех, кого имел в виду Бонапарт, когда сказал: «Надо создать новое поколение». И он его создал. Но теперь оно исчезает, как и все остальное...» Я только было собрался ответить, что мне, надеюсь, удастся быть вашим последователем во всем, как вошел начальник кабинета: «Ни одного курьера! — сказал он министру. — Тот, что прибыл из Испании, заболел; другие — кто уехал, а кто еще не приехал. Дороги ужасны!» — «Ну что ж, — сказал министр, вот у нас есть еще господин де Н. Дайте эти письма ему; надо же, чтобы атташе приносил когда-нибудь пользу». — «Можете вы отправить сегодня же?» — спросил меня начальник кабинета. — «Я рассчитывал ехать нынче вечером». — «Какой дорогой вы собирались ехать?» — «Через

Трир и Франкфурт». — «Ну так вам придется отвезти это письмо в Вену». — «Это немного не по пути, — добродушно сказал министр, — но зато вы повидаете Германию, это будет вам полезно... Есть у вас дорожная карета?» — «Да, господин министр». — «Вам понадобится на это шесть дней». — «Может быть, шесть с половиной, из-за повода», — заметил секретарь. «Словом, нынче у нас четверг, значит, в следующий четверг господин Н. будет уже там». Таковы были напутственные слова министра, и в тот же вечер я пустился в путь.

Можете представить, как обрадовался я, дорогой дядюшка, что мне доверено государственное послание! И как благодарен я вам за то, что вы посоветовали мне купить эту дорожную карету, которая тетушке показалась слишком дорогой! «Атташе без дорожной кареты, — сказали вы мне тогда, — подобен улитке без раковины» (помните, вы употребили именно это сравнение). Сравнение это кажется мне весьма точным, если не считать вопроса о скорости передвижения, которая упомянутому животному отнюдь не свойственна.

Я сам люблю пошутить и в свое время отдал дань всякого рода шалостям, свойственным юности. Однако теперь я весьма серьезно думаю о своей карьере и весьма озабочен своим будущим, неуклонно следуя в этом вашим добрым советам. К сожалению, отнюдь не все молодые люди разделяют мои мысли на этот счет. Догадаетесь, кого я встретил в Мюнхене за табльдотом в гостинице «Англия»? Меня громогласно окликают с другого конца стола, я оборачиваюсь и не верю своим глазам... Но нет, это действительно был мой кузен Фриц, выехавший из Парижа неделей раньше меня с намерением навестить вас в вашем перигорском поместье.

Вы понимаете, дядюшка, что эта мысль пришла в голову отнюдь не ему, а его батюшке, который всегда воображал, будто я ласкаюсь к вам в ущерб моему кузену. Вам-то, благодарение богу, известно, что я никогда и слова о нем не сказал дурного; что же до того, что он пренебрегает всякими разумными занятиями или, во всяком случае, предается множеству самых пустых дел, что он промотал все состояние своей матери и треть нашего поместья в М., что он ездит по белу свету, демонстрируя свои артистические вкусы, свои претензии на остроумие, свои сумасбродные увлечения и тысячи причуд, оскорбляющие все общепринятые понятия, то вы знаете, дядюшка; до всего этого мне весьма мало дела. И однако

признаюсь, что мне не доставляет ни малейшего удовольствия встречаться с этим вертопрахом в высших кругах, куда призывает меня мое нынешнее положение.

Пока еще об этом нет и речи, мы еще только встретились за табльдотом в Мюнхене. И почему только не велел я себе принести обед прямо в мои комнаты — сам не знаю! Это избавило бы меня от этой встречи. Всякий раз, когда поступаешь не так, как то подобает безукоризненно воспитанному человеку, неизбежно в этом раскаиваешься — таково одно из преподанных мне вами жизненных правил; никогда более не стану я пренебрегать им. Итак, между нами на расстоянии завязывается разговор, и вы сами понимаете, что отвечаю я, со своей стороны, крайне односложно. За столом были одни англичане да немцы, однако они прекрасно нас понимали. И вот он начинает высмеивать, да еще обычным своим язвительным тоном, который вы хорошо помните, мое новое положение дипломата, спрашивает, что я везу — войну или мир, и другие подобные же глупости. Я знаками стараюсь дать ему понять, что неосторожно вести подобные разговоры, и действительно, как мне стало потом известно, за табльдотом находился один прусский шпион и один английский; меня, несмотря на мое звание атташе, приняли за шпиона французского. Немцы не понимают или не хотят поверить, что наше правительство никогда не станет прибегать к подобным средствам, что мы в своей политике действуем всегда честно или в соответствии с дипломатическим соглашением.

В конце концов я встал, отозвал его в сторону и дал ему понять, насколько его поведение нескромно по отношению ко мне. «Мы уже не юные сумасброды, — сказал я ему, — правительство оказало мне доверие, возложив на меня новое звание и новые обязанности. Дорожная карета, которой я еду в Вену, возможно, везет в себе судьбы большого государства...» — «Ах, так ты едешь в дорожной карете», — тотчас же прервал меня к у з е н . — «Я путешествую только т а к ». — «В самом деле, это очень удобно для тех, кто не любит пеших прогулок. А я, если страна красивая, путешествую только пешком». — «Что ж, на здоровье». — «А впрочем, здешний край на редкость скучный: плоские песчаные земли да редкие сосновые леса, в реках нет воды, в городах нет мостовых, в тавернах нет вина, женщины...» Я поспешил прервать его, а то он бы еще больше меня скомпрометировал. «Мне пора е х а т ь , — сказал я, — я остановился в Мюнхене, только чтобы по-

обедать». — «Ты хочешь сказать — поужинать, здесь ведь обедают в час дня, а сейчас уже восемь». — «Итак, прощай». — «А не хочешь ли остаться послушать старуху Шрёдер-Девриент в „Медее“?» — «У меня более срочные дела». — «Знаешь, я, кажется, сейчас совершу глупость». — «В это я охотно верю». — «Понимаешь, какое дело? Я выехал из Парижа с намерением навестить нашего дядюшку. Чтобы не ехать однообразными дорогами центральной Франции, я отправился через Бургундию. Я сделал крюк, чтобы увидеть Юру, а затем Констанцу, этот город соборов (декорации в «Опере» совсем на него не похожи, и это хорошо), — самое прекрасное в Констанце, на мой взгляд, это пароход, который увозит вас от ее берегов и дает вам возможность в течение шести часов общаться с пятью различными народностями. Я не собирался задерживаться в Баварии, но в Линдау мне наговорили всяких чудес о Мюнхене. За сегодняшний день я успел уже осмотреть город вдоль и поперек, и с меня хватит. В твоей карете есть свободное место, ты едешь в Вену, я еду с тобой. Мне очень любопытно увидеть эту столицу».

Я надеялся отговорить его от этого намерения и спросил, есть ли у него доверенные письма. Он показал мне письмо одного из Ротшильдов, в котором тот рекомендует его всем своим отделениям. Я не знаю, чего стоит такая бумага, которая кажется мне не более как письмом вежливости. Но там, в Вене, они все это сами решат. Мне из верного источника известно, что там и суток не позволят оставаться иностранцу, у которого в бумажнике нет приличной суммы.

И все же его болтовня изрядно развлекала меня в течение всего нашего пути, который был отнюдь не легким, особенно в Зальцбурге, одном из самых нецивилизованных мест земного шара. В Вене он остановился в гостинице где-то в предместье, желая, по его словам, сохранить полное инкогнито. Я очень этому рад и желал бы впредь встречаться с ним как можно реже. Он, конечно, вам напишет и станет извиняться, что вместо Перигора попал в Вену. Правда, поскольку Земля круглая, ничто не мешает ему выполнить свой долг в отношении вас в течение всего будущего года».

Таково письмо этого милого мальчугана... Что ты на это скажешь? Вот какие услуги оказывают нам наши родственники.

Господин фон Ц. просил меня сохранить его дружескую откровенность в полнейшей тайне. Но согласись, заботливая венская полиция на что-нибудь да годится... во всяком случае, когда у тебя есть друзья!

Вена, на мой взгляд, разительно напоминает собой Париж, каким он был в XVIII веке, в 1770 году, например; а сам я себе кажусь таким поэтом-чужеземцем, затерявшимся в этом обществе, наполовину состоящем из блестящей аристократии, а наполовину — из беззаботных на вид простолюдинов. Но от тогдашнего французского народа низшие классы Вены отличаются отсутствием национального единства. Словаки, мадьяры, тирольцы, иллирийцы слишком озабочены своими национальными различиями и не в состоянии были бы договориться между собой, окажись у них даже какие-либо общие интересы. Кроме того, предусмотрительная и избретательная имперская полиция не позволяет оставаться в городе ни одному рабочему, у которого нет работы. Все ремесла объединены в цехи; ремесленник, прибывающий из провинции, подлежит таким же правилам, что и путешественник-чужестранец. Он должен иметь рекомендацию от прежнего хозяина или какого-нибудь именитого горожанина, который берет на себя ответственность за его поведение и за возможные его долги. Если он таких гарантий предъявить не может, ему дают двадцать четыре часа на то, чтобы ознакомиться с памятниками и достопримечательностями Вены, после чего подписывают ему его расчетную книжку и направляют в любой другой город по его выбору, где беднягу ожидают точно такие же мытарства. В случае неподчинения его препровождают по месту рождения, где за его поведение ответственность несет муниципалитет, который обычно, если в этом городе нет промышленности, посылает его на сельские работы.

Весь этот правопорядок в высшей степени деспотичен, это бесспорно. Но хочешь не хочешь, а приходится убеждаться в том, что Австрия — это Китай в Европе. Я преодолел ее Великую стену... Об одном только жалею, что нет в ней просвещенных мандаринов.

Подобная форма правления, когда бы при ней главенствовали люди просвещенные, в самом деле представляла бы меньше неудобств. Разрешить эту задачу и хотел Иосиф II, император-философ, весь пропитавшийся идеями Вольтера и энциклопедистов. Нынешнее правительство деспотически следует его традициям и, уже отнюдь не тяготея к философии, остается просто *китайским*.

В самом деле, мысль установить иерархию образованных людей сама по себе, возможно, и превосходна. Но в стране, где главенствует наследственное право, само собой подразумевается, что сын образованного человека непременно и сам человек образованный. Он получает положенное ему воспитание, он пишет стихи и трагедии в полном соответствии с тем, чему его научили в коллеже, и, считаясь наследником талантов своего отца, занимает его должность, не встречая ни у кого ни малейшего возражения. Если он совершенно бездарен, его наставник напишет за него исторический трактат, сборник стихов или героическую трагедию, и все будет в порядке.

Доказательством сей высокой просвещенности, выказываемой австрийской знатью в своем покровительстве образованным людям, может служить уже одно то, что я видел известнейших немецких писателей, которые находятся здесь в полном забвении и вынуждены, унижая свой величественный дар, прозябать на каких-то жалких должностях.

У меня было рекомендательное письмо к одному из них, чье имя, быть может, более знаменито в Париже, нежели в Вене; с большим трудом мне удалось разыскать его в убогом закоулке канцелярии министерства, в котором он служит. Я намеревался просить его ввести меня в некоторые салоны, где мне хотелось появиться лишь под покровительством большого таланта; ответ его глубоко поразил и огорчил меня.

— А вы представьтесь им сами в качестве иностранца, — сказал он мне, — упомяните заодно о своем родстве с посольским атташе (моим кузеном Анри!), и вы будете превосходно приняты; ибо все они очень благожелательны и всегда рады видеть у себя французов, во всяком случае тех, кто не внушает подозрений правительству. Что до нас, нищих поэтов, кто мы такие, чтобы притязать на общество князей и банкиров?

У меня сердце сжалось от этих слов и угрюмой иронии, с которой произнес их столь прославленный человек, вынужденный мириться с жалкой своей долей в обществе, которое, зная, что он собой представляет, лишь удосужилось наградить его талант бесполезными лаврами.

У артистов несколько иное положение. Они имеют то преимущество, что непосредственно развлекают светские салоны, где неизменно встречают благожелательный прием и восторженные похвалы. Они легко становятся

друзьями больших вельмож, самолюбию которых льстит возможность оказывать им покровительство. Поэтому и приглашают они их на свои вечера и балы. Но при этом артисту всякий раз надлежит принести с собой свой инструмент, свое *орудие труда* — сие ярмо он снять с себя не вправе. Один из них, притязавший на социалистические убеждения, отважился недавно заявить своему другу князю де... (и заметь к тому, что он был также другом и княгини), что хочет на ближайшем празднике, который дан будет во дворце, присутствовать просто как гость и не играть в этот вечер ни на каком инструменте.

— Нет ничего легче, — сказал ему князь, — мы скажем, что вы нездоровы.

— Нет, я вовсе не хочу, чтобы меня считали больным.

— Ну что ж, мой друг, я поговорю об этом со своими друзьями.

В итоге артист этот вообще не получил приглашения. Он в бешенстве уехал в Венгрию, где бурные овации, которыми его там встречают, являются некоторым реваншем за унижение, испытанное им в венских салонах с их дурацким этикетом.

18 января. Поговорим еще немного о развлечениях венского народа — это, право же, куда веселее. Близится масленица, и я часто бываю на балах в «Шперль» и «Бирн», которые интереснее всех прочих и специально рассчитаны на буржуазные круги. Это обширные помещения, богато отделанные. Женщины здесь одеты лучше (то есть ближе к парижским модам), нежели женщины более низких слоев; в этом отношении они являют собой некое подобие наших гризеток. Вальс танцуют здесь с такой же точно энергией и страстью, что и в тавернах, и в таких же густых клубах табачного дыма.

И в «Шперле» тоже обедают и ужинают под музыку и танцы, и длинные вереницы танцующих галоп, извивающиеся между столами, нисколько не мешают посетителям с аппетитом поглощать свой обед.

Мне жаль, что я могу пока рассказать тебе только о зимних развлечениях здешнего населения. Пратер, который я увидел лишь после того, как с его деревьев облетела листва, не утратил, однако, всей своей красоты; особенно хорош он в те дни, когда идет снег, и толпа вновь заполняет собой многочисленные кофейни, казино и изящные павильоны, которые очень приятно проигрывать на фоне голых черных деревьев. Целые стада косуль

бегают на свободе по этому парку, где их кормят гуляющие. В нескольких местах его прорезают рукава Дуная, образуя островки, где поляны перемежаются рощами. Слева берет начало дорога, ведущая из Вены в Брюнн. В четверти лье отсюда течет Дунай (ибо Вена отнюдь не стоит на самом Дунае, так же как Страсбург не стоит на Рейне). Таковы Елисейские поля этой столицы.

Сады Шенбрунна тоже не показались мне столь уж унылыми, когда я проходил по ним. Шенбрунн — это венский Версаль; расположенная рядом деревня Гицинг по-прежнему каждое воскресенье служит местом гулянья веселящихся горожан. Весь этот день в казино Гицинга играет со своим оркестром Штраус-сын; вечером он, однако, возвращается в «Шперль», дабы дирижировать там вальсами. Чтобы попасть в Гицинг, надо пройти через двор Шенбруннского дворца; мраморные химеры стерегут вход в него; заброшенная башня, отделанная во вкусе XVIII века, находится в полном запустенье. Да и сам дворец, фасад которого выглядит весьма внушительно, внутри производит впечатление великолепия лишь благодаря величине своих огромных зал, в которых прежняя позолота почти всюду сверху закрашена краской. Зато когда выходишь в сторону сада, взору открывается зрелище столь великолепное, что даже воспоминания о Сен-Клу и Версале не способны затмить его.

Павильон Марии Терезии расположен на вершине холма, развернувшего у его подножья необозримое море зелени, и являет собой поистине чудо архитектуры — нечто волшебное, ни с чем не сравнимое. Это длинная сквозная колоннада, в которой четыре средних аркады забраны зеркальными стеклами, образуя храм отдохновения — одновременно и замок, и триумфальная арка. Когда смотришь на него снизу, со стороны дороги, павильон этот как бы увенчивает собой дворец по всей его длине и кажется его завершением, потому что основание холма, на котором он стоит, находится как раз на уровне крыш Шенбрунна. Приходится долго подниматься по длинным аллеям, обсаженным соснами, мимо зеленых газонов, мимо фонтанов, украшенных скульптурами во вкусе Пюже и Бушардона, пока не доберешься наконец до ступеней сего храма, поистине достойного этих жеманных богинь и так гордо вырисовывающегося на фоне неба со своими гирляндами и астрагалами мадемуазель де Скюдери.

«Я жажду одного — покинуть этот сад», чтобы поскорее вернуться в венские предместья по прекрасной

Мариахильферштрассе, обсаженной на протяжении целого лье двумя рядами огромных тополей. Празднично одетая толпа все так же движется по направлению к Гицингу, останавливаясь большими компаниями в кофейнях и казино, которые тянутся вдоль всей этой улицы. Это самый красивый въезд в Вену, пристойное и буржуазное место гуляния, которого не чураются нарядные экипажи.

Чтобы закончить разговор о предместьях Вены, от которых нельзя отделить Шенбрунн и Гицинг, я должен рассказать тебе еще о трех театрах, дополняющих собой этот длинный список народных увеселений. Действительно, Венский театр, театр Йозефштадта и театр Леопольдштадта — это театры для народа, их можно сравнить с нашими бульварными театрами. Другие — Бургтеатр, где дают комедии и драмы, и театр у Кертнертор, где ставят оперы и балеты, расположены внутри крепостных стен. Венский театр, несмотря на скромное свое назначение, — самый красивый в городе и отделан роскошнее всех остальных. По величине он такой же, как парижская Опера, а расположением и отделкой весьма напоминает итальянские театры. Ставятся там исторические драмы, большие балеты-феерии и какие-то небольшие вводные пьески, обычно представляющие собой подражание нашим водевилям. Когда я приехал в Вену, там шла с большим успехом мелодрама г-жи Бирх-Пфейфер «Штирийцы». И одновременно, как я тебе уже сообщал, в Леопольдштадте шла другая пьеса этой же дамы. Г-жа Бирх-Пфейфер — это Бушарди немецкого театра. Она смело называет свои пьесы народными драмами; но было бы слишком уж большой честью для нее сравнивать ее с нашим земляком иначе как с точки зрения успеха. Видел я также в Венском театре шиллеровского «Вильгельма Телля»; уже одно это доказывает, что имперская цензура не столь свирепа, как это утверждают; ибо, конечно, никто не стал бы оспаривать ее права запретить представление «Вильгельма Телля».

Но цензура позволила нам увидеть в театре Леопольдштадта еще и «Рюи Блаза» под названием «Господин и слуга»; правда, конец ее подвергся небольшой переделке. Рюи Блаз всего лишь угрожает своему господину этим пресловутым мечом, который он так отважно у него вырывает. Засим они объясняются, слуга находит своих родителей, подобно Фигаро; только ему везет больше: они оказываются у него богачами и вельможами. Мне кажется даже, что в конце он женится на королеве и ста-

новится венчанным супругом, неким подобием герцога Кобургского, что еще более согласуется с конституцией.

В обоих театрах — и в Леопольдштадтском, и в Венском играет одна и та же труппа антрепренера Карла. Репертуар их, в основном, составляют «местные фарсы» — причудливые пьески, пышно поставленные, которые венцы готовы смотреть без конца. Чтобы француз мог составить себе хоть отдаленное понятие об этом типе зрелищ, ему надо вообразить себе пантомиму Дебюро в сочетании с самыми экстравагантными водевилями театра «Варьете» вроде «Паяцев», которые, хотя и весьма отдаленно, могут дать о них представление. Парижский буржуа с его трезвым, рассудочным умом никогда бы не потерпел безмерного своеволия и добродушно-насмешливой веселости подобных сочинений. Самая популярная из этих пьес, являющаяся как бы образцом сего жанра, называется «Тридцать лет из жизни негодяя». Почти все местные фарсы пишутся неким актером по имени Нестрой, который играет в них заглавные роли, притом очень живо и остроумно.

В театре Йозефштадта, который, внутри очень напоминает зрительный зал театра Жимназ, последние два месяца происходили сеансы некоего физика по имени Доблер. Этот артист ничем особенно не отличается от Боско, который в настоящее время пленяет публику в Константинополе. С тех пор как он покинул Вену, театр Йозефштадта обновил вечно новый сюжет «Бунта в серале» и благодаря красивым фигуранткам и злоключениям европеизированных турок спектакль пользуется бешеным успехом; венский народ лишь недавно начал потешаться над турками, чем также объясняется такой невероятный успех.

Мне довелось в этом театре быть свидетелем представления, подобного которому во Франции не встретишь. Я имею в виду «Академию» знаменитого Сафира, одного из самых известных журналистов и поэтов Германии. Впрочем, в этом *литературном заседании* принимало участие еще множество артистов. Началось оно с сочиненной Сафиром стихотворной сценки под названием «Спряжение глагола *любить*». Ее исполняли три хорошенькие актрисы Императорского театра, одна изображала учительницу, две другие — учениц. Это было остроумно придумано и премило исполнено. Затем актер театра у Кертнертор спел «Ночной смотр», ему аккомпанировал Лист. Затем вышла г-жа Миллер и сыграла одну комедию

в три акта — к счастью, весьма короткую, тоже сочинения Сафира. Это было нечто вроде пародии, в которой остроумный бенефициант подвергал осмеянию наши современные комедии. Г-жа Миллер была награждена аплодисментами наравне с автором. Известно, что актрису эту называют здесь немецкой мадемуазель Марс. Недавно один венский журналист заметил по этому поводу, что уместнее было бы назвать мадемуазель Марс французской Каролиной Миллер. Что ж, пусть, мы не против. А *заседание*, после того как было еще прочитано немало стихов, закончилось чтением *юмористического произведения*, с которым выступил уже сам Сафир. Мы сначала почувствовали некоторое беспокойство — как будет воспринято столь длинное литературное творение после актеров и певцов, после Листа, после Берлиоза. Попробовали бы у нас, во Франции, после всего этого прочитать публике хотя бы даже неизвестную статью самого Вольтера, она бы живо потребовала свои калоши и лошадей по примеру г-на Бюффона. Ну а изысканная венская публика оставалась на своих местах и прослушала эту статью, в которой пространно излагался некий философский парадокс, и Сафиру аплодировали и дважды его вызывали. Вот что представляет собой Академия в городах Германии: писатель, словно обыкновенный актер-исполнитель, дает концерты поэзии и музыки. «Академия» Сафира принесла ему дохода три тысячи флоринов. Ничто не могло бы дать более точного представления о развлечении здесь *высшего света* — его непременно нужно отделить от того, другого, ибо здесь существуют еще и сливки общества, не сомневайся в этом.

Таковы развлечения, которым предается венское население в течение зимы. И только зимой можно изучать этот город — полуславянский, полоевропейский — во всех своеобразных оттенках его характера. Летом высший свет покидает его, отправляется в Италию, в Швейцарию, на морские купания или проводит лето в своих замках в Венгрии, в Богемии. Народ устремляется на Пратер, в Гизинг, в Аугартен, принося туда с собой свои веселые праздники, свои упоительные вальсы и нескончаемые ужины. И тогда надо сесть на пароход, идущий по Дунаю, либо в имперскую почтовую карету и проститься с этой столицей, предоставив ее обычной ее жизни — столь разнообразной и в то же время столь монотонной.

Летом Вена становится таким же унылым городом, как Мюнхен в любое время года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА

11 февраля. Вернемся к моим похождениям... А теперь, трубите в фанфары, трубачи! Забудем все вчерашние наши поражения, и пусть реют знамена в знак одержанных нами ныне побед. Мы воздымаем на сей раз роскошные знамена из шелка и льна. И вот мы уже из предместья перебрались в город, а из города... Нет, не будем пока торопиться.

Друг мой, до сих пор я прилежно описывал тебе все свои любовные похождения с красавицами низших классов. Бедные голубки! А ведь они были такими добрыми, такими нежными... Первая подарила мне всю ту любовь, на какую была способна; затем, подобно прекрасному ангелу, она улетела навестить в Брюнне свою матушку. Две другие выказывали мне истинное расположение и приоткрывали мне навстречу улыбающиеся свои губки, подобные цветам, сулящим в будущем прекрасные плоды... нужно было только капельку повременить, запастись терпением, дабы дать им возможность не посрамить чести города и его предместий. Но что поделаешь, красавицы мои, француз — существо непостоянное!.. Француз сломал венский лед, преграждающий путь обычному путешественнику, тому, кто не более как мимолетный гость. У нас уже есть теперь в городе Вене свои владения, мы обрели ныне права и привилегии, мы теперь уже вхожи к светским дамам. «Это ведь не шутка — светские дамы!» — как говаривал мой друг Бокаж.

Может быть, ты думаешь, что я с ума схожу от радости? Да нет, я совершенно спокоен. Я сообщаю тебе то, что есть, только и всего.

И я не знаю теперь, должен ли я продолжать свои откровенные признания, о друг мой! Как ты можешь убедить, я долго колебался, прежде чем решиться послать тебе это письмо. Не является ли оно предательством по отношению к тем милым созданиям, которым и в голову не приходило, что тайна их красоты, их капризов станет гулять по белу свету и будет в четырех сотнях лье от них ублажать мысль некоего равнодушного моралиста (то бишь тебя!) и служить ему материалом для серии физиологических очерков?

Только боже тебя сохрани открывать кому-нибудь — в особенности парижанам — секрет нашей с тобой переписки; или скажи им, что все это чистый плод воображения, что все это происходит так далеко от нас (как гово-

рит Расин в предисловии к «Баязету») и, наконец, что все имена, адреса и прочие приметы даны в достаточно измененном виде, чтобы ничто в этом отношении не обернулось бы нескромностью. Впрочем, не все ли равно, в конце концов?.. Мы ведь с тобой не живем, не любим. Мы изучаем жизнь, мы просто философы, черт побери!

Представь себе большой, покрытый резьбой мраморный камин. Камин — большая редкость в Вене, и встречаются они только во дворцах. Кресла и диваны на позолоченных ножках. Вдоль стен зала тянутся позолоченные консоли; панели... ей богу, и панели тоже покрыты позолотой. Как видишь, обстановка самая что ни на есть великосветская.

Три прелестные дамы сидят перед этим камином: одна из них — коренная жительница Вены, вторая — итальянка, третья — англичанка. Одна из них троих — хозяйка дома. Двое из присутствующих здесь мужчин — графы, один — венгерский князь, еще один — министр, все остальные — *многообещающие* молодые люди. Среди вышеупомянутых господ находятся мужья этих дам, а также вполне узаконенные любовники; но ты ведь знаешь, такие любовники обычно в конце концов переходят на положение мужей, то есть их уже перестают считать мужчинами. Последнее замечание весьма глубокомысленно, поразмысли над ним хорошенько.

Итак, если разобраться в сложившейся расстановке сил, друг твой оказывается в этом обществе единственным мужчиной, и, оставляя в стороне хозяйку дома (это уж само собой разумеется), имеет все шансы снискать внимание остальных двух дам, в чем, по только что изложенной причине, не будет, собственно, никакой его заслуги.

Друг твой хорошо пообедал; он пил французские и венгерские вина, кофе, ликеры. Он элегантно одет, на нем тонкое белье, волосы шелковисты и слегка завиты. Он отпускает парадоксы — нам они за последние десять лет успели уже набить оскомину, но здесь это в новинку. Иностранные вельможи не в силах тягаться с нами на этой благодатной почве, которую мы уже так хорошо взрыхлили. Твой друг сверкает остроумием: только тронешь — искры сыпятся.

Какой отличный молодой человек! Дамы от него в восторге, мужчины им очарованы. В этой стране все такие добрые! Итак, твой друг сразу же прослыл приятнейшим

собеседником. Жаль, что он мало говорит, но когда разгорячится, он просто неподражаем!

Признаюсь откровенно: из этих двух дам одна очень мне нравится, а вторая... тоже очень. Но у англичанки еще вдобавок такая милая мягкая манера произносить слова, она так уютно сидит в своем кресле, у нее такие чудесные белокурые волосы с рыжеватым отливом, такая белоснежная кожа, и вся она в шелках, в вате, в тюле, в жемчугах, в опалах — бог знает, что там в середине, но снаружи все это так красиво!

Это совсем особый вид красоты и обаяния, который только теперь я начинаю ценить — что делать, старею. И вот весь вечер я не отхожу от кресла этой красивой женщины. Вторая дама, как мне казалось, в это время с увлечением беседовала с каким-то уже престарелым господином, видимо, очень влюбленным и производящим впечатление эдакого грубого *patito*¹, вряд ли способного быть столь уж увлекательным собеседником. Разговаривая со своей дамой в голубом, я всю восторгаюсь блондинками, пою дифирамбы их белокурым волосам, их белоснежной коже. И тут вдруг вторая дама, которая все время прислушивалась к нашей беседе, резко обрывает разговор со своим воздыхателем и вмешивается в наш. Я пытаюсь переменить тему — не тут-то было: она уже все слышала. Я начинаю уверять ее, что мои слова относились так же и к брюнеткам с белой кожей; на это она отвечает, что у нее кожа смуглая. Так что твоему другу пришлось всячески повертеться — отрицать, отвергать, опровергать... Я считал, что вызвал у этой смуглой дамы определенную неприязнь к себе, и был этим порядком огорчен, потому что вообще-то она весьма хороша собой, выглядит так величественно в своем белом платье, и чем-то напоминает Джулию Гризи в первом акте «Дон Жуана». Впрочем, это сходство позволило мне в дальнейшем все же уладить недоразумение. Два дня спустя я встретил в казино одного из графов, которых видел в тот вечер. Мы вместе пообедали и вместе отправились в театр. И таким образом ближе сошлись. Разговор зашел о двух дамах, о которых шла речь выше; он сам вызвался представить меня одной из них, а именно брюнетке. Я выразил сомнение, ссылаясь на допущенную мною неловкость. Он ответил, что, напротив, все получилось как нельзя более удачно. Человек этот не лишен проницательности.

¹ Поклонника (*ит.*).

Сначала я заподозрил, уж не любовник ли он этой дамы и не хочет ли таким образом от нее избавиться, тем более что он сказал:

— Вам это знакомство может оказаться весьма кстати, у нее своя ложа в театре у Кертнертор, так что вы сможете ходить туда, когда вам вздумается.

— Дорогой князь, это прекрасно; представьте же меня этой даме.

Он уславливается с ней, и вот на следующий же день, около трех часов я уже нахожусь в салоне этой очаровательной особы. Салон полон визитеров. Меня как будто вовсе не замечают. Но вот встает, раскланивается и уходит какой-то рослый итальянец, затем какой-то толстый субъект, напомнивший мне гофмановского регистратора Геербранда; вслед за ними прощается и мой поручитель — в этот день у него оказываются какие-то дела. Остаются венгерский князь и тот самый *patito*. Я, в свою очередь, поднимаюсь, чтобы уйти; дама удерживает меня и спрашивает, не мог бы я... (чуть было не написал фразу, которая могла бы послужить нескромной приметой); достаточно, если я скажу тебе, что она попросила меня оказать ей небольшую услугу, выполнить которую мне ничего бы не стоило. Князь уходит — у него назначена партия в мяч. Старик (с твоего позволения, назовем его маркизом), старый маркиз упорно продолжает сидеть. Тогда она говорит ему:

— Дорогой маркиз, я не гоню вас, но мне надобно написать письмо.

Он поднимается, я тоже встаю. Она говорит мне:

— Нет, вы останьтесь. Надо же мне дать вам это письмо.

И вот мы остаемся вдвоем. И она говорит:

— Никакого письма я вам давать не собираюсь; поболтаем немного — такая скука, когда приходится говорить сразу со всеми!

Но... мне кажется, история, которую я собрался рассказать тебе, как нельзя более банальна. Похвастаться этим приключением? К чему? Признаюсь тебе даже, что все это плохо кончилось. Я с большим увлечением описывал тебе прежние свои случайные любовные встречи, но то были лишь своего рода очерки чужеземных нравов; и речь шла о женщинах, которые не говорят толком ни на одном европейском языке... что же до того, о чем я должен был бы рассказать тебе теперь, то я впрочем

вспомнил строку Клопштока: «И здесь грозит мне скромность бронзовой десницей».

P. S. Прощу тебя, отнесись снисходительно к этим бессвязно написанным письмам. Этой зимой я жил в Вене словно в каком-то смутном сне. Может быть, на сердце мое и на ум уже начинает действовать расслабляющая атмосфера Востока? Но я ведь только еще на полпути к нему.

АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ

Какая катастрофа, мой друг! Как рассказать тебе обо всем, что приключилось со мной, и еще — как отважиться доверить это конфиденциальное письмо имперской почте? Вспомни, ведь я все еще нахожусь на территории Австрии, то есть на пространстве, от нее зависимом, — на палубе «Франциска Первого», парохода, принадлежащего австрийскому Ллойдю. Пишу тебе, отплывая из Триеста, довольно унылого города, расположенного на косе, выступающей в Адриатическое море, с длинными прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом, в котором никогда не утихает ветер. Разумеется, в темных горах, что вырисовываются на горизонте, есть прекрасные ландшафты, но ты можешь прочитать превосходное описание этих красот в «Жане Сбогаре» и «Мадемуазель де Марсан» Шарля Нодье, и не к чему начинать описывать все это сызнова. Что касается того, каким образом я из Вены попал сюда, то всё это путешествие я проделал по железной дороге, если не считать тех двадцати приблизительно лье, которые преодолел, пробираясь через горные ущелья среди покрытых инеем сосен. Было зверски холодно. Это было не слишком весело, но весьма соответствовало душевному моему состоянию.

Ты спросишь, почему же отправляюсь я на Восток не по Дунаю, как намеревался вначале. На это я отвечу тебе, что из-за любовных своих дел, задержавших меня в Вене гораздо дольше, чем я того хотел, я опоздал на последний пароход, шедший по направлению к Белграду и Землину, где обычно забирают турецкую почту. Начался ледоход, навигация прекратилась. Я втайне надеялся, что смогу прожить в Вене всю зиму и уеду оттуда только весной... а может быть, и вовсе не уеду. Но боги рассудили иначе.

Нет, пока я ничего еще не буду тебе рассказывать. Для этого необходимо, чтобы безбрежные морские просторы легли между мной и... сладостным, грустным воспомин-

нением. А знаешь, куда я еду теперь на этом прекрасном судне австрийского Ллойда?

Я еду предаваться мечтам о своей любви... и не где-нибудь, а на острове Киферы (Чериго).

Мы плывем по Адриатическому морю в ужасающую погоду; вокруг не видно почти ничего — только сумрачные берега Иллирии смутно вырисовываются слева да многочисленные островки Далматинского архипелага. Даже Черногория лишь темным силуэтом обозначена на горизонте, мы заметили ее только тогда, когда проходили мимо Рагузы, города на вид совсем итальянского, судя по очертаниям. Потом мы остановивались в Корфу, где погрузили уголь и приняли на борт нескольких египтян под командой некоего турка по имени Солиман-Ага. Эти славные люди расположились на верхней палубе, где целый день сидят на корточках, а по ночам лежат — каждый на своем коврике. Один только их начальник проводит время с нами на нижней палубе и вместе с нами столуется. Он немного говорит по-итальянски и довольно общительный малый.

Буря разыгралась еще больше, когда мы стали приближаться к Греции. Во время обеда поднялась такая ужасная качка, что сотрапезники начали под громкий хохот тех, кто хорошо ее переносит, один за другим спешно выходить из-за стола, чтобы скорее улечься в свои подвесные койки.

После того как число сидевших за столом — правда, вначале многие еще храбрились — значительно поредело, между оставшимися установилось своеобразное морское братство. Для них привычная общая трапеза превратилась в некий лукуллов пир, который они старались продлить как можно дольше. Это немного напоминало партию в кегли. Задача состояла в том, чтобы не стать «покойником», как обозначают в этой игре сбитые ударом кегли.

«Покойником»! Дальше ты увидишь, таким ли забавным было это мое шутовское сравнение. Нас оставалось за столом четверо, после того как тридцать из сидевших с нами вынуждены были с позором отступить. Кроме Солимана и меня, еще продолжали держаться английский капитан и некий монах-богомолец из святых мест по имени отец Шарль. Это был славный старик, который от души смеялся вместе с нами и обратил наше внимание на то, что Солиман не наливает себе вина, как имел это обыкновение делать в другие дни. Он с улыбкой заметил ему это.

— Сегодня, — отвечал турок, — слишком уж гремит.

Отец Шарль встал из-за стола, вытащил из своего рукава сигару и весьма любезно предложил ее мне.

Я закурил и собрался еще немного посидеть с двумя остальными, но тут вдруг почувствовал, что мне, пожалуй, полезнее выйти на палубу, чтобы подышать воздухом...

Оставался я там не более минуты. Гроза все еще продолжала бушевать, и я поспешил вернуться. Англичанин был в чрезвычайно веселом расположении духа и поглощал блюдо за блюдом, похваляясь, что один съест обед всей кают-компании (правда, турок ему изрядно в этом помогал). В довершение он из удалства потребовал бутылку шампанского и стал всем предлагать составить ему компанию; но никто из тех, кто уже лежал на своих койках, даже не отозвался. Он сказал тогда турку:

— Что ж, давайте выпьем ее с вами вдвоем!

Но в эту минуту снова загрохотал гром, и Солиман-Ага, быть может, сочтя слова англичанина дьявольским искушением, выбежал из-за стола и бросился вон, ничего не ответив.

— Что ж, тем лучше! — огорченно воскликнул англичанин. — Тогда я выпью ее сам, а после — еще одну!

На следующее утро гроза утихла. Слуга, вошедший в кают-компанию, нашел там англичанина — он полулежал на столе, уткнувшись лицом в вытянутые руки. Его начали тормошить. Он был мертв!

— Bismillah! ¹ — воскликнул турок. Это слово они всегда произносят как заклятие, сталкиваясь с чем-то роковым и неотвратимым.

Англичанин был действительно мертв. Отец Шарль выразил сожаление, что не может помолиться за него как священник; но он, несомненно, в душе помолился за него как человек.

Какая странная судьба! Англичанин этот был когда-то капитаном Индийской компании, у него было больное сердце, врачи рекомендовали ему воду Нила. Вино помешало ему доехать до воды.

А в конце концов, такое ли уж это несчастье — вот так умереть?

Мы сделаем остановку в Чериге, чтобы оставить там труп англичанина. И это позволит мне выйти на этом острове, у которого обычно суда не останавливаются. Ты,

¹ Великий Аллах! (араб.).

должно быть, понял, что заставило меня внезапно покинуть Вену... Я бегу от воспоминаний. Больше не скажу тебе ни слова. У меня есть то целомудрие страдания, что свойственно раненому животному, которое в поисках одиночества забирается в самые пустынные места, дабы умереть там без единого стога.

ОКТАБРЬСКИЕ НОЧИ

РЕАЛИЗМ

Страсть к дальним странствиям с годами остывает, разве что человек слишком долго бродил по белу свету и теперь даже на родине стал чужаком. Круг все сужается и под конец не выходит за пределы домашнего очага. Этой осенью мне нельзя было уезжать далеко от Парижа, вот я и решил отправиться всего-навсего в Мо.

Должен сказать, что в Понтуазе я уже побывал.

Мне милы эти городки, скромные планеты, в каком-нибудь десятке лье от Парижа, блистательного светила. Но и десяти лье довольно, чтобы вечером не захотелось возвращаться домой, ибо вы уверены — здесь вас не разбудит привычный звонок в дверь и меж двух обремененных делами дней вам будет подарено спокойное утро.

Как не пожалеть людей, которые в поисках тишины и уединения остаются, доверчивые души, на ночь в Аньере!

Было уже за полдень, когда меня осенила эта идея — поехать в Мо. Но я не знал, что с первого числа расписание поездов на Страсбург изменилось. Мой поезд отходил только в половине четвертого.

Возвращаюсь на улицу Отвиль. Навстречу бредет какой-то фланёр — я пи за что не узнал бы его, если бы хоть чем-нибудь был занят, — и вот, поговорив о погоде, он вступает со мной в спор по поводу некой философской проблемы. Начинаю развивать ответные доводы, и тут оказывается, что я опоздал на трехчасовой омнибус. Происходит это на бульваре Монмартр. Выход напрашивается сам собой: выпить абсента в кофейне Вашет, а потом спокойно пообедать у Дезире и Борена.

Бегло просмотрев хронику политических событий в газетах, я начал рассеянно листать «Ревю британик». Там был напечатан перевод из Чарлза Диккенса, и первые же абзацы показались мне такими любопытными, что

я прочитал весь очерк — он называется «Ключ от улицы».

Какие они счастливы, эти англичане, — читают и пишут очерки, не сдобренные никакими романтическими прикрасами! А в Париже от нас требуют опусов, расцвеченных анекдотами или сентиментальными историйками с неизменной развязкой в виде похорон либо свадьбы. Реалистический ум наших соседей вполне довольствуется правдой и только правдой.

И впрямь, разве фантастические переплетения событий, которые преподносит жизнь, не затмевают любой роман? Вы придумываете людей, потому что не научились в них вглядываться. Существуют ли на свете романы более увлекательные, нежели комические — или трагические — истории, заполняющие страницы судебных протоколов?

Цицерон бранил многословного оратора, который, желая сказать, что его клиент сел на корабль, изъяснялся следующим образом: «Он встает, одевается, открывает дверь, ступает за порог, идет направо по Фламиниевой дороге, доходит до площади Терм» и т. д., и т. д.

Невольно спрашиваешь себя, а доберется ли когда-нибудь этот путешественник до порта, но в то же время он уже стал интересен вам, и я, например, вместо того чтобы обвинять оратора в многословии, потребовал бы описания внешности его подзащитного, дома, где он живет, улиц, по которым проходит, мне захотелось бы даже узнать, в котором это происходило часу и какая стояла погода. Но Цицерон следовал всем правилам ораторского искусства, а тот, другой, был вообще не очень к этому искусству причастен.

МОЙ ПРИЯТЕЛЬ

«К тому же, — как говорил Дени Дидро, — что из этого следует?»

Из этого следует, что приятель, с которым я столкнулся, принадлежит к той породе неисправимых *зевак* или, как их назвал бы Диккенс, *сокпеу*¹, столь характерных для нашей цивилизации и наших столиц. Пусть вы встречались с ним десятки раз, пусть вы даже друзья, все равно он пройдет мимо вас и не узнает. Двигается будто во

¹ Кокни, уроженец Лондона из простонародья (англ.).

сне — так бош из гомеровой «Илиады» двигались порою, окруженные облаком, только тут все наоборот: вы его видите, а он вас — нет.

Он битый час простоит у лавки торговца птицами, стараясь вникнуть в птичью болтовню, поскольку изучил фонетический словарь Дюпона де Немура, который ухитрился выделить полторы тысячи слов в языке одних только соловьев!

Стоит толпе окружить уличного певца или торговца ваксой, людям начать драку или собакам грызню, — наш рассеянный созерцатель уже тут как тут. Именно у него бродячий фокусник вытаскивает из кармана носовой платок, иной раз там присутствующий, или пятифранковую монету, чаще всего там отсутствующую.

Вы окликаете его — и как же он рад, что теперь есть на кого обрушить потоки слов, теорий, нескончаемых ученых выкладок, всяческих небылиц! Он расскажет вам *de omni re scibili et quibusdam aliis*¹, будет говорить четыре часа подряд, и чем больше разогреваются его голосовые связи, тем меньше им нужна передышка; остановится он, лишь когда заметит, что прохождение на улице начали толпиться вокруг него или что официанты в кофейне укладываются спать. Но и тогда он дождется, чтобы они и свет погасили. Вот это впрямь означает, что пора уходить... А вы не мешайте ему насладиться одержанной победой, ибо он поистине мастерски владеет искусством ведения спора, и, о чем бы ни шла речь, последнее слово всегда остается за ним. В полночь любой парижанин с содроганием вспоминает о своем консьерже. Ну а он давно уже махнул рукой на своего и отправляется в дальнюю прогулку или всего лишь на Монмартр.

А как приятно в полночный час пройтись по Монмартру, когда мерцают звезды и так удобно наблюдать за ними в меридиане Людовика XIII близ Мулен-де-Бёр! Такому человеку воров не страшны. Они его слишком хорошо знают: не в том дело, что в карманах у него всегда пусто — нет, порою там заводятся деньги, и немалые, но всем известно — в случае чего он и нож в ход пустит, и первой попавшейся палкой *отдубасит* как следует. Что же касается умения нанести удар ногой, тут он выученик

¹ Обо всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других (*лат.*).

Лозеса. А вот фехтовать не научился, потому что терпеть не может все колкое, и стрельбой из пистолета тоже пренебрегает, потому что убежден — все пули перенумерованы.

НОЧЬ НА МОНМАРТРЕ

В монмартрские каменоломни он идет не для того чтобы вздремнуть, а ради беседы с обжигальщиками извести. Каменоломов он расспрашивает о допотопных животных, осведомляется о стариках, работавших на раскопках у Кювье. Кое-кто из них еще жив. Каменоломы — люди крутого нрава, но от природы наделены любознательным умом, и, сидя у пылающего костра они часами готовы слушать рассказы о чудовищах, чьи останки им до сих пор случается откапывать, о переворотах, изменявших некогда облик Земли. Если какой-нибудь бродяга, проснувшись, потребует тишины, его быстро сумеют утихомирить.

К сожалению, большие каменоломни нынче закрыты. Одна из них — та, что была неподалеку от Шато-Руж, — прямоугольными своими сводами на высоких столпах напоминала друидический храм. Глядишь в ее глубину и с трепетом ожидаешь, что вот-вот оттуда появится Езус, или Цернунн, или Тевтат, грозные боги наших праотцев.

Сейчас существуют только две пригодные для ночлега каменоломни, обе неподалеку от Клиньянкура. Но они битком набиты рабочими, из которых половина спит, чтобы уступить потом место другой половине. Вот таким путем все на свете утрачивает свой особый колорит! Вор — тот всегда найдет себе пристанище на ночь! В каменоломнях полиция ловила обычно лишь честных бродяг, которые не решались попроситься на ночлег у сторожевого поста, да пьянчуг, спустившихся с Монмартра и уже не способных сделать хоть шаг дальше.

Если идти в сторону Клиши, набредаешь порою на огромные газовые трубы — когда-нибудь они понадобятся, а покамест валяются под открытым небом, потому что украсть их никак невозможно. После исчезновения крупных каменоломен, эти трубы сделались последним приютом бродяг. Но потом их и оттуда изгнали: они вылезали цепочками, по пять-шесть человек в каждой. Полицейским только и приходилось, что ружейным прикладом поторапливать последнего в такой цепочке.

Некий пристав отечески спросил какого-то бродягу, сколько времени он ютится в трубе.

— Да уже месяца три.

— И не жестко вам было спать?

— Пожалуй что нет... Поверите ли, господин пристав, по утрам мне смерть как не хотелось расставаться с моей постелью.

Этими подробностями о монмартрских ночах я обязан своему приятелю. И с удовольствием думаю о том, что, пусть я и не могу сейчас уехать, возвращаться домой в дорожном костюме тоже бессмысленно... Пришлось бы объяснять, почему я опоздал на два omnibusа. Следующий поезд на Страсбург отправляется в семь утра. Ну а до семи чем себя занять?

МО

Гляди, тот человек спускался в ад!

Утром, когда поезд мчал меня по рельсам страсбургской железной дороги, я примерял этот стих к себе и утешался... ибо я-то еще не побывал в самых глубинных *мышеловках*: мои исследования глубин ограничивались встречами с честными тружениками, с горемыками-пропойцами, с теми, у кого ни кола ни двора... А это отнюдь не дно пропасти.

Утренняя свежесть, зелень полей, приветливые берега Марны, по правую руку Пантен — настоящий Пантен, по левую — Шель, немного дальше — Ланьи, длинные завесы тополей, первые виноградники на защищенных от ветра склонах холмов, что тянутся в сторону Шампани, — все это радовало глаз и умиротворяло мой смятенный ум.

К несчастью, из-за горизонта выползла большущая черная туча и, стоило мне сойти с поезда в Мо, как хлынул проливной дождь. Пришлось укрыться в кофейне, и тут мое внимание сразу привлекла огромная красная афиша, гласившая следующее:

Дозволено господином мэром (города Мо)
НЕСЛЫХАННОЕ, ПОТЯСАЮЩЕЕ

чудо природы:
КРАСАВИЦА,

у которой на голове вместо волос отличное
руно меринуса
каштанового цвета.

Г-н Монтальдо, находящийся проездом в этом городе, имеет честь представить публике сие редкостное явление, феномен столь удивительный, что ему до сих пор не нашли объяснения господа ученые, подвизающиеся на медицинских факультетах Парижа и Монпелье.

ЭТОТ ФЕНОМЕН

являет собой молодая женщина восемнадцати лет, венецианка родом, чья голова вместо волос украшена роскошным руном берберийской овцы-мериноса, цвет каштановый, длина около пятидесяти двух сантиметров. Шерсть растет кустиками, и на каждом из них нетрудно различить четырнадцать-пятнадцать ветвей.

Два таких куста растут у нее на лбу и похожи на рожки.

В течение года вышеозначенная шерсть выпадает клочками, как у всякой нестриженной овцы.

Юная особа имеет весьма привлекательную внешность, выразительные глаза и белоснежную кожу; все зрители в больших городах восхищались ею, а в 1846 г., во время пребывания в Лондоне, она была представлена Ее Величеству королеве, которая соизволила выразить свое изумление, добавив при этом, что никогда еще природа не создавала столь причудливого существа.

Зрителям будет дана возможность оупить руно, проверить его упругость, понюхать и проч.

Сей феномен можно видеть ежедневно вплоть до воскресенья, то есть до 5-го числа сего месяца.

Тогда же выдающийся певец исполнит несколько оперных арий.

Характерные танцы, испанские и итальянские, в исполнении артистов на государственном содержаниях.

Входная плата 25 сантимов. Для детей и господ военных 10 сантимов»¹.

За отсутствием других зрелищ, я решил удостовериться, впрямь ли так чудесны чудеса, возвещаемые афишей, и когда снова вышел на улицу, было уже за полночь.

¹ Тут нет ни единого слова выдумки: автор передал афишу в редакцию «Иллюстрасьон», где любой может с нею ознакомиться. (Примеч. Нерваля.)

Не без страха пытаюсь сейчас разобраться в странных ощущениях, испытанных мною, когда, вернувшись, я наконец уснул. Мой мозг, слишком, вероятно, возбужденный воспоминаниями о предыдущей ночи, да и видом Аркового моста, по которому я возвращался в гостиницу, сфантазировал сон, отчетливо запечатлевшийся в памяти.

КАПЕРНАУМ

Коридоры, коридоры, нет им конца. Лестницы, лестницы, поднимаешься, спускаешься, опять поднимаешься, нижние ступени всегда погружены в черную, взбаламученную колесами воду, вздымаются огромные арки... кругом путаница строительных лесов. Подниматься, спускаться, брести по коридорам вечность за вечностью... Что это? Кара, которая ожидает меня за мои прегрешения?

Уж лучше тогда остаться в живых!

Как бы не так! Мне раскалывают голову тяжелыми ударами молота: что это все означает?

«Я размечтался о бильярдных шарах... о кисленьком винце в конце...»

«Доволен ли мосью мэром и его мадама?»

Ну вот, теперь я спутал Бильбоке с Макэром! Но это еще не резон, чтобы разбивать мне голову мостовыми сваями.

«Сжечь на костре еще не значит опровергнуть!»

Не в том ли дело, что я поцеловал женщину с рожками? Пощупал ее мериносовую шерсть?

«Какое бесстыдство!» — сказал бы Макэр.

Но Дебарро-картезианец ответил бы Провидению: «Не слишком ли много шума... из-за такой малости?»

ХОР ГНОМОВ¹

Вот что пели маленькие гномы:

«Он спит, нам нельзя упустить такой случай! Но зря он угощал фигляра и сам выхлебал столько мартовского

¹ Нижеследующая глава написана в немецком духе. Гномы — это маленькие духи земли, которые служат человеку, вернее, так к нему расположены, что готовы порою прийти на помощь, См. легенды, собранные Зимроком. (*Примеч. Нерваля.*)

пива в октябре месяце, да еще в кофейне «Марта» и в сопровождении сигар, сигарет, кларнета и фагота!

Поработаем, братцы, покуда не забрезжит день, не пропоет петух, не настанет время омнибусу отправляться в Даммартен, и да разбудят спящего колокола старинного собора, где вкушает покой орел города Мо.

Надо сказать, эта женщина-меринос мутит ему разум ничуть не меньше, чем мартовское пиво и сваи Аркового моста; а ведь рога у нее совсем не такие, как расписывал фигляр... Но наш парижанин слишком молод, он принял на веру болтовню *зазывалы*.

Поработаем, братцы, поработаем, благо он спит. Сперва отвинтим ему голову, потом молотками — ну да, молотками — осторожно отобьем стенки этого философского и несуразного черепа!

Лишь бы ему не вздумалось припрятать в каком-нибудь ящике мозга мыслишку о женитьбе на женщине-мериносе! Первым делом почистим затылочную и теменную части: пусть кровь незамутненной струей омывает нервы, которые так пышно ветвятся над позвоночным столбом!

Фихтевские «я» и «не-я» ведут жестокое сражение в его разуме, склонном признавать лишь объективность бытия. Если бы только он не оросил мартовское пиво несколькими порциями пунша, которым угощал двух своих дам!.. Испанка была бы столь же соблазнительна, как венецианка, да вот беда, у нее накладные икры, а танцевать качучу ее явно учил Мабиль.

Поработаем, братцы, поработаем: черепная коробка хорошо отчищается. В отделении памяти уже собрано немало фактов. Причинность — да, да, причинность! — может ему постичь субъективность сознания. Лишь бы он не проснулся прежде, чем мы кончим работу!

Случись такое, и несчастный умрет от апоплексического удара, ученые медики назовут это кровоизлиянием в мозг, а *наверху* во всем обвинят нас. Силы небесные! Он пошевелился... с трудом дышит. Ну-ка, скрепим черепную коробку, стукнем по ней в последний раз мостовым устоем — да, да, устоем. Поет петух, бьют часы... Он отделается обыкновенной головной болью... *Так было нужно!»*

Я ПРОСЫПАЮСЬ

Право, этот сон слишком уж причудлив... даже для меня! Скорей бы разогнать остатки дремы. Вот ведь маленькие негодники! Сперва разобрали мне голову на части, а потом, изволите ли видеть, подгоняли одну к другой могучими ударами крошечных молоточков! Что это? Поет петух... Значит, я за городом? Может быть, это петух Лукиана? Образы классической древности, как вы далеки от меня сейчас!

Часы пробили пять — но где я все-таки нахожусь? Чужая комната... Ага, вспомнил — я ведь уснул вчера в гостинице «Сирена», которую держит Валлуа в *славном городе Мо* (Мо в провинции Бри, департамент Сены-и-Марны).

И я negliжировал почтительным визитом к господину мэру и его мадаме! Но в этом повинен Бильбоке!

ХОР ЖЕНИХОВ

(Приводя себя в порядок)

Нанесем же визит — гм, гм! — наш смиренно

Их наследнице... Но, господа, *(2 раза)*

Ведь девица права, вот беда!

Ах, плутовка права, да, да, да!

Нанесем же визит и т. д.

Головная боль и вправду почти прошла... Да, но омнибус тем временем отбыл по назначению. Что ж, останемся в Мо и стяхнем с себя эту чудовищную паутину из шутовства, сновидений и яви.

Паскаль сказал: «Люди безумны, это правило без исключений, поэтому не быть безумным все равно что впасть в безумие, только другого рода».

Ларошфуко добавил: «Нет ничего безумнее желания быть всегда умнее всех».

Весьма утешительные изречения.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Вспомним, как оно было на самом деле.

Я совершеннолетний, мне привита оспа; мои физические качества в данный момент значения не имеют. На социальной лестнице я стою выше вчерашнего фигляра, и его венецианке моей руки, разумеется, не заполнить.

Меня мучает жажда.

Вернуться сейчас в кофейню «Марта» — все равно что пойти на прогулку туда, где валяются обгорелые остатки недавнего фейерверка.

К тому же там, вероятно, все еще спят. Лучше побродить по берегу Марны, у тех жутких водяных мельниц, которые виделись мне в ночных кошмарах.

Когда светит луна, эти выкрашенные в шиферно-черный цвет мельницы кажутся мрачными и оглушают своим шумом, но как они, должно быть, радуют глаз в лучах утренней зари!

Я только что разбудил официантов в «Коммерческой кофейне». Полчища кошек выскочили из большого бильярдного зала на террасу и принялись носиться между туями, апельсиновыми деревьями, белыми и розовыми балзаминами. А сейчас они, точно обезьяны, карабкаются на увитые плющом трельяжи.

Приветствую тебя, природа!

Хотя я друг кошачьего племени, тем не менее глажу и этого пса с длиннющей серой шерстью, который потягивается так, что кости хрустят. Он без намордника. Неважно, сезон охоты уже открыт.

Как сладостно человеку, наделенному чувствительной душой, *восход денницы зреть* на берегу Марны, в сорока километрах от Парижа!

На этом же берегу, но подальше, за мельницами, есть еще одна кофейня, столь же привлекательная на вид, под вывеской «Кофейня Мэри» (супрефектура). Должно быть, мэр города Мо, чей дом совсем рядом, радуется, глядя поутру на аллеи молодых вязов и разбросанные по террасе беседки цвета морской воды. Восхитительна терракотовая статуя Камарго в натуральную величину — жаль только, что у нее отбиты руки. Зато ноги такие длинные, как у вчерашней испанки, как у всех испанок из парижской Оперы.

Камарго наблюдает за игроками в шары.

Я попросил дать мне чернил. Кофейня еще не убрана, на столах громоздятся стулья. Я снял два стула и, посадив на колени белого котенка с зелеными глазами, постарался сосредоточиться.

На мосту — я насчитал у него восемь арок — появились первые пешеходы. Марна, натурально, *замарнена*; постепенно она обретает какой-то свинцовый оттенок и порою подергивается рябью — то ли это струи, бегущие

от мельниц, то ли где-то ее морщат крылья резвых ласточек.

Не пойдет ли сегодня к вечеру дождь?

Иногда из воды выпрыгивает рыба — ну точь-в-точь так прыгала, танцуя разудалую качучу, вчерашняя бронзово-смуглая девица, которую я не рискую назвать дамой за отсутствием точных на этот счет данных.

На другом берегу, как раз напротив меня, растут рябины, очень красиво усыпанные гроздьями кораллово-красных ягод: ликерная рябина, *aviagia*. Эти сведения я приобрел в те времена, когда собирался сдавать экзамены на бакалавра в Парижском университете.

ЖЕНЩИНА-МЕРИНОС

...Довольно болтать. Ох и трудное это дело, ремесло реалиста! И подумать только, поводом к моим бесконечным отступлениям был очерк Чарлза Диккенса!.. Суровый голос призывает меня к порядку.

Я только что вытаскил из-под стопки парижских и марских газет номер с фельетоном, справедливо предающим анафеме причудливые фантазии, объединенные нынче названием *школы жизненной правды*.

Точно такое направление существовало в литературе после 1830 года, после 1794 года, после 1716 года и многих других еще более ранних исторических дат. Людям опротивели условности политического ли, романтического ли толка, им любой ценой подавай правду.

Но правда — она и есть вымысел, во всяком случае когда речь идет об искусстве и поэзии. Где больше вымысла, чем в «Илиаде», или в «Энеиде», или в «Освобожденном Иерусалиме», или в «Генриаде»? Чем в трагедиях? Чем в романах?

«Так вот, — пишет критик, — я сторонник подобного вымысла; взять, к примеру, вас: вы шаг за шагом описываете свою жизнь, подробно разбираете свои сны, впечатления, чувства — но мне-то какой в этом интерес? Подумаешь, важность — вы ночевали в гостинице «Сирена» у Валлуа!» «Это неправда» или «факты подтасованы», скажу я вам и в ответ услышу: «Съездите туда сами и проверьте»... Нет у меня надобности ехать в Мо! Более того, случись все это со мной, у меня недостало бы самонадеян-

ности занимать подобными происшествиями публику. Да и кто поверит в существование женщины с мериносовой шерстью на голове!

Мне поверить пришлось, и не только потому, что о ней возвещала афиша. Афиша *существует*, женщины могло и не быть... Так вот, фигляр написал в объявлении истинную правду.

Представление началось точно в назначенное время. На подмостки вышел мужчина в костюме Фигаро, слегка оплывший, но еще вполне бодрый. За столиками сидели жители Мо вперемешку с кирасирами шестого полка.

Г-н Монтальдо — это был он собственной персоной — скромно объявил:

— Синьоры, я сей момент пропою вам *le grand aria*¹ Фигаро.

Он начал:

— Тра-ра-ла-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-а-а!

Голос его, уже немного дребезжащий, все еще был приятен; пел г-н Монтальдо под аккомпанемент фагота.

Когда он дошел до слов «Largo al fattotum della città!»² — я почел долгом поправить его. Монтальдо произнес «сита». Я громко сказал — «чита», чем привел в некоторое замешательство кирасиров и обитателей Мо. Певец кивнул мне в знак согласия и в словах «Figaro sì, Figaro là»³ старательно произнес «чи». Я был польщен таким вниманием.

Потом, уже собирая деньги, он подошел ко мне и сказал (я не воспроизвожу здесь его ломаную речь):

— Как приятно встретить настоящего знатока... Но я из Турино, а в Турино мы произносим «сита»; «чита» вы, вероятно, слышали в Риме или Неаполе?

— Вы правы. Но где же ваша венецианка?

— Ее выход в девять часов. А сейчас я протанцую качучу с этой молодой особой, которую имею честь вам представить.

Качучу он танцевал неплохо, но в чересчур классической манере. И вот наконец появилась во всем своем великолепии женщина-меринос. Голова у нее и впрямь обросла мериносовой шерстью. Две скрученные пряди на лбу торчали, как рожки. Ей вполне хватило бы этой роскошной шевелюры на целую шаль. Многие мужья от

¹ Знаменитую арию (*искаж. ит.*).

² «В городе всюду мне честь и почет» (*ит.*).

³ «Фигаро здесь, Фигаро там» (*ит.*).

души возрадовались бы, обнаружь они на головах своих благоверных подобное *сырье* — оно свело бы расходы на женины наряды всего-навсего к оплате вязальщиц!

Лицо у нее было бледное, черты правильные. Такие лица мы видим у мадонн Карло Дольчи.

— *Sete voi veneziana?*¹ — спросил я.

— *Signor, si*², — ответила она.

Будь ее ответ: «*Si, signor*», я заподозрил бы, что передо мной уроженка Пьемонта или Савойи, но тут все стало ясно — она действительно родом из венецианской области, из гористой ее части на границе с Тиролем. Пальцы удлинённые, ступни маленькие, кисти и щиколотки тонкие, а глаза каштанового оттенка и кроткие, как у овечки; даже ее речь смахивала на бляение, только с четкими ударениями. Волосы — если дозволено здесь употребить это слово — не взял бы никакой гребень. Такую прическу из массы стоящих дыбом шнурочков устраивают себе нубийские женщины, сперва щедро умастив голову маслом. Но так как кожа у этой юной особы, несомненно, матово-белая, а волосы — *светло-каштановые* (смотри афишу), тут, думаю, не обошлось без смешения кровей: негритянская — как знать, может быть, кровь Отелло — слилась с венецианской и через несколько поколений на свет божий явился столь своеобразный экземпляр.

Ну а испанка явно родилась в Савойе или Оверни, равно как и г-н Монтальдо.

Мой рассказ пришел к концу. «Правда ни на что не притязает», — как сказал г-н де Фонжере. Я мог бы выдумать историю венецианки, г-на Монтальдо, испанки, даже фаготиста. Более того, сфантазировать, что влюбился в одну из этих дам и что соперничество с фигляром или фаготистом вовлекло меня в самые невероятные приключения. Но правда все же в том, что ничего подобного не произошло. У испанки, как я уже говорил, были тощие ноги, женщина-меринос казалась мне привлекательной лишь сквозь облака табачного дыма и пивных испарений — они мне привели на память Германию. Оставим же этот феномен жить согласно его привычкам и возможным пристрастиям.

Подозреваю, что фаготист, довольно щедушный юнец с черной шевелюрой, был ей безразличен.

¹ Вы венецианка? (*ит.*).

² Сеньор, да (*ит.*).

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ

Я еще не поведал читателям истинной причины моей поездки в Мо... Почитаю долгом чистосердечно признаться, что делать мне там решительно нечего, но так как французам во что бы то ни стало подавай все «почему» и «отчего», пришло время внести ясность и в этот вопрос. Один мой знакомец, содержатель питейного заведения в Крейле, что стоит на Уазе, в прошлом ярмарочный кулачный боец, любящий, когда выпадает свободная минута, развлечься охотой, несколько дней назад пригласил меня поохотиться на выдру.

Казалось бы, чего проще — сел в поезд Северной железной дороги и поехал, но эта дорога от рождения косая и кривая, она делает немислимый крюк, прежде чем свернуть на Крейль, где от нее отходят ветки на Лилль и Сен-Кантен. И я подумал: «Поеду-ка в Мо, там пересяду на омнибус, затем пешочком через эрменонвильский лес и наконец берегом Нонетты часа за три доберусь до Санлиса, где сяду в омнибус на Крейль. А уж в Париж буду иметь удовольствие возвращаться *кружным путем*, то есть Северной железной дорогой».

На омнибус в Даммартен я опоздал, нужно было выбирать из Мо каким-нибудь другим способом. Появление здесь железной дороги привело в полный беспорядок расписание местных омнибусов. Теперь у несчетных городков к северу от Парижа нет прямого сообщения со столицей: приходится проехать поездом десять лье направо или восемнадцать налево, чтобы затем пересесть на омнибус, который еще через два, а то и три часа доставит вас туда, куда прежде вы добрались бы прямо из Парижа всего-навсего за четыре часа.

Знаменитая спираль, прочерченная дубинкой капрала Трима, менее причудлива, нежели путь, который вам приходится проделать, в какую бы сторону вы ни ехали.

Омнибус на Нантейль-ле-Одуэн останавливается всего в одном лье от Эрменонвиля, ну а пройти лье пешком труда не составляет, сказали мне в Мо.

Чем дальше я отъезжал от Мо, тем больше расплывались в тумане, укрывшем горизонт, воспоминания о женщине-мериносе и об испанке. Попытка отбить одну у фанатиста или другую у плясуна-тенора была бы низостью в случае, если бы она увенчалась успехом, ведь мои соперники вели себя так учтиво и внимательно; ну а неудача покрыла бы меня позором. Выбросим это из головы.

В Нантейле погода была омерзительная, о том, чтобы идти пешком через лес и думать нечего. Что касается наемной кареты, я слишком хорошо изучил здешние проселки, чтобы решиться на такое предприятие.

Нантейль расположен на холмистой местности, примечателен в нем только замок, но и он уже не существует. Спрашиваю в гостинице, как мне выбраться отсюда, и вот что слышу в ответ:

— Садитесь на двухчасовой омнибус, который идет в Крепи-ан-Валуа: вы, правда, сделаете крюк, но вечером пересядете в другой омнибус и доедете до берега Уазы!

Еще десять лье — и для того лишь, чтобы поглазеть, как охотятся на выдру! Насколько проще было бы остаться в Мо в приятной компании фигляра, венецианки и испанки!

КРЕПИ-АН-ВАЛУА

Спустя три часа приезжаем в Крепи. Городские ворота величественны, их венчают трофеи во вкусе XVII века. Шестигранная соборная колокольня так же стройна и ажурна, как и колокольня старой суассонской церкви.

Теперь предстояло занять чем-нибудь время до восьмичасового омнибуса на Крейль. Во вторую половину дня небо разъяснялось. Я полюбовался живописными окрестностями этого главного и очень старинного города провинции Валуа, понравилась мне и просторная рыночная площадь, которую сейчас там обстраивают. Здания похожи на те, что я видел в Мо. В них уже нет ничего парижского и еще нет ничего фламандского. В квартале, населенном, судя по домам, людьми зажиточными, возводят новую церковь. Меж тем лучи заката залили розовым светом старинный собор в противоположной части города, и мне захотелось снова подойти к нему. К несчастью, неповрежденной осталась лишь заалтарная часть. Башня и украшения портала, на мой взгляд, относятся к XIV веку. Я начал расспрашивать жителей этого квартала, почему строят новую церковь вместо того, чтобы восстановить великолепный древний собор.

— Да потому, — объяснили мне, — что богатеи желают жить только в том квартале, и в старую церковь им далеко ходить... А до новой будет рукой подать.

— Ну разумеется, это же так удобно, когда церковь под боком, — согласился я. — Но в прежние времена христианам было не в труд пройти лишних двести шагов, чтобы помолиться в старинном и величественном храме. А в наши дни все переменялось, теперь боженьке надобно перебираться поближе!..

В ТЮРЬМЕ

В моих словах не было ничего непристойного, ничего кощунственного, тут не может быть двух мнений. Так что, когда стемнело, я спокойно направился в контору омнибусов. До отправления моего омнибуса оставалось еще полчаса. Чтобы скоротать время, я решил поужинать.

Покончив с очень вкусным супом, я обернулся, собираясь заказать второе блюдо, и тут ко мне подошел жандарм.

— Ваш паспорт.

Полным достоинства жестом сую руку в карман... Паспорт остался в Мо: там его взяли у меня для записи в книгу проезжающих, а утром я начисто забыл о нем. Как забыла и хорошенькая горничная, с которой я расплачивался за постой.

— В таком случае, — сказал жандарм, — следуйте за мной к господину мэру.

К мэру! Еще если бы это был мэр города Мо! Но к мэру Крепи! Тот, первый, не сомневаюсь, был бы куда снисходительнее.

— Откуда вы приехали?

— Из Мо.

— Куда направляетесь?

— В Крейль.

— С какой целью?

— С целью принять участие в охоте на выдру.

— И, по словам жандарма, при вас нет паспорта?

— Забыл его в Мо.

Я сам понимал, как неубедительны мои ответы.

— Ну что ж, вы арестованы, — отеческим тоном произнес мэр.

— Где я проведу ночь?

— В тюрьме.

— Вот оказия! Вряд ли я там хороню высплюсь.

— А это уже ваша забота.

— Ну а если я заплачу жандарму или, скажем, двум жандармам, чтобы они постерегли меня в гостинице?

— Это воспрещено.

— Но был же такой обычай в восемнадцатом веке.

— Был, да вывелся.

Я меланхолически последовал за жандармом.

Тюрьма в Крепи старинная. Я даже думаю, что склеп, в который меня привели, существовал уже во время крестовых походов: он был старательно укреплен римским бетоном.

Такая роскошь меня опечалила: я с радостью занялся бы дрессировкой крыс или приручением пауков.

— Здесь, должно быть, сыро? — спросил я у тюремщика.

— Да что вы, очень сухо. После всех поправок и починок ни один из *этих господ* не изволил жаловаться. Моя жена приготовит вам постель.

— Но, знаете ли, я парижанин, люблю спать на мягком.

— Она положит вам две перины.

— А нельзя ли мне закончить у вас ужин? Я только успел съесть суп, как явился жандарм.

— Сейчас никак невозможно. Время позднее, в Крепи уже все спят, но завтра я куплю вам, что пожелаете.

— Спят в половине девятого вечера!

— Уже пробило девять.

Жена тюремщика поставила в моем склепе раскладную кровать, понимая, очевидно, что я не поскуплюсь, расплачиваясь за услуги. Кроме двух перин, я получил еще пуховое одеяло. Так что в ту ночь вся моя персона, можно сказать, была в пуху.

ЕЩЕ ОДИН СОН

Спал я не больше двух часов, и в тревожном моем сне больше не видел маленьких гномов-благодетелей: эти существа, зачатые и возросшие на почве Германии, меня совсем покинули. Зато я предстал перед неким судилищем — судьи сидели поодаль в глубокой тени, пропитанной внизу схоластической пылью.

Председатель делал вид, будто он — г-н Низар, ассесоры были похожи на господ Кузена и Гизо, у которых я учился в Сорбонне. Но в отличие от тех времен я пришел

не на экзамен. Мне предстояло выслушать смертный приговор.

На столе были разложены английские и американские magazines¹, а также множество иллюстрированных книжонок по six pence² каждая, на которых я смутно различал имена Эдгара По, Диккенса, Эйнсуорта и т. д.; по правую руку от судей высились три тощие и сумрачные фигуры в облачениях из латинских диссертаций, напечатанных на атласе, и мне удалось даже разобрать названия: «Sapientia», «Etilica», «Grammatica»³. Призраки-обвинители презрительно выкрикивали по моему адресу следующие слова: «Фантаст! Реалист!! Фельетонист!!!»

Я расслышал несколько фраз из обвинительной речи; голос, произносивший ее, был вполне достоин г-на Патена: «От реализма до преступлений всего один шаг, ибо преступление по самой своей сути реалистично. Фантализм это прямой путь к обоготворению чудовищ. Фельетонизм довел этот заблудший ум до того, что вот он гниет в тюремной камере на сырой соломе. Он и ему подобные начинают с посещения Поля Нике, затем они сотворяют себе кумир из женщины-мериноса с рожками, а кончают тем, что в городе Крепи их берут под арест за бродяжничество и неумеренное трубадурство».

Я пытался возражать, называл имена Лукиана, Рабле, Эразма и прочих классиков-фантастов. И сам почувствовал, что становлюсь претенциозным.

Тогда, обливаясь слезами, я воскликнул:

— Confiteor! Plangor! Juro!..⁴ Клянусь больше не грешить этими творениями, преданными проклятию Сорбонной и Французским Институтом, буду писать теперь только на темы исторические, философические, филологические и статистические... Мне как будто не верят?.. Ну хорошо, начну строчить романы добродетельные и пасторальные, добиваться премий за поэтичность и этичность, буду сочинять книги против рабства и в защиту младенцев, дидактические поэмы... трагедии! Да, да, трагедии!.. Я даже продекламирую сейчас ту, которую сочинил в предпоследнем классе, — она как раз вспомнилась мне!..

Видения исчезли, испуская жалобные вопли.

¹ Журналы (англ.).

² Шесть пенсов (англ.).

³ «Философия», «Этика», «Грамматика» (лат.).

⁴ Признаюсь! Бью себя в грудь! Клянусь! (лат.).

МОРАЛЬ

Глухая ночь! Где это я? В застенке!

Неразумный человек! Вот к чему привело тебя чтение английского очерка под названием «Ключ от улицы»... Ищи теперь ключ от вольного простора!

Засовы залазгали, дверь заскрипела. Тюремщик спросил, хорошо ли мне спалось.

— Отлично! Просто отлично!

Нельзя же быть неучтивым.

— Как отсюда выбраться?

— Наведут справки в Париже и, если отзывы будут благоприятные, дня через три-четыре...

— А можно мне поговорить с каким-нибудь жандармом?

— Тот, который приставлен к вам, должен вот-вот прийти.

Вошедший жандарм показался мне посланцем небес.

— Ну и повезло же вам!

— Повезло? В чем?

— А в том, что сегодня у нас *день сношений* с Санлисом, значит, вы предстанете перед товарищем прокурора. Вставайте, пойдём.

— А как я попаду в Санлис?

— На своих двоих. Пять лье, сущие пустяки.

— Да, но если польет дождь... меж двух жандармов, по раскисшим дорогам...

— Имеете право нанять карету.

Пришлось нанять карету. Сущие пустяки, каких-нибудь одиннадцать франков, да еще два франка тюремщику за услуги, в сумме тринадцать франков. Злосчастная моя судьба!

Впрочем, оба жандарма были весьма любезны, я даже подружился с ними, рассказывая, пока мы ехали в Санлис, какие сражения происходили тут во времена Лиги. Когда впереди завиднелась башня Монтепиллуа, рассказ мой стал патетичен, я описал им битву на этом клочке земли, перечислил эскадроны драгун, вкушающих вечный сон в этих мирных полях; мои провожатые даже остановили карету и пять минут созерцали башню, а я меж тем объяснял, как в ту эпоху был устроен укрепленный замок.

История! Археология! Философия! Значит, вы все-таки на что-то годны!

Городок Монтепиллуа расположен на лесистом взгорье, и туда пришлось взбираться пешком. Мои добрые стражи из Крепи передали меня санлисским жандармам и не забыли сказать при этом:

— В карете остался его *двухдневный паек* хлеба.

— Хотите позавтракать? — с полным доброжелательством спросили у меня.

— Прошу прощения, но в этом я похож на англичан: ем очень мало хлеба.

— Ну, это вопрос привычки.

Новые мои стражи были, пожалуй, менее любезны, чем прежние.

— А теперь придется выполнить маленькую формальность, — сказал один из них.

Он надел на меня наручники, точь-в-точь как на героя мелодрамы, что идет в театре «Амбигю», и на каждый навесил по замку.

— Интересно, почему это только здесь надумали надевать на меня наручники? — спросил я.

— Потому что те жандармы везли вас в карете, а мы провожаем верхами.

В Санлисе я предстал перед товарищем прокурора и, будучи довольно известной личностью в городе, немедленно обрел свободу.

— Будете тепер-р-рь з н а т ь , — сказал один из жандармов, — как р-р-разгуливать по чужому депар-р-ртаменту без паспор-р-рта!

Напутствие читателям. Я был неправ... Товарищ прокурора обошелся со мной весьма учтиво, как и все остальные. Излишними, по моему мнению, были только тюремная камера и наручники. Но я отнюдь не занимаюсь критикой нынешнего порядка вещей. Так было всегда. Я поведал об этом происшествии с единственной целью — напомнить, что и в этом вопросе, как во многих других, следовало бы сделать хоть шаг вперед. Когда бы я не объехал полсвета, не жил с арабами, греками, персами в караван-сараях и шатрах, мне, быть может, привиделись бы кошмары еще страшнее и пробуждение оказалось бы еще тягостнее, чем оно было во время этого незамысловатого эпизода, отметившего мою поездку из города Мо в город Крейль.

Нечего и говорить, что в охоте на выдру я участия не принял. Мой приятель, владелец питейного заведения, успел уже и поохотиться, и уехать в Клермон на похороны. Его жена показала мне чучело выдры, пополнившее кол-

лекцию птиц и животных провинции Валуа, которую он рассчитывает сбыть какому-нибудь англичанину.

Вот правдивая история трех октябрьских ночей, выливших меня от излишеств слишком уж прямолинейного реализма — во всяком случае, я на это надеюсь.

ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ УТКИ

Мы говорим здесь не о домашней и даже не о дикой утке — эти пернатые интересуют разве что господ Бюффона и Грбмо де Лариньера. Нашему веку известны такие утки, которых не едят, ну а если и пожирают, то лишь глазами или ушами, и однако они все равно составляют ежедневное меню множества добропорядочных людей.

Утка, о которой идет речь, родилась на улице Жерюзалем; едва займется день, она вихрем вылетает из контор г-на Соловья-Росиньоля и кружит над столицей в виде почти невесомого прямоугольника сероватой бумаги. «Последний выпуск!..» Слышите вы эти крякающие звуки, которые сотрясают воздух и режут слух? Узнаете двуногих, неровной побегой следующих вдоль уличных каналов? Таково происхождение слова, попытаемся же определить, что за ним кроется.

— Утка — это новость, подчас не выдуманная, всегда преувеличенная, чаще всего лживая. Подробности какого-нибудь чудовищного убийства, иллюстрированные незатейливыми гравюрками на дереве; стихийное бедствие, чудо природы, небывалое происшествие: плата за все про все пять сантимов, но и это чистый грабеж. Блажен тот, чей не слишком далекий ум принимает новую новость на веру!

Утка появилась на свет в незапамятные времена. В ней — ключ к иероглифическим письменам, разгадка их головоломного смысла. История всех народов начинается с утки.

Утка — основа любой религии.

Великолепных уток завещали нам древние; мы, в свою очередь, отпишем нашим потомкам тоже совсем неплохих. Замечательными мастерами по этой части были Геродот и Плиний: один изобрел безголовых людей, другой видел людей хвостатых. Согласно Фурье, совершенный человек будет наделен хоботом.

Оставим в покое мифологию; иксионом и грифоном мы обязаны священному писанию.

Вольтер никак не мог взять в толк, каков он все-таки на вид, этот самый иксион, чье мясо было под запретом у иудеев. Но современные геологи подтвердили правоту библии... Аноплотерий, мамонт, динотерий, все ящеры, по мнению Кювье, населявшие до потопа даже долину, где сейчас раскинулся Париж, вполне стоят тех приятных существ, сотворенных, по утверждению Вольтера, отнюдь не всевышним.

Эта ископаемая утка пользуется покровительством науки, и ее, надо полагать, ожидает блестящее будущее. Тут наши ученые перещеголяли своих давних предшественников, завещавших нам знаменитый *homo diluvii testis*¹ и гигантский костяк короля Тевтобока. Но поистине несравненна история о рыбе-епископе, которая была выловлена в Балтийском море и, когда ее преподнесли папе, заговорила с ним на чистой латыни!

До наступления XVI века мореплаватели успели одарить нас целой стаей уток — сверх, разумеется, Эльдорадо, рыбы кракен, которую принимали сперва за плавучий остров, летучего голландца, дракона с острова Родос и морского змея — его *воочию* видел г-н Жак Араго.

Да послужит нам эта поистине королевская утка связующим звеном с нынешними временами!

Была пора, когда о газетах и слыхом не слыхивали, хотя люди уже изобрели и порох, и книгопечатание. Тогда в роли газетных листов выступали утки. Политика еще не слишком интересовала жителей городов и деревень: их неразвитые умы, равнодушные к Гидре анархии, Буре народного гнева, Кормилу власти, жаждали выдумок не столь академических. Волк-оборотень, монах-призрак, геводанский зверь — вот какие темы старались в первую голову увековечить граверы, авторы баллад, сочинители заунывных песнопений.

Так оно было и при Людовике XV; но вот достопочтенный г-н Ренодо основал «Газет де Франс», а достопочтенный г-н Визе — «Меркюр галан», утка обрела постоянное гнездо... на свет явилась журналистика!

Самая первая утка, выпущенная газетами, несла в клюве золотой зуб. Этим зубом был оснащен некий ново-

¹ Череп допотопного человека (лат.).

рожденный младенец — факт подтвержденный, доказанный, изученный многими академиями; появилось немало статей за и против зуба. В дальнейшем ученые мужи пришли к выводу, что зуб все же был вставной, однако публика осталась при своем мнении.

Затем последовало потрясающее известие о том, что некая голландская графиня разрешилась от бремени сразу тремя сотнями младенцев, каковые младенцы, все триста, были крещены.

В XVIII веке выходявшие открыто газеты не очень плодились; тем не менее «Журналь де Треву», «Журналь де Саван» подарили тогдашнему обществу изрядное число ученых уток; не брезговали этой занятией разновидностью помянутых пернатых и Колле в «Потайных воспоминаниях», и Башомон в своем «Сборнике».

Французская революция насаждала культ правды: утка могла бы оказаться опасной, так что ее приберегали для лучших времен.

Империя знала их (уток) во множестве: на стенах храмов Карнака, на обелисках и вообще в чужих землях... Воины великой армии порою привозили их к родным очагам, но почти всегда отвергали, повстречавшись с ними в печати.

Честь возрождения утки в парижской прессе принадлежит Реставрации. Первая и прекраснейшая появилась в 1814 году в виде известия о женщине с мертвой головой!

Вдобавок сие поразительное создание отличалось великолепным телосложением и имело приданое, которое оценивалось не то в два, не то в три миллиона франков. Газеты сообщали ее адрес, но она никого не принимала. У нее под окнами вздыхали толпы мужчин, у дверей совершали самоубийства, что касается добродетели и миллионов, они служили мишенью для сатир в прозе и стихах. Иные влюблялись настолько серьезно, что готовы были жениться без всякого приданого, ради нее самой. Кончилось это тем, что она все же была похищена неким англичанином, но его постигло горькое разочарование: вместо мертвой головы он увидел миловидное личико, ибо девица пустила слух о своем уродстве, дабы прослыть неотразимой... О, сила иллюзии!

А кто не помнит инвалида с *деревянной головой*?

Газеты все умножались... утка набирала вес, хотя «Конститусьонель», «Курье» и «Деба» были еще не слишком весомы.

Но в перерыве между заседаниями палаты депутатов, во время долгих вакаций, когда бездействуют политические и судебные учреждения, газетам необходимо было дать пищу алчному любопытству читателей и приостановить таким путем опасное сокращение числа подписчиков. Вот тогда победоносно и всплыл на поверхность позабытый со времен средневековья и путешествий Марко Поло огромный морской змей, а к нему не замедлил присоединиться огромный и, несомненно, реальный морской паук, опутывавший своей паутиной корабли, паук, чью чудовищную лапу отважно отсек португальский лейтенант и затем привез в Лиссабон.

Добавьте к этому богатую коллекцию из сто- и двухсотлетних старцев, телят о двух головах, новорожденных уродцев и прочих заурядных утят.

Иные из них были окрашены в политические тона: например, подводная лодка, на которой тайком должны были увезти Наполеона с его острова, или то и дело бежавший из Сибири солдат императорской армии — обычно это свое бегство он приурочивал к началу сентября.

Другие утки имели отношение к искусству или науке: паук — дилетантствующий художник, дождь из головастик, англичанин, высиживавший утят, ибо влюблен в утицу, жаба, живущая в стене, сложенной столетия назад, и прочие, и прочие, составлявшие несказанную прелесть нашего конституционного детства.

Напомним, что у газет того времени было лишь две полосы. Их прирост в числе почти сразу был ознаменован Кларой Вендель, Каспаром Хаузером и разбойником Шюбри.

В области новостей серьезных это был предел: не забывайте, что тогда уткам верили все поголовно, даже те, кто их сочинял.

Первооткрывателем утки-издевки был некий заядлый враг консьержей. Видимо, ему уж очень насолил представитель оных должностных лиц. Мечь его была неслышанно жестока и состояла в том, что он опустил в почтовый ящик одной из газет следующее объявление: «Столяр-краснодеревец из Сент-Антуанского предместья обнаружил, что в дупле расколотой им колоды красного дерева свернулась погруженная в спячку змея, которую, однако, удалось расшевелить... Змею и ее обиталище можно увидеть на улице Рокет, №... Консьерж этого дома почтет за удовольствие показать их всем желающим».

Развязка этой мистификации — а она все время возобновлялась, обрастая различными вариантами, — была прискорбна: потеряв голову от настойчивых требований потока посетителей, особенно заезжих англичан, которые считали, что змею от них скрывают из национальной ненависти, консьерж покусился на самоубийство...

Мы последовательно узнавали о негритянке Сесили, игравшей в комедии не хуже мадемуазель Марс, о женщине-корсаре, о рухнувших утесах ниагарского водопада, о жителях Луны, об открытии в Нераке барельефов, изображающих Тетрикуса, короля галлов. Эти барельефы, предмет целой горы ученых трудов, смастерил, как теперь всем известно, некий гасконский стеклодув, который якобы выкопал их из земли; свое авторство он признал, лишь когда французский Институт подтвердил древность сей находки.

Не раз пользовались уткой и в наших министерских кругах, если нужно было отвлечь внимание публики от какого-нибудь щекотливого дела или чудовищно раздутого бюджета.

Как видите, утки продолжают летать все по тому же кругу мистификаций. И, представьте себе, однажды провинция чуть было не удалось отнять пальму первенства у Парижа! «Семафор де Марсель» избрал корсаров, подвизающихся на Роне. Эти злодеи из Средиземного моря поднялись вверх по реке до самого Бокера и там похитили всех девственниц для услаждения паши Негропона.

Случилось это сразу после того, как в свет вышла книга Гюго «Восточные мотивы». Париж охватила паника. Министр внутренних дел отправил в Ним послание с суровой нахлобучкой префекту этого города, тот, в свою очередь, потребовал от королевского прокурора в Тарасконе незамедлительного сообщения о мерах, принятых им в связи с этим ужасным событием. Прокурор, переправившись на другой берег Роны, обследовал место действия, убедился в лживости сообщения и доложил префекту, что корсары не только не дерзали похищать бокерских девственниц, но и вообще вряд ли оные там наличествуют... Префект поспешил успокоить парижское начальство, которое так опрометчиво приняло на веру новости, напечатанные в газете «Семафор».

Стоит послушать, как в Мери рассказывают о дуэли Маскреди и Буффи, двух знаменитых итальянских ученых, чьи имена значатся нынче во всех биографи-

ческих словарях, при том что носителей этих имен никогда не существовало на белом свете, а также о сиротке Жулии, история которой несколько месяцев назад свела с ума парижан и всполошила весь мир!

Целая южная провинция была сообщницей своей любимой газеты, придумавшей эту небывалую hoax¹. Марсельцы, живущие в Париже, сговорились между собой морочить нам ею головы, прочие засыпали письмами, дабы еще усилить общее волнение.

Широко известно, что имевший место в Марселе конгресс ученых пришел к выводу, будто Жулия говорит на языке, до тех пор никому не ведомом.

Но тут Парижу удалось взять реванш: «Вы утверждаете, что Жулия говорит на языке, марсельцам не ведомом? Но, быть может, она говорит всего-навсего по-французски?»

Таков был ответ парижан фокеянам.

«Семафор» от реплики воздержался.

Вместе с тем, пусть утке и случается увидеть свет в провинции, согласитесь, что существовать она может только в Париже; отсюда она пускается в путь, туда и возвращается, облетев весь мир и приняв новое обличие. Но вот что удивительно: утка, этот плод соития парадокса с фантазией, рано или поздно обретает реальность! Шиллер писал, что бог, зная, как мечтает Колумб открыть Америку, извлек из водной пучины эту новую землю, дабы мечта гения не оказалась пустой выдумкой! Однако оставим в покое гениев и просто скажем: человек выдумывает лишь то, что уже совершилось или со временем совершится.

Газета изобрела девочку, чьи глаза окружала надпись: «Наполеон, император». И что же, три года спустя малышка с такой надписью разгуливала по парижскому бульвару, мы все ее видели.

Каспар Хаузер и разбойник Шюбри оделись плотью в силу того, что были придуманы. Древние поэты вымыслили дракона: г-н Броньяр нашел его остов при раскопках на Монмартре и назвал птеродактилем. Почти все верили в существование некоего сказочного дельфина: итальянские натуралисты недавно обнаружили неповрежденный скелет этого животного в одном из ущелий Апеннинских гор. Большинство считает древнюю сирену басней, но мало кому известно, что три сирены хранятся

¹ Мистификацию (англ.).

под стеклянным колпаком в Гаагском королевском музее, их номер — 449, и выловлены они были голландскими моряками в Яванском море.

Дайте срок, и вы убедитесь, что, когда с помощью инструментов Мюло люди проникнут в глубины земли, они обнаружат там планету Назор, озаренную подземным солнцем, — эта великолепная утка вылетела в XVI веке из книги Никола Климуса, озаглавленной «Ufer subterraneum»¹.

Что ж, планета Назор, несомненно, существует: это, должно быть, просто-напросто преисподняя... Но Фламмеш в данном вопросе осведомленнее, чем мы!

Эту утку можно назвать превосходной: превзойти ее невозможно.

ИСТИНА И ПАРАДОКС

Истинно философским духом проникнуты те люди, которые более других сетуют на неблагодарность, потому что добро они творят не ради самого добра или ради угождения богу, но рассматривают как нечто ссуженное ими в долг и подлежащее возврату, да еще преувеличивают при этом его ценность.

Я убежден, что на свете не было бы любовных измен, если бы мы сами всегда были неизменны; но каждый из любящих меняется, притом на свой лад, его привычки, нрав, даже облик уже не те, какими были когда-то: так может ли он быть верен прежним своим привязанностям?

Я не прошу у бога, чтобы он изменил ход событий, нет, я прошу, чтобы он помог мне меняться в согласии с этими событиями и не отнимал способности творить собственную мою вселенную, управлять извечной моей мечтой, а не быть у нее на поводе. Правда, будь оно так, я сам стал бы богом.

¹ «Путешествие в подземный мир» (лат.).

Не позволяйте вашим чувствам вступать в схватку с корыстью: их утонченность так тонка! Это все равно что сталкивать чугунный котел с мыльным пузырем.

Наш мир и вправду трущоба, злачное место, и мне становится совестно при одной мысли, что бог видит меня в нем.

Христос, чьим девизом было слово «равенство», избирал своих апостолов не из числа наделенных властью, или богатством, или силой; он предпочитал им даже нищих духом, просветляя этих людей одним своим дыханием и тем самым доказывая, что разум лишь потому главенствует в мире, что он как бы ниспослан небом.

В наши дни Христа засадили бы в сумасшедший дом, Муция Сцеволу отправили бы на гильотину, а Брута — на каторжные работы.

Ничто не сравнится по глубокой своей торжественности с обрядом погребения, но поглядите, как все больше и больше мельчают люди в сравнении с тем великим, что именуется смертью.

Постоянное, навязчивое соприкосновено с ограниченными умами изнуряет даже самые закаленные души. А впрочем, не сгорают ли они в своем собственном, обращенном на них же самих огне, подобно тем машинам, которые воспламеняются, если им нечего перемалывать?

Иные люди не совершают проступков лишь потому, что боятся правосудия, большинство — по слабости характера, кое-кто — из расчета.

Что вы именуете светом? Сотню людей, с вами знакомых, круг, в котором вы постоянно вращаетесь; но таких кругов миллионы, и стоит вам оказаться за пределами вашего собственного, как вы словно бы вообще перестаете существовать.

Эгоизм — вот оно, последнее слово свободы.

Прямо противоположные явления имеют порою одинаковые следствия: ощущение от очень горячего такое же, как и от очень холодного.

Кому ведомо, какие бездны уже таятся в сердце двадцатилетней женщины? Сколько страстей безмолвно жило в нем, а потом умерло или уснуло? Сколько непостижимых причуд? Полурасцветших желаний, почти созревших измен, недобрых мыслей, которые шевелятся, точно клубок змей? «Вероломна, как волна!» О да, волна легкая и золотистая, волна синяя и непроницаемая, укрывающая бесчисленное множество подводных рифов, уродливых рыб, затонувших кораблей.

Если подсчитать, сколько времени порядочная женщина тратит на балы, прихорашивание, улыбки, болтовню, вальсы, поцелуи и тайные помыслы, невольно задумаешься, кому она больше принадлежит — мужу или всем прочим?

Куда легче поддерживать закон и порядок в обществе, сплошь состоящем из негодяев, нежели в обществе людей вполне добродетельных; чем низменнее с ходом времени становится человечество, тем строже оно блюдет порядок. Ботани-бей — вот образец цивилизации.

Привилегии были разбиты вдребезги, но все осколки остались при нас. Дворянским грамотам наследовали патенты, праву — свершившийся факт, громким именам — звонкая монета.

Взгляните на кипящий металл; он плавится сразу и весь целиком; минуту назад это было твердое тело, минута прошла — и он превратился в текущий поток.

Кому же не ясно, что стоит положить деньги в основу общества, власти и почестей, сделать их мерилom чести и добродетели, как они подменят собою и честь, и добро-

детель. Золото воплотит в себе духовные достоинства, как уже воплощает материальный достаток: вы будете носить в кармане свидетельство о ваших добродетелях, благих делах, заслугах, как нынче носите купчую крепость на землю или дом.

Философия, твой пламень, как пламень Мильтоновой геенны, только на то и годен, чтобы в его сверкании стал зрим непроглядный мрак!

Стоит человеку измерить великое — и он уже готов считать его малостью, уразуметь возвышенное — и он уже готов его высмеять; вот только бесконечность невозможно измерить, и бог превыше человеческого разума.

Нынче глупцы изрядно умны, хотя глупости у них не убавилось, невежды изрядно образованны, хотя невежества у них хоть отбавляй. А дело в том, что ум не может одарить талантом, равно как образованность — тонкостью души.

Причины, относящиеся к миру материальному, всего лишь следствия; человеку недоступно познание истинных причин.

Бог творит одушевленные существа подобно тому, как наш мозг творит мысли; если мысль родилась на свет, нам не дано ее уничтожить. Души — это мысли бога.

Вера не отрицает материю, она лишь подчиняет ее духу; ангелам даны крылья.

Я не вижу разумных оснований для утверждения, будто род человеческий с ходом времени становится все совершенней, скорей напротив; а вот что характеры людей делаются все лощенее, это я охотно допускаю. Больше ума, меньше сердца. Если где-то лучше блюдут законы, поверьте, там просто умеют лучше их обходить, и чем меньше плутов на галерах, тем больше их гуляет по белу свету.

Я отнюдь не утверждаю, что женщина не может влюбиться в собственного мужа: ведь, в конце концов, он тоже мужчина.

Существует лишь один-единственный порок, которым люди никогда не похваляются: этот порок — неблагодарность.

Корысть, подобно густому туману, искажает или заволакивает все, на что мы устремляем взгляд. Обыкновенный закон физики. Убеждения — лишь различные углы, под которыми мы смотрим на окружающее.

Стихотворения



К БЕРАНЖЕ

Он только песнями и дышит!
Но, предвкушая торжество,
Клубами злобы зависть пышет,
Смутить пытаюсь дух его.
Он жил мечтой неколебимой
О благе Франции любимой,
Он чтит закон, ее оплот...
Но ненависть так жаждет мести,
Что пред судом с пороком вместе
Нам добродетель предстает.

За что ж вы гнать его хотите?
За песни? Это ль не предлог!
Ну что ж — сатиру задушите,
Коль страшен вам ее урок!
Когда, неверный и опасный,
С народной волей несогласный,
Волнуется мятежный сброд —
Вы немые пред лицом напасти,
Вам на одно хватает власти:
На песню выступить в поход.

Ты, воспевавший радость жизни!
Слились навек в твоей крови
Воспоминанье об отчизне
С воспоминаньем о любви.
Друг Беранже, поэт высокий,
Пусть злится произвол жестокий —
Ты песней победишь в борьбе;
В ней — наша слава, наши беды,
И, словно слыша весть победы,
Сердца откликнутся тебе.

В грядущем Франция постигнет
Величье доблести твоей
И памятник тебе воздвигнет...
Но ты уже простишься с ней.
Да, на земле удел поэта —
Терпеть клеветников изветы
И петь, ютясь по чердакам,
Но за пределами земного
Промолвит справедливость слово —
И сопричтут его к богам.

Нас сочетали братства узы,
Когда он нам свободу п е л , —
Опередим же, дети Музы,
Потомков — ибо час приспел!
Пора почтить его хвалами,
Пора венчать его цветами,
Покуда с нами наш певец;
А если низость совершится
И ждет подвижника темница —
Что ж, побежденному — венец!

НАРОД

ИМЯ ЕГО

Вы, приткие любым властям салютовать,
Как пушка Дома инвалидов,
И так же в дни боев молчите, ей под стать,
Геройский пыл ничем не выдав;
Теперь, когда судеб свершился перелом
И Право — победитель Силы,
Когда отчаянным рывком
Свобода встала из м о г и л ы , —
Пришел и ваш черед: кричите пред толпой,
Рядите, кто сейчас достойнейший герой;
Но имя есть — оно доселе не воспето,
Хотя славнее всех прославленных имен,
Знатней, чем Орлеан, звучнее Лафайета,
Огромней, чем Наполеон!

СЛАВА ЕГО

Народ! За веком век поэты воспевали
Дела и подвиги одних лишь королей,
Искусства Доблесть презирали,

Коль золотых одежд не видели на ней,
Искали при дворе обычай благородный,
Манер и вкуса образец;
А соль земли — Народ, живой язык народный
Не привлекали Муз, не трогали сердец.
Отныне — прочь предубежденье!
Мы знаем, как Народ и Двор вели сраженье:
Один — на подданных натравливал войска;
Другой — взял Тюильри со славой;
Один — труслив и подл, хоть наряжен в шелка;
Другой — и в блузе величавый.

СИЛА ЕГО

Но трижды горе тем, кто сон его прервет,
Когда почиет он, поверив в обещанья,
Когда могучего доймет
Докучной мошкары жужжанье!
Он — словно Гулливер средь лилипутских толп,
Когда ручонки лилипутов,
Колосса оплели, как столб,
Мильоном ниточек опутав.
И лезут на него пигмеи, и орут!
А много ль надобно, чтобы пропал их труд?
Одно движение — и голыми руками
Он рушит крепости, предательства оплот;
Шагнет — и армии рядами
Ложатся там, где он пройдет.

ДОБРОДЕТЕЛЬ ЕГО

Я вижу, как сейчас, народ в дворцовой зале;
От поступи его шатался Тюильри.
О, сколько там богатств — нагнись и подбери!
Алмазы, серебро, эмали,
И трон покинутый, и мантия в пыли,
Мундиры, ордена, раскиданные в бегстве, —
Все, столь ценимое в том, прежнем королевстве,
Все, чем гордились короли!
Но для сокровищ он не поступился честью,
Он просто их пограл — нет справедливей мести!
Что слуги бросили, народу ни к чему:
Он, чуждый алчности, добру не расхититель,
Он подлинный король, сокровищам властитель,
Здесь все принадлежит ему.

ТЕРПЕНИЕ ЕГО

Нет! Эти чудеса, которым он дивится,
Его не соблазнят, и он доверит сам
Венец, им отнятый, — тому, кто воцарится,
И поспешит к своим трудам.
А вы, любых властей лакеи, всей гурьбою
Грызитесь, ползайте, гоняйтесь — в добрый час! —
За им презренной мишурою:
Она и создана для вас.
Но, став верхушкою властительного сброда,
Не чваньтесь, сидючи на шее у народа, —
Что ежели ему прискучит шею гнуть?
Он — основание общественной махины,
Ему, чтоб обратить все здание в руины,
Довольно пальцем шевельнуть!

ДОКТРИНЕРЫ

Виктору Гюго

I

О, незабвенный день, июль, двадцать седьмое!
Над крышами парят любимые цвета.
И Лувр, и Тюильри народом взяты с боя,
Раскрылись гордые врата.
Свершилось главное... Оковы роковые
Упали... Что за ночь! От наших баррикад,
Топча разрытые до почвы мостовые,
Мы вдохновенно шли в наряд!

Ночь нашей вольности, и торжества, и славы...
Над нами — никого: еще никто не смел
Нам диктовать свои уставы.
Мы чувствовали — мир созрел,
Чтоб воплощались в жизнь великие идеи.
Мы стали во сто крат сильнее,
Дышалось нам легко, счастливый ждал удел...

II

Я вовсе не грущу о временах безвластия;
Но если б кто-нибудь посмел нам предсказать,

Что ту свободу, нам рожденную на счастье,
В пленки станут пеленать!
Что зал дворцовых анфилады,
Где не просохла кровь товарищей моих,
Займут министры-ретрограды,
Те, для которых баррикады —
Всего лишь порча мостовых!

Нет! Вас здесь не было в великую годину,
Апостолы властей презренных! Чуткий нюх
Отречься вынудил рабов от господина,
Едва успел пропеть петух!
Нет, не видали вы под залпами картечи
Народных мстителей напор,
Огнем борьбы в жестокой сече
Не загорался тусклый взор...

III

А ныне? Если речь о той, бесплодной славе,
О героической Неделе заведешь —
Любой чужак глумиться вправе:
«Что это — правда или ложь?»
Они тому виной! Как! После непреложных
Побед — вновь деспотизм свободе предпочтен?
Долой, долой людей ничтожных —
Ведь был у нас Наполеон!

Ничтожные! Но ты, Виктор, заметил верно,
Когда тот грозный дух решился призывать,
Что только он один, чья сила беспримерна,
И мог свободу обуздать!
Но он последним был, в том нет сомнения, право:
Уж ни одна земная власть
Не сможет так, как он, имперскую державу
Зажать в чудовищную пясть!

IV

Теперь, когда страна, усталая от гнета,
Паучьи порвала тенета,
Что вокруг нее плетут безумцы до сих пор, —
Не воспевай его, Виктор!

Мы, полюбив его, ему простили вины
И то, что предал он своих великих жен:
Отрекся он от Жозефины,
Отрекся от Свободы он.

Сложи нам новый гимн, горя огнем витийским, —
Пусть галльским будет он, кастильским
и бельгийским,
Пусть этот гимн тебе Свобода в грудь вдохнет!
Сложи народный гимн для всех народов в мире,
И Революции приход
Еще одну струну твоей дарует лире!

ГОСПОДА И ЛАКЕИ

В романах рыцарских воспетые сыны
Родов, прославленных минувшими веками,
Со лбами бычьими, с такими костяками,
Что словно недрами земли порождены,

Воскресли бы они сейчас да распознали
Наследников своих гербов, своих имен,
В той своре, что спешит к министру на поклон
Поклянчить со слезой, толпясь в приемной зале.

Довольно хилые — зато пластрон, корсет
Для выправки, и тут отцы б не усомнились,
Что кровь холопскую подмешивать решились
К господской дочке их с давно минувших лет.

ЭЛЕГИЧЕСКИЕ СТАНСЫ

Ручей долиною струится,
В нем неба синь отражена,
И кажется, огнем искрится
Под солнцем каждая волна,
А между тем во тьме, глубоко,
На дне певучего потока
Лежит зловонный черный ил,
И яд придонного отстоя
Смешался с чистою водою,
Ее незримо отравил.

И мне порой восторг минутный
Улыбку на уста вернет,
И на мгновение взгляд мой смутный
Огнем веселия сверкнет,
Но мету муки безотрадной
Стереть ничто не сможет с хладной,
Безжизненной души моей.
Промчится молодость напрасно,
И горе будет грызть всечасно
Мне сердце до скончания дней.

Живет во мне воспоминанье,
Что мрачную бросает тень
На радости и на страданья,
На каждый прожитый мой день.
В моем глубоком безучастье
Ни горечь жгучая, ни счастье
Души уже не возмутит,
И все, на что толпа так падка,
Что в жизни радостно и сладко,
Былых надежд не воскресит.

Вот так же ветвь полусухая,
Что сломлена была грозой,
Мертвеет, с дерева свисая,
И если раннею весной
Ее веселый луч рассветный
Коснется с ласкою приветной,
На ней вдруг вспыхнет иногда
Улыбкой отблеск отраженный,
Но вот убор ее зеленый
Не возродится никогда.

ОСТАВЬ МЕНЯ!

Нет, нет, оставь меня, прошу я:
Не сможешь душу неживую
Красою воскресить своей!
До срока юность отгорела...
Иль ты увидеть не сумела
В моем лице печать скорбей?

Когда дыханием студеным
Цветам роскошным, благовонным
Зима сердца заледенит,
У мертвых лепестков не надо
Искать бывшего аромата:
Цветок его не сохранит.

О, повстречайся я с тобою,
Когда душа была живою
И трепета любви полна,
С каким восторгом бы ответил
На этот взгляд, что дивно светел
И лучезарен, как весна.

Но ныне он — клочок лазури,
Что в миг, когда утихнет буря,
Внезапно среди туч блеснет
Попавшим в кораблекрушенье
И знающим, что нет спасенья:
Корабль уже на дно идет.

Нет, нет, оставь меня, прошу я:
Не сможешь душу неживую
Красою воскресить своей!
Иль распознать ты не сумела
Что вера в счастье отгорела,
Убита горечью скорбей?

СМИРЕНИЕ

Когда простор полей затопит зной притинный,
Когда любовь и жизнь сияют вокруг меня,
И вижу я цветок, и свежий, и невинный,
В лучах благого дня,

И на лугах стада веселые резвятся,
И в глубине лесов я слышу птичий х о р , —
Тогда тоска и скорбь в душе моей теснятся,
Слеза мне застит взор.

Но если я гляжу на вянущие доли,
На желтые, с дерев летящие листы,
На розы мертвые, на туч покров тяжелый,
Я ухожу в мечты...

Мне легче на душе, когда перебираю
Шуршащие листья и жухлую траву...
Я розу блеклую целую и ласкаю,
Сестрой ее зову...

О не сестра ли мне та роза, что застыла
От ветра лютото, до времени упав,
И не сойду ли я в расцвете лет в могилу
Среди весенних трав?

И, может быть, в свой час, как я, цветок дрожащий,
Под солнцем лепестки неистово раскрыв,
Замкнул в своей груди его огонь палящий,
Смерть в сердце затаив!

Погибнет и уйдет все, что земля рождала,
Страшиться ли судьбы нам в бытии земном?
Смерть только сон. Итак, душа моя устала —
Забудемся, уснем.

О, матушка!.. Жесток взрыв чувств первоначальный,
Друзья, умерьте ей скорбь рокового дня...
О, скоро навестит она приют печальный,
Но там уж нет меня!

Желанная мечта любви уединенной,
Смешливое дитя, красавица моя...
Прочь, мысли тщетные! Твой образ незабвенный
Здесь не увижу я!

Но знай: еще не раз в неверной мгле рассвета
Тень явится тебе... О, не страшись, стой:
Ведь это тень моя, блуждающая где-то
Меж небом и тобой.

Из цикла „Маленькие оды”

АПРЕЛЬ

Подсохло. Пыль. Теплее стало.
Лазурью небо заблестало.
На стенах дольше мреет свет.
Но где же зелень? Лишь местами
Еще пурпурными листьями
Ветвей украсился скелет.

Мне как-то в тягость это ведро,
Но вот дожди пойдут — и бодро
На сцену выступит весна,
Как нимфа, что из влаги зыбкой
Выходит с радостной улыбкой
Девичьей свежести полна.

ФАНТАЗИЯ

Есть мотив, за который отдать я готов
И Россини, и Моцарта с Вебером вместе, —
Очень старый и грустный, он канул в безвестье,
Но таится в нем прелесть ушедших годов.

Ах, я слушать его не могу хладнокровно:
Вдруг вернется душа на два века назад,
И Людовик Тринадцатый правит, и словно
Вижу берег зеленый и желтый закат,

Вижу замок кирпичный с углами из камня,
С витражами, горящими красным огнем,
Опоясанный парком, и брезжит река мне,
Что проходит сквозь парк и теряется в нем.

Вижу даму в высоком окне и сиянье
Темных глаз, и старинной одежды шитье, —
И в каком-то неведомом существованье
Я ее уже видел — и помню ее.

БАБУШКА

Четвертый год, как бабушка в могиле,
Душевный друг, — недаром, хороня,
Чужие люди были как родня
И столько слез так искренне пролили.

Лишь я бродил и вдоль, и поперек,
Скорей растерян, нежели в печали,
И слез не лил, а люди замечали,
И кто-то даже бросил мне упрек.

И шумное их горе было кратко,
А за три года мало ли забот:
Удачи, беды — был переворот, —
И стерлась ее память без остатка.

Один лишь я припомню и всплакну,
И столько лет, ушедших без возврата,
Как имя на коре, моя утрата
Растет, не заживая, в глубину.

КУЗИНА

Есть радости свои и у зимы: сквозь тучи
На белые снега вдруг брызнет желтый лучик...
Воскресный день. Зовешь кузину погулять...
Вслед строго матушка: «Обед не станет ждать!»

А вот и Тюильри. Как черен парк раздетый,
И по контрасту как цветисты туалеты!
Кузине холодно, ей хочется домой:
Уже темно, туман ложится пеленой.

Дорогой говоришь о счастье пережитом,
О мимолетном дне, о пламени сокрытом...
Подходишь к лестнице и слышишь, как скворчит
Индейка на плите. О, волчий аппетит!

ВЕСЕЛОСТЬ

Глоток марейского, ей-ей,
Ты мне милей, чем аржантей:
Нет надо мной сильней владыки!
Пусть суррентинское одно
Здесь пили римляне вино —
Их вкусы, право, были дики.

Нет обольстительней вина,
Чем ты! В тебе растворена
Божественная кровь дриады;
И капли, повторив стократ
Граненой кромки цвет и склад,
К ней привораживают взгляды.

Ты исцеляешь летним днем,
Когда, знатней тебя вином
Напившись, мучаюсь с похмелья;
Твой терпкий, твой отрадный вкус
Меня бодрит, едва проснусь, —
И покидаю вмиг постель я.

И вот, уже с утра хмельной,
Топчу неверною ногой
Тропу — к тебе летит порыв мой!..
Жаль, под рукою нет Ришле,
Чтобы строфу навеселе
Закончить каламбурной рифмой!

НЕЧТО О ПОЛИТИКЕ

Здесь под сенью короны,
Где живу, заключенный,
Вида лишь миражи,
В Сент-Пелажи.

Прутья, прутья, как в клетке,
Ни травинки, ни ветки,
Даже мох на камнях
И тот зачах.

Иногда только птица
Или ветер промчится

Вдоль окна моего...
И всё мертво.

Ну травинку хотя бы,
Стан согнув ее слабый,
Мне они принесли
С милой земли.

Или пусть бы осенний
Лист ко мне на колени
Пал, багрянцем горя, —
Дар ноября!

Вот и было б согрето
Сердце: есть еще где-то
И Природа, и Тот,
Кто жизнь дает.

Я по жизни тоскую,
Зелень бы, хоть какую,
Увидать, боже мой,
Перед зимой!

БАБОЧКИ

I

«Что из примет чудесных лета
Вы вспоминаете зимой,
В мороз?» — «Я — пышных роз букеты».
«Я — луг с зеленой муравой».
«Я — в жатве золотой долину
И волны нив душой ищу».
«Я — трели песни соловьиной».
«А я — о бабочках грушу».

О бабочка, листок воздушный,
Ветрам послушный,
Внезапно пойманный сачком...
В просторах без конца и края
Она — живая
Связь между птицей и цветком!

Когда наступит лето снова,
Я, одинокий, в лес уйду,

Прилягу у ручья лесного,
В покров зеленый упаду.
Над головой моей порхают
Там бабочки, за взмахом взмах,
Мгновенной мыслью пролетают
О страсти нежной иль стихах.

Вот надо мной сатир проворный,
Весь желто-черный...
А вот огнистой бирюзой
И переливница блистает,
Как бы играет
Волнисто-бархатной пылью!

А вот, как птица, без усилья,
По ветру адмирал поплыл,
Темносверкающие крылья
Он алой лентой окаймил!
Павлиноглазка вдруг вспорхнула,
Как молния — сверканье крыл!
Но перламутровка мелькнула —
И я про все тотчас забыл...

II

Как веер шелковый, взлетает
Плащ — и блистает,
Живым осыпан серебром,
А под плащом наряд искристый
И бархатистый,
В пушке зелено-золотом!

Вот черно-рыжий, с хрупкой статью,
Мне машет махаон крылом,
Вот траурница в скорбном платье,
А голубянка — в голубом!
Вот аргус легкий, вездесущий,
Подобен жухлому листку,
А вот павлиний глаз, несущий
На бурых крыльях по глазку!

Пяденица, едва стемнеет,
Над полем реет,
Верша трепещущий полет,

А бражник, весь пушисто-темный,
Во мгле укромной
Как будто сумерки толчет.

Ночница с алыми глазками
На сером поле узких крыл,
Как мышь летучая, над нами
Мелькнет во тьме — и след простыл!
Вот прынул, изжелта-зеленый,
С боярышника шелкопряд,
А вот огневки среди кроны —
Они и средь зимы не спят...

Зовется «мертвой головою»
Та, что порою
В цветах, мохнатая, шуршит,
Крестьяне по пути боятся
С ней повстречаться,
Когда она во мгле парит.

Мне ненавистные фалены
В ночи, угрюмые, гостят,
Там, над равниной отдаленной,
С семи до полночи гудят...
А вы, о порхунки дневные,
Как оживляете вы дол!
Воплощены в вас дни иные,
Стихов и страсти вы символ!

III

Но горе, горе пестрокрылым.
Символам милым,
Прекрасный облик приносил...
И часто пальцем неумелым,
Так, между делом,
Сминался хрупкий бархат крыл!

Как часто юная девица
С улыбкой, милой и простой,
Глядит на них не надивится,
Им сердце проколов иголкой:

И ноготь выпуклый, блестящий
Мохнатое брюшко поддел,
И хоботок, еще дрожащий,
Пред смертной тьмой оцепенел...

ЧЕРНАЯ ТОЧКА

Случись на солнце нам попристальной взглянуть —
Зажмуримся, и всё ж, когда осядет муть,
Пятно останется у нас перед глазами.

Так и со мной... Еще неискушен и смел,
На Славу устремить я жадный взгляд посмел,
И точку черную в нем выжгло это пламя.

И зрение мое с тех пор помрачено,
Куда ни погляжу — там черное пятно
Зияет, ширится, верша свою расправу.

О боже, навсегда я отгорожен им
От счастья! Вот урок! Орлам, орлам одним
Дозволено взирать на Солнце и на Славу!

СИДАЛИЗЫ

Нет возлюбленных нежных:
Все из жизни ушли!
В горних высях безбрежных
Все покой обрели!

В небесах, что бездонны,
Они дивно светлы
И пред ликом мадонны
Ей возносят хвалы.

В белоснежном уборе,
В тонких пальцах цветы...
О любовь, что, как горе,
Не щадит красоты!..

Были милые взгляды
Вечной синью полны...
Свет угасшей лампы,
Воссияй с вышины!

ПРОБУЖДЕНИЕ В ПОЧТОВОЙ КАРЕТЕ

Я увидел: деревья бегут в беспорядке,
Как солдаты, врагами разбитые в схватке,
Вихрем мчатся камни и плиты дорог
И уходит земля у меня из-под ног.

Вслед своим колокольням деревни смятенно,
Сбившись в стадо, плетутся... Беленые стены,
Черепитчатых кровель над ними багрец,
Точно красные головы белых овец.

Горы пьяно шатаются... И неуклонно
К ним река подползает ложбиной зеленой,
Вот сейчас обовьется, сожмет, как питон...
Я в карете. Я спал. Мне привиделся сон.

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

Остановка в пути. Разомнемся немного.
Меж домов в неизвестность ныряет дорога.
От ухабов и рытвин все тело болит,
И мельканье в глазах, и в ушах стук копыт.

Неожиданно луг, пятна света и тени,
Влажный воздух и запах цветущей сирени,
Тополя и лозняк, бормотанье реки, —
Позабыты и грохот, и пыль, и толчки.

Дышим сеном до одури — свежим, зеленым,
И вראстяжку лежим под большим небосклоном,
Жизнь играет — так было и будет всегда...
Но увы! Нас зовут: «В дилижанс, господа!»

В А.ЛЛЕЕ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО САДА

Она прошла — резва, как птица,
Веселая, в расцвете лет,
В руках букет цветов лучится,
А на устах звенит куплет.

На целом свете не она ли
Одна смогла б меня понять
И черные мои печали
Единым взглядом разогнать?

Но нет — лишь на одно мгновенье
Чудесный луч блеснул светло:
Благоуханье, юность, пенье...
Мелькнуло счастье — и прошло!

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Собор великий стар. Хоть наш Париж моложе,
Он, может быть, его переживет. Но все же,
Когда пройдут века — ну десять сотен лет, —
Сильней окажется их сумрачная сила,
Железные его свирепы скрутят жилы,
И каменную плоть изложет, и скелет.

И будут приходить к развалинам Собора
Всех стран паломники. Потом роман Виктора
Прочтут в который раз, и вот предстанет им
Вся мощь и царственность старинной базилики,
Как предок предстает прославленный, великий
В мечтанье иль во сне праправнукам своим!

ЗАКАТ

Когда над Тюильри закат огни зажжет
И окна во дворце затопит, пламенея,
Я погружен в мечты, я — Главная аллея,
Я — зеркало озерных вод.

Тогда, друзья мои, как неусыпный страж,
Прихода темноты я жду в вечернем парке:
Там рдеющий закат, как редкостный пейзаж,
Взят в раму Триумфальной арки.

В ЧАЩОБЕ ЛЕСНОЙ

Певец, чудотворец пернатый,
Рождается ранней весной,
Как нежно родные пенаты
Поет он в чащобе лесной!

А летом — с подругою встреча,
И верность — навеки — одной,
Как мудро, любви не переча
Живет он в чащобе лесной!

И осенью смолкнув короткой,
Зимы не узнав ледяной,
О, как благодарно и кротко
Умрет он в чащобе лесной!

ИЗ РАМСГИТА В АНТВЕРПЕН

Британия, тебе я
Уже «прощай!» сказал,
Становится бледнее
Полоска белых скал.

О, как ликует море!
На родине твоей
Я побываю вскоре,
Фламандский чудодей!

И мне, *о Рубенс*, мнится,
Что вышел ты на брег,
К которому стремится
Дымящий наш ковчег,

И в памяти счастливой
Поэзией живой
Антверпенские дива
Встают передо мной.

А море плещет сонно,
Искрясь, как в дни, когда
Толпою Купидоны
С тобой пришли сюда.

То гений твой огромный
Дал ионийский строй
Дремотной глади скромной,
Реальности скупой,

Когда корабль злаченый
С штандартом Валуа

Плыл с юной нареченной
Дофина Франсуа.

О Роза Возрожденья,
Украшившая двор!
Ждало ее глумленье,
Ждал в Англии топор.

Но был еще неведом
Удел, что ей сужден,
И плыл за нею следом
По морю Посейдон;

Пузатые Тритоны,
Сонм Нереид твоих
Покорно, восхищенно
Сопровождали их.

Бочонок великанский
По волнам Океан
Катил, чтобы фламандский
Силен был вечно пьян.

Со щедростью избытка
Тобой была дана
Фламандскому напитку
Вся пламенность вина!

В злаченной колеснице
К хмельным фламандцам ты
Богам велел спуститься
С небесной высоты.

Олимп на поклоненье
У королевских ног —
Страсть, хохот, исступленье!
Но скорбен был итог.

Век пышности надменной —
Давно лишь тлен и прах,
Но, *Рубенс*, ты нетленный
Останешься в веках!

Песни из опер и пьес

Посвящения

ПЕСНЯ О ГАНЕ ИСЛАНДЦЕ

Как только луч, блеснув на склонах,
Угас.
И стихло все в долинах сонных
У нас, —
Ни шагу дале, безрассудный,
Плутающий во мгле полян!
Ты слышишь — рык, в глуши безлюдной
Родившись, рвется сквозь туман?
Там Ган!
Там Ган!
Там Ган Исландец!
Исландец Ган!

Мертва в его груди саженной
Душа;
Его глаза горят, геенной
Дыша;
Там, в глубине пещеры дикой,
Над жертвою склоняет стан,
Дрожа от ярости великой,
Рыданьями и кровью пьян, —
Там Ган!
Там Ган!
Там Ган Исландец!
Исландец Ган!

На празднике порою пляску
Прервет
И, пред толпою сбросив маску,
Встает
Чудовище! Стеная дико,
Он в круг врывается, незван,

От хищных глаз его и крика
Там каждый страхом обуян...
Там Ган!
Там Ган!
Там Ган Исландец!
Исландец Ган!

ИСПАНИЯ

Кому могли б наскучить скоро,
О благодатная страна,
И города твои, и горы,
И вечная твоя весна?

Пьянящий воздух, эти ночи,
Что упоительнее дней,
Поля, куда господь захочет
С эдемских снизойти полей?

Аравия тобой владела,
Но, сломленная наконец,
Прощаясь, на тебя надела
Востока царственный венец!

И эхо громче и напевней
Твердит тебе все вновь и вновь
Припев арабской песни древней:
Свобода, слава и любовь!

ПОДЗЕМНЫЙ ХОР

Во мраке глубинном
Порывом единым
Мы ринемся в бой,
Все вместе, все вместе,
Готовые к мести
Судьбине лихой.

Здесь сумрак давящий,
Здесь ночь, только мстящий
Не дремлет, не спит.
И в смерти, и в склепе
Сорвет свои цепи,
Кто бдит!

ГОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Люблю, невеста,
Тебя в слезах!
Росинкам место
На лепестках.

Весна и младость
Лишь миг цветут,
Но будет в радость
Нам бег минут.

Стыдливой, страстной —
Я всякой рад.
Ведь бог всевластный
Есть бог услад.

ВИКТОРУ ГЮГО, ПОДАРИВШЕМУ МНЕ СВОЮ КНИГУ О РЕЙНЕ

Дар дружбы вашей, мэтр, приняв благоговейно,
Я «Рейн» держу в руке — я сам стал вроде Рейна:
Меня возвысило сравнение с рекой.

Но знает ли Поток, бог дикий, одинокий,
Кто имя дал ему, и берег, и истоки,
И кто волну его торопит день-деньской?

Воссев на бугорке среди Природы вечной,
Творенье высших сил, не чует он, беспечный,
Что эту благодать дарует Эмпирей.

А мне даны дары любви, познания, пыла,
Но я-то знаю: их рождает ваша сила,
И мой огонь зажжен от ваших алтарей!

ГОСПОДИНУ АЛЕКСАНДРУ ДЮМА ВО ФРАНКФУРТ

Прощаясь с Баденом, я возмечтал уже,
С доверьем к Элуа, в надежде на Эльже,
Что прямо к денежным, столь нужным мне, доходам
Я шестичасовым уеду пароходом.

Из «Солнца» в «Ворон» я лечу, лелея цель:
Вперед — из баденского в страсбургский отель.
Увы! Я мнил себя событий властелином,
Но Элуа-отец не столкнулся с сыном,
И потащился я, дабы не сесть на мель,
Назад — из страсбургского в баденский отель!

СУПРУГЕ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Вы, черноокая, прелестней всех на свете,
Вам, искре золотой, дано разжечь в поэте
Ту силу творчества, которой равных нет.
Она же, всё и всех кругом воспламеняя,
Вас делает еще прекрасней, роза мая,
Вернув с избытком жар и свет.

Химеры

EL DESDICHADO¹

Я — мрачный, я — вдовец, я сын того гнезда,
Тех башен княжеских, чьи древле пали стены.
Явилась мне моя померкшая звезда,
Как солнце черное с гравюры незабвенной.

Но ты дала мне свет, и отошла беда.
Верни мне берега Италии блаженной,
Цветок, что скорбный дух мне освежил тогда,
И розы с лозами в садах над влагой пенной.

Амур я или Феб? Я Лузиньян? Бирон?
На лбу моем ожог от уст моей царицы.
В пещере грезил я у вещей Водяницы,

Я дважды перешел безмолвный Ахерон,
И в пенье лирных струн воскресшего Орфея
Святая молится и восклицает Фея.

МИРТО

И снова ты, Мирто, кудесница-менада,
И гордый Посилипп, весь в россыпях огней,
Твое чело Восток омыл волной лучей,
А в золоте косы — агаты винограда.

Мне кубок твой дарил блаженную усладу,
Дарил ее мне блеск улыбчивых очей,
Когда Иакха я молил во тьме ночей:
По Музе, я — один из сыновей Эллады.

¹ Обездоленный (*исп.*).

Я знаю, отчего вулкан опять гремит:
От легких стоп твоих взвился огонь поддонный
И пепельная мгла над склонами парит!

Богов из глины сверг Нормандец беззаконный,
Но лавр Вергилия, тенистый, благовонный,
Навеки приютил Гортензию и Мирт!

ГОР

Кнеф задрожал, и твердь земная сотрясалась,
И с ложа своего Изида-мать восстала,
На нелюдимого супруга указала —
И ненависть в глазах зеленых занялась.

«Добить распутника! — кричит она, я р я с ь . —
Его дыхание морозы источало,
Вязать хромца, пронзить глаза, где месть пылала,
Он всех вулканов бог, он зим всеильный князь!

Орел летит... Зовет меня дух новый, смелый,
Я в честь него наряд набросила Кибелы...
Дитя! Полны любви Озирис и Гермес!»

Богиня уплыла в рапане золотистой...
Вернуло море нам сквозь время облик чистый,
Под аркой радуги забрезжил край небес.

АНТЭРОС

Ты спросишь, отчего я гневом распален
И не покорена глава на гибкой шее...
Все оттого, что я из племени Антея,
Бог-победитель — враг, мне ненавистен он!

Я тот, кто Мстителем издревле вдохновлен,
Он изъязвил мой лоб, устами огневая,
И Авеля — увы, убитого, — бледнее,
Я гневом Каина, как кровью, обагрена.

Иегова! Ведь тот, кто побежден тобою,
Из адских бездн вскричал: «Тиран, я жажду боя!»
Ваал — вот пращур мой, во мне Дагона кровью...

Я ими трижды был омыт в волнах Коцита,
И, одинокий, мать храня Амалециту,
Я зубы древнего дракона сею вновь!

ДЕЛЬФИНА

О Дафна, помнишь ли звук древнего напева,
В листе смоковницы, у миртовых стволов,
Среди дрожащих ив и лавровых лесов,
Ту песнь любовную осиротелой девы?..

Ты помнишь ли тот храм с колоннами и древо,
В лимонной мякоти следы своих зубов,
Пещеру, грозную для дерзких смельчаков,
Где спит исчадие драконьего посева?

Те боги вновь придут, плач не напрасен твой —
Нам время возвратит эпохи древней строй!
Пророческая зыбь колеблет луговины...

Но здесь латинский лик сивиллы погружен
Под строгим портиком в необоримый сон —
Ничто не дрогнуло под аркой Константина.

АРТЕМИДА

Тринадцатой пора настала возвратиться...
Она же — Первая, и в мире нет иной.
Ты — первая иль ты последняя Царица?
Ты — Царь ли вместе с ней? Любовник роковой?

От колыбели нам любить и до гробницы:
Любимая в былом — всегда, всегда со мной.
О, Смерть иль Мертвая!.. Восторг в беде лихой!
С алтеей пышною в руке она мне снится

Святой Неаполя, в чьих пальцах вихрь огней.
О роза темная с лиловой сердцевиной,
Нашла ли ты свой крест в глуби небес пустынной?

Вы, розы белые, вы с горних тех полей
Низриньтесь призрачно мелькающей лавиной.
Святая бездны, ты, по мне, всего святей.

ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Бог мертв! Небо пусто...
Плачьте! Дети, нет у вас боле отца!
Жан-Поль

I

Когда господь воздел среди святых ветвей
Худые руки ввысь, как делают поэты,
Он с болью смертною ждал от небес ответа,
Оставленный в ту ночь предательством друзей.

Потом взглянул на тех, кто ждал его речей,
Чтоб властвовать, судить, быть стражами завета...
Бесчувственны они, животным сном согреты...
Тогда он закричал: «Нет бога в тьме ночей!»

Их сон глубок. «Друзья! Вам истину открою!
Я свода горнего коснулся головою,
Я окровавлен, смят, в страданиях изнемог!

Я вас обманывал: там бездна, бездна, бездна!
Паду я жертвою во имя мглы беззвездной,
Нет бога, нет!» Их сон по-прежнему глубок.

II

Он крикнул: «Все мертво! Я видел хороводы
Светил, несущихся вдоль млечной мглы путей
Везде, где зыблется в артериях природы
И золото песков, и серебро морей,

У берегов пустынь кипят прибоя воды,
Буравят смерчи глубь взволнованных зыбей,
Вздыхает смутный вздох бездонных высей своды,
Но дух не пребывал там изначала дней.

Взор бога я искал, но видел лишь глазницу
Пустую, черную, откуда ночь струится
На мироздание, и даль темным-темна,

И радугой повит провал, во мрак ведущий,
В пределы древней тьмы, где Хаос вечно сущий,
Воронка, пьющая Миры и Времена!

III

Неколебимый Рок, страж гордый мироздания,
Случайность и Закон!.. Твой медленный полет
Меж умерших миров и снежного молчанья
Безмерным холодом вселенную гнетет.

Ты знаешь, что творишь, мощь первооснованья,
Гася сиянье солнц, прервав их мерный ход?..
Сумеешь ли сберечь бессмертное дыханье
Меж миром молодым и миром, что умрет?..

Отец! Твой дух в себе могу ли ощущать я?
Возможно ль быть живым и взять над смертью власть?
Иль суждено тебе в последней битве пасть

С Владыкой вечной тьмы, на ком клеймо проклятья?
Я стражду и скорблю один в ночи немой...
Но если я умру, то все умрет со мной!»

IV

Никто не внял ему под звездами немymi,
И, обессиленный в борении с собой,
Он, жертва вечная, воззвал тогда с мольбой
К тому, кто в этот час *один* не спал в Солиме:

«Иуда, — он вскричал, — скорей сторгуйся с ними!
Спешу меня продать! С их согласишься ценой:
Я на земле простерт, я изнемог душой...
Лишь ты предателя носить способен имя!»

Иуда уходил, то алчностью томим,
То угрызеньями; содеянное им
На гладких глыбах стен, казалось, проступало...

Но, словно жалостью проникнувшись, Пилат,
Наместник кесаря, тяжелый поднял взгляд
И: «Привести сюда безумца!» — рек устало.

V

Он был таким всегда: безумец побежденный,
Забытый днесь Икар, познавший неба зов,
Он Фазтон, кого сразил огонь богов,
Он Аттис пламенный, Кибелой воскрешенный.

Авгур ответа ждал от жертвы умерщвленной,
Священной крови ток пьянил земли покров...
Ошеломленный мир сошел с своих основ,
Над бездною Олимп качнулся, потрясенный.

«Ответь, отец А м м о н, — так кесарь восклицал, —
Кто он, внушающий Земле свои заветы?
Он бог? Иль, может быть, то демон нам предстал?»

Оракул никогда не даст ему ответа,
Затем что лишь тому открыта тайна эта,
Кто персти низменной живую душу дал.

ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

О чем спор? Все на свете способно чувствовать!
Пифагор

Ты мыслишь, человек, и чувствуешь. Но вот:
Неужто лишь тебе дана свобода эта?
Лишь одного тебе не преступить запрета —
На мысль, что всё, как ты, совсем как ты, живет.

И сердце зверя дух неведомый влечет,
И есть душа в цветке, которой нужно света.
Любовью некоей таинственно согреты
И камень, и металл. И всё тебя зовет!

Ты связан. За тобой следит стена слепая,
И в косном веществе есть воля не служить
Тому, что страсть тебе подсказывает злая.

Ведь может божество и в нем незримо жить.
И как родится взгляд, за веками сокрытый,
Так чистый дух растет, раскалывая плиты.

* * *

«О госпожа моя,
Измучен сердцем я, —
Так жаловался мальчик Керубино. —
О госпожа моя,
Измучен сердцем я...»

.....

Всю ночь в моем мозгу вертелся без причины
Знакомый тот мотив — и наболела грудь...
Я виноват, но Вы отпустите мне вины —
Всего и стоит Вам лишь руку протянуть.
Дитя богемы я, бездельник, вот в чем суть,
И красное словцо подчас мой хлеб единый.
Обманут многими, до времени старик,
Как крыса, мнителен, озлоблен нищетою,
Поденщик-журналист, заблудший среди книг,
В участие дружбы я не верю и не стою
Той доброты, что Вас выводит напрямик
На помощь страждущей душе в опасный миг.
Простите же меня за все размолвки наши...
Но ясно говорят и в ссоре письма Ваши,
Что Ваш надежный ум прямым путем идет —
Вы требуете *долг*... Дичайший оборот!
Ручаюсь, что его не примут в «*Ералаше*».
Но следует платить, когда предъявлен счет.
Что ж, Вам достанутся в зеленом коленкоре
И письма, и листы, скрепленные тесьмой, —
Изябшему перу не пишется зимой.
Нет в очаге огня, в окне — стекла, вот горе!
И с небом, с адом ли — *связь* обрету я вскоре,
Затем что улизнуть намерен в мир иной.
Я эпитафию себе сложил и данью
Вам приношу сие убогое создание —

Сонет, пробившийся в моих мозгах пустых.
Но холод оборвал кукушки кукованье...
Калечит нищета и мысль мою, и стих.

ЭПИТАФИЯ

Он прожил жизнь свою то весел, как скворец,
То грустен и влюблен, то странно беззаботен,
То — как никто другой, то как и сотни сотен...
И постучалась Смерть у двери наконец.

И попросил ее он обождать немного,
Поспешно дописал последний свой сонет,
И после в темный гроб он лег, задувши свет
И на груди своей скрестивши руки строго.

Ах, часто леностью душа его грешила,
Он сохнуть оставлял в чернильнице чернила,
Он мало что узнал, хоть увлекался всем,

Но в тихий зимний день, когда от жизни бренной
Он позван был к иной, как говорят, нетленной,
Он, уходя, шепнул: «Я приходил — зачем?»

ПРИМЕЧАНИЯ

НОВЕЛЛЫ

Из книги «Иллюминаты»

Книга «Иллюминаты, или Предшественники социализма» вышла в 1852 г. и включала, кроме печатаемых в нашем издании повестей, биографические повести и очерки: «Исповедь Никола» (о писателе XVIII в. Ретифе де ла Бретоне), «Казот», «Калиостро», «Квинтус Оклер» (из времен Великой французской революции). Ранее они печатались отдельно в периодической печати и альманахах.

БИБЛИОТЕКА МОЕГО ДЯДОШКИ

Опубликована в качестве вступления к книге «Иллюминаты».

С. 28. *«Похвала глупости»* — философская сатира нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского (1469—1536).

Сент-Эрмон Шарль (ок. 1616—1703) — писатель вольнодумного направления, опальный аристократ, эмигрировавший в Англию. В своих сатирических комедиях, афоризмах и других сочинениях резко критиковал нравы двора Людовика XIV.

...иных последователей их... — Имеются в виду социал-утописты, последователи Сен-Симона и Фурье. С последним Нерваль короткое время (в 1845 г.) сотрудничал в его журнале «Фаланга». Связь «Иллюминатов» с идеями утопического социализма получила отражение во втором заглавии книги — «Предшественники социализма».

...у старого дядюшки... — Антуан Буше (1759—1820) приходился родным дядей матери Нерваля. В его доме прошли детские годы писателя. Подробнее о нем см. в «Сильвии» и «Анжелике».

...когда официальной религии уже не существовало... — то есть в годы Великой французской революции.

КОРОЛЬ БИСЕТРА

Век XVI

РАУЛЬ СПИФАМ

Впервые в «La Presse» 17—18 сентября 1839 г. под заглавием «Удивительная биография Рауля Спифама, сеньора де Гранж». В повторной журнальной публикации в «Revue Pittoresque» в 1845 г. под заглавием «Лучший король Франции».

С. 30. *...Генрих II после кончины своего прославленного отца Франциска...* — Генрих II (1519—1559) — король Франции в 1547—1559, сын короля (с 1515) Франциска I, покровителя наук и искусств.

...прибыл в парламент... — Французские парламенты (Парижский и провинциальные), в отличие от английского, не были законодательным учреждением, а являлись высшей судебной инстанцией.

С. 32. *...Софокла и других древних... обвиненных собственными детьми...* — Имеется в виду процесс, возбужденный сыном греческого трагика Софокла Иофоном против отца, якобы потерявшего разум. В свою защиту Софокл прочитал отрывок из трагедии «Эдип в Колоне», над которой работал, чем и убедил судей в своей дееспособности.

Трибуле — горбатый шут Франциска I. В. Гюго сделал его главным героем своей драмы «Король забавляется» (1832), впоследствии использованной Дж. Верди для либретто оперы «Риголетто».

С. 33. *...тех магнетических чар, в природе которых наука стала ныне лучше разбираться.* — Имеются в виду опыты врача Месмера и учение о так называемом животном магнетизме, которым увлекались многие писатели романтического направления (в частности, Гофман).

...который 16 июня 1549 года вступил через украшенные коврами городские ворота Сен-Дени... — По-видимому, имеется в виду въезд короля в столицу после коронации.

С. 35. *...столь знаменитого в Испании безумца...* — Речь идет о Дон-Кихоте.

С. 36. *...один из поэтов «Плеяды»...* — «Плеяда» — французская поэтическая школа, названная в подражание группе семи александрийских поэтов III в. до н. э. Возникла в 1540-х гг. В нее входили Пьер Ронсар (1524—1585), Жан Дора (1508—1588), Жоашен Дю Белле (1522—1560) и другие. Интерес романтиков к поэзии «Плеяды» пробудился в конце 1820-х гг. после выхода книги

Сент-Бёва «Обзор французской поэзии XVI века» (подробнее см. вступ. ст., с. 16).

Меллен де Сен-Желе (1487—1558) — придворный поэт Франциска I и Генриха II.

С. 37. *...любезная наша Диана...* — Диана де Пуатье, возлюбленная сначала Франциска I, потом Генриха II.

С. 40. *...к «Софонизбе» Сен-Желе и «Франсиаде» Ронсара.* — «Софонизба» — трагедия итальянского поэта Триссино, в 1554 г. переведенная Мелленом де Сен-Желе; «Франсиада» — героическая поэма Ронсара, в которой он возводит род французских королей к легендарному сыну троянского героя Гектора. Упоминание ее — явный анахронизм, ибо поэма вышла в 1572 г., а действие повести относится к 1559 г.

С. 41. *«Женское сердце склонно к измене...»* — песенка, приписываемая Франциску I, фигурирует в драме В. Гюго «Король забавляется», в дальнейшем составила текст песенки Герцога в опере «Риголетто» Верди.

С. 42. *Прево* — судья; *эшеваны* — городские советники. *...противоречит Горацию...* — Имеется в виду трактат в стихах Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.) «Наука поэзии».

С. 43. *...подобно достоправному нашему предку Карлу Шестому...* — Карл VI (1368—1422), прозванный Безумным, долгое время страдал тяжелым умопомешательством, был отстранен от управления страной. Личность Карла VI вызвала живой интерес у Нервала: ему посвящено стихотворение «Сновидение Карла VI», и он фигурирует в историческом романе «Король шутов» (опубликован посмертно в 1889 г.).

Талья — постоянный налог, которым облагалось население во Франции в XV—XVIII вв. Отменен во время Великой французской революции.

...новая супруга дофина Франциска, Мария Шотландская... — Мария Стюарт, выданная в 1559 г. замуж за наследника французского престола, будущего Франциска II.

ИСТОРИЯ АББАТА ДЕ БЮКУА

Век XVII

Опубликована впервые в составе повести «Подпольные торговцы солью» в «Le National» с 24 октября по 22 ноября и с 7 по 22 декабря 1850 г. Часть этой обширной повести составила в дальнейшем «Анжелику» и вошла в книгу «Дочери огня», другая — собственно «История аббата де Бюкуа» — в книгу «Иллюминаты».

С. 45. *...во Фландрии... в Италии.* — Захватнические войны Людовика XIV в 1660—1680-х гг. привели к значительному расши-

рению его владений, но чрезвычайно истощили страну. В 1701—1713 гг. в войне за Испанское наследство Франция потерпела ряд серьезных поражений и была вытеснена из значительной части завоеванных ранее земель.

Принц Евгений Савойский (1663—1736) — главнокомандующий австрийскими войсками; в 1704 г. нанес французам поражение у Гохштеда (в юго-западной Германии).

...Мальбрук... веселой песенкой. — Мальбрук — искаженная французская форма фамилии английского государственного деятеля и полководца герцога Мальборо (Джона Черчиля, 1650—1722), возглавлявшего английские войска в войне за Испанское наследство. Насмешливая песенка «Мальбрук в поход собрался» получила в конце XVIII в. широкое распространение и за пределами Франции (ср. «Война и мир», т. I, гл. XXIII).

...семейному честолюбию престарелого короля... — После прекращения мужской линии испанских Габсбургов Людовик XIV (1638—1715) добился возведения на испанский престол своего внука Филиппа Анжуйского. Дальнейшее развитие французской политики в Испании привело к европейской войне за Испанское наследство.

С. 46. *...в форме фронд, лиг и жакерий...* — Фронда (1648—1653) — принявшая широкий размах борьба городской буржуазии, народных масс и старой аристократии против королевской власти; лига — имеется в виду католическая Лига, выступившая против короля Генриха III в 1580-х гг. в период религиозных войн; Жакерия — крестьянское восстание 1358 г., охватившее значительную часть Франции.

Нантский эдикт — издан в 1598 г. Генрихом IV, предоставлял французским протестантам (гугенотам) право свободного отправления религиозного культа. В 1685 г. был отменен Людовиком XIV, после чего на протестантов обрушились жестокие гонения.

...восстание в Севеннах... — одно из самых крупных народных восстаний за период царствования Людовика XIV в провинции Лангедок на юге Франции. Его участники — гугеноты (крестьяне и городские низы) выступали против религиозных преследований и феодального гнета. Они называли себя камизарами (от лат. *camisa* — рубаха). Восстание было жестоко подавлено маршалом де Вилларом (1653—1734), командовавшим французскими войсками в войне за Испанское наследство.

...толпами ринулись в Германию... — Во время своего путешествия по Германии в 1838 г. Нерваль встретился в окрестностях Бадена с потомками французских беженцев-гугенотов и восхищался сохранившимся в их речи старинным произношением.

Госпожа де Ментенон — Франсуаза д'Обинье, маркиза да

Ментенон (1635—1719) — возлюбленная, с 1684 г. морганатическая жена Людовика XIV, оказывавшая большое влияние на его политику.

Шамийяр Мишель (1657—1721) — с 1699 г. министр финансов, с 1701 г. военный министр. Этот период ознаменован хозяйственной разрухой страны и колоссальным дефицитом королевской казны.

...после поражения при Гохитедте... — См. примеч. к с. 45.

С. 47. *...подпольным торговцам...* — В дореволюционной Франции высокий налог на соль был настоящим социальным бедствием, вызвавшим широкое распространение контрабандной торговли солью.

С. 48. *...между Фенелоном и Боссюз.* — Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715), архиепископ Камбре — французский писатель, занимавший критическую позицию по отношению к нравам и политике двора Людовика XIV, был воспитателем внука короля, будущего наследника престола. В вопросах религии придерживался распространенного в конце XVII в. течения квиетизма (см. ниже). За свои политические взгляды, высказанные в дидактическом романе «Приключения Телемаха» (1699), подвергся опале и был сослан в свою епархию. Боссюз Жак Бенинь (1627—1704) — писатель, оратор, придворный проповедник, епископ Мо. В политических и религиозных вопросах занимал консервативную и ортодоксальную позицию, отстаивал чистоту и строгость официальной церковной догмы.

Госпожа Гюйон (Жанна Мария Бувьё де ла Мот, 1648—1717) — мистически настроенная провозвестница «простой», бесхитростной «религии сердца». Ее сочинения, пользовавшиеся большой популярностью, навлекли на нее суровые преследования со стороны официальной церкви.

Я стал квиетистом... — Квиетизм — религиозное течение, проповедовавшее созерцательное отношение к жизни, основанное на «любви к богу». Подвергалось преследованиям со стороны церкви.

С. 49. *Луэуа*, Франсуа Мишель Летелье, маркиз де (1639—1691) — военный министр Людовика XIV.

С. 50. *Петиметр* — шеголь, фат, завсегдаятай салонов, характерная фигура светской жизни XVII—XVIII вв.

Трапписты — члены монашеского ордена, основанного в 1664 г., соблюдавшие обет молчания.

Увлечись учением Сен-Поля... — Имеется в виду св. Венсан де Поль (1576—1660), прославившийся актами милосердия. Он учредил институт сестер милосердия для ухода за больными, основал приют для подкинутых детей и сирот, оказывал помощь осужденным на каторжные работы на галерах и т. п. В 1737 г. был канонизирован католической церковью.

С. 54. *Нинон де Ланкло* (1616—1706) — известная куртизанка, салон которой охотно посещали вольнодумно настроенные аристократы, поэты, музыканты и артисты.

Госпожа де Севинье — Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де Севинье (1626—1696), писательница, классик эпистолярного жанра. В ее письмах к дочери излагаются события придворной и культурной жизни последней трети XVII в., даются характеристики современников.

...эпикурейцы новых времен... — Речь идет о вольнодумно (иногда даже атеистически) настроенных аристократах и поэтах, в среде которых формировалось мировоззрение многих будущих просветителей (в том числе Вольтера).

Гармодиус и Аристокитон. — Готовя покушение на тирана Гиппарха, Гармодиус и Аристокитон спрятали мечи под гирляндами роз на празднестве в честь Диониса.

...Декарта и Гассенди. — Рене Декарт (1596—1650) — выдающийся философ-рационалист. Его идеи оказали значительное влияние на развитие французской философии и литературы второй половины XVII в. Пьер Гассенди (1592—1655) — философ-материалист, полемизировавший со многими идеями Декарта. Его ученики представляли сенсуалистическое направление в философии и литературе XVII в. Борьба между последователями обоих философов продолжалась и в XVIII в.

Фонтенель Бернар (1657—1757) — плодовитый писатель и ученый-популяризатор, близкий просветительским идеям; *Руссо* Жан Батист (1670—1741) — поэт классицистического направления, автор од, посланий, эпиграмм. *Лафар* Шарль Огюст (1642—1712) и *Шолье* Гийом Амфри (1639—1720) — поэты эпикурейского направления, представители «легкой» поэзии, разрабатывали преимущественно любовные мотивы.

...Буало был уже слишком стар. — Буало Никола (1636—1711) — поэт и литературный критик, законодатель французского классицизма. В описываемую эпоху ему было около семидесяти лет, и он фактически отошел от участия в литературной жизни.

С. 55. *Шапель* Клод Эманюэль (1626—1686) — поэт-эпикурец, ученик Гассенди, близкий друг Мольера.

Отейль — пригород Парижа, где у Буало был дом.

...юному Аруэ... де Шатонефом. — Аруэ — настоящая фамилия Вольтера. Аббат де Шатонеф был его крестным отцом.

С. 61. *Д'Аржансон* Марк Рене (1652—1721) — начальник полиции. Ему приписывают создание так называемых lettres de cachet — тайных предписаний об аресте без предъявления обвинения.

С. 64. ...школа *Сирано*. — Савиньен Сирано де Бержерак

(1619—1655) — писатель вольнодумного направления, ученик Гассенди, автор фантастического утопического романа «Иной свет, или Государства и империи Луны», политических памфлетов в стихах, эпиграмм, пьес.

С. 65. *Маркиз де Торси* (1665—1746) — племянник министра Кольбера, с 1699 г. — министр иностранных дел.

Филипп V — испанский король, внук Людовика XIV.

С. 66. *...охранявший Фуке и Лозена...* — Фуке Никола (1615—1680) — суперинтендант финансов; по обвинению в хищениях и заговоре против короля был приговорен к пожизненному заключению. Лозен — Антуан де Пигийем (1633—1723) — граф, потом герцог и пэр Франции; муж двоюродной сестры короля, герцогини де Монпансье. В результате придворных интриг впал в немилость, был заключен в Бастилию, а потом в Пиньероль, где вступил в сношения с Фуке.

...трагедию с хорамми... в Сен-Сире. — Имеются в виду две последние трагедии Расина на библейские сюжеты — «Есфирь» (1689) и «Гофолия» (1691), написанные для пансиона благородных девиц, учрежденного госпожой де Ментенон в Сен-Сире, неподалеку от Версаля.

С. 80. *Кольбер* Жан Батист (1619—1683) — выдающийся государственный деятель, министр финансов. Пытался оздоровить французскую экономику введением покровительственных пошлин, созданием мануфактур и другими мерами.

Пеллетье — точнее: Ле-Пеллетье Клод (1630—1711) — после смерти Кольбера стал его преемником на посту министра финансов, позднее возглавил почтовое ведомство.

Понишартрен Луи Фелипо (1643—1727) — с 1699 г. генеральный контролер финансов, канцлер Франции.

С. 84. *...герцог... скончался, предоставив Фенелону скорбеть...* — Людовик, герцог Бургундский (1682—1712), внук Людовика XIV, наследник престола после смерти своего отца (в 1711 г.). Его воспитателем был Фенелон (см. примеч. к с. 48).

С. 86. *Антимакьявеллизм.* — Согласно учению итальянского писателя, историка и политического мыслителя Никколо Макьявелли для утверждения сильной монархической власти следует пренебречь нормами морали и человечности. В эпоху Просвещения формула «Анти-Макьявелли» означала декларацию терпимости и принципов просвещенного абсолютизма.

С. 87. *Гольбах* Пьер Анри (1723—1789), *Ламетри* Жюльен Офре (1709—1751) — философы-материалисты.

С. 88. *...церковь Сен-Дени.* — В этой церкви находилась усыпальница французских королей.

...матери регента. — Имеется в виду Елизавета Шарлотта, герцогиня Орлеанская. Ее сын Филипп Орлеанский (1674—1723),

племянник Людовика XIV, после смерти последнего (1715) стал регентом при малолетнем короле Людовике XV. Эпоха Регентства ознаменована разгулом нравов и самовластия. Именно в эти годы подвергся заключению в Бастилию Вольтер как предполагаемый автор памфлета на регента.

...*внезапной кончины шведского короля* — то есть Карла XII (1682—1718). Дальнейшая оценка этого монарха близко следует характеристике, данной ему Вольтером в «Истории Карла XII» (1731).

С. 89. *Квинт Курций Руф* — римский историк I в., автор «Истории Александра Великого».

КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ

Опубликован в «*Almanach cabalistique*» в 1850 г. В число других набросков и фрагментов предназначался для книги «Иллюминаты».

С. 90. *Кошут* Лайош (1802—1894) — во время венгерской революции 1848 г. возглавил народное восстание против австрийского императора.

С. 91. «*Потерянный рай*» (1667) — эпическая поэма на библейский сюжет английского поэта и публициста Джона Мильтона (1608—1674). Образ Сатаны в этой поэме оказал значительное влияние на поэзию европейского романтизма. Сведения об апокрифическом источнике поэмы не подтверждаются современными исследованиями.

«*Oedipus Aegyptiacus*» — сочинение немецкого иезуита Атанасиуса Кирхера (1602—1680), математика, философа и знатока восточных языков, занимавшегося также магнетизмом и магией.

С. 92. ...*кабалистам...* — Каббала — мистическое течение в иудаизме, возникло в IX в., объединяло разнообразные религиозно-философские учения. В обычном словоупотреблении каббалистика приравнивалась к магии.

Астарта — в древнефиникийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви.

С. 93. ...*в XXIV песни своей поэмы...* — Описание Люцифера содержится в XXXIV песни «Ада».

С. 94. ...*великого Пана, то есть Духа Земли...* — Легенду о Великом Пане рассказывает Пантагрюэль в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Дух Земли появляется в первой сцене трагедии Гете в ответ на заклинания Фауста.

С. 95. ...*знаменитый Гете, автор «Фауста».* — Подразумеваются слова Господа в «Прологе на небесах», обращенные к Мефистофелю.

...идею книгопечатания... — Одна из легенд о докторе Фаусте приписывала ему изобретение книгопечатания, возможно, вследствие неправильного отождествления Фауста с одним из первопечатников — Иоганном Фустом. Эту тему Нерваль разработал в драме «Рисовальщик из Гарлема» (1851).

ИСТОРИЯ ТЮЛЕНЯ

Опубликована в «Le National» 27 октября 1850 г. в составе повести «Подпольные торговцы солью» (см. примеч. к «Истории аббата де Бюкуа» и к «Анжелике»).

С. 101. *...«Мечтаний, древним грекам приписываемых...»* — Под таким названием вышла в 1779 г. в Париже пародия на трагедии, из которой заимствован цитируемый далее стихок.

С. 102. *Мари Экар* — плодовитая писательница-фельетонистка середины XIX в.

Из книги «Дочери огня»

Книга «Дочери огня» вышла в 1854 г. и включала, кроме печатаемых в настоящем издании повестей, фольклористический этюд «Песни и легенды Валуа», тематически мало связанный с остальными частями книги, этюды «Изида» и «Корилла» и цикл сонетов «Химеры».

АНЖЕЛИКА

Впервые в составе более обширной повести «Подпольные торговцы солью» в «Le National» с 24 октября по 22 декабря 1850 г.

С. 103. *...портретами Роберта Блюма и героев войны с Венгрией...* — Роберт Блюм (1807—1848) — немецкий политический деятель и публицист, в период венгерской буржуазной революции («войны с Венгрией») принимал участие в баррикадных боях в Вене и после разгрома восставших был казнен по приговору австрийского военного суда.

С. 104. *Роман-фельетон* — печатавшиеся в журналах и газетах романы, основанные на смешении вымысла и реальности, часто с острыми политическими намеками. Пользовались успехом у публики, обогащали издателей и приносили заработок авторам. Такие романы писали А. Дюма, Э. Сю и Нерваль («Маркиз Файоль»). В 1849 г. законодательное собрание обложило газеты с романами-фельетонами особым налогом, что делало невыгодным

их издание и тем самым лишало заработков значительную часть парижских литераторов (см. «Историю тюления»).

С. 105. *Мне случилось жить в Вене...* — См. «Венские похождения».

С. 106. *Пилат* — намек на римского правителя Палестины (26—36), давшего согласие на казнь Христа словами: «Я умываю руки».

«*Журнал де Деба*», «*Котидьен*» — официальные газеты Июльской монархии.

«*Насьональ*», «*Шаривари*» — газеты, основанные в 1830 г., непосредственно после Июльской революции, оппозиционные по отношению к Луи Филиппу и его режиму; достать их за пределы Франции было затруднительно.

...не ссылайтесь на «*Галантные письма*» 2-жи Дюнуайе... — Дюнуайе Анна Маргарита (1663—1720) — французская писательница. Полное название ее произведения, описывающего быт и нравы света: «*Письма исторические и галантные дамы парижской к даме провинциальной*».

С. 107. *Мандрен* Луи (1724—1755) — знаменитый разбойник, грабивший государственных служащих и чиновников в южных районах Франции. Правительство вынуждено было послать против него целый экспедиционный корпус.

Равенель Жюль Амедей Дезире (1801—?) — библиограф, автор многочисленных статей во французских библиографических журналах. Нерваль пользовался его помощью при розыске редких изданий.

С. 108. *Александрийская библиотека* — богатейшее античное собрание свитков по самым разнообразным отраслям науки и искусства, было основано в Александрии Египетской в III в. до н. э., прекратило свое существование в конце VII — начале VIII в.

Омар (царствовал в 634—644 гг.) — арабский халиф, преемник Магомета, завоеватель Египта (642 г.).

С. 109. *Гипатия* (370—416) — женщина-философ, математик, астроном, была последовательницей неоплатонизма, а не пифагорейзма, как говорит Нерваль.

С. 116. *Сен-Симон* Луи де Рувруа (1675—1755) — герцог, политический деятель, автор знаменитых «Мемуаров», в которых получила отражение общественная атмосфера последних лет правления Людовика XIV.

Фруассар (1338 — ок. 1410) — поэт и историк, автор «Хроники Франции, Англии, Шотландии и Испании», создатель французской исторической прозы.

Монтреле (ок. 1390—1453) — средневековый хронист, автор «Хроники» в двух книгах, опубликованной в конце XV в.

С. 134. ...они разыгрывали мистерию. — Мистерия, драма на библейский сюжет в стихах или прозе, разыгрывалась в ярмарочные и праздничные дни горожанами на площади города или в церкви.

С. 147. *Ибо в пору Лиги...* — См. примеч. к с. 46.

Сильванекты — галльское племя, обитавшее на территории провинции Валуа, столица Аугустомаг (нынешний Санлис).

«*Карл VII и его вассалы*» — драма А. Дюма (1831).

С. 148. ...*маленькой древней области, именуемой Франция...* — Герцогство Франция в X в. тянулось узкой полосой от Суассона до Орлеана.

Провинция Валуа — небольшое графство в области Иль-де-Франс, откуда происходила французская королевская династия Валуа.

Майенн — герцог Майеннский (1554—1611), полководец Лиги (см. примеч. к с. 46), проигравший Санлисское сражение 17 мая 1589 г. войскам Генриха III и Генриха Наваррского, будущего Генриха IV.

Эпернон Жан Луи де Ногаре де ла Валетт (1554—1642) — герцог, пэр и адмирал Франции, фаворит Генриха III.

Кардинал Лотарингский — Луи де Гиз (1527—1578), один из вдохновителей Варфоломеевской ночи.

С. 151. *Герман* (Арминий) — вождь германского племени херусков, в 9 г. н. э. одержавший победу над римлянами в Тевтобургском лесу.

Туснельда — жена Германа, которую он похитил у своего врага, князя Сегеста. Герману и Туснельде посвящено одно из стихотворений Клопштока, переведенное Нервалем.

В сражении, где Марий разбил кимвров... — Германское племя кимвров было разбито Марием (156—86 г. до н. э.) дважды: у Роны в 102 и у Верцелл (современное Верчелли) в 101 г. до н. э.

Салический закон — то есть «Салическая Правда», один из многочисленных сборников правовых норм франков, появившийся при Хлодвиге (V в.), первом франкском короле; запрещал женщинам наследовать королевскую власть, они могли быть только опекунами своих малолетних сыновей.

С. 156. *Теофиль де Вио* (1590—1626) — поэт, продолжавший традиции Возрождения во Франции, за вольномыслие был осужден на смертную казнь, замененную изгнанием.

С. 158. «*Персефоре*» — средневековый роман из цикла романов о рыцарях Круглого стола, пользовавшихся большой популярностью в конце XVIII — начале XIX вв.

С. 159. *Орас Верне* (1789—1863) — выдающийся живописец, автор картин на исторические сюжеты. *Гюден* Теодор (1802—1880) — художник-маринист романтического направления.

С. 161. *Карл III Толстый* (839—887) — император «Священной Римской империи».

С. 162. *Мишо* Луи Габриель (1772—1858) — издатель и редактор 52-томной «Универсальной биографии».

С. 163. *Аббат де Рансе, которому посвятил свою последнюю книгу Шатобриан...* — Рансе Арман Жан (1626—1700) пытался реформировать устав ордена траппистов (см. примеч. к с. 50) в духе крайнего аскетизма. Французский романтик старшего поколения Франсуа Рене де Шатобриан написал историю его жизни (1844).

С. 164. *...Вольтер имел в виду не Санлис...* — Речь идет о IX песни поэмы «Генриада». Любовные утехы в замке обольстительной красавицы, отвлекающие героя от воинских подвигов, составляют обязательный эпизод в новоевропейской эпической поэме от «Неистового Роланда» Ариосто до «Руслана и Людмилы» Пушкина.

Карл VII (1422—1461) — французский король, был коронован в Реймсе в результате победы Жанны д'Арк над англичанами.

С. 166. *Сен-Жермен* (ум. предположительно в 1795 г.) — алхимик и авантюрист, пользовавшийся репутацией волшебника. Нерваль говорит о нем в очерке «Калиостро».

Месмер Франц Антон (1734—1815) — австрийский медик, создатель учения о «животном магнетизме».

Калиостро (Жозеф или Джузеппе Бальзамо; 1743—1795) — авантюрист, масон; ему посвящен очерк Нерваля в книге «Иллюминаты».

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — глава партии якобинцев в период Великой французской революции.

Сенанкур Этьен Пивер де (1770—1846) — писатель, последователь Руссо; его роман «Оберманн» (1804) оказал большое влияние на младшее поколение французских романтиков.

Сен-Мартен Луи Клод (1743—1803) — философ мистического направления, автор социально-утопических сочинений. Пользовался большим авторитетом в масонских кругах. Его идеями живо интересовался Карамзин и члены московского кружка Новикова. Сочинения Сен-Мартена уже в 1780-х гг. переводились на русский язык.

Дюпон де Немур (1739—1817) — экономист и политик, последователь учения физиократов, Призывавших к укреплению крестьянского сословия.

Казот Жак (1719—1792) — писатель, автор повести «Влюбленный дьявол».

Лепелетье Жан (1633—1711) — алхимик и эрудит.

С. 167. *Нострадамус* (Мишель де Нотр-Дам; 1503—1566) — астролог Генриха II и Карла IX, оставивший две книги проро-

честв; упоминается в первом монологе «Фауста». Здесь явный анахронизм: Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, родилась в 1573 г.

...из которых четвертый тоже был обезглавлен. — Имеется в виду Людовик XVI, казненный в 1793 г. по приговору Конвента.

Вейсгаупт Адам (1748—1830) — основатель ордена иллюминатов (1776), стремившегося к замене монархии республикой, а христианства — деизмом.

Беме Якоб (1575—1624) — немецкий философ пантеистического толка, любимый романтиками.

...первый министр племянника *Фридриха II* — Якоб Кристоф Вёльнер (1732—1800), министр прусского короля Фридриха Вильгельма II. Принадлежал к тайному ордену розенкрейцеров, близких к иллюминатам. Фридрих II (1740—1786) — прусский король, проводивший агрессивную милитаристскую политику. Его племянник Фридрих Вильгельм II (1786—1797) участвовал в походе немецких князей против революционной Франции. В 1793 г. немецкие войска вынуждены были прервать наступление из-за финансового краха. Анекдот, рассказанный Бомарше, по-видимому, должен был скрыть истинные мотивы отступления.

С. 177. *Абеляр* Пьер (1079—1142) — средневековый философ-богослов, поэт. За свои прогрессивные взгляды подвергался преследованиям со стороны церкви. Вынужден был уйти в монастырь. Его трагическая любовь к своей ученице Элоизе, описанная им в автобиографической книге «История моих бедствий», не раз служила предметом литературных обработок (в частности, подсказала Руссо заглавие его романа «Новая Элоиза»).

Людовик Благочестивый (778—840) — император «Священной Римской империи». При нем начался распад империи Карла Великого.

С. 179. *Лафонтен* Жан (1621—1695) — великий французский баснописец, автор стихотворных сказок и романа «Любовь Психеи и Купидона»; родился в Шато-Тьерри.

СИЛЬВИЯ

Впервые в «Revue des Deux Mondes» 15 августа 1853 г.

С. 181. ...как и причествует истинному воздыхателю. — В сезоне 1834/35 г. Жерар впервые увидел актрису Женни Колон, игравшую сначала в театре «Варьете», потом в «Опера комик» (подробнее об их отношениях см. вступ. ст.).

У меня был дядюшка... — См. примеч. к с. 28.

С. 182. ...эпохи *Перегрина и Апулея*. — Перегрин — философ-книжник и аскет (II в.), игравший видную роль в раннехристиан-

ских общинах. Его самосожжение в 167 г. на Олимпийских играх послужило поводом для сатирического памфлета Лукиана «О кончине Перегрина». Имя было использовано Нервалем в качестве одного из псевдонимов. Апулей (ок. 124 г. н. э. — ?) — римский писатель и философ, занимался натурфилософией и «окультистными науками», слыл колдуном. Его роман «Золотой осел» («Метаморфозы») послужил для Нерваля основным источником сведений о культе Изиды.

...руки прекрасной Изиды... — Герой романа Апулея Лукий, превращенный в осла, обретает человеческий облик, съев розы из рук жреца Изиды во время культового шествия, посвященного богине Изиде («Золотой осел», кн. 11).

...башина из слоновой кости... — ставшее крылатым метафорическое выражение, обозначающее поэта, отрешенного от внешнего мира. Впервые было употреблено романтическим поэтом и критиком Сснт-Бёвом по отношению к Альфреду де Виньи.

С. 183. *...былого моего богатства...* — В 1834 г. Нерваль получил наследство, часть которого потратил на путешествие в Италию, другую — вложил в издание журнала, вскоре потерпевшего финансовый крах (см. вступ. ст., с. 6).

С. 184. *Молох* — языческое божество, которому приносили в жертву детей, сжигая их в печи. Употребляется в иносказательном значении всепоглощающей силы, жадности богатства и т. п.

Друиды — жрецы у древних галлов (кельтов), населявших территорию Франции. Нерваль разделял взгляды многих писателей-романтиков (В. Гюго, Ж. Санд) относительно восточного происхождения друидического культа и видел в них подтверждение своих идей о некой древней синкретической религии.

...стен из пожелтогого камня... — Описание замка почти дословно перекликается со стихотворением «Фантазия», как и женский образ в последней его строфе с образом Адриенны.

С. 186. *...в ее жилах течет кровь рода Валуа*— Биографическим прототипом Адриенны послужила София Доус, жена барона Адриана де Фёшера, английская авантюристка, возлюбленная последнего герцога Конде, привезенная им из эмиграции. Для соблюдения приличий герцог, потомок младшей ветви королевской династии Валуа, выдавал ее за свою побочную дочь. Жерар в детстве не раз видел ее в окрестностях Шантильи, родового замка Конде.

С. 188. *...о Лиге и Фронде...* — См. примеч. к с. 46.

«Путешествие на остров Киферу» — название знаменитой картины (1717) Ватто, упоминаемой ниже. Существует предположение, что, создавая свое полотно, Ватто вдохновлялся пейзажем Эрменонвиля. В «Путешествии по Востоку» Нерваль посвятил острову Кифере (Чериго) отдельную главу.

С. 189. *Эрменонвиль* — поместье маркиза Рене Луи де Жирардена, почитателя Руссо; находится недалеко от местечка Мортфонтен, где прошли детские годы Нервала. Руссо провел в нем последние месяцы своей жизни и был там погребен.

Буффлер и *Шолье* — поэты конца XVII — начала XVIII в., принадлежавшие к эпикурейскому направлению (см. примеч. к с. 54).

С. 191. *...о сынах Армения...* — См. примеч. к с. 151.

С. 192. *«Новая Элоиза»* (1761) — роман Ж. Ж. Руссо. Его герои — Юлия и Сен-Пре.

Август Лафонтен (1758—1831) — немецкий писатель, автор популярных «чувствительных» романов.

С. 194. *Шантили* — один из лучших сортов французских кружев.

С. 196. *Екклесиаст* (IV или III в. до н. э.) — памятник древне-еврейской афористической литературы.

С. 197. *Дом Эсте* — итальянская княжеская династия, владевшая Феррарой. Ее светские и духовные представители играли значительную роль в эпоху Возрождения.

Франческо Колонна (1449—1527) — итальянский писатель, автор мистического сочинения на латинском языке «Сон Полифила, или Борьба Сна и Любви» (1499). Трагическая история его любви к Лукреции Полиа, добровольно принявшей монашеский обет, легла в основу последней новеллы Шарля Нодье «Францискус Колумна» (1844). Нерваль предполагал написать о нем драму и посвятил ему главу в «Путешествии по Востоку».

...в Сен-Сире... — См. примеч. к с. 66.

С. 198. *День св. Варфоломея* — 24 августа. В ночь на 24 августа 1572 г. произошла кровавая расправа над гугенотами, учиненная в Париже по приказу Карла IX и Екатерины Медичи.

С. 200. *...гравюр Моро...* — Моро-младший Жан Мишель (1741—1814) — гравер и художник-график, иллюстратор произведений Руссо; сохранилась также его гравюра, изображающая могилу Руссо в Эрменонвиле.

С. 201. *«Анахарсис»* — роман аббата Бартеlemi «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» (1788), отразивший пробудившийся в предреволюционные годы интерес к античному искусству.

С. 202. *Монтень* Мишель (1533—1592) — писатель-гуманист, философ скептического направления; его главная книга «Опыты».

...уже не хранящая его останков. — По решению Национального конвента прах Руссо был в 1794 г. перенесен в Париж в Пантеон.

...башня Габриели... — Габриель д'Эстре, возлюбленная Генриха IV (см. примеч. к с. 164).

С. 206. *Порпора* Никола (1686—1766) — неаполитанский композитор.

С. 207. *Аврелия* — этим именем называет Нерваль Женни Колон. Оно же стало названием его последнего произведения: «Аврелия, или Сон и Явь» (вышло посмертно в 1855 г.). Имя Аврелия навеяно скорее всего романом Гофмана «Эликсиры сатаны», с которым совпадает во многом и концепция романтической любви у Нерваля. Это имя носит также актриса в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

С. 208. *...в свою чашку кофе с молоком.* — Эту биографическую легенду Нерваль предполагал использовать в драме «Смерть Руссо», которая осталась ненаписанной.

С. 210. *...вдохновенные Шиллером.* — Речь идет о трагедии Пьера Лебрена «Мария Стюарт» (1820), возобновленной на сцене в 1840 г. Однако в роли Марии выступила не Женни Колон, которая не была артисткой трагического амплуа, а знаменитая драматическая актриса Рашель.

...вернуться во Францию. — Драма о Франческо Колонне (см. примеч. к с. 197) так и не была написана.

С. 211. *...трудно порвать некую давнюю связь.* — См. наст. изд., с. 217.

Полк спаги — корпус, сформированный в Алжире; с 1834 г. получил статус регулярного войскового соединения.

...Доранта в комедиях Мариво... — Мариво Пьер-Карле де Шамбелен (1688—1763) — комедиограф и романист, автор изящных, психологически заостренных комедий на любовные темы. Дорант — со времен Мольера условное комедийное имя молодого аристократа, чаще всего первого любовника.

С. 212. *...только госпожа де Ф...* — Имеется в виду София Доус, баронесса де Фёшер, прототип Адриенны.

С. 213. *Геснер* Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт и художник, автор «Идиллий» в прозе.

Руше Жан Антуан (1745—1794) — автор описательной поэмы «Месяць» (1779). Описание могилы Руссо содержится в песне, озаглавленной «Январь».

С. 214. *...называю ее Лолоттой...* — Лолотта — от Лотты (Шарлотты), имени героини романа Гёте «Страдания юного Вертера».

ОКТАВИЯ

Печаталась в разных вариантах в журналах начиная с 1842 г. Окончательный вариант в «Le Mousquetaire» 17 декабря 1853 г.

С. 214. *Весной 1835 года...* — На самом деле Нерваль впервые посетил Италию осенью 1834 г. В новелле произвольно группиру-

ются впечатления и встречи его путешествий 1834 и 1843 гг.

С. 215. *Тразименское озеро* — озеро на северо-западе Италии; здесь карфагенский полководец Ганнибал в 217 г. до н. э. одержал блестящую победу над армией римского консула Гая Фламиния.

...*свою несчастную любовь*... — то есть любовь к актрисе Женни Колон, с которой так или иначе ассоциируются разные женские образы «Дочерей огня».

Баптистерий. — Имеется в виду баптистерий флорентийского собора Сан-Джованни, одна из главных достопримечательностей Флоренции. Упоминается у Данте («Ад», песнь XIX).

Кампо-Санто — крытое пизанское кладбище в готическом стиле (1278 г.), средоточие фресок тосканской школы и великолепных скульптурных надгробий.

Тибуртинская сивилла... — Сивиллами назывались у древних римлян прорицательницы. Свои пророчания они писали на пальмовых листьях, которые разносил ветер. Тибур (современный Тиволи) — город неподалеку от Рима.

С. 216. *Портичи* — порт, сейчас предместье Неаполя, рядом находятся руины Геркуланума.

Маркиз Гаргалло — директор Королевской библиотеки в Неаполе. Нерваль встретился с ним во время второго пребывания в Италии в декабре 1843 г.

...*в голубом салоне госпожи де Рамбуи*. — Аристократический салон маркизы де Рамбуи был в первой половине XVII в. одним из центров литературной жизни Парижа. Завсегдатаи «голубой комнаты», поэты так называемого прециозного направления, культивировали изысканный, вычурный стиль, высмеянный Мольером в комедии «Смешные жеманницы».

...*о форме элевсинского камня*... — Речь идет о ритуальных предметах элевсинских мистерий, которые справлялись в аттическом городе Элевсине в сентябре — октябре в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны.

Веста — богиня домашнего очага у древних римлян; ее культ отправлялся жрицами-весталками и имел общегосударственное значение.

С. 218. *Лакрима-кристи* (букв.: слеза Христа) — сорт сладкого вина.

Святая Розалия — покровительница города Палермо, почитаемая также в Неаполе; изображается обычно в венке из роз. Образ св. Розалии играет важную сюжетную роль в романе Э. Т. А. Гофмана «Эликсиры сатаны», оказавшем значительное влияние на Нерваля. См. также сонет «Артемиды» и примеч. к нему.

Четыре стихии — земля, вода, воздух и огонь; учение о четырех стихиях и их «духах» — гномах, ундинах, сильфах и саламандрах — играло важную роль в естественно-научных представлениях средневековья, а также в представлениях некоторых мистически настроенных писателей XVIII в., привлечших внимание Нервала (например, Жака Казота). Стихия огня занимает центральное место в символике Нервала. Отсюда заглавие «Дочери огня» и топография повести «Октавия» — Везувий и его окрестности.

С. 219. ...*одной из фессалийских волшебниц...* — Греческая область Фессалия в античности почиталась как страна волшбы и колдовства, родина волшебниц и целительных снадобий.

С. 221. *Геркуланум и Помпеи* — древнеримские города, погибшие при извержении Везувия в 79 г. до н. э. Открытие их в середине XVIII в. было выдающимся событием культурной жизни, и в следующем столетии они еще продолжали привлекать внимание ученых-археологов и туристов.

Изида, Озирис — древнеегипетские божества (сестра и брат, одновременно и супруги), культы которых получили большое распространение в эллинистическую и римскую эпохи. Храмы Изиды и Озириса были обнаружены во многих городах Римской империи. Изиде и ее храму посвящен отдельный очерк в книге «Дочери огня».

...*о которых прочитал у Апулея.* — См. примеч. к С. 182.

...*возвращаясь с Востока...* — То есть в конце 1843 г.

ЭМИЛИЯ

Впервые в «Le Messenger» 25, 26 и 28 июня 1839 г. под названием «Форт Битш. Воспоминания из времен Французской революции», подписана инициалом Ж. В дальнейшем была включена в книгу «Дочери огня», хотя по теме и художественному воплощению заметно отличается от других повестей этой книги.

С. 222. ...*подвиг Курция.* — По преданию, в IV в. до н. э. в середине римского форума разверзлась трещина, угрожавшая гибелью городу. Знатный юноша Марк Курций в полном вооружении бросился вместе с конем в пропасть, сразу же сомкнувшуюся.

С. 224. *Гагенау* — город в Нижнем Эльзасе, с 1648 г. (после Вестфальского мира) принадлежал Франции.

С. 230. ...*отогнали на прежнее позиции.* — Описанное Нервалем нападение пруссаков на форт Битш действительно имело место в указанный день — 17 ноября 1793 г. Однако это была не вылазка небольшого отряда, а массированное наступление, которое было отбито еще до того, как противники проникли внутрь форта, и до рукопашной схватки дело не дошло.

С. 235. ...десять лет назад это был немецкий город... — На самом деле Гагенау был французским владением с 1648 г., но в годы Великой французской революции был театром военных действий между двумя странами.

С. 241. *Партуно* Луи (1770—1835) — наполеоновский генерал, командовал рядом сражений в Италии, участвовал в походе 1812 г. и был взят в плен при переходе через Березину.

ЗАКОЛДОВАННАЯ РУКА

Впервые в «Cabinet de lecture» 24 сентября 1832 г. под названием: «Рука славы, макароническая история», окончательное заглавие — в книге «Сказки и шуточные истории», 1853 г. Время написания повести совпадает с обострением интереса к национальной истории, в частности к жизни и нравам деклассированных слоев в феодальные времена (ср. «Собор Парижской богородицы» В. Гюго, 1831). В 1828 г. начинают выходить мемуары полицейского шпиона Видока, которые вводят в моду воровской жаргон (из них черпали материалы для своих романов В. Гюго и Бальзак). В 1831 г. переиздается самый ранний словарь арго (1628), выходят собрания историй и анекдотов из жизни знаменитых разбойников, воров. Материал этот широко использован Нервалем в его повести.

С. 242. ...в царствование Генриха Великого... — то есть в царствование Генриха IV (1594—1610), положившее конец религиозным войнам. Сооружение площади Дофина началось в 1608 г., Королевской площади — в 1605 г. Хронологически и топографически точная локализация действия повести, поддержанная множеством частных исторических фактов, образует иронический контраст с фантастическими элементами сюжета.

Дворец правосудия — здание Парижского суда.

С. 244. *Д'Обинье* Теодор Агриппа (1552—1630) — поэт-гугенот, участник религиозных войн, получивших отражение в его главном произведении «Трагические поэмы». Здесь речь идет, по-видимому, о его романе «Приключения барона де Фенеста» (1617—1630).

С. 245. *Франсуа Вийон* (ок. 1431—?) — выдающийся поэт. Герои многих его баллад — бродяги и воры. Сам он нередко подвергался судебным преследованиям. Одновременно с «Заколдованной рукой» Нерваль задумал пьесу «Вийон-школяр», которая не сохранилась (или не была написана).

«*Гюон Бордосский*» (1220) — анонимная поэма с авантурным сюжетом, близкая по композиции к рыцарскому роману.

«*Легенда о Пьере Поджигателе*» (1526) — поэма Шарля Бурдинье. Ее герой — странствующий школяр, бездельник и изобретательный мошенник в духе Панурга в романе Рабле.

«*Защита*» *Дю Белле* — теоретический трактат поэта «Плеяды» Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549).

«*Cymbalum mundi*» («Кимвал мира») (1538) — сатирическая книга гуманиста Бонавентуры Делерье, осужденная церковью за вольнодумство.

С. 246. ...*освобождение и благоденствие*. — Все это рассуждение представляет собой ироническую интерпретацию социальных процессов, возникших в результате французской революции 1789—1794 гг., — парцелляции крупных земельных владений, поступавших в руки разбогатевших буржуа.

...*подопечных святого Николая*... — Этот святой, очень популярный среди простого народа, считался покровителем узников.

Мэтр Гонен — имя, которое носили многие фокусники и шуты; стало в дальнейшем нарицательным. В 1713 г. вышло двухтомное собрание анекдотов «Фокусы мэтра Гонена». Это же имя носит главный герой исторического романа Нерваля «Король шутов».

Гийери — три брата-бретонца, отказавшиеся признать власть Генриха IV (в прошлом гугенота), собрали разбойничью банду, длительное время терроризировавшую поджогами и насилием запад Франции.

С. 247. *Брюскамбиль* — псевдоним фарсового актера труппы «Бургундского отеля».

С. 251. *Д'Ангулеван* — псевдоним Никола Жубера, главного исполнителя шутовских ролей в труппе «Бургундского отеля». Речь идет о его тяжбе (1604—1608) с двумя актерами той же труппы.

С. 254. «*Лес шести корпораций*» — свод прав и привилегий шести купеческих корпораций Парижа, в том числе почетное право присутствовать при торжественных въездах короля в Париж.

Самаритянка — увенчанная часами водонапорная башня, снабжавшая водой Лувр (воздвигнута в 1605—1608 гг.).

С. 256. *Кроканы* — прозвище крестьянских повстанцев 1593—1595 гг. Бытовало и во время более поздних восстаний.

С. 258. *Табарен* — псевдоним знаменитого фарсового актера Жана Саломона, выступавшего на площади Дофина у Нового моста в первой четверти XVII в.

С. 259. ...*талья*... «*курицей в супе*». — Талья — см. примеч. к с. 43. Генриху IV приписывали обещание, что у каждого крестьянина на воскресный обед будет «курица в супе».

Матамор — тип хвастливого воина в итальянских комедиях.

...*Гаскони вслед за Наваррцем* — После воцарения Генриха IV (ранее короля Наваррского) в Париж вслед за ним устремилось множество неимущих гасконских дворян, его земляков. Их характерной чертой считалось бахвальство и фанфаронство (мотив, многократно обыгранный в литературе).

«*Лжеец*» — комедия Пьера Корнеля (на самом деле поставлена в 1642 г.).

С. 260. *Беда Достопочтенный* (672—735) — англосаксонский поэт и историк церкви.

С. 265. ...*белой магии... спасению души*. — В отличие от черной магии, прибегавшей к содействию дьявола, белая магия обращалась за помощью к небесным силам и поэтому не считалась столь предосудительной.

С. 266. *Альберт Великий* (1193—1280) — богослов, философ-схоласт, прославившийся универсальной ученостью. Считался автором «Книги о некоторых свойствах трав, камней и животных». Пользовался репутацией одновременно святого и чернокнижника. Ему приписывали многие чудеса, впоследствии перенесенные на личность доктора Фауста. Подобные же легенды окружали и упоминаемых здесь ученых, современников Фауста — аббата Иоганна Тритемия (1462—1516) и Корнелия Агриппу Неттесгеймского (1486—1535).

С. 269. *Особняк королевы Маргариты* — построен в 1605 г.; принадлежал Маргарите Валуа (1553—1615), первой жене Генриха IV, разведенной с ним в 1599 г. (героиня романа А. Дюма «Королева Марго»).

С. 270. ...*как стали делать это позднее* — то есть при кардинале Ришелье, с середины 1620-х гг.

Мерлин Коккаи — псевдоним итальянского бурлескного поэта Теофило Фоленго (1496—1544), автора макаронических стихов и поэм. Великан Фракас — герой одной из его поэм.

С. 271. *Грибуй и Трибуле* — Трибуле — см. примеч. к с. 32. Грибуй — нарицательное имя для дурака.

С. 272. *Сирано*. — См. примеч. к с. 64.

С. 273 ...*писателю Фламелью*. — Никола Фламель (ок. 1330—1418) — алхимик, якобы заключивший договор с дьяволом. Нерваль в 1830 г. начал писать о нем драму, которая осталась незаконченной.

Раймунд Луллий (ок. 1235—1315) — каталонский поэт, философ и богослов.

С. 275. ...*над прекрасным стихом Лукреция...* — Тит Лукреций Кар (98—55 гг. до н. э.) — римский философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей», откуда заимствован цитируемый стих.

Бельфоре Франсуа (1530—1583) — писатель и историк. Упоминаемое сочинение «Трагические истории, извлеченные из

итальянских произведений Банделло» (1580) содержит ряд сюжетов, использованных в дальнейшем драматургами Возрождения. Здесь Нерваль допускает явный анахронизм, поскольку действие его повести происходит через двадцать пять лет после смерти Бельфоре.

С. 277. *Святой Игнатий* — то есть Игнатий Лойола (1491—1556), создатель и первый генерал иезуитского ордена.

ЗЕЛЕНое ЧУДОВИЩЕ

Впервые в сатирическом альманахе «*Le diable vert*» в 1850 г. Вошло в книгу «Сказки и шуточные истории» (1853).

С. 278. *Соваль, Фелибьен, Сент-Фуа и Дюлор...* — Соваль Анри (1626—1670) — автор книги «История и разыскания из области древностей города Парижа» (изд. 1724); Фелибьен Жак (1635—1715) — теолог, в своих сочинениях отступавший от католической догмы; Сент-Фуа Жермен Франсуа Пуллен (1698—1776) — плодовитый писатель. Имеется в виду его пятитомный труд «Очерки истории Парижа» (1754—1757); Дюлор Жак Антуан (1755—1835) — историк и археолог.

С. 279. *...антипапы Бенедикта XIII.* — Имеется в виду первый из двух пап, носивший это имя (занимал папский престол с 1394 по 1417 г.). По подозрению в расколе был смещен и заменен другим, избранным в 1424 г. под тем же именем.

С. 282. *...у Геродота и Плиния Младшего.* — В «Истории» Геродота (484—425 до н. э.) наряду с реальными фактами и событиями излагаются фантастические сведения о далеких странах и народах. Плиний Младший — очевидная ошибка Нерваля: автором «Естественной истории» — компилятивного труда, заключавшего в себе ряд курьезов и аномалий, был римский писатель Плиний Старший (23/24—79 до н. э.).

...теории Фурье. — См. «Достоверная история утки», с. 364.

КОРОЛЕВА РЫБ

Впервые в «*Le National*» 29 декабря 1850 г. без заглавия. Вошла в сборник «Сказки и шуточные истории» 1853 г. Включена также в «Песни а легенды Валуа» (в кн. «Дочери огня»).

С. 284. *...когда фея Мелузина превращается в рыбу...* — Мелузина — женщина-змея, в легендах провинции Пуату — дочь феи, водяная дева, покровительница старинного рода Лузиньянов, прославившегося во время крестовых походов (имя ее буквально толкуется как «мать Лузиньяна»). Сюжет этот был обработан в XIV в. в форме прозаического, потом стихотворного романа, позд-

нее послужил материалом для немецкой народной книги, откуда его почерпнули немецкие романтики. См. примеч. к сонету «El Desdichado».

...*королевы из «Эдды» становятся лебедями.* — Эдда — собрание древнескандинавских (исландских) мифологических и героических песен IX—XI вв. Имеется в виду «Песнь о Вёлунде». Мотив лебединой девы широко представлен в фольклоре разных народов.

С. 285. ...*сына Одина... молот Тора.* — Один — в скандинавской мифологии верховный бог, его сын Тор (у континентальных германцев Донар — «гром») — бог земледелия и грозы, его орудие — огромный молот.

С. 286. ...*но он уже был сильфом... а она была ундиной...* — то есть духами стихий — воздуха и воды (см. примеч. к с. 218).

СОНАТА ДЬЯВОЛА

Опубликована в «Mercure au XIX-e siècle» в 1830 г. Навеяна рассказами Э. Т. А. Гофмана («Мастер Мартин бочар» и др.).

С. 292. ...*у всех троих одно и то же лицо.* — Возможно, реминисценция из «Ада» Данте, песнь XXXIV (у Люцифера — три лица).

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ

Опубликован в «La Presse» 23 октября 1839 г. Так же, как и «Соната дьявола», носит явные следы влияния Гофмана.

С. 294. ...*отец мой... воспитание.* — Здесь и дальше очевидные автобиографические реминисценции.

С. 300. *Это был портрет Лауры!* — Сходство таинственного портрета с реальным лицом из другой эпохи является одним из излюбленных мотивов у Гофмана (например, в романе «Эликсир сатаны»).

ВЕНСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ

Печатались в виде отдельных очерков в журналах и газетах «L'Artiste», «La Presse», «Revue de Paris» и др. между 1840 и 1848 гг. В несколько сокращенном виде вошли в книгу «Путешествие по Востоку» (1851), в которой Нерваль объединил два своих путешествия — в Швейцарию и Вену осенью — зимой 1839—1840 гг. и собственно путешествие на Восток в 1843 г. Европейские впечатления — Швейцария, Вена и Средиземное море, включая Грецию, — составили «Вступление: на Восток». В осно-

ву перевода положен текст книги; в отдельных случаях, оговоренных в примечаниях, дополнен текст журнальных публикаций, исключенных автором из книги по соображениям художественного, а иногда и цензурного порядка (книга вышла после поражения революции 1848 г., в условиях наступившей в Европе реакции). «Вступление» целиком посвящено Другу — Филотею О'Недди, литератору из романтического окружения Нерваля.

С. 301. *Стерн и Казанова* — Лоренс Стерн (1713—1768) — английский писатель-сентименталист, оказавший большое влияние на западноевропейскую и русскую литературу XVIII—XIX вв. Имеется в виду его «Сентиментальное путешествие» (1768), написанное в причудливо-фрагментарной форме. Джованни Джакомо ди Казанова (1725—1798) — итальянский авантюрист, изъездивший всю Европу. Его 12-томные Мемуары (изд. в 1822—1828 гг.) были переведены на многие языки. Значительное место в них занимает описание любовных походов автора. Сочетание этих двух имен как «вдохновителей» Нерваля носит подчеркнуто иронический характер.

Леопольдштадт — район Вены.

...советовал путешественникам Байрон. — См. «Дон Жуан», песнь II, строфа 164.

С. 302. *Бирх-Пфейфер* Шарлотта (1800—1868) — немецкая актриса и плодовитая писательница, автор пьес, пользовавшихся шумным, но недолговечным успехом.

...bionda e grassota... — цитата из «Бесполезных мемуаров» (1797) венецианского комедиографа Карло Гоцци (1722—1806).

С. 304. «*Велизарий*» — опера Доницетти (1836).

С. 307. *Вам-Амбур* — американский укротитель, в 1839 г. выступавший в Париже.

С. 310. *Пратер* — увеселительный сад в Вене, место народных гуляний.

Брюнн — город Брно в Моравии (Чехословакия).

С. 312. *...Гофман в этот самый день.* — Имеется в виду повесть Э. Т. А. Гофмана «Приключения накануне Нового года» (вошла в книгу «Фантастические рассказы в манере Калло», 1815). Нерваль опубликовал свой перевод фрагмента этой повести в 1831 г.

С. 313. *...человек, потерявший свою тень...* — герой повести А. Шамиссо «Удивительная история Петра Шлемиля» (1814); *человек, утративший свое отражение* — герой упомянутой повести Гофмана. В ней описывается встреча автора с этими персонажами в винном погребке.

Бременский «Ратскеллер» упоминается в стихотворении Г. Гейне «В гавани» («Северное море», II). В 1848 г. Нерваль

перевел стихотворения этого цикла. *Лейтцигский «Ауэрбах»* (существует с XVI в.) фигурирует уже в народных легендах о докторе Фаусте; в трагедии Гете — место студенческой пирушки и «чуда с вином»..

Мидлинг — предместье Вены, недалеко от замка Шенбрунн.

С. 316. *Цедлиц* Иозеф Кристиан (1790—1862) — австрийский поэт романтического направления, автор известных баллад, связанных с темой Наполеона («Ночной смотр», рус. перевод В. А. Жуковского; «Корабль призраков» — ср. вольное подражание М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль»).

...шел навстречу Макбету. — В трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сцена 5) солдаты, наступающие на замок Макбета, несут как прикрытие срезанные зеленые ветви — тем самым сбывается прорицание ведьм, что Макбету нечего опасаться, пока «Бирнамский лес не двинулся на Дунсинан».

С. 318. «*Che vuoi?»* — В повести Жака Казота «Влюбленный дьявол» (1772) вызванный магическими заклинаниями дьявол является сначала в образе верблюжьей головы, потом болонки и, наконец, хорошенького пажа, который оказывается переодетой девушкой. Нерваль живо интересовался творчеством и личностью Казота, издал его повесть в 1845 г. со своим вступительным биографическим очерком, который потом вошел в книгу «Иллюминаты».

С. 324. *...барон фон Ц. ... член Тугендбунда...* — Под этим инициалом скрывается, скорее всего, Цедлиц. Тугендбунд (букв.: союз добродетели) — общество (1808—1810), возникшее в Пруссии с целью подъема патриотического духа в период наполеоновской оккупации. Вскоре было официально распущено правительством из страха перед ростом оппозиционных настроений. Продолжало существовать в форме тайных обществ.

С. 325. *14 января.* — Весь этот отрывок до слов: «Вена на мой взгляд...» публиковался под названием «Письмо дядюшке» в «Revue de Paris» 1 марта 1841 г. (вместе с вводным абзацем в «La Silhouette» 21 и 28 января 1849 г.). Из окончательного текста «Путешествия по Востоку» был исключен.

С. 329. *Шрёдер-Девриент* Вильгельмина (1804—1860) — знаменитая оперная певица, выступавшая в Венской опере.

С. 330. *...Австрия — это Китай в Европе.* — Почти дословное совпадение с характеристикой Ф. Энгельса («европейский Китай»); см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 8, с. 35.

Иосиф II — австрийский эрцгерцог, в 1765—1790 гг. германский император. Пытался провести умеренные реформы в духе просвещенного абсолютизма.

С. 331. *...более знаменито в Париже, нежели в Вене...* — Имеется в виду Франц Грильпарцер (1791—1872), выдающийся австрийский драматург и поэт, близкий романтизму.

С. 333. *Штраус-сын* — Иоганн Штраус (1825—1899), «король вальса», композитор, скрипач и дирижер.

Мария Терезия (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня, германская императрица, мать Иосифа II и французской королевы Марии Антуанетты.

Пюже и Бушардон. — Пьер Пюже (1622—1694) — французский скульптор, работавший в стиле барокко; Эдм Бушардон (1698—1762) — французский скульптор, работавший в стиле рококо.

«*Я жажду одного — покинуть этот сад*» — цитата из «Поэтического искусства» Буало (песнь I), направленная против описательных длиннот в поэме Жоржа Скюдери «Аларих». Нерваль ошибочно относит ее к сестре Жоржа — гораздо более знаменитой писательнице-романистке Мадлене Скюдери (1607—1701).

С. 334. *Бургтеатр* — главный драматический театр Вены, австрийский национальный театр, основан в 1741 г. Существует поныне.

Бушарди Жозеф (1810—1870) — популярный драматург, автор многократно ставившихся на сцене мелодрам.

...*запретить...* «*Вильгельма Телля*». — В драме Шиллера «Вильгельм Телль» (1804) изображена борьба швейцарцев против австрийского ига.

«*Рюи Блаз*» (1838) — драма В. Гюго, проникнутая демократическим духом.

С. 335. *Герцог Кобургский*. — Многие представители этой мелкой княжеской династии (Саксен-Кобург-Гота) оказались в результате удачных браков на престолах европейских стран. Здесь речь идет, по-видимому, о Фердинанде Кобургском, который в 1837 г. женился на португальской королеве.

Дебюро (1796—1846) — выдающийся французский актер-мим.

Нестрой Иоганн Непомук (1801—1862) — австрийский драматург и актер, автор бытовых комедий в народном духе.

Лист Ференц (1811—1886) — знаменитый венгерский композитор и пианист-виртуоз, в те годы близко связанный с французскими романтическими кругами.

С. 336. *Мадмуазель Марс* (Анна Франсуаза Ипполита Буте, 1779—1847) — знаменитая французская актриса классического стиля.

Берио Шарль Огюст (1802—1870) — бельгийский композитор и скрипач-виртуоз.

С. 337. *Бокаж* Пьер Мартиньен (ок. 1792 — ок. 1862) — французский актер романтического направления. Нерваль посвятил ему статью в 1833 г.

С. 338. ...*Расин в предисловии к «Баязету»...* (1672). — Расин оправдывает выбор современного события для высокой трагедии его удаленностью в пространстве (действие происходит в Турции).

С. 340. ...*гофмановского регистратора Геербранда*... — Геербранд — чиновник-обыватель в сказке Гофмана «Золотой горшок» (1814).

С. 341. ...*строку Клопштока*... — Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) — немецкий поэт сентиментального направления, Нерваль перевел его стихи.

ОКТАБРЬСКИЕ НОЧИ

Печатались в «L'Illustration» 9, 23, 30 октября; 6, 13 ноября 1852 года. Из 26 главков переведены I—III и XVI—XXV.

С. 347. *Кювье Жорж* (1769—1832) — палеонтолог и систематик, сравнительный анатом и биолог, выдвинувший в противовес теории изменяемости видов теорию катастроф, член Французской Академии.

...*Езус, или Цернунн, или Тевтат*... — Нерваль перечисляет богов галльского пантеона.

С. 350. *Капернаум* — город у Тивериадского озера в Палестине, жители которого, согласно Библии, предались торговле и наживе, стал символом торгашества и расчёта.

Зимрок Карл (1802—1876) — немецкий фольклорист, поэт и переводчик, им переведены на новонемецкий язык «Песнь о Нибелунгах» и другие памятники средневековой литературы.

С. 351. ...*орел города Мо*. — Речь идет о Боссуэ (см. примеч. к с. 48).

Фихтевские «я» и «не-я»... — Фихте Иоганн Готлиб (1726—1814) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

С. 352. *Ларошфуко Франсуа* (1613—1680) — писатель-моралист, автор знаменитых книг «Максимы» и «Мемуары».

Паскаль Блез (1623—1662) — великий физик, математик, философ и писатель; цитируются «Мысли», его главное философское сочинение.

С. 353. ...*статуя Камарго*... — Камарго Мария Анна (1710—1770) — французская танцовщица, выступавшая с большим успехом и как оперная певица.

С. 354. ...*после 1830 года, после 1794 года, после 1716 года*... — Июльская революция 1830 г. привела к свержению династии Бурбонов и установлению монархии Луи Филиппа, олицетворявшего собою власть финансовой олигархии. 27 июля 1794 г. (9 Термидора, по революционному календарю) пала диктатура якобинцев и началось правление термидорианцев, приведшее к государственному перевороту Наполеона. 1716 г. — начало эпохи Регентства (после смерти в 1715 г. Людовика XIV) во время малолетства

Людовика XV; восстановление прав парламента и относительная свобода печати.

С. 356. *Карло Дольчи* (1616—1686) — итальянский живописец.

С. 357. *Капрал Трим* — персонаж романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1759—1767).

С. 360. *Низар Жан Мари* (1806—1888) — критик и историк литературы, академик, преподаватель «Коллеж де Франс».

Кузен Виктор (1792—1867) — философ-идеалист, читал лекции в Сорбонне и «Коллеж де Франс».

Гизо Франсуа (1787—1874) — историк и политический деятель.

ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ УТКИ

Опубликована в альманахе «Le Diable à Paris» в 1845 г.

С. 364. *Бюффон Жорж Луи Леклерк* (1707—1788) — естествоиспытатель и литератор.

Гримо де Лариньер (1750—1799) — ученый врач и естествоиспытатель.

Геродот и Плиний. — См. примеч. к с. 282.

С. 365. *Кювье Жорж* (1769—1832). — См. примеч. к с. 347.

Ренодо Теофраст (1584—1663) — журналист, основатель первой французской газеты (1631).

Донно де Визе Жан (1636—1700) — бойкий журналист, писал также комедии, преимущественно памфлетного характера. Известен своими нападками на Мольера. Основанный им журнал «Меркюр» начал выходить в 1672 г.

С. 366. «*Журналь де Треву*» — литературный журнал, издававшийся иезуитами (1701—1775 гг.).

«*Журналь де Саван*» (букв.: «Журнал ученых») — первый и наиболее значительный французский литературный журнал; выходил с 1665 г.

Колле Шарль (1709—1783) — плодовитый писатель, автор популярных песен, водевилей, комедий. Создателем журнала «Потайные воспоминания, касающиеся истории Литературной республики» (в 6-ти т., 1777) был на самом деле не Колле, а Луи *Башомон* (ум. в 1771 г.).

«*Конститусьонель*», «*Курье*», «*Деба*» — официальные правительственные газеты периода Реставрации и Июльской монархии.

С. 367. *Каспар Хаузер* — юноша неизвестного происхождения, появившийся в 1828 г. в Нюрнберге. Он был воспитан в полном уединении, ничего не мог о себе сообщить и вскоре был убит. Высказывались предположения, что он — отпрыск одной из немецких княжеских династий, ставший жертвой политической интриги. История Хаузера привлекла внимание журналистов и пи-

сателей. На эту тему были написаны ученые труды и романы (наиболее известный Я. Вассермана «Каспар Хаузер», 1908). Остальные имена, названные здесь, не поддаются отождествлению.

С. 368. *Мадемуазель Марс*. — См. примеч. к с. 336.

Нерак — город в департаменте Лот-и-Гаронна, в нем сохранились остатки римских построек.

«*Восточные мотивы*» — сборник стихотворений В. Гюго (1828).

С. 369. *Шиллер писал...* — Речь идет о стихотворении «Колумб». Нерваль дважды переводил это стихотворение (в 1830 и 1838 гг.) и включил вольное переложение его в свою драму «Рисовальщик из Гарлема».

ИСТИНА И ПАРАДОКС

Опубликовано в «L'Artiste» 2 июня 1844 г. Перевод дается в извлечениях. Нерваль опирается на двухвековую традицию афористического жанра во Франции, начатую знаменитыми «Максимами» Ларошфуко (1665) и продолженную в XVIII в. Вовенаргом и Шамфором. Некоторые из его афоризмов переключаются с афоризмами этих авторов, другие обобщают социальный и нравственный опыт послереволюционной эпохи.

С. 371. *Гай Муций Сцевола* (VI в. до н. э.) — римлянин, схваченный этрусками; согласно преданию, в доказательство своей неустрашимости положил правую руку в огонь и дал ей сгореть. *Брут* Марк Юний (85—42) — республиканец, участник заговора против Юлия Цезаря; стал обобщенным воплощением самоотверженного, бескорыстного служения свободе.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К БЕРАНЖЕ

Опубликовано в сб. «*Cougonne poétique de Béranger*» в 1829 г.

С. 376. *Беранже* Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт-демократ, автор пользовавшихся широкой популярностью политических песен, участник Июльской революции 1830 г. В 1828 г. Беранже был обвинен в оскорблении короля и религии и приговорен к тюремному заключению и крупному штрафу.

НАРОД

Опубликовано в «*Mercure de France au XIX-e siècle*» в 1830 г.

С. 377. *Орлеан*. — Король Луи Филипп принадлежал к Орлеанскому дому, младшей ветви династии Бурбонов.

Лафайет Мари Жозеф (1757—1834) — маркиз, политический деятель либерального толка, участвовал в Войне за независимость в Северной Америке. В годы Великой французской революции и Июльской революции командовал Национальной гвардией. Пользовался большой популярностью.

ДОКТРИНЕРЫ. (Виктору Гюго)

Опубликовано там же в 1830 г.

С. 379. *Доктринеры* — политическая партия в период Июльской революции, возглавлявшаяся историком и политическим деятелем Франсуа Гизо. Ее политической программой была монархия, ограниченная представительными учреждениями. Умеренный характер политической платформы доктринеров — апологетов Июльской монархии Луи Филиппа — вызвал резкое недовольство среди молодых романтиков, неудовлетворенных результатами революции.

...любимые цвета — то есть трехцветное знамя республики, вновь сменившее старое знамя Бурбонов.

С. 380. *Но ты, Виктор, заметил верно...* — Речь идет о ранних одах В. Гюго, посвященных теме Наполеона (в сб. «Оды и баллады»).

С. 381. *Отрекся он от Жозефины...* — Жозефина Богарне, первая жена Наполеона, с которой он развелся в 1809 г., чтобы жениться на дочери австрийского императора Франца I Марии Луизе.

ГОСПОДА И ЛАКЕИ

Опубликовано в «Almanach des Muses» в 1832 г.

ЭЛЕГИЧЕСКИЕ СТАНСЫ

Опубликованы там же в 1829 г.

Вольное подражание английскому романтику Томасу Муру.

ОСТАВЬ МЕНЯ!

Опубликовано там же в 1831 г.

Вольное подражание Томасу Муру.

СМИРЕНИЕ

Написано в 1839 г., опубликовано в 1897 г. в «Revue de Paris». Скорее всего, также подражание английскому оригиналу.

Из цикла «Маленькие оды»

Цикл этот первоначально публиковался в «L'Artiste» с 1 июля по 15 декабря 1852 г. в серии очерков «Галантная богема», затем в книге «Маленькие замки богемы» (1853). Большая часть стихотворений печаталась отдельно раньше в периодических изданиях. Мы сохраняем расположение стихотворений, принятое в «Маленьких замках богемы».

АПРЕЛЬ

Впервые в «Almanach dédié aux demoiselles» в 1831 г.

ФАНТАЗИЯ

Впервые в «Annales romantiques» в 1832 г. Многократно перепечатывалось в 1830-х гг. под разными заглавиями («Воспоминания об иной жизни», «Видение»). Одно из самых известных стихотворений Нерваля. Тесно связано с пейзажем и биографически Мотивами «Сильвии» и «Анжелики».

БАБУШКА

Впервые в «Annales romantiques» в 1835 г. Бабушка Нерваля с материнской стороны, Маргарита Виктория Лоран, урожденная Буше, в семье которой он воспитывался, умерла в 1828 г.

С. 386. ...*был переворот*... — революция 1830 г.

КУЗИНА

Впервые в «Галантной богеме».

ВЕСЕЛОСТЬ

Впервые в «Галантной богеме».

С. 387. *Ришле* Сезар Пьер (1631—1698) — составитель «Словаря рифм» (1667).

НЕЧТО О ПОЛИТИКЕ

Впервые в «Cabinet de lecture» 4 декабря 1831 г. под заглавием «Тюремный двор». Нерваль дважды подвергался кратковременному заключению в тюрьме Сент-Пелажи: первый раз в 1831 г. за нарушение тишины в ночное время, второй раз — в феврале 1832 г. во время полицейской облавы. Стихотворение подразумевает первый арест, отсюда и ироническое заглавие.

БАБОЧКИ

Впервые в неполном виде в «Mercure de France au XIX-e siècle» в 1830 г. Полный текст в «Маленьких замках богемы».

ЧЕРНАЯ ТОЧКА

Впервые в «Cabinet de lecture» 4 декабря 1831 г. под заглавием «Солнце и слава». Окончательное заглавие в «Галантной богеме». Вольная обработка сонета Г. А. Бюргера, несколько ранее переведенного Нервалем.

СИДАЛИЗЫ

Впервые в «Галантной богеме». Сидализа — имя натурщицы, бывавшей в кружке артистической и художественной богемы в начале 1830-х гг. В «Маленьких замках богемы» не раз употребляется в обобщенном смысле, обозначая подруг художников и поэтов, составлявших этот кружок.

Следующая группа стихотворений не входит в цикл, помещенный Нервалем в «Галантной богеме», но по времени написания и по настроению тесно примыкает к ним. В современных изданиях объединяется под общим заглавием «Другие маленькие оды».

ПРОБУЖДЕНИЕ В ПОЧТОВОЙ КАРЕТЕ

Впервые в «Almanach des Muses» в 1832 г.

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

Впервые там же в 1832 г.

В АЛЛЕЕ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО САДА

Впервые там же в 1832 г.

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Впервые там же в 1832 г. Роман В. Гюго «Собор Парижской богородицы» вышел в 1831 г.

ЗАКАТ

Впервые опубликовано в издании сочинений Нерваля; в серии «Библиотека „Плеяды“» в 1956 г. по автографу. На том же листке — «Пробуждение в почтовой карете». По-видимому, совпадает по времени написания.

С. 393. *...взят в раму Триумфальной арки.* — Комментаторы указывают, что солнце садится за Триумфальной аркой 5 мая (день смерти Наполеона). Таков, очевидно, подтекст стихотворения, отчасти связанный с мотивами ранней «наполеоновской» лирики Нерваля.

В ЧАЩОБЕ ЛЕСНОЙ

Впервые в «Annales romantiques» в 1835 г.

ИЗ РАМСГИТА В АНТВЕРПЕН

Впервые в «L'Artiste» в 1846 г. Датируется июнем 1837 г. В 1836 г. Нерваль совершил вместе с Теофилом Готье путешествие в Бельгию и, как предполагают, побывал и в Англии.

С. 395. *...плыл с юной нареченной дофина Франсуа* — то есть с Марией Стюарт (см. примеч. к с. 43). Связь этого сюжета с творчеством Рубенса остается непроясненной.

Песни из опер и пьес. Посвящения

ПЕСНЯ О ГАНЕ ИСЛАНДЦЕ

Из мелодрамы, написанной в 1829 г. по роману В. Гюго «Ган Исландец». В кругу младших романтиков охотно имитировали повадки этого «чудовищного» героя Гюго. Сам Нерваль как-то потребовал у официанта налить ему «морской воды» в череп, который он держал в руке.

ИСПАНИЯ

Из либретто к опере «Пикильо», написанной с А. Дюма (1837).

ПОДЗЕМНЫЙ ХОР

Из либретто к опере «Черногорцы» (1849).

ГОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Из либретто к опере «Черногорцы».

**ВИКТОРУ ПГОГО,
ПОДАРИВШЕМУ МНЕ СВОЮ КНИГУ О РЕЙНЕ**

Написано в 1842 г. Впервые опубликовано в 1950 г. в издании «Библиотеки „Плеяды“».

ГОСПОДИНУ АЛЕКСАНДРУ ДЮМА ВО ФРАНКФУРТ

Впервые в кн. Нерваля «Лорелея» (1852). Написано во время путешествия в Германию в 1838 г. Испытывая, как обычно, денежные затруднения, Нерваль просил Дюма выслать ему аванс в счет задуманной совместно пьесы. Вексель, отправленный Дюма на банкирский дом *Эльже* в Страсбурге, не был оплачен Нервалю из-за деловых неурядиц между банкиром и его парижскими партнерами — отцом и сыном *Элуа*. «*Ворон*» и «*Солнце*» — названия отелей в Бадене и Страсбурге, где останавливался Нерваль во время путешествия.

СУПРУГЕ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Впервые опубликовано в «*Le Temps*» 21 мая 1884 г. Об отношениях Нерваля и Гейне см. вступ. статью.

Химеры

Цикл «Химеры» был полностью напечатан в книге «Дочери огня» (1854), с которой он связан идейно, тематически и биографически (см. вступ. статью). Имеются и отдельные текстуальные переключки, отмеченные в примечаниях. Некоторые стихотворения печатались ранее в периодических изданиях.

EL DESDICHADO

Впервые в «*Le Mousquetaire*» 10 декабря 1853 г.

Заглавие заимствовано из романа В. Скотта «Айвенго», гл. 8. Под этим девизом выходит на поединок неизвестный рыцарь.

С. 400. ...я — вдовец... — сублимированное выражение связи, существовавшей между поэтом и двумя женщинами, к этому времени уже умершими, — актрисой Женни Колон, в которую он был долго влюблен, и Софией Доус («Адриенной»), запечатлевшейся в его детских воспоминаниях (об отождествлении этих образов в его сознании и творчестве см. в «Сильвии» и вступ. статье).

...тех башен княжеских... — Нерваль пытался сконструировать себе фантастическую генеалогию, возводившую его род к феодальным сеньорам юга Франции.

...с гравюры незабвенной. — Имеется в виду «Меланхолия» А. Дюрера (1471—1528), сочетающая в своей композиции разные предметы, имеющие символический и эмблематический смысл.

...берега Италии блаженной... — переключка с настроением и пейзажем «Октавий».

Лузиньян — древний род на юге Франции, прославившийся в крестовых походах, из которого происходили иерусалимские и кипрские короли. Покровительницей рода легенда называла фею Мелузину (см. примеч. к с. 284).

Бирон, герцог Шарль Луи де Гонто (1562—1602) — приближенный Генриха IV, из-за любви к пьемонтской принцессе вовлекшийся в заговор против короля и поплатившийся за свою любовь жизнью.

...моей царицы. — Подразумевается Женни Колон и одновременно предназначавшаяся для нее роль царицы Савской в задуманной Нервалем лирической опере того же названия.

В пещере грезил я у вещей Водяницы... — Имеется в виду грот на горе Посилипп, где находится гробница Вергилия. Водяница — одно из перевоплощений Мелузины.

...я дважды перешел безмолвный Ахерон... — В греческой мифологии Ахерон — река, отделяющая земной мир от царства мертвых. Здесь Нерваль иносказательно говорит о двух своих тяжелых приступах душевной болезни, перенесенных им в 1841 и 1849 гг.

...воскресшего Орфея... — Античный миф об Орфее, сошедшем в подземное царство Аида, чтобы вернуть в мир живых свою жену Эвридику, обрастает у Нерваля сложными биографическими ассоциациями. Его последнее произведение «Аврелия, или Сон и Явь», в котором он анализирует и воспроизводит свое психическое состояние во время болезни, имеет эпитафией: «Эвридика! Эвридика!»

МИРТО

Впервые в «L'Artiste» 15 февраля 1854 г. В одном из рукописных вариантов имелось посвящение: Ж-и Колонна, которое совмещало имя реальной героини сонета Женни Колон (ср. «золото косы», соответствующее внешнему облику актрисы) и одного из любимых героев Нерваля — итальянского поэта Франческо Колонны (см. примеч. к с. 197). Стихотворение переключается с итальянскими пейзажами «Октавий». Имя Мирто, одной из менад (вакханок) в поэме Нонна Панополитанского, посвященной Дионису, связывается для Нерваля с миртом, сопровождавшим в античности и культ богини любви, и культы рождения и смерти.

С. 400. *Иакх* — божество элевсинских мистерий, часто отождествляется с Дионисом.

С. 401. ...*вулкан опять гремит...* — то есть Везувий. Стихия огня означала для Нервала стихию духовности и высших прозрений, пробуждающуюся с приближением возлюбленной.

Нормандец — Роже де Отвиль, нормандский герцог, в 1130 г. объединивший Сицилию с Неаполем в королевство.

...*лавр Вергилия...* — Упоминание римского поэта обрастает здесь дополнительными ассоциациями: в связи с местом его погребения (на Посиллипе) и с мотивом его нисхождения в ад в качестве спутника Данте.

Гортензия — цветок, символизирующий чистоту, целомудрие и скромность.

ГОР

Впервые в «Дочерях огня». Египетская и греческая мифология этого стихотворения переосмыслены Нервалем. Гор, бог-солнце, сын Изиды, богини плодородия и мореплавания, матери и заступницы, выступает мстителем за Озириса, своего отца, бога разумного созидания на земле, после своей земной смерти ставшего судьей в царстве мертвых.

С. 401. *Кнеф* (совр. чтение Хнум) — творитель богов, людей и мира; у Нервала — символ враждебной человеку стихии недр и вселенского холода.

Кибела — греческая богиня гор, лесов и зверей, великая мать богов.

Гермес — вестник богов, проводник душ в царство смерти.

АНТЭРОС

Впервые в «Дочерях огня». Заглавие обычно интерпретируется как «антиэрос» (начало, противостоящее любви). Идейную основу сонета составляет дуалистическая концепция мира в восточных религиях и раннехристианских ересьях, утверждавшая равноправие двух противоборствующих начал — божественного и сатанинского. Здесь она реализуется в ряде мифологических образов. С этим связаны и автобиографические мотивы романтического мятежа, одиночества, «проклятости» и избранности, характерные для поэтического самосознания Нервала. Ироническую трактовку той же темы см. в более раннем «Красном дьяволе».

С. 401. ...*из племени Антея...* — Игра звуковыми соответствиями (Антэрос — Антей) получает здесь и смысловую мотивировку: Антей, сын Геи, богини земли в греческой мифологии, черпал свои силы, прикасаясь к матери. Здесь символизирует восстание земного начала против верховного божества.

Ваал, Дагон — древнейшие общесемитические божества, воители и мятежники.

С. 402. *Коцит* — одна из рек подземного царства. Считалось, что омытый волнами Коцита человек будет неуязвим для земного оружия. Символика этого образа перекликается с «переходом через Ахерон» в «El Desdichado» (см. примеч. к с. 400).

Амалецита — имя произвольно образовано Нервалем от названия кочевников-амалекитян, упоминаемых в Библии. Здесь мыслится как богиня-покровительница этого народа, враждебного Иегове.

ДЕЛЬФИНА

Впервые в «L'Artiste» 28 декабря 1845 г. (датирован, Тиволи, 1843) под названием «Золотые стихи» с эпитафией из IV эклоги Вергилия: «Век последний уже пришел по пророчествам Кумским». Под заглавием «Дафна» с другим эпитафией из той же эклоги был включен в «Маленькие замки богемы» (1853). По мотивам и поэтическим образам близко связан с «Октавией». Название «Дельфина» подразумевает пророческие слова Дельфийского оракула. Имя героини «Дафна» по-гречески — лавр. Сонет строится на дословных реминисценциях «Песни Миньоны» Гете, также начинающейся с вопроса: «Ты знаешь край...»; Ср. в особенностях строки 2, 3, 5, 7, 8.

АРТЕМИДА

Впервые в «Дочерях огня». Артемида (у римлян — Диана), богиня лесов и охоты у древних греков, в поздней античности связывалась с культом мертвых и миром магии. Для Нервала важна и ассоциативно-звуковая связь с Артемизией, вдовой царя Мавсола, которому, она воздвигла гробницу (мавзолей). Первая строка сонета имеет двойной смысл: по-французски «тринадцатая» относится к женщине — героине сонета и к слову «час» (година). Судя по примечанию самого Нервала в одном из автографов, подразумевается тринадцатый, то, есть поворотный час. (Ср. описание часов с фигурой Дианы в третьей главе: «Сильвии».)

С. 402. *Святая Неаполя* — святая Розалия. Образы «вихрь огней» и «бездна» связаны все с той же темой Везувия, подземной стихии огня. (Ср. «Октавия», с. 218.)

ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Впервые в «L'Artiste» 31 марта 1844 г. без эпитафии с подзаголовком «Подражание Жан-Полю». Эпитафия (впервые в «Дочерях огня») представляет перифразу из фрагмента немецкого ро-

маниста Жан-Поля, известного во французском переводе госпожи де Сталь под названием «Видение» (подробнее см. вступ. статью).

Сонет IV. С. 404. *Солим* — Иерусалим.

Сонет V. С. 405. *Икар* — сын Дедала, строителя Лабиринта, которого критский царь Минос не отпускал на волю. Тогда Дедал сделал крылья, скрепив их воском, для себя и сына и улетел с острова. Во время полета Икар, привлеченный сиянием солнца, приблизился к нему, воск растопился, крылья рассыпались, и он погиб в водах моря.

Фазтон — сын бога солнца Гелиоса умоливший отца дать ему колесницу, на которой Гелиос, объезжал небосвод. Не справившись с ее управлением, Фазтон пал на землю и погиб в пламени.

Аттис — прекрасный юноша, любимец Кибелы, нарушивший Обет безбрачия.

Аммон — египетский бог солнца.

ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Впервые в «L'Artiste» 16 марта 1845 г. под заглавием «Античная мысль». В античности особенно полюбившиеся изречения или произведения назывались «золотыми» (например, роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел»), отсюда и название сонета. В стихотворении нашла свое отражение пифагорейская теория метемпсихоза («переселения душ»), творчески преображенная Нервалем.

«О ГОСПОЖА МОЯ...»

Впервые опубликовано в «Petite Revue Internationale» 30 мая 1897 г. адресатом стихотворения княгиней Сольмс под вымышленным именем. Написано около 1853 г. За стихотворением следовала небольшая прозаическая вставка и заключительный сонет, обычно именуемый «Эпитафия». Мария Летиция Сольмс (1831—1902) приходилась внучкой брату Наполеона Люсьену Бонапарте. Знакомство с ней падает на последние годы жизни Нерваля. Первые две строчки — неточная цитата из романа Керубино в «Женитьбе Фигаро» Бомарше (д. II, явл. 4). На фоне зашифрованной символики «Химер» это стихотворение поражает своим суровым и обнаженным реализмом. Примыкающий к нему сонет-эпитафия принадлежит к числу наиболее известных стихотворений Нерваля.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Жирмунская. Жерар де Нерваль. Судьба и творчество . . .</i>	3
---	---

НОВЕЛЛЫ

Из книги „Иллюминаты“

Библиотека моего дядюшки. Вступление к книге «Иллюминаты». <i>Перевод А. Андрес</i>	28
* Король Бисетра. Век XVI. Рауль Спифам. <i>Перевод А. Андрес</i>	30
История аббата де Бюкуа. Век XVII. <i>Перевод А. Андрес . . .</i>	45
Красный дьявол. <i>Перевод А. Андрес</i>	90
История тюленя. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	95

Из книги „Дочери огня“

Анжелика. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	103
Сильвия. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	181
Октавия. <i>Перевод А. Андрес</i>	214
Эмилия. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	222
Заколдованная рука. <i>Перевод А. Андрес</i>	242
Зеленое чудовище. <i>Перевод А. Андрес</i>	278
Королева рыб. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	284
* Соната дьявола. <i>Перевод А. Андрес</i>	286
Дьявольский портрет. <i>Перевод А. Андрес</i>	292
Венские похождения. <i>Перевод А. Андрес</i>	300
Октябрьские ночи. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	344
Достоверная история утки. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	364
Истина и парадокс. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	370

СТИХОТВОРЕНИЯ

К Беранже. <i>Перевод М. Квятковской</i>	376
Народ. <i>Перевод М. Квятковской</i>	377
Доктринеры. <i>Перевод М. Квятковской</i>	379
Господа и лакеи. <i>Перевод Н. Рыковой</i>	381
Элегические стансы. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	381
Оставь меня! <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	382
Смирение. <i>Перевод Ю. Голубца</i>	383

Из цикла „Маленькие оды”

Апрель. Перевод И. Лихачева	385
* Фантазия. Перевод В. Портнова	385
* Бабушка. Перевод А. Гелескула	386
Кузина. Перевод Э. Линецкой	386
Веселость. Перевод М. Яснова	387
Нечто о политике. Перевод Д. Шнеерсона	387
Бабочки. Перевод Ю. Голубца	388
Черная точка. Перевод Д. Шнеерсона	391
* Сидализы. Перевод Ел. Баевской	391
Пробуждение в почтовой карете. Перевод Э. Линецкой	392
Почтовая станция. Перевод Э. Линецкой	392
* В аллее Люксембургского сада. Перевод Ел. Баевской	392
Собор Парижской богородицы. Перевод Н. Рыковой	393
* Закат. Перевод Ел. Баевской	393
В чащобе лесной. Перевод Д. Шнеерсона	393
Из Рамсгита в Антверпен. Перевод Л. Цывьяна	394

Песни из опер и пьес. Посвящения

Песня о Гане Исландце. Перевод М. Яснова	396
Испания. Перевод Н. Рыковой	397
Подземный хор. Перевод Н. Рыковой	397
Готическая песня. Перевод Л. Цывьяна	398
Виктору Гюго, подарившему мне свою книгу о Рейне. Перевод М. Яснова	398
Господину Александру Дюма во Франкфурт. Перевод М. Яснова	398
Супруге Генриха Гейне. Перевод Н. Рыковой	399

Химеры

El Desdichado. Перевод Н. Рыковой	400
Мирто. Перевод Ю. Голубца	400
Гор. Перевод Ю. Голубца	401
Антэрос. Перевод Ю. Голубца	401
Дельфика. Перевод Ю. Голубца	402
Артемиды. Перевод Н. Рыковой	402
Христос на Масличной горе. Перевод Ю. Голубца	403
Золотые стихи. Перевод Н. Рыковой	405
«О госпожа моя...» Перевод М. Квятковской	406
* Эпитафия. Перевод В. Брюсова	407
Примечания	408

Нерваль Ж. де

Н 54 Дочери огня: Новеллы; Стихотворения: Пер. с фр. / Сост., вступ. ст. Н. Жирмунской; Примеч. Н. Жирмунской, Ю. Голубца. — Л.: Худож. лит., 1985. — 448 с, 1 л. портр.

В книгу включены новеллы и стихотворения выдающегося Французского поэта и прозаика Жерара де Нерваля (1808—1855) из циклов «Иллюминаты», «Дочери огня», «Химеры» и др.

Большая часть произведений издается на русском языке впервые.

И 4703000000-075 132-85
028(01)-85

ББК 84.4Фр

Жерар де Нерваль

ДОЧЕРИ ОГНЯ

НОВЕЛЛЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Составитель

Нина Александровна Жирмунская

Редактор *Г. Орёл*

Художественный редактор *В. Курьянов*

Технический редактор *Н. Литвина*

Корректор *Л. Никульшина*

ИБ № 3916

Сдано в набор 16.01.85. Подписано в печать 10.10.85. Формат 84x108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52+0,05 вкл.=23,57. Усл. кр.-отт. 23,99. Уч.-изд. л. 25,41+1 вкл.=25,46. Изд. № ЛВИ-87. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1513. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Набрано и сматрицировано в Ленинградской типографии № 2, головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Д-52, Измайловский пр., 29. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.